

ф а з и л ь
Искандер

с о б р а н и е



к о з ы и ш е к с п и р



собрание

фазиль

ИСКАНДЕР

козы и шекспир



МОСКВА

2004

ББК 84.Р7
И86

*Издательство выражает благодарность
Александру Леонидовичу Мамуту
за поддержку в издании книги*

*Макет и оформление, иллюстрации
Валерий Калныньш*

ISBN 5-94117-091-2 (общий)
ISBN 5-94117-137-4

© Ф. А. Искандер, 2004
© В. Я. Калныньш, 2004
© Издательский дом «Время», 2004



путь из варяг в греки

созвездие козлотура

детство чика

сандро из чегема 1

сандро из чегема 2

сандро из чегема 3

софичка

человек и его окрестности

kozy и шекспир

паром

кролики и удавы

Это случилось в далекие-предалекие времена в одной южной-преюжной стране, короче говоря, в Африке.

В этот жаркий летний день два удава, лежа на большом мшистом камне, грелись на солнце, мирно переваривая недавно проглоченных кроликов. Один из них был старый одноглазый удав, известный среди собратьев под кличкой Косой, хотя он был именно одноглазый, а не косой...

Другой был совсем юный удав и не имел еще никакой клички. Несмотря на молодость, он уже достаточно хорошо глотал кроликов и поэтому внушал достаточно большие надежды. Во всяком случае, еще недавно он питался мышками и цыплятами диких индеек, но теперь уже перешел на кроликов, что было, учитывая его возраст, немалым успехом.

Вокруг отдыхающих удавов расстилались густые тропические леса, где росли слоновые и кокосовые пальмы, банановые и ореховые деревья. Порхали бабочки величиной с маленькую птичку и птицы величиной с большую бабочку. Вспыхивая разноцветным оперением, с дерева на дерево перелетали попугаи, даже на лету не переставая тараторить.

Иногда на вершинах деревьев трещали ветки и взвизгивали обезьяны, после чего раздавался сонный рык дремлющего

поблизости льва. Услышав рык, обезьяны переходили на шепот, но потом, забывшись, опять начинали взвизгивать, и опять лев рыком предупреждал их, что они ему мешают спать, а он с вечера отправляется на охоту.

Обезьяны снова переходили на шепот, но совсем замолкнуть никак не могли. Они вечно о чем-то спорили, а чего они не поделили, было непонятно.

Впрочем, два удава, отдыхающие на мшистом камне, не обращали внимания на эти взвизги. Какие-нибудь глупости, думали они, иногда мимоходом улавливая обезьянью возню, какой-нибудь гнилой банан не поделили, вот и спорят...

— Я одного никак не могу понять, — сказал юный удав, совсем недавно научившийся глотать кроликов, — почему кролики не убегают, когда я на них смотрю, ведь они обычно очень быстро бегают?

— Как — почему? — удивился Косой. — Ведь мы их гипнотизируем...

— А что такое «гипнотизировать»? — спросил юный удав.

Следует сказать, что в те далекие времена, которые мы взялись описывать, удавы не душили свою жертву, но, встретившись, или, вернее, сумев подстеречь ее на достаточно близком расстоянии, взглядом вызывали то самое оцепенение, которое в простонародье именуется гипнозом.

— А что такое «гипнотизировать»? — стало быть, спросил юный удав.

— Точно ответить я затрудняюсь, — сказал Косой, хотя он не был косой, а был только одноглазый, — во всяком случае, если на кролика смотреть на достаточно близком расстоянии, он не должен шевелиться.

— А почему не должен? — удивился юный удав. — Я, например, чувствую, что они у меня иногда даже в животе шевелятся...

— В животе можно, — кивнул Косой, — только если он шевелится в нужном направлении.

Тут Косой слегка поерзал на месте, чтобы сдвинуть проглоченного кролика, потому что тот вдруг остановился, словно услышал их разговор.

Дело в том что в жизни этого старого удава был несчастный случай, после которого он лишился одного глаза и едва остался жив. Каждый раз, когда он вспоминал этот случай, проглоченный кролик останавливался у него в животе и приходилось слегка поерзать, чтобы сдвинуть его с места. Вопросы юного удава опять напомнили ему этот случай, который он не любил вспоминать.

— Все-таки я не понимаю, — через некоторое время спросил юный удав, — почему кролик не должен шевелиться, когда мы на него смотрим?

— Ну, как тебе это объяснить? — задумался Косой. — Видно, так жизнь устроена, видно, это такой старинный приятный обычай...

— Для нас, конечно, приятный, — согласился юный удав, подумав, — но ведь для кроликов неприятный?

— Пожалуй, — после некоторой паузы ответил Косой.

В сущности, Косой для удава был чересчур добрый, хотя и недостаточно добрый, чтобы отказаться от нежного мяса кроликов.

Он делал для кроликов единственное, что мог, — он старался их глотать так, чтобы причинить им как можно меньше боли, за что, в конце концов, поплатился.

— Так неужели кролики, — продолжал юный удав, — никогда не пытались восстать против этого неприятного для них обычая?

— Была попытка, — ответил Косой, — но лучше ты меня об этом не спрашивай, мне это неприятно вспоминать...

— Но, пожалуйста, — взмолился юный удав, — мне так хочется послушать про что-нибудь интересное!

— Дело в том, — отвечал Косой, — что восстал именно мой кролик, после чего я и остался одноглазым.

— Он что, тебе выцарапал глаз? — удивился юный удав.

— Не в прямом смысле, но, во всяком случае, по его вине я остался одноглазым, — сказал Косой, прислушиваясь, как воздействуют его слова на движение кролика внутри живота. Ничего, кролик как будто двигался...

— Расскажи, — снова взмолился юный удав, — мне очень хочется узнать, как это случилось...

Косой был очень старый и очень одинокий удав. Взрослые удавы к нему относились насмешливо или враждебно, поэтому он так дорожил дружеским отношением этого еще юного, но уже вполне умелого удава.

— Ладно, — согласился Косой, — я тебе расскажу, только учти, что это секрет, молодые удавы о нем не должны знать.

— Никогда! — поклялся юный удав, как и все клянущиеся в таких случаях, принимая жар своего любопытства за горячую верность клятве.

— Это случилось лет семьдесят тому назад, — начал Косой, — я тогда был ненамного старше тебя. В тот день я подстерег кролика у Ослиного Водопоя и вполне нормально проглотил его. Сначала все шло хорошо, но потом, когда кролик дошел до середины моего живота, он вдруг встал на задние лапы, уперся головой в мою спину и...

Тут Косой внезапно прервал свой рассказ и стал к чему-то прислушиваться.

— Уперся головой в твою спину и что? — в нетерпении спросил юный удав.

— Сдается мне, что нас подслушивают, — сказал Косой, поворачиваясь зрячим профилем в сторону кустов рододендрона, возле которых они лежали.

— Нет, — возразил юный удав, — тебе это показалось, потому что ты плохо слышишь. Рассказывай дальше!

— Я косой, а не глухой, — проворчал старый удав, но постепенно успокоился. По-видимому, подумал он, шорох ветра в кустах рододендрона я принял за шевеление живого существа.

И он продолжил свой удивительный рассказ. Так как он часто прерывался — то занимаясь своим кроличьим запором, то подозревая, что его кто-то подслушивает, с чем юный удав никак не соглашался, потому что опасения за чужую тайну

всегда кажутся преувеличенными, — мы более коротко перескажем эту историю.

Не опасаясь подслушивания, да и, признайтесь, приятно быть смелым за счет чужой тайны, мы расскажем все, как было.

Итак, Косой, который тогда не был ни старым, ни косым, проглотил кролика у Ослиного Водооя. И действительно, сначала все шло как по маслу, пока кролик вдруг не встал на задние лапы и снизу не уперся головой ему в спину, давая понять, что он дальше двигаться не намерен.

— Ты что, — говорит ему Косой, — баловаться вздумал? Переваривайся и двигайся дальше!

— А я, — кричит кролик из живота, — назло тебе так и буду стоять!

— Делай им после этого добро, — сказал Косой и, подумав, добавил: — Посмотрим как ты устоишь...

И стал он лупцевать его своим молодым, еще эластичным и сильным хвостом. Лупцует, лупцует, аж самому больно, а кролику ничего.

— А мне не больно, а мне не больно! — кричит он из живота.

В самом деле, подумал удав, ведь шкура у меня толстая, и вся боль, предназначенная этому негодяю, приходится на меня самого.

— Ладно, — все еще спокойно говорит Косой, — сейчас я тебя сдерну оттуда...

Он посмотрел вокруг, нашел глазами огромную кокосовую пальму, у которой один из корней, подмытый ливнями, горбился над землей. Он осторожно прополз под корень до

того самого места, где живот его растопырил этот живучий кролик.

— Ложись! — крикнул он. — Сейчас молотить начну!

— Молоти! — отвечал ему из живота этот бешеный кролик. — Сейчас покрепче упрись!

Тут удав в самом деле разозлился и давай ерзать изо всех сил под своим корнем: взад-вперед! взад-вперед!

Пальма трясется, кокосовые орехи летят на землю, а кролику хоть бы что!

— Давай! — кричит. — Еще! — кричит. — Слабо! — кричит.

Косой от ярости так растряс пальму, что обезьяна, с любопытством следившая за его странным поведением, неожиданно свалилась ему на голову. Удар был очень чувствительный, потому что обезьяна летела с самой вершины этой пальмы. Он попытался ее укусить, но она, шлепнувшись ему на голову, успела отлететь в сторону. Он метнулся было за нею, но кролик, стоявший у него поперек живота, не дал ему дотянуться до нее.

Уже до этого достаточно оскорбленный поведением кролика, а теперь и вовсе обесчещенный падением обезьяны на голову, удав пришел в невероятную ярость и так дернулся, что корень оборвался, и он изо всех сил ударился головой о самшитовое дерево, росшее рядом, и потерял сознание.

Примерно через час он пришел в себя и, приподняв голову, огляделся. Хотя в голове у него гудело, он все-таки услышал вокруг родное шипение родных удавов. Узнали, значит, приползли, переговариваются...

— Коль не повезет, — прошипел один, — так и кроликом подавишься...

— А некоторые еще нам завидуют, — сказал удав, известный среди удавов тем, что привык все видеть в мрачном свете.

— Братцы, — простонал Косой, — умялся он там, пропихнулся?

— Примерно на одну обезьянью ладонь пропихнулся, — сказал удав, лежавший поблизости.

— Смотря какая обезьяна, — вдруг сверху с пальмы проговорила мартышка, — если взять орангутанга, то получится, что кролик и на четверть ладони не продвинулся...

— Этот кролик и не пропихнулся и не умялся — подхватил Удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — как стоял колом, так и стоит.

— Братцы, — взмолился Косой, — помогите...

— Плохи наши дела, — вдруг раздался голос царя удавов Великого Питона. — Дурной пример заразителен... Уже обезьяны начинают нас поучать...

— А что, обезьяны хуже других? — сварливо огрызнулась с пальмы мартышка. — Чуть что, сразу обезьяны, обезьяны...

Услышав голос Великого Питона, бедный Косой пришел в ужас и даже забыл о своих несчастьях.

Дело в том, что, появляясь среди удавов, Великий Питон произносил боевой гимн, который все удавы в знак верности должны были выслушивать, приподняв голову. Вот слова этого короткого, но по-своему достаточно выразительного гимна:

*Потомки Дракона,
Наследники славы,
Питомцы Питона,
Младые удавы,
Проглоченных кроликов сладкое время
Несите! Так хочет грядущее Время!*

Для Великого Питона все удавы считались младыми, даже если они по возрасту были старше его. Удав, прослушавший приветствие, не приподняв головы, лишился жизни как изменник.

Вот почему Косой, еще не ставший косым, услышав голос Великого Питона, пришел в ужас, ведь он был в бессознательном состоянии и не мог поднять головы во время чтения гимна.

На самом деле он напрасно так испугался. Привычка при звуках гимна подымать голову была так сильна, что он и в бессознательном состоянии, услышав гимн, поднял голову вместе со всеми удавами. По предложению Великого Питона удавы стали обсуждать, как спасти своего неудачливого соплеменника. Один удав предложил ему доползти до вершины самой высокой пальмы и оттуда шлепнуться на землю, чтобы раздавить дерзкого кролика.

— Что вы, братцы, — взмолился пострадавший, — да я сейчас и не доползу... А если доползу, то обязательно шлепнусь не тем местом... Мне же не везет...

— Верно, не доползет, — сказал Великий Питон. — Какие еще будут предложения?

— А может, кролика выпустить, и дело с концом? — неуверенно проговорил один из удавов. Великий Питон задумался.

— С одной стороны, это выход, — сказал он, — но, с другой стороны, пасть удава — это вход, а не выход.

— А мы его не пустим, — осмелел тот, что внес это странное предложение, — как только он выскочит, мы его тут же обработаем.

— Да я лучше ежа проглочу, чем этого бешеного кролика, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете.

— Тише, — предупредил Великий Питон, — шипите шепотом, не забывайте, что враг внутри нас... Во всяком случае, внутри одного из нас... За всю свою жизнь, а мне, слава Богу, двести лет, был только один случай, чтобы кролик выскочил из пасти удава.

— Расскажи, — стали просить удавы, — мы об этом никогда не слышали.

— Братцы, — застонал Косой, — решайте скорее, а то уже нет сил терпеть.

— Подожди, — ответил Великий Питон, — дай мне поговорить со своим народом... Это случилось в те золотые времена, когда среди удавов была распространена игра, которая называлась «Кролика на кролика до следующего кролика».

— Да что еще это за игра? — закричали удавы. — Расскажи нам о ней!

— Братцы, — снова взмолился Косой, но его уже никто не слушал. Обычно, если Великий Питон начинал вспоминать о том, что было раньше, его трудно было остановить.

А между прочим, в самом деле, в старину среди удавов была распространена эта игра. Один удав, проглотивший кролика, находил другого удава, проглотившего кролика, и предлагал ему:

— Кролика на кролика до следующего кролика?!

— Идет, — отвечал второй удав, если соглашался на игру.

Игра заключалась в том, что два играющих удава ложились рядом и по знаку третьего, который брал на себя роль судьи, кролики начинали бегать наперегонки внутри удавов — от хвоста до головы и обратно. Чей кролик оказывался проворней, тот и выигрывал. Бег кроликов внутри удавов можно было легко проследить, потому что спина удава волнообразно прогибалась по ходу движения кролика. Забавно, что сам бег кроликов вызывался тем, что судья, изменив голос, кричал кроликам:

— Бегите, кролики, удав рядом!

После этого оба кролика начинали метаться внутри удавов, потому что, очнувшись от гипноза, они никогда не помнили, что с ними случилось. Они считали, что попали в какую-то странную нору, из которой надо искать выход.

Удав, чей кролик оказывался проворней, считался победителем. Выигрыш его состоял в том, что проигравший должен был найти ему кролика, загипнотизировать его и, скромно отползая в сторону, дать проглотить выигравшему. Это была адская мука. Некоторые удавы после двух-трех проигрышей не выдерживали и заболели нервными болезнями.

По словам Великого Питона, в этой игре имелась та особенность, что чем больше выигрывал тот или иной удав, тем сильнее растягивался его желудок, чем сильнее растягивался его желудок, тем легче становилось бежать следующему кролику и, следовательно, тем больше шансов выиграть появлялось у этого удава. Среди удавов, оказывается, даже был один чемпион, который так разработал свой желудок, что заставлял внутри него бегать козленка.

— Царь, а Царь, — вдруг перебил Великого Питона удав-коротышка.

Среди удавов он был известен своей неутомимой любознательностью, которая его уже привела к тому, что он вместо кроликов начал глотать бананы и притом имел наглость уверять, будто они довольно вкусные. К счастью, этому вольнодумству никто из удавов не последовал. Все-таки Коротышка Великому Питону был неприятен как моральный урод.

— Царь, а Царь, — спросил Коротышка, — а что, если я, например, короткий, а другой, например, длинный?.. Во мне кролик быстрее будет бегать от головы до хвоста?

— У-у-у, Коротышка, — зашипел на него Великий Питон, — вечно ты себя противопоставляешь... Не думай, что в старину удавы были глупее тебя. Если один из удавов оказывался длинней, его подворачивали настолько, насколько он оказывался длинней.

Тут удавы пришли в радостное возбуждение, до того им понравился рассказ царя и удивительно справедливые условия этой древней игры.

— Да здравствует Царь и его память! — закричали они. — Хотим играть в эту замечательную игру!

— К сожалению, невозможно, — печально сказал Великий Питон, дождавшись тишины.

— Почему?! — уныло стали вопрошать удавы. — Вечно ты нас ограничиваешь! Мы тоже хотим, чтобы кролики бегали внутри нас.

— Потому что случилось великое несчастье, — сказал царь, — после чего пришлось ограничивать свободу передвижения кроликов внутри удавов.

— Вот так всегда, — проворчал удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — ограничивают свободу кроликов, а страдают удавы.

— Дело в том, — продолжал Великий Питон, — что во время игры один из удавов то ли чересчур широко разинул пасть, то ли кролик его слишком взмылился, но он неожиданно выскочил у него из пасти и убежал в лес.

— Невероятно! — в один голос воскликнули несколько удавов.

— Каков подлец! — качали головами и шипели другие.

— Невероятно, но факт, — рассказывал Великий Питон, — это были самые черные дни нашей истории. Было неясно, что расскажет сбежавший кролик о нашем внутреннем строении. Как воспримут его слова остальные кролики. Конечно, были приняты меры для его поимки, объявлена награда, но разложение проникло уже и в ряды удавов. Через некоторое время одно за другим стали поступать сообщения о том, что тот или

иной удав поймал этого преступного кролика и обработал его. Но именно потому, что сбежавший кролик был один, а сообщений о его заглоте было много, трудно было поверить, что он пойман. Но потом постепенно мы успокоились. Во всяком случае, со стороны кроликов организованного сопротивления не замечалось. Не исключено, что сбежавший кролик был пойман каким-нибудь скромным периферийным удавом, который проглотил его, не только не требуя награды, но и сам не ведая о том, кого он глотает. Через некоторое время мы казнили удава-ротозея, и жизнь вошла в нормальную колею. Правда, эту чересчур азартную игру пришлось запретить, так же как и противоестественное продление жизни кроликов внутри удавов. Проглотил — изволь обрабатывать, нечего церемониться...

Великий Питон помолчал, вспоминая великолепные подробности казни удава-ротозея. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь спросил об этой казни, но никто не спрашивал, и тогда он шепнул одному из помощников, чтобы тот организовал вопрос из среды рядовых удавов.

— Группа удавов интересуется, — раздался наконец вопрос, — как именно казнили удава-ротозея?

— Своеобразный вопрос, — кивнул головой Великий Питон. — Это было великолепное зрелище... Сейчас мы отменили эту казнь и, честно скажу, напрасно. Смысл казни — самопоедание удава. Ему не давали есть в течение двух месяцев, а потом всунули его собственный хвост в его собственную пасть. Трудно представить себе что-нибудь более поучитель-

ное. С одной стороны, он понимает, что это его собственный хвост и ему жалко его глотать, с другой стороны, как удав, он не может не глотать то, что попадает ему в пасть. С одной стороны, он, самопожираясь, уничтожается, с другой стороны, он, питаясь самим собой, продлевает свои муки. В конце концов от него остается почти одна голова, которую расклеивают грифы и вороны.

— Какое грозное зрелище! — воскликнули некоторые удавы. А некоторые молча стали коситься на свои хвосты.

— Не хватало новой заботы, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. — Теперь, свиваясь в кольца, я буду думать: а вдруг мой хвост случайно попадет мне в рот?

— Зато будьте спокойны, — сказал Великий Питон, — с тех пор ни один удав не выпускал из себя кролика.

— А все-таки это дикость! — вдруг воскликнул Коротышка, не слишком высовываясь из-за дальних рядов.

Не успели удавы что-нибудь сказать по поводу этого грубого выпада, как услышали нечто и вовсе неслыханное.

— Мерзавец! — вдруг раздался чей-то отчетливый голос.

Все удавы стали подозрительно оглядывать друг друга, стараясь угадать, кто посмел произнести столь оскорбительное слово.

Косой, о котором к тому времени все забыли, с ужасом почувствовал, что это был голос кролика, которого он так неудачно проглотил. Он знал, что несет полную ответственность за поведение проглоченного кролика, и потому пришел в ужас.

На всякий случай, пока другие удавы не догадались, кто кричал, он стал озираться как бы в поисках оскорбителя царя.

— Кто сказал «мерзавцы»?! — страшным голосом прошипел Великий Питон, оглядывая ряды своих питомцев, смущенно прячущих голову в траву. — Уж не ты ли, Коротышка?!

— Я сказал про дикость, а про мерзавца, — подчеркнул ехидно Коротышка, — я не говорил.

Великий Питон нарочно перевел оскорбительное слово во множественное число, чтобы оно, относясь ко многим удавам, к нему лично, Великому Питону, относилось в виде такой дроби, где оскорбление как бы делилось на общее количество присутствующих удавов. Ему казалась такая дробь менее оскорбительной, хотя, в сущности, иная компания содержит в себе вещество мерзости, намного превосходящее то количество, которое необходимо для выполнения нормы мерзавца каждым членом этой компании, то есть на каждого мерзавца этой компании может распределиться полуторная норма мерзости, если они будут настаивать на математическом выражении своей доли мерзости.

Кстати говоря, впоследствии туземцы усвоили этот обычай удавов придавать оскорблению расширительный смысл, чтобы скрыть долю своей подлости, если дело касается подлеца, или долю своей мерзости, как в этом случае, если дело касается мерзавца.

Итак, Коротышка напомнил, что именно говорил он сам и в каком именно числе было употреблено оскорбительное

слово неизвестным оскорбителем. Именно потому, чтобы не заострять внимание на этой неприятной тонкости, Великий Питон не стал особенно придирается к нему.

— У-у-у, Коротышка, — только прошипел он в его сторону, — я еще сотру тебя в пыль!

— Мерзавец! — вдруг снова произнес кролик из живота Косого.

— Прощу тебя, помолчи, — взмолился Косой, холодея от ужаса.

— Я здесь не для того, чтобы молчать! — громко сказал кролик.

Окружающие удавы с недоумением оглядывали Косого, никак не понимая, почему этот неудачник посмел говорить с таким предсмертным нахальством. Все они, увлекшись рассказом Великого Питона, забыли, что внутри Косого сидит живой энергичный кролик.

— Так это ты?! — наконец прошипел Великий Питон, обратившись к Косому, который все еще не был косым, хотя и очень близко подошел к тому, чтобы им стать.

— Это не я, это во мне, — в ужасе признался Косой.

— Раздвоение личности?! — брезгливо предположил Великий Питон. Среди удавов это считалось позорной болезнью.

— О Царь, — взмолился Косой, — вы, как всегда увлекшись великим прошлым, забыли, что во мне кролик...

— Ну и что? — перебил его Великий Питон. — И во мне кролик и к тому же не единственный...

Но тут к нему склонился один из его помощников и нашептал ему на ухо о том, что здесь произошло.

— Ах да, — вспомнил царь. — Так это он назвал всех нас мерзавцами?

— Да, я! — воскликнул дерзкий кролик из оцепеневшего от ужаса удава. — Ты первый мерзавец среди своих мерзавцев и притом тупица!

— Я мерзавец?! — повторил Великий Питон, не находя слов от гнева.

— Да, ты мерзавец! — радостно закричал дерзкий кролик.

— Я тупица?! — не веря своим ушам, повторил Великий Питон.

— Да, ты тупица! — восторженно выкрикнул кролик. На этот раз голос его был особенно отчетливым, потому что бедный Косой, от ужаса разинув пасть, так и застыл.

Воцарилась нехорошая тишина, во время которой Великий Питон не сводил глаз с Косого.

— Твой желудок стал трибуной кролика, — сказал он грозно, — но ты за это поплатишься, жалкий инвалид.

— О, мой Царь, — взмолился бедный Косой.

— Никаких царей, — сурово отвечал Великий Питон, — удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен.

— Не тот, не тот, — зашипели удавы.

— А потому, — продолжал Великий Питон, наконец приходя в себя, — выволоките его на Слоновую Тропу, пусть они

утрамбуют этого дерзкого кролика, если этот жалкий инвалид не мог сам его утрामбовать.

Удавы из стражи Великого Питона подхватили Косого и поволокли его в сторону Слоновой Тропы. Пока они волокли его, кролик, не переставая, вопил из его живота.

— Кролики! — кричал он. — Один кролик сбежал из живота удава! Сам царь об этом говорил! Спротивляйтесь удавам! Даже в животе! Как я!

— Волочите быстрее! — приказал Великий Питон, которому разглашение этой племенной тайны очень не понравилось.

— Мы стараемся, — отвечали стражники, — но он упирается.

— Братцы, — шептал им в это время Косой, — помилосердствуйте, ведь меня слоны затопчут вместе с кроликом.

— Кролики тебе братцы, — отвечали стражники, уволакивая его в глубину джунглей.

— Кролики! — все еще доносился голос дерзкого кролика. — Один кролик сбежал из пасти удава! Сам царь рассказывал!

— Хи-хи-хи, — вдруг раздался ехидный смех Коротышки, — сам говорил, шипите шепотом, а сам племенную тайну разгласил.

— Выродок, — отвечал Великий Питон, чтобы не опускаться до спора с Коротышкой, — бананами питаешься, обезьяна.

— А чем обезьяны хуже вас? — крикнула мартышка, высунувшись из густой кроны грецкого ореха. — Чуть что, сразу обезьяны.

Впрочем, как только Великий Питон поднял голову, она тут же юркнула в зеленую крону и защелкала орехами, то и дело бросая вниз сердитые скорлупки.

Обезьяны находились в сложных отношениях с удавами. Дело в том, что обычай удавов разрешал питаться обезьянами, но, так как они слишком волосатые и не слишком вкусные, питаться обезьянами считалось дурным тоном.

Такую точку зрения неоднократно высказывал сам Великий Питон, и обезьяны, с одной стороны, заинтересованные в том, чтобы их считали невкусными, с другой стороны, болезненно воспринимали всякий намек на свою неполноценность.

Поэтому они жили, мелко политикуя и огрызаясь на отдельные оскорбления удавов, в то же время стараясь сохранить господствующую среди удавов точку зрения на свои вкусовые качества.

— Слушайте загадку, — сказал Великий Питон, решив напоследок рассеять впечатление от дерзких выкриков кролика, — она же шутка... Какой кролик может стать удавом?

Удавы стали думать. Некоторые решили, что царь при помощи этой загадки выискивает среди них будущих изменников, и потому на всякий случай решили молчать. Другие высказывали более или менее правдоподобные предположения. Но никто не отгадал правильного ответа.

— Ответ! Ответ! — стали кричать удавы.

— Хорошо, — сказал Великий Питон, — вот вам ответ: кролик проглоченный удавом, может стать удавом.

— Но почему, о Царь? — вопрошали удавы.

— Потому что кролик, переработанный удавом, превращается в удава. Значит, удавы — это кролики на высшей стадии своего развития. Иначе говоря, мы — это бывшие они, а они — это будущие мы.

— Ха-ха-ха! — смеялись удавы шутке Великого Питона. — Мы — это бывшие они. Здорово получается!

— Согласно с наукой, — скромно добавил Великий Питон, как бы отводя от себя лично слишком восторженные взгляды удавов.

— Великий Питон — это все-таки Великий Питон, — говорили удавы, расплзаясь и с удовольствием вспоминая мудрую шутку своего царя.

Им приятно было чувствовать, что, глотая кроликов, они не просто сами наслаждаются нежным тонкошкурым телом кролика, но, оказывается, и самого кролика, превращая в себя, возвышают до своего уровня.

Но что же случилось на Слоновой Тропе?

Косой мало что помнит. Он только помнит, что удавы его придерживали, пока слоны не появились совсем близко. Кролик внутри него непрерывно орал, что надо бороться с удавами, даже находясь в желудке удава.

Смог ли он выскочить из него, когда слоны стали их топтать, он не помнит, потому что потерял сознание еще до того, как первый слон наступил на него.

Через две недели, в Сезон Больших Дождей, к нему вернулось сознание, и он обнаружил себя лежащим недалеко от

Слоновой Тропы, куда он, по-видимому, был отброшен каким-нибудь брезгливым хоботом слона.

Тело его в нескольких местах было оттоптанно, и он уже стал одноглазым, хотя не мог точно сказать — то ли слоны ему нечаянно вытоптали глаз, то ли позже, когда он лежал без сознания, этот глаз у него выклевала какая-то птица. Почему-то этот вопрос сильно беспокоил Косого, хотя в его положении хватало других забот.

Косому почему-то хотелось, чтобы глаз его был растоптан ногами слонов, а не выклеван какой-нибудь поганой птицей, принявшей его за труп.

Мысль о том, что какая-то птица выклевала его глаз, словно зерно, почему-то не давала ему покоя, пока ощущение голода не стало его вытеснять. Так прошло несколько дней, и вдруг на него села ворона, привлеченная его неподвижной позой. Ему удалось схватить ворону, когда она села ему на голову с тем, чтобы выключить его единственный глаз. С тех пор он несколько месяцев неподвижно лежал неподалеку от Слоновой Тропы. За это время ему удалось поймать несколько стервятников и ворон, соблазненных его трупным видом.

Так выжил Косой — к равнодушному удивлению других удавов и к явному неудовольствию Великого Питона. Соплеменники его не трогали, но относились к нему презрительно, потому что, как сказал царь, удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен.

Косой пытался сослаться на то, что проглоченные кролики иногда заговаривали и в других удавах, но это не помогало.

— То совсем другое, — говорили ему, — то гипнотический бред, а у тебя кролик говорил сознательно.

Кстати, мы забыли упомянуть, что с тех пор, как кролик выбежал из пасти удава, был введен закон о немедленной обработке кролика после заглота. Закон этот, в сущности, был рассчитан на джентльменство удавов, потому что проверить, сразу ли приступил удав к обработке проглоченного кролика или, продлевая ему жизнь, продлевает свое удовольствие, было невозможно.

Одним словом, после всего, что случилось, соплеменники старались избегать Косого. Его не трогали, но и почти не говорили с ним. Косой от этого страдал, потому что у каждого живого существа есть неистребимая потребность общаться с подобными себе. Именно поэтому Косой, оказавшись сегодня рядом с юным удавом, откровенно рассказал ему всю свою горестную историю. Пожалуй, единственное, что он скрыл от юного удава, это то, что он и сейчас иногда, притворяясь мертвым, ловит ворон, потому что охотиться на кроликов с одним глазом нелегко и гипноз нередко дает осечку.

— Кстати, — спросил юный удав, — а как ты охотишься с одним глазом?

— Что делать, — вздохнул Косой, — приходится гипнотизировать профилем, глаз устает.

— А я все слышал! — вдруг раздался голос кролика. Косой похолодел.

— Как? — сказал он дрожащим голосом. — Ты жив? Я тебя снова проглотил?

— Да нет, — поправил его юный удав, — это необработанный кролик говорит из кустов.

— Уф, — вздохнул Косой, — а мне показалось, что тот.

— А что ты услышал? — спросил юный удав, всматриваясь в кусты рододендрона и пытаясь разглядеть там кролика.

— Я давно веду наблюдение над удавами, — сказал кролик из кустов, — вы подтвердили, что легенда о дерзком кролике не легенда, а быль. Это лишний раз убеждает в правильности некоторых моих догадок. Теперь я твердо знаю: ваш гипноз — это наш страх. Наш страх — это ваш гипноз.

— Пользуешься тем, что мы сейчас оба сыты? — сказал Косой, прислушиваясь к своему желудку.

— Нет, — отвечал кролик, — это плод долгих раздумий и строгих научных наблюдений.

— Чего ж ты подслушиваешь, если ты такой умный, — спросил Косой, — или ты не слышал, что это нечестно?

— Я об этом тоже много думал, — отвечал кролик, так и не высунувшись из кустов, — подслушивать во всех случаях жизни низко, это я знаю. Даже подозревая кого-то в преступлении, нельзя его подслушивать, потому что подозрения могут не оправдаться, а метод может укорениться. Я хочу сказать, что каждый подслушивающий может говорить: «А я его подозревал в преступлении». Подслушивать можно и нужно в том случае, если ты абсолютно уверен, что имеешь дело с преступником. А вы, удавы, — убийцы, вы или совершили убийство, или готовитесь совершить. Следовательно, как можно больше знать о вас — это благо для живых кроликов.

— Кажись, я чего-то слышал о тебе, — вспомнил юный удав, — это ты Задумавшийся?

— Да, я, — ответил кролик.

— Ну, подойди сюда, если ты такой, — сказал юный удав, чувствуя, что он, пожалуй, и второго кролика смог бы обработать.

— Нет, — отвечал кролик, — я сейчас не имею права рисковать. Хотя гипноза нет, но укусить вы можете.

— Спасибо и на том, — сказал Косой, стараясь придать всей истории легкий юмористический оттенок. Все-таки он много сказал такого, чего не должны были слышать уши кроликов. Все это пахивало новыми опасностями. К тому же Задумавшийся, так и не высунувшись из кустов, ушелестел в глубь джунглей.

— Что ж ты не показался? — еще более тоскливо спросил Косой.

— Пусть вам в каждом кролике мерещится Задумавшийся! — крикнул кролик, и голос его растворился в шорохах джунглей.

На теплом мшистом камне стало как-то тесно и неудобно. Оба удава подумали, что хорошо бы избавиться друг от друга как от опасных свидетелей, но оба не решались нападать. Молодой — потому что боялся, что ему не хватит опыта, а старый боялся, что ему не хватит сил и проворства.

— Нехорошо все это получилось, — прошипел юный удав. — Пожалуй, мне придется донести Великому Питону о том, что ты здесь наболтал.

— Не надо, — попросил Косой, — ты ведь знаешь, как он меня не любит...

— А если обнаружится? — возразил юный удав.

— Будем надеяться, что никто не узнает, — ответил Косой.

— Тебе хорошо, — сказал юный удав, — ты свое отжил, а у меня все впереди... Нет, я, пожалуй, донесу...

— Но ведь тогда и ты пострадаешь!

— Это почему же?

— Если я начал проговариваться, ты ведь должен был дать отпор, — напомнил Косой о старом обычае, принятом среди удавов.

В самом деле, подумал юный удав, есть такой обычай. Он был в растерянности. Он никак не мог понять, что ему выгодней: донести или не донести.

— А если обнаружится? — сказал он задумчиво. — Ну ладно, промолчу... А что ты мне дашь за это?

— Что я могу дать, — вздохнул Косой, — я старый инвалид... Если тебе придется туго с кроликами, притворись мертвым, и рано или поздно тебе на голову сядет ворона...

— Да на черта мне твоя ворона! — возмутился юный удав. — Я, слава Богу, имею регулярного кролика.

— Не говори, — отвечал Косой, — в жизни всякое бывает...

— У нее, наверное, и мясо жесткое? — неожиданно спросил юный удав.

— Мясо жестковатое, — согласился Косой, — но в трудное время это все-таки лучше, чем ничего.

— А если обнаружат? — снова усомнился юный удав и, сползая с камня, на котором они лежали, добавил: — Ладно, не донесу... Лучше бы я с тобой не связывался... Тысячу раз был прав Великий Питон, когда сказал, что удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен.

Уползая от Косого, юный удав в самом деле еще не знал, что выгоднее: донести или не донести. По молодости он не понимал, что тот, кто раздумывает над вопросом, донести или не донести, в конце концов обязательно донесет, потому что всякая мысль стремится к завершению заложенных в ней возможностей.

Вот жизнь, с грустью думал Косой, лучше бы меня тогда растоптали слоны, чем жить в презрении и страхе перед братьями.

Так думал Косой и все-таки в глубине души (которая находилась в глубине желудка) чувствовал, что из жизни уходить ему не хочется. Ведь так мягко лежать на теплом мшистом камне, так приятно чувствовать солнце на своей старой ревматической шкуре, да и кроликоварение — что скрывать! — все еще доставляло ему немало удовольствия.

В тот же день, когда солнце повисло над джунглями на высоте хорошего баобаба или плохой лиственницы, у входа в королевский дворец на Королевской Лужайке было созвано чрезвычайное собрание кроликов.

Сам Король сидел на возвышенном месте рядом со своей Королевой. Над ними развевалось знамя кроликов с изображением Цветной Капусты.

Полотнище знамени представляло из себя большой лист банана, на котором кочан Цветной Капусты был составлен из разноцветных лепестков тропических цветов, приклеенных к знамени при помощи сосновой смолы.

В сущности говоря, ни один кролик никогда не видел Цветной Капусты. Правда, в кроличьей среде всегда жили слухи (хотя их и приходилось иногда взбадривать) о том, что местные туземцы вместе с засекреченными кроликами, работающие на тайной плантации по выведению Цветной Капусты, добились решительных успехов. Как только опыты, близкие к завершению, дадут возможность сажать Цветную Капусту на огородах, жизнь кроликов превратится в сплошной праздник плодородия и чревоугодия.

Время от времени сочетание цветов в изображении Цветной Капусты на знамени едва заметно менялось, и кролики видели в этом таинственную, но безостановочную работу истории на благо кроликов. Увидев на знамени слегка изменившийся узор цветов, они многозначительно кивали друг другу, делая для себя далеко идущие оптимистические выводы. Говорить об этом вслух считалось неприличным, нескромным, считалось, что эти внешние знаки внутренней работы истории проявились случайно по какому-то доброму недосмотру королевской администрации.

В ожидании этого счастливого времени кролики жили своей обычной жизнью, паслись в окружающих джунглях и пампах, поворовывали в огородах туземцев горох, фасоль и обыкновенную капусту, высокие вкусовые качества кото-

рой оплодотворяли мечту о Цветной Капусте. Эти же продукты они поставляли и ко двору Короля.

— Ну, как сегодня капуста? — бывало, спрашивал Король, когда рядовые кролики, выполняя огородный налог, прикатывали кочаны и складывали их в королевской кладовой.

— Хороша, — неизменно отвечали кролики, облизываясь.

— Так вот, — говорил им на это Король, — когда появится Цветная Капуста, вы на эту зеленую даже смотреть не захотите.

— Господи, — вздыхали кролики, услышав такое, — неужели доживем до этого?

— Будьте спокойны, — кивал Король, — следим за опытами и способствуем...

Великая мечта о Цветной Капусте помогала Королю держать племя кроликов в достаточно гибкой покорности.

Если в жизни кроликов возникали стремления, неугодные Королю, и если он не мог эти стремления остановить обычным способом, он, Король, прибегал к последнему излюбленному средству, и конечно, этим средством была Цветная Капуста.

— Да, да, — говорил он в таких случаях кроликам, проявляющим неугодные стремления, — ваши стремления правильны, но несвоевременны, потому что именно сейчас, когда опыты по выведению Цветной Капусты так близки к завершению...

Если проявляющий стремления продолжал упорствовать, он неожиданно исчезал, и тогда кролики приходили к выво-

ду, что его засекретили и отправили на тайную плантацию. Это было естественно, потому что те или иные стремления проявляли лучшие головы, и эти же лучшие головы, конечно, прежде всего нужны были для работы над выведением Цветной Капусты.

Если семья исчезнувшего кролика начинала наводить справки о своем родственнике, то ей намекали, что данный родственник теперь «далеко в том краю, где Цветная Капуста цветет».

Если семья исчезнувшего кролика продолжала упорствовать, то она тоже исчезала, и тогда кролики говорили:

— Видно, он там большой ученый... Семью разрешили вывезти...

— Везет же некоторым, — говорили крольчихи, вздыхая.

Других подозрений в головах у рядовых кроликов не возникало, потому что по вегетарианским законам королевства кроликов наказывать наказывали — путем подвешивания за уши, — но убивать не убивали.

Итак, в этот день, который уже клонился к закату, на Королевской Лужайке Король и Королева сидели на возвышенном месте, а над ними слегка колыхалось знамя с изображением Цветной Капусты.

Чуть пониже располагались придворные кролики, или, как их называли в кроличьем простонародье, Допущенные к Столу. А еще ниже те, которые стремились быть Допущенными к Столу, а дальше уже стояли или сидели на лужайке рядовые кролики.

Легко догадаться, что чрезвычайное собрание кроликов было вызвано чрезвычайным сообщением Задумавшегося.

— Наш страх — их гипноз! Их гипноз — наш страх! — повторяли рядовые кролики, смакуя эту соблазнительную мысль.

— Какая смелая постановка вопроса! — восклицали одни.

— И мысли следуют одна за другой, — восторгались другие, — ну прямо как фасолины в стручке.

— Ой, кролики, что буде-ет! — говорили третьи, которым от великого открытия Задумавшегося делалось до того весело, что становилось страшно.

И только жена Задумавшегося, стоя в толпе ликующих кроликов, то и дело повторяла:

— А почему мой должен был разоблачать удавов? А где Допущенные к Столу мудрецы и ученые? А что мы за это имеем? Ведь удавы будут мстить мне и моим детям за то, что он здесь наболтал!

— Ты должна им гордиться, дура, — говорили ей окружающие кролики, — он великий кролик!

— Оставьте, пожалуйста! — отвечала им крольчиха. — Уж я-то знаю, какой он великий! Дожил до седин, а до сих пор не может листик гороха отличить от листика фасоли!

А между тем Королю кроликов сообщение Задумавшегося не понравилось. Он почувствовал, что эта новость ничего хорошего ему не сулит. Но, будучи опытным знатоком настроения толпы, он, видя всеобщее ликование, не мешал ему проявляться со всей полнотой. Он понимал, что всякое ликова-

ние толпы имеет свою высшую точку, после которой оно обязательно должно пойти на убыль, и тогда уже можно будет высказывать свои сомнения.

Дело в том, что когда кто-нибудь, а в особенности толпа, начинает ликовать, он еще не знает, что всякое ликование рано или поздно должно пойти на убыль. И вот, когда ликование начинает идти на убыль, ликующий, чувствуя, что его ликование иссякает, склонен обвинить в этом того, кто, вызвав ликование, оказывается, не придал ему неиссякаемого характера.

Но если кто-то своим критическим отношением к предмету ликования перебил всеобщее ликование, тогда гнев ликующих с особенной силой устремляется на него. Ведь ликующие думали, что их ликование носило неиссякаемый характер, а этот злобный завистник нарочно им все испортил.

Король кроликов все это знал хорошо и поэтому долго молчал. И вот, когда ликование очень сильно иссякло, хотя все еще отдельные его вспышки то здесь, то там озаряли радость толпу, кролики стали замечать, что сам Король почему-то молчит. И не только молчит. Лицо его выражает грустную терпимость перед печальным зрелищем всеобщего заблуждения.

И тут все начали понимать, что Король сомневается в правильности наблюдений Задумавшегося. Допущенные, заметив сомнение Короля, довели его при помощи отдельных выкриков до степени откровенного возмущения. Возмущение Допущенных в свою очередь было подхвачено Стремящими-

ся Быть Допущенными и доведено до выражения гневного протеста против не проверенных Королем научных слухов.

Да, Король был прав, почувствовав великую опасность, которая заключается в словах Задумавшегося. Вся деятельность Короля была связана с тем, что он лично, вместе со своими придворными помощниками, определял, какое количество страха и осторожности должны испытывать кролики перед удавами в зависимости от времени года, состояния атмосферы в джунглях и многих других причин.

И вдруг вся эта разработанная годами хитроумная система управления кроликами может рухнуть, потому что кролики, видите ли, не должны бояться гипноза.

Король знал, что только при помощи надежды (Цветная Капуста) и страха (удава) можно разумно управлять жизнью кроликов. Но на одной Цветной Капусте долго не продержишься. Это Король понимал хорошо, и потому он собрал всю свою государственную мудрость и выступил перед кроликами.

— Кролики, — начал он просто, — я пожилой король. Я на престоле, слава Богу, уже тридцать лет и ни разу за это время не попал в пасть удава, а это о чем-то говорит...

— О том, что тебе все приносят во дворец! — выкрикнул из толпы какой-то дерзкий кролик.

Правда, было уже слишком темно, чтобы разглядеть, кто говорит. Допущенные к Столу и особенно Стремящиеся со страшной силой зашикали на дерзнувшего кричать из толпы.

Посмотрев на придворных, Король строгим голосом приказал осветить народ достаточным количеством светильников. До этого всего несколько пузырей, выдутых из прозрачной смолы и наполненных светляками, озаряли вход в королевский дворец и возвышение, на котором сидели Король и Королева.

— О Король, — напомнили придворные шепотом, ссылая светляков из кокосовых шкатулок, в которых они хранились, в светильники, — вы ведь сами нас учите режиму экономии.

— Только не за счет интересов режима, — отвечал Король вполголоса, оглядывая толпу, пока придворные укрепляли светильники в разных концах Королевской Лужайки. — Кролики, — кротко обратился Король к своим подданным, — прежде чем раскрыть ошибку Задумавшегося, хочу задать вам несколько вопросов.

— Давай! — закричали кролики.

— Кролики, — и голос Короля задрожал, — любите ли вы фасоль?

— Еще как! — хором ответили кролики.

— А зеленый горошек, свеженький, с куста?

— Не говори, Король, — застонали кролики, — не буди сладких воспоминаний!

— А свежей капустой, — безжалостно гремел Король, — хрупчатой, рубчатой, говорю, любите похрумкать?

— У-у-у, — завyli кролики и стали со свистом втягивать воздух в рот, — не растравляй, Король, не сыпь на раны сладкую соль!

— Если это так, — продолжал Король, глядя на кроликов, застывших в сентиментальных позах обглаживания стручков или хрумканья капустными листьями, — перехожу к наиглавнейшей мысли. Кто из вас выращивает горох, капусту, фасоль?

На некоторое время воцарилось удивленное молчание.

— Но, Король, — стали кричать кролики, — этим занимаются туземцы!

— Значит, им принадлежат эти самые совершенные на сегодняшний день (тончайший намек на завтрашний день, связанный с Цветной Капустой) продукты питания?

— Выходит, — отвечали кролики.

— А каким образом, — продолжал Король, — вы добываете эти продукты?

— Воруем, — сокрушенно отвечали кролики, — разве вы не знали?

— Ну, это сказано слишком резко, — поправил Король, — правильней сказать — отбираете излишки... Ведь вы туземцам кое-что оставляете?

— Приходится, — отвечали кролики.

— Теперь перехожу к наиглавнейшей мысли, — объявил Король.

— Ты уже переходил к наиглавнейшей мысли! — крикнул один из кроликов в толпе.

— То была первая наиглавнейшая мысль, а теперь вторая, — не растерялся Король. — То, что удавы глотают кроликов, — это ужаснейшая несправедливость, не правда ли?!

— В том-то и дело, — закричали кролики, — об этом-то и толкует Задумавшийся!

— Да, — продолжал Король, — это ужасная несправедливость по отношению к кроликам, и мы с нею боремся теми средствами, которые доступны нашему разуму. Правда, за эту ужасную несправедливость мы пользуемся маленькой, но очаровательной несправедливостью, присваивая нежнейшие продукты питания, выращенные туземцами. Теперь допустим на минуту, что Задумавшийся прав, хотя это еще никак не доказано. Но представим. Гипноза, оказывается, нет, скачите, кролики, куда хотите! Браво, браво, Задумавшийся! Но что же дальше? А дальше Задумавшийся нам говорит, мол, если отпала ужаснейшая несправедливость по отношению к кроликам, значит, и кролики должны прекратить приятную, разумеется, для нас, несправедливость по отношению к огородам туземцев.

— Не скажет! Не скажет! — закричали кролики хором.

— А где уверенность? — спросил Король и обратился к Задумавшемуся, который стоял недалеко от Короля и спокойно слушал его.

После своего сообщения о гипнозе он так и остался на вышени, потому что Король велел ему остаться, чтобы, с одной стороны, никто не подумал, будто Король недоволен, а с другой стороны, чтобы долгое созерцание Задумавшегося сделало его облик более привычным и потому менее чудодейственным.

Задумавшийся молчал, хотя по его виду никак нельзя было сказать, что он смущен вопросом Короля.

— Так что ты нам скажешь? — снова обратился к нему Король, стараясь, чтобы он сейчас же разоблачил себя перед кроликами.

— Я потом отвечу сразу на все вопросы, — спокойно сказал Задумавшийся, — пусть Король продолжает.

— Хорошо, — усмехнулся Король, хотя и разозлился про себя, именно оттого разозлился, что Задумавшийся не в результате хитрого дипломатического хода уклонился от его удара, а просто в результате глупого желания не терять время на отдельные вопросы.

— Пойдем дальше, — продолжал Король. — Конечно, это ужасная несправедливость, что удавы пожирают кроликов, и мы делаем все, чтобы уменьшить количество жертв. Но зачем подчеркивать только темные стороны? Жизнь есть жизнь! И она иногда подсовывает нам изумительные подарки. Например, вы сталкиваетесь с удавом, вы в ужасе! Но что же? Оказывается, это Коротышка, который только что налопался бананов, он на вас и смотреть не хочет. Снова сталкиваемся с удавом! Снова ужас. Но что же? Оказывается, это Косой — и вы в полной безопасности, потому что очутились в мертвом пространстве его слепого профиля. Кролики, братья и сестры, нельзя пренебрегать такими дарами жизни! Помните, в природе все связано! А что, если тончайшее удовольствие, которое мы получаем от Великой троицы (горох, фасоль, капуста), связано с чувством страха, который мы испытываем перед удавами? А вдруг без этого страха ароматнейшие продукты природы покажутся безвкусными и жесткими, как пампасская трава?

— Это ужасно, — воскликнули кролики, — тогда и жить не стоит!

— А если это так, — продолжал Король, сам загораясь от собственного красноречия, — перестанем мечтать о будущей Цветной Капусте, перестанем следить за опытами и способствовать?!

— Это ужасно, ужасно, ужасно, — стонали кролики, от природы очень впечатлительные, чем, кстати, и пользовались удавы, как, впрочем, и Король, хотя мы никак не хотим проводить какие-то параллели между ними.

— И вот что, кролики, — продолжал Король, оглядывая толпу с выражением проницательной умудренности, — будем откровенны, ведь мы здесь все свои... Признайтесь, когда вы вечером возвращаетесь в свою нору и узнаете от крольчихи, что такого-то кролика проглотил удав, разве вы вместе с печалью по погибшему брату с особенной силой не ощущаете уюта безопасности собственной норы?! А сладость облизывать нежные тельца своих очаровательных крольчат?! А прижиматься, прижиматься (тут все взрослые кролики, и я могу говорить прямо), прижиматься, говорю, к теплой, ласковой крольчихе?!

— Да, да, — соглашались кролики, потупившись, — стыдно признаться, но все это так...

— Нечего стыдиться, кролики! — воскликнул Король. — Вы же это испытываете вместе с грустью по погибшему брату, а не отдельно?!

— В том-то и дело, — отвечали кролики, — как-то все это перемешивается...

— Тем более! — вдруг во весь голос закричал кролик по прозвищу Находчивый.

Он сидел среди Стремящихся Быть Допущенными к Столу. Сейчас его дерзкий выкрик был всеми замечен, и наступила довольно-таки неловкая тишина. В сущности, он почти перебил Короля. Король нахмурился.

— Тем более! — снова закричал Находчивый, ничуть не смущаясь всеобщим вниманием.

— Что «тем более»? — наконец строго спросил у него Король.

— Тем более, как быть с предками? — воскликнул Находчивый. — Ведь если Задумавшийся прав, получается, что все наши предки, героически погибшие в пасти удавов, были дураками и трусами, выходит, что они погибли по глупости?!

— Уместное замечание, — сказал Король, кивнув головой и обернувшись к Задумавшемуся. — Интересно, что ты ответишь на это?

— Я сразу отвечу на все вопросы, — спокойно отвечал Задумавшийся, — Король может продолжать...

— Ишь ты, какой самоуверенный, — не удержалась Королева и фыркнула в сторону Задумавшегося.

— Пока я кончил, — сказал Король. — Одно могу добавить: жизнь есть жизнь. Раз Бог создал кролика — он имел в виду кролика!

Конец королевской речи потонул в дружных аплодисментах во славу прекрасных продуктов. В шуме этих аплодис-

ментов время от времени раздавались выкрики в честь Короля из среды Допущенных к Столу и восторженные высвисты в его же честь из среды Стремящихся.

Как всегда, скандировалась слава Великой троице с некоторыми частными добавлениями, среди которых чаще всего слышалось:

— Скромной морковке тоже слава!

Интересно отметить, что каждый кролик, аплодируя, был уверен, что он лично аплодирует идее союза прекрасных продуктов питания с кроликами. Но при этом он думал, что другие аплодируют не только этому союзу, но и всей речи Короля. И поскольку все думали так и все считали, что признаться в эгоистической узости своих аплодисментов по меньшей мере уродство, они аплодировали изо всех сил, чтобы скрыть эгоистическую узость собственных аплодисментов и слиться с общим восторгом, с которым они в конце концов сливались, и, уже подхваченные этим восторженным потоком, сами тащили его дальше. Так маленькие ракеты личных аплодисментов, слившись, давали могучую силу двигателю общественного мнения кроликов.

— Ну, как речуга? — спросил Король у Королевы, усаживаясь рядом с ней и кивая на восторженный шум, поднятый кроликами.

— Ты был бесподобен, милый, — сказала Королева и нежно утерла листиком капусты пот с лица Короля.

— Находчивый делает успехи, — сказал Король и кивнул в его сторону.

Королева улыбнулась Находчивому и поманила его к себе. Находчивый быстро подскочил и замер перед ней. Королева, улыбаясь, подарила ему листик капусты, которым она только что утирала лицо Короля.

— Можешь съесть, — сказала она ему. Это был знак великой милости, в сущности, знак допущенности к Столу.

— Никогда! — с жаром воскликнул Находчивый, принимая подарок. — Я засушу его в память о вашей великой милости.

— Как хочешь, — сказала Королева и с немалым женским любопытством оглядела Находчивого. Ей понравилась его приятная внешность и горячие быстрые глаза. В нем было что-то такое, отчего ей захотелось родить маленького быстроглазого крольчонка.

Когда все затихло, Задумавшийся, который все это время продолжал стоять перед толпой собратьев, наконец заговорил.

— Начну с конца, — сказал он. — Мне, кролику, незачем заботиться о природе удава. Пусть он сам заботится о своей природе...

— Вот он и заботится, — ехидно вставил Находчивый и, посмотрев на Королеву, поцеловал капустный листик. Королева еще раз улыбнулась ему нежной улыбкой.

— Этот Находчивый — прелесть, — сказала она.

— Считаю, что он у тебя за столом, — сказал Король, сосредоточиваясь на словах оратора и поэтому забыв, что эта милость Находчивому уже оказана.

Как много можно сделать незаметно от мужчины, подумала Королева, когда мужчину раздирают общественные страсти.

— Хорошо, пусть будет так, — продолжал Задумавшийся, — если удав имеет право заботиться о своей природе, то кролик имеет такое же право. А суть природы кролика состоит в том, что он не хочет быть проглоченным удавом. Можем мы, кролики, обойтись без удавов?

— Еще как! — воскликнули кролики. — С удовольствием!

— Тогда скажи, — вскочил Король, — почему Бог создал удава?

— Не знаю, — ответил Задумавшийся, — может, у него плохое настроение было. А может, он создал удава, чтобы мы понимали, что такое мерзость, так же как он создал капусту, чтобы мы знали, что такое блаженство.

— Правильно! — закричали кролики. — Удав — мерзость! Капуста — блаженство!

— Горох и фасоль — тоже блаженство! — напомнил один из кроликов с такой тревогой в голосе, словно, не напомни он об этом вовремя, столь прекрасные деликатесы выйдут из употребления кроликов.

— Продолжаю, — сказал Задумавшийся, — итак, если Бог создал удава таким, какой он есть, то и меня он создал таким, какой я есть. И если я задумался, значит, моей природе кролика не чуждо сомнение. Развивая свою природу сомнения, которая, оказывается, все-таки существовала в моей природе кролика, я стал приглядываться, прислушиваться, думать.

Жизнь, как любит говорить наш Король, великий учитель. Именно она натолкнула меня на все мои сегодняшние выводы. Однажды я нос к носу столкнулся с удавом. Я почувствовал, что гипноз сковал мои мышцы. От ужаса я потерял сознание. Через несколько мгновений я пришел в себя и с удивлением обнаружил, что я не проглочен, а хвост этого же удава, прошуршав мимо меня, проскользнул дальше. Я оглянулся и узнал Косого, который, не заметив меня, скользил дальше, пройдя мимо меня слепой стороной своего профиля. И тут великая мысль, хотя еще и не так четко оформленная, промелькнула в моей голове. Я понял, что их гипноз — это наш страх. А наш страх — это их гипноз.

— О, святая наивность! — воскликнул Король, вскакивая с места и обращаясь к толпе кроликов. — Разве я вам не говорил о счастливой встрече с Косым или Коротышкой?

— Да, да, говорил, — ответили кролики, чувствуя, что в словах Задумавшегося есть какая-то соблазнительная, но чересчур тревожащая истина, а в словах Короля какая-то скучная, но зато успокаивающая правда.

— В том-то и дело, кролики, — сказал, волнуясь, Задумавшийся, — что я ощутил все признаки гипноза, а удав меня даже не заметил! Значит, я сам своим страхом внушил себе гипноз!

— Гениально! — воскликнул какой-то кролик из толпы, и, ударив себя лапой по лбу, замертво упал. Бедная его голова не выдержала этой мысли.

В толпе возник некоторый переполох, впрочем, не опасный для продолжения сходки. Убедительность примера, ко-

торый привел Задумавшийся, повергла кроликов, несмотря на жертву, в большое ликование.

— Первые плоды нового учения! — крикнул Находчивый, когда выносили кролика, умершего от силы собственного прозрения. Но на его слова никто не обратил внимания.

— Здорово! Здорово! Здорово! — скандировали теперь кролики. — Да здравствует наш освободитель!

— Это еще надо доказать! — закричал Король, вскакивая. — Почему он уверен, что сам себя загипнотизировал? Только потому, что Косой прошел мимо него своим слепым профилем. Пусть мой Ученый выступит и объяснит Задумавшемуся, что произошло с научной точки зрения.

Тут кролики постепенно замолкли, и из толпы Допущенных к Столу выступил Главный Ученый и, дождавшись тишины, произнес:

— Конечно, сообщение Задумавшегося представляет немалый научный интерес...

Кролики на его слова ответили восторженным гулом.

— ...И хотя наша сходка затянулась допоздна, — продолжал Главный Ученый, — еще рано делать какие-либо выводы. Но что же могло произойти во время предполагаемой встречи Задумавшегося с Косым, или, выражаясь нашим научным языком, слепым на один глаз удавом? По-видимому, наш дорогой коллега Задумавшийся, к нашему общему счастью, прошел перед отключенной от зрительных впечатлений частью профиля удава. Только поэтому он остался жив, ибо смертоносные гипнотические лучи действующего глаза ока-

зались в стороне от нашего возлюбленного коллеги, что послужило ему поводом к столь легкомысленным выводам от-носительно гипноза...

— Держат там всяких калек, — пробормотал Король, слушая Ученого и кивая в знак согласия головой.

— Нет, дорогие мои кролики, — продолжал Ученый, — гипноз пока еще страшное оружие наших врагов. Только следуя Таблице Размножения, разработанной нашими учеными при личном участии Короля, мы можем победить удавов. Помните, изучайте Таблицу Размножения — и будущее кроликов будет достойно Цветной Капусты!

Речь Ученого тоже показалась кроликам убедительной, но все-таки большинство кроликов было настроено в пользу Задумавшегося.

Кстати, суть Таблицы Размножения заключалась в том, что кролики, размножаясь с опережением удавов, уменьшают риск каждого отдельного кролика настолько, насколько кроликов будет больше, чем удавов. Из этой таблицы следовало, что в будущем шанс встретиться с удавом у каждого кролика станет, уменьшаясь, стремиться к нулю и в конце концов достигнет его и даже превзойдет! Поэтому кролики очень любили размножаться.

Но сейчас настроение кроликов было в пользу Задумавшегося. Король, видя это, решил перенести сходку на какой-нибудь другой, более подходящий день. С этой целью он незаметно для толпы приказал выступить придворному Осветителю.

— Кролики, — сказал тот, — время позднее. Светильники гаснут, пора кормить светляков.

— Ничего, — закричали в ответ кролики, — в лесу полно гнилушек! Надо будет — наберем!

Пришлось продолжать сходку и дать слово Задумавшемуся.

— Кролики, — сказал Задумавшийся, — наш Ученый, как всегда, говорит глупости! Я утверждаю, что гипноза нет вообще. Вспомните, сколько лягушек в Лягушачьем Броде. Через этот брод каждый день переплывает тот или иной удав. Если бы удав обладал гипнозом, то независимо от его воли десятки лягушек, потерявших сознание, всплывали бы на его пути. А если бы всплывали лягушки, то водоплавающие птицы летели бы вслед за плывущим удавом. Но, как вы знаете, никакие птицы не следуют за плывущим удавом.

— Точно! Точно! — закричали кролики. — Там сотни птиц, но ни одна не летит за удавом.

— Задумавшийся прав! — кричали они. — Наш страх — их гипноз! Их гипноз — наш страх!

Пока они шумно изъявляли свои восторги, Король подзвал из толпы Допущенных кролика, занимавшего должность Старого Мудрого Кролика.

Небезынтересна история возвышения этого кролика. Возле королевского дворца растет морковный дуб, желуди которого имеют форму морковки. Хотя плоды морковного дуба и несъедобны — их кролики обычно используют для украшения праздничных шествий, — морковный дуб почитается кроликами как священное дерево.

Время от времени с морковного дуба падают морковные желуди, кстати, весьма увесистые. Были случаи тяжелых увечий и даже смертей кроликов, оказавшихся в момент падения желудя под сенью дерева. Однажды именно этот кролик очутился под морковным дубом, когда с него слетел желудь, попавший ему в голову.

Он получил сотрясение мозга. Это был первый случай такого рода заболевания в кроличьем племени.

— Сотрясение мозга? — удивился Король неведомой болезни.

— Да, сотрясение, — подтвердили врачи.

— Значит, было что сотрясать? — догадался Король.

— Значит, было, — подтвердили врачи.

— Вылечится — назначим его на должность Старого Мудрого Кролика, — решил Король, и, когда этот рядовой кролик вылез из дупла, он сразу оказался в числе Допущенных к Столу.

— Выступишь, — сказал ему сейчас Король, мрачно оглядывая толпы ликующих кроликов, среди которых находились и такие, которые вздымали лапки, сжатые в кулачок, как бы грозя удавам.

— Кажется, это конец, — сказал Старый Мудрый Кролик.

— Надо попытаться, — сказал Король, одновременно давая распоряжение Начальнику Охраны королевского дворца проверить запасные выходы из дворца на случай бунта.

— Я старый мудрый кролик, — начал Старый Мудрый Кролик, и он был отчасти прав, потому что с тех пор, как его назначили на эту должность, он успел постареть. — Клянусь

морковным деревом, сделавшим меня мудрецом, в словах Задумавшегося...

Но тут ликование кроликов приняло угрожающие размеры. Можно было ожидать, что они немедленно переизберут Короля и посадят на его место Задумавшегося.

— ...В словах Задумавшегося, — повторил он, пропустив волну ликования, — очень много правды...

— Ура! — дружно закричали кролики, перекрывая взвизги Допущенных, которых в случае переворота ничего хорошего не ожидало.

А между тем Стремящиеся притихли и старались выглядеть так, как если бы они вообще никаких стремлений не имели. Некоторые из них даже покидали свои места, словно им очень захотелось пройтись по своим физическим надобностям. На обратном пути они сильно задерживались, узнавая в толпе кроликов своих старых знакомых и охотно заговаривая с ними.

— ...В том, что сказал Король, — продолжал Старый Мудрый Кролик, — не очень...

Толпа кроликов притихла, Старый Мудрый Кролик посмотрел на Короля и с ужасом подумал: а вдруг не переизберут? Когда толпа ликовала, ему казалось, что она сильнее Короля. Когда она замолкла, Король снова казался сильней. И поэтому он неожиданно даже для себя окончил:

— Очень много правды... Но скажи, Задумавшийся, — продолжал он, — если ты прав и кончится ужасная несправедливость по отношению к нам, разрешишь ли ты нам пользоваться нашей Великой троицей: фасолью, горохом и капустой?

— Да, да, — закричали кролики, — разреши сомнения!

Задумавшийся молча смотрел на свой народ и ничего не говорил. Между тем рядовые кролики, взявшись за лапы, стали притоптывать, повторяя:

— Разрешив воровать, разреши сомнения! Разрешив воровать, разреши сомнения!

Задумавшийся продолжал молчать. Король, сидевший мрачно опустив голову, вдруг почувствовал, что щекочущий лучик надежды коснулся его ноздрей.

— Кролики, — наконец сказал Задумавшийся, — я вам предлагаю разрешить главную нашу задачу: перестать бояться удавов. А что будет дальше, я могу только предполагать...

— Видите ли, он может только предполагать! — воскликнула Королева и, гневно разорвав листик капусты, отшвырнула его от себя.

Стремящиеся одобрительно загудели, стараясь запомнить, куда упали обрывки капустного листа.

— А еще корчит учителя жизни! — воскликнул кролик по прозвищу Находчивый. Он это воскликнул, дождавшись тишины, чтобы выделить свой голос.

Никого так не раздражал Задумавшийся, как Находчивого, потому что в юности они дружили и довольно часто влюблялись в одну и ту же крольчиху. Находчивый был уверен, что он мог бы сделать не меньше блестящих открытий, чем Задумавшийся, если бы не стремился быть Допущенным. Поглощенный философией собственного существования, он никак не находил времени заняться существованием кроликов.

— Ему хорошо, — говаривал он своим знакомым, когда речь заходила о Задумавшемся, — он-то не стремится быть Допущенным.

— А кто тебе мешает не стремиться? — спрашивали знакомые в таких случаях.

— Вы лучше спросите, кто мне помогает, — отвечал им на это Находчивый, раздумывая, как бы поприглядней попасться на глаза Королю.

Между тем Задумавшийся продолжал.

— Кролики, — говорил он, — если мы будем стремиться с самого начала увидеть самый конец, мы никогда не сдвинемся с места. Важно сделать первый шаг и важно быть уверенным, что он правильный.

— Ну хоть что-нибудь, — кричали кролики, — скажи, что ты думаешь насчет фасоли, гороха и капусты!..

— Я думаю, — сказал Задумавшийся, — когда отпадет ужасная несправедливость удавов по отношению к нам, мы должны подумать и о нашей несправедливости по отношению к огородам туземцев.

— У-у-у! — завывали недовольные кролики.

А Король покачал головой: дескать, больше слушайте его, он вам устроит счастливую жизнь.

— Дело не в том, чтобы отменять эти прекрасные продукты, — сказал Задумавшийся, — а в том, чтобы научиться самим выращивать их.

— У-у-у, — завывали кролики хором, — как неинтересно... А как мы будем обрабатывать землю?

— Не знаю, — сказал Задумавшийся, — может, мы договоримся с кротоми, может, еще что...

— У-у-у! — завывли кролики еще скучней. — А если кроты не согласятся? Значит, прощай, фасоль, горох, капуста?!

И тут от имени рядовых кроликов выступил простой уважаемый всеми кролик.

— Послушай, Задумавшийся, — сказал он, — мы все тебя любим, ты наш парень, думаешь о нас. И это хорошо. Но чего-то ты не додумал. Вот я, например, каждый день хожу в лес, в пампасы, к туземцам на огороды заглядываю... Каждый день я могу встретиться с удавом, но могу и не встретиться. Позавчера, например, не встретился, вчера тоже, и сегодня, слава Богу, как видишь, жив-здоров. Что же получается? На огородах туземцев я могу бывать каждый день, а удав меня может проглотить далеко-о не каждый день. Выходит — пока я в выигрыше. Выходит, ты чего-то не додумал, Задумавшийся. Вот пойди на свой зеленый холмик и придумай такое, чтобы и удавы нас не трогали и, как говорится, Бог троицей не обидел. Тогда мы все, как один, пойдём за тобой.

— Правильно! Правильно! — стали кричать рядовые кролики, потому что в трудную минуту решение не принимать никакого решения было для кроликов самым желанным решением.

— Я лично первый пойду за тобой, — крикнул Король кроликов, — как только твои выводы подтвердятся!

— Да здравствует наш благородный Король! — стали кричать кролики, довольные своим решением не принимать никакого решения.

— Более того, — продолжал Король, — чтобы Задумавшийся мог думать, не отвлекаясь, ежедневно с нашего стола будут выдаваться его семье две полноценные морковины!

— Да здравствует Король и его щедрость! — закричали кролики.

— Размножаться с опережением — вот наше оружие! — крикнул Король и в знак того, что собрание закончено, взяв за лапку Королеву, удалился к себе во дворец.

Кролики тоже, окликавая попутчиков, разошлись по своим норам. Некоторые из них, чувствуя угрызения совести, горячо хвалили замечательную идею Задумавшегося, хотя и указывали на ее некоторую незрелость.

Иные кролики спрашивали у жены Задумавшегося, довольна ли она королевской помощью.

— Это невесть что, но все-таки кое-что, — отвечала она любопытствующим кроликам и, в свою очередь, пыталась узнать, включается ли сегодняшний день в пенсионный срок и сможет ли она на этом основании получить завтра четыре морковины у Королевского Казначея, известного своей скаредностью и крючкотворством.

— Сегодняшний день включительно! — со всей либеральной решительностью отвечали ей кролики, и тем либеральней и тем решительней отвечал каждый, чем больше не хватило ему решительности поддержать ее мужа во время собрания.

Печально сидел Задумавшийся на опустевшей Королевской Лужайке. Возле него остался один молодой кролик, не

только поверивший в правильность его учения (таких было немало), но и решившийся, рискуя спокойной жизнью, следовать за ним.

— Что теперь делать? — спросил он у Задумавшегося.

— Ничего не остается, — отвечал Задумавшийся, — будем думать дальше.

— Можно я буду думать с тобой? — спросил молодой кролик. — С тех пор как я услышал то, о чем ты говорил, у меня появилась жажда знать истину.

— Будем думать вместе, Возжаждавший, — сказал Задумавшийся. — Я всю силу своего ума тратил на изучение удавов, но о том, что сами братья-кролики не подготовлены жить правдой, я не знал...

На следующее утро жизнь кроликов продолжалась по-старому. Часть из них ушла пастись в пампасы, часть предпочла тенистые джунгли, а некоторые отправились на огороды туземцев.

Задумавшийся с утра сидел на зеленом холмике, где он и раньше обдумывал свои наблюдения над удавами. Теперь к размышлениям об удавах прибавились тревожные думы о своем же брате-кролике. С этого холмика открывался чудесный вид на пампу, на изгиб реки, широко разлившейся внизу и поэтому названной обитателями джунглей Лягушачьим Бродом.

Возжаждавший с утра пасся на склоне зеленого холмика, время от времени поглядывая на Задумавшегося и стараясь

издали по его позе определить, пришло ему в голову что-нибудь новое или еще нет. Через некоторое время умственное любопытство победило его аппетит, и он, слегка недозавтракав, взобрался на зеленый холмик.

В это время в обширной столовой королевского дворца шел обильный по случаю вчерашней победы завтрак. Все Допущенные к Столу, естественно, сидели за столом. Король был в хорошем настроении, за завтраком он много шутил и то и дело подымал высокий бамбуковый бокал, наполненный кокосовой брагой, после чего Допущенные быстро наполняли свои бокалы и выпивали вместе со своим Королем этот веселый бодрящий напиток.

Интересно отметить, что среди Допущенных к Столу сидели несколько охранников. Под видом Допущенных к Столу они следили за разговорами Допущенных к Столу, чтобы вовремя обнаружить следы заговора или просто отклонений от королевской линии, которые впоследствии могли бы привести к заговору.

Но так как они, хотя и сидели под видом Допущенных, на самом деле не были Допущенными, им по инструкции полагалось меньше налегать на особенно ценные продукты, какими считались капуста, горох и фасоль. Но так как Допущенные к Столу знали, что среди них есть охранники, сидящие под видом Допущенных, а также знали, что охранникам не положено есть по норме Допущенных, они следили за тем, как едят остальные Допущенные, и в то же время сами старались есть как можно больше, чтобы их не приняли, как гово-

рится в кроличьем просторечии, за шпионов. Но так как те, кого в кроличьем просторечии именовали шпионами, знали, что, если они будут скромничать за столом, остальные обнаружат их истинные застольные функции, они, стараясь замаскироваться, ели как можно больше, что соответствовало их личным склонностям.

Таким образом получалось, что за королевским столом все ели с огромным патриотическим аппетитом.

На этот раз среди Допущенных не было кролика, занимавшего должность Старого Мудрого Кролика. Его вчерашние колебания, разумеется, не остались незамеченными Королем. На его месте теперь сидел Находчивый, предложивший переименовать Старого Мудрого Кролика в Стармуда, что было встречено веселым одобрением. Король по этому поводу рассказал несколько анекдотов из жизни Стармуда.

В разгар завтрака в столовую вошел, ковыряясь в своих изъеденных временем зубах, тот, над которым сейчас все смеялись и который еще вчера считался первым королевским советником. Оказывается, теперь он завтракал на кухне. Как раз в это время Король шутливо предложил поставить своего бывшего мудреца под сенью морковного дуба и дожидаться, когда ему на голову упадет морковный желудь, чтобы посмотреть, получит он теперь сотрясение мозга или нет. Все Допущенные, смеясь королевской шутке, уверяли, что теперь там нечего сотрясать.

— Я знаю, — сказал вошедший, — за что меня пересадили на кухню, но я не знаю, почему мне подали не очень свежие овощи.

— Как, как? — переспросил Король, подмигивая сидящим за столом. — Тебе подали не очень... очень свежие овощи?

Допущенные к Столу стали заходиться в хохоте. При этом многие из них падали на стол с той нежной доверчивостью, с какой влюбленные при подобных обстоятельствах падают на грудь своих возлюбленных, нередко сочетая это движение с мимолетной лаской. В данном случае они, падая на стол, невзначай прихватывали ртом листик капусты или стручок свежего гороха, что, по-видимому, совпадает по смыслу с мимолетной лаской влюбленных.

— Клянусь морковным дубом, сделавшим меня мудрецом, — сказал вошедший, — я оговорился... Но ведь я же потом исправил ошибку?

— Еще бы, — отвечал Король, улыбаясь, — иначе ты завтракал бы не на кухне, а где-нибудь подальше. Ну ладно, садись, я добрый. В другой раз будешь знать, кто снабжает витаминами твой не очень-очень сообразительный мозг.

Таким образом, под хорошее настроение Старый Мудрый Кролик был возвращен к столу. Правда, Король оставил за ним шутовскую кличку Стармуд, что, с одной стороны, вносило в его должность некоторую шутовскую двусмысленность, а с другой стороны, еще больше приближало Находчивого к королевскому семейству.

Примерно с месяц Находчивый жил в числе Допущенных к Столу, припеваючи и попиваючи лучшие королевские напитки, не говоря о самых свежих овощах, доставляемых с огородов туземцев.

Все здесь Находчивому нравилось и только одно удивляло, что, когда собираются Допущенные к Столу, почему-то ни Король, ни остальные не говорят о Цветной Капусте. Это было очень странно, потому что Король при каждой встрече с рядовыми кроликами так или иначе касался вопроса о Цветной Капусте. А здесь почему-то не принято было о ней говорить.

Раздумывая об этом, он решил, что, вероятно, среди Допущенных к Столу есть еще более узкий круг посвященных, то есть Сверхдопущенные к Столику, и они, вероятно, не только говорят о Цветной Капусте, но хотя бы раз в неделю пробуют ее. Так думал Находчивый, а спросить ни у кого не решался, потому что не знал, кто именно среди Допущенных к Столу допущен к Столику. Спросить, думал Находчивый, значит признаться, что ты сам к этому Столику не допущен. Он решил дожидаться случая и спросить обо всем самого Короля.

И такое время пришло, потому что Король однажды сам попросил его остаться с ним после обеда для личной беседы.

— У меня к тебе поручение всенародной важности, — сказал Король и, когда Королева прикрыла дверь и, возвратившись, присела рядом с Находчивым, добавил: — Ты готов его исполнить?

— О Король, — сказал Находчивый, опуская глаза.

— Тут наш придворный Поэт набросал куплет. Так вот, ты должен выйти в джунгли на Нейтральную Тропу и на протяжении всего пути туда и обратно спеть этот куплет...

— Мои уши к вашим услугам, — сказал Находчивый и шевельнул ушами.

Король внимательно посмотрел на его уши, как бы стараясь определить, насколько они надежны.

— Тогда слушай, — сказал Король и прочел стихотворение, записанное соком бузины на широком банановом листе:

*Задумавшийся кролик
На холмике сидит.
Видны оттуда пампа
И Лягушачий Брод.
Но буря все равно грядет!*

Вздрогнуло сердце Находчивого от страшной догадки.

— Ваше Величество, — с дрожью проговорил он, — не означает ли...

— Не означает, — перебил его Король, нахмурившись.

Находчивый сразу же понял, что пропеть этот куплет — значит выдать удавам своего собрата Задумавшегося. И он сразу же решил отказаться от королевского Стола и уйти в рядовые кролики. Ведь все-таки он был от природы не злой, хотя и очень честолюбивый. Но тут был один щекотливый момент. По принятому придворному этикету кролик, разжалованный в рядовые, обязан был возратить Королю все полученные награды.

Значит, он должен был возратить и тот капустный лист, который ему когда-то подарила Королева и с которого началось его возвышение. Но дело в том, что на обратном пути домой он на радостях съел половину капустного листа, хотя ни-

как не должен был его есть, ибо сам же обещал засушить его на память.

Дело в том, что, принимая от Королевы капустный лист в качестве подарка, как она ему предлагала, он имел право его съесть, но, возвышая подарок до награды, как он сам ей предложил, он уже не имел права его съесть.

Все это сейчас с быстротой молнии промелькнуло в голове Находчивого, и он понял, что ему неловко, что он никак, ну, никак не может возратить Королеве этот наполовину обещанный капустный лист. Конечно, он понимал: никто его за это преследовать не будет, — но так уж устроены кролики, что им сегодняшняя неловкость непереносимей завтрашнего предательства. Неловкость — это сейчас, вот-вот, а завтра — это еще бабушка надвое сказала, может, вообще ничего не будет или, скажем, будет солнечное затмение и по этому поводу все отменят.

— Хорошо, — сказал Находчивый, вздохнув и бросив мученический взгляд на Королеву, — только можно я одну поправку внесу?

— Если это не меняет сути, — согласился Король.

— Я хотел бы пропеть так, — сказал Находчивый и пропел:

*Задумавшийся некто
На холмике сидит.
Видны оттуда пампа
И Лягушачий Брод
Но буря все равно грядет!*

— Идет! — сказал Король и весело хлопнул Находчивого по плечу. Он понял, что Находчивый, пытаясь перехитрить его, на самом деле довольно успешно перехитряет свою совесть. — Тем более, — добавил Король, — что некоторые считают, будто вообще все это предрассудки...

— А можно я еще одну поправку внесу? — попросил Находчивый и, не дожидаясь согласия Короля, быстро пропел:

*Задумавшийся некто
На холмике сидит.
Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па
И Ля-ля-ля-чий Брод.
Но буря все равно грядет!*

— Ну, это уже романс без слов, — махнул рукой Король, — вот что значит дать слабину...

— Ничего, ничего, — вдруг перебила его Королева, — так получается еще приманчивей. Только у меня одна просьба. Пожалуйста, когда будешь петь, последние два слова в третьей строчке бери как можно выше. Пам-пам, пам-пам, пам, П-А-А-М! Па. Понятно?

— Конечно, — сказал Находчивый, — я обязательно учту.

— Ладно, — сказал Король, — так и быть! Добавь только одно слово... Значит так: «Видны пам-пам, пам, П-А-А-М! Па», и не будем торговаться.

— Хорошо, Ваше Величество, — сказал Находчивый.

— И Ля-ля-ля-чий Брод, говоришь? — спросил Король, проверяя на слух последнюю строчку.

— Совершенно верно, — подтвердил Находчивый, — и Ля-ля-ля-чий Брод, пою...

— В наших краях, — сказал Король, задумавшись, — известны три брода: Тигриный, Обезьяний и Лягушачий... Не получится ли путаница?

— Да нет же, — сказала Королева, — не надо думать, что они глупее нас.

— Мой Король, — спросил Находчивый, — я одного не пойму. При чем тут строчка: «Но буря все равно грядет»?

— Ну, ты же знаешь нашего Поэта, — сказал Король, — он ведь жить не может без бури...

— А он знает, для чего будут использованы его стихи? — спросил Находчивый. Ему было бы легче, если бы не он один участвовал в предательстве Задумавшегося.

— Нет, конечно, — поморщился Король, — он Поэт, он парит в небесах. Зачем его посвящать в наши малоприятные земные дела.

— Да, конечно, — грустно согласился Находчивый.

— Ладно, — сказал Король, — текст утрамбован окончательно. Я удивляюсь, как ты быстро сообразил убрать некоторые натуралистические подробности...

— О Король, — потупился Находчивый, — в таких случаях само соображается...

— Кстати, — вспомнил вдруг Король лукаво, — можешь доесть тот капустный листик, что тебе подарила Королева...

— О Королева, — прошептал Находчивый и, ужасно смутившись, спрятал голову между лапками, — простите эту... сладость...

— Чего уж там, — добродушно взбодрил его Король, — все мы кролики... Но какова служба информации, а, Королева?

— Ах ты, плутишка, — промолвила Королева и с грустной укоризной погрозила лапкой Находчивому, — надо было видеть, Король, с каким неподдельным жаром он воскликнул: «Никогда!».

Тут Королева подала Находчивому королевский журнал, где было записано, что такого-то числа придворный кролик Находчивый выступит на Нейтральной Тропе с исполнением «Вариаций без слов на тему Бури», дабы всем жителям джунглей было бы ясно, что кролики бодро живут и бодро размножаются.

Находчивый расписался, и Король собственноручно потрепал его по плечу.

— Теперь проси, — сказал Король, — что-нибудь такое, что бы тебе нравилось и что бы я мог сделать.

— Я только спрошу, — отвечал Находчивый. — Я удивляюсь, что за королевским столом никогда не говорят о Цветной Капусте, тогда как, беседуя с народом, вы и другие часто вспоминаете о ней.

— А что говорить, — пожал плечами Король, — опыты проходят успешно, и мы им всячески способствуем... Все Младодопущенные думают, что кроме Допущенных к Столу есть еще Сверхдопущенные к Столику...

— А разве нет? — опечаленно спросил Находчивый.

— Нет, дорогой мой, — дружески приобняв его, отвечал Король, — больше не к чему мне вас допускать, разве что супружеское ложе...

— Фу, Король, как грубо, — сказала Королева, отворачиваясь и в то же время стрельнув глазами в сторону Находчивого.

Но Находчивый так опечалился, что даже не заметил этого.

— Теперь ты понимаешь, — сказал ему Король, — почему мне трудней всего?

— Нет, — сказал Находчивый, очень огорченный, что Сверхдопущения не существует.

— Потому что для каждого из вас, — отвечал Король, — есть тайна, вам есть к чему стремиться. А у меня нет тайны постижения. Если я уж чего не понимаю, так это навсегда. Вот почему мне трудней всех в моем королевстве. Но у меня одно утешение... Ему, — Король показал лапой на небо, — еще трудней.

— Но если нет Сверхдопущения к Столику, то и мне не к чему стремиться! — воскликнул Находчивый, через свое разочарование поняв печаль Короля. — Как это грустно!

— Это у тебя пройдет, — сказал Король уверенно, — со временем стремление удержаться за Столом делается единственным неутоляемым стремлением Допущенных к Столу. А теперь ступай... Выпись... И завтра со свежими силами на Нейтральную Тропу...

Находчивый раскланялся и покинул королевский дворец.

— Знаешь, чем мне нравится Находчивый? — сказал Король, прохаживаясь по кабинету. — Тем, что у него есть совесть.

— С каких это пор? — спросила Королева несколько удивленно.

— Ты ничего не понимаешь, — сказал Король, останавливаясь посреди кабинета. — Когда даешь кролику деликатное поручение, несмертельная доза совести бывает очень полезна.

— Я не очень тебя понимаю, — отвечала Королева рассеянно, потому что она все еще была огорчена тем, что Находчивый с его такими живыми глазами оказался такой ненадежный.

— Да, — повторил Король, продолжая прохаживаться по кабинету, — когда кролик, выполняя деликатное поручение, испытывает некоторый стыд, он старается как можно чище выполнить его, чтобы потом не извиваться от стыда, оставив за собой неряшливые улики. А это как раз то, что нам надо. Несмертельная доза совести, вот что должны прививать кроликам наши мудрецы.

— Но каковы мужчины, — сказала Королева, вздохнув, — сам говорил: «Никогда!». И сам же его съел.

— Будем надеяться, что съест, — ответил Король невпопад, обдумывая, как бы получше внедрить в сознание кроликов несмертельную дозу совести, чтобы они, работая на благо королевства, никогда не оставляли за собой неряшливых улик.

Сейчас мы немного отвлечемся от нашего сюжета и расскажем историю взаимоотношений Короля кроликов и Поэта.

В характере Поэта причудливо сочетались искреннее сочувствие всякому горю и романтический восторг перед всякого рода житейскими и природными бурями.

Кстати, Король пришел к власти благодаря одной из бурь, которые неустанно воспевал Поэт.

— Это не совсем та буря, которую я звал, — говаривал Поэт, в первое время недовольный правлением Короля.

Но потом они примирились. Король его соблазнил, обещав ему воспевание бурь сделать безраздельным, единственным и полным содержанием умственной жизни кроликов. Против этого Поэт не мог устоять.

Одним словом, Поэт ужасно любил воспевать буревестников и ужасно не любил созерцать горевестников.

Увидит буревестника — воспоеет. Увидит горевестника — восплачет. И то и другое он делал с полной искренностью и никак при этом не мог понять, что воспевание буревестников непременно приводит к появлению горевестников.

Бывало, не успеет отрыдать на плече горевестника, а уже высмотрит из-за его поникшего плеча взмывающего в небо буревестника и приветствует боевую птицу радостным кличем.

Он был уверен, что его поэтический голос непременно взбодрит буревестника и напомнит окружающим кроликам, что кроме любви к свежим овощам есть еще высшее предназначение — любовь к буре. Кролики иногда прислушивались к его голосу, сравнивая любовь к овощам с любовью к высшему предназначению, и каждый раз удивлялись, что любовь

к овощам они ясно ощущают в своей душе, а любовь к высшему предназначению они чувствуют очень смутно, точнее, даже совсем не чувствуют.

В старости Поэт все также восторгался при виде буревестника, но, ослабнув зрением, стал за него иногда принимать обыкновенную ворону. И Король, чтобы Поэт не конфузился перед рядовыми кроликами, велел приставить к нему глазастого крольчонка-поводыря, чтобы тот его вовремя останавливал. Кстати, крольчонок этот оберегал Поэта и от всяких колдобин и ям, когда они гуляли в пампасах, потому что Поэт все время смотрел на небо в поисках буревестника и не замечал вокруг себя ничего.

— Разразись над миром... — бывало, начинал Поэт, но тут его перебивал глазастый крольчонок:

— Дяденька Поэт, это не буревестник, это ворона!

— Ах, ворона, — отвечал Поэт, несколько разочарованный. — Ну ничего, призыв к буре никогда не помешает!

Но мы опять отвлеклись, а надо о жизни Поэта и Короля рассказывать по порядку. К тому же вся эта история, в сущности, гораздо грустнее, и надо соответственно снизить тон.

Одним словом, когда Король и Поэт примирились, Король обещал в самое ближайшее время ввести всеобщее образование кроликов.

— Только так мои мудрые повеления и твои божественные стихи смогут стать достоянием всех кроликов, — говаривал Король.

Но оказалось, что будни королевской жизни заполнены таким большим количеством государственных мелочей, что до великих замыслов руки у Короля никак не доходили.

— Крутишься на троне, как белка в колесе, — оправдывался Король, когда друг юности напоминал о его смелых замыслах, — но я велел заготовить еще десять кадок чернил. Так что кое-что делается в этом смысле.

Король заготавливал впрок чернила из сока бузины, чтобы, когда придет время, сразу все королевство кроликов обеспечить средствами борьбы с безграмотностью. Но время шло, а до всеобщего образования кроликов руки у Короля никак не доходили. Единственное, что он успевал сделать, это время от времени давать распоряжения заготовить еще несколько кадок чернил из сока бузины на случай будущих надобностей.

Но время надобностей никак не наступало, а сок бузины, перебродив в кадках, превращался в прекрасный крепкий напиток, о чем, впрочем, никто не подозревал, пока через многие годы Поэт однажды, мучительно грызя свое поэтическое перо, случайно не всосал сквозь его трубчатое тело бодрящий сок чернил. Слух о свойствах чернил быстро распространился среди кроликов, и они стали проявлять неудержимую склонность к самообразованию.

Но подробнее об этом мы расскажем в другом месте. Держа в руках королевскую власть, Король кроликов с горечью убеждался, что все силы уходят на то, чтобы эту власть удержать. Для чего власть, думал Король иногда, если все силы уходят на то, чтобы ее удержать? В конце концов он пришел

к такому решению, что надо увеличить королевскую охрану, чтобы освободить свое время и силы для дел, ради которых он и рвался к власти.

И он увеличил королевскую охрану и почувствовал, что ему становится легче: часть сил, уходившая на то, чтобы удержать власть, освободилась. Но в один прекрасный день ему в голову пришла вполне здравая мысль, что такая сильная охрана может сама попытаться отнять у него власть. Как же быть?

Если сейчас внезапно уменьшить охрану, решил Король, злоумышленники подумают, что наступил удобный случай для захвата власти. Поэтому он еще больше увеличил охрану, дав новым охранникам тайное задание охранять Короля от старой охраны.

Но это еще больше осложнило положение Короля. Стало ясно, что новая охрана, имея такие широкие полномочия среди старой охраны, будет слишком безнадзорной и потому опасной для Короля. Тогда он старой охране дал тайное указание следить за новой охраной на случай, если новички захотят его предать.

Но это еще больше запутало Короля и осложнило его жизнь. Имея такую огромную охрану с такими сложными полномочиями, надо было дать каждому охраннику какую-то ежедневную работу, иначе, развратившись от безотчетной власти, любой из них мог стать злоумышленником.

И вот, чтобы у каждого была работа и каждый должен был бы отчитываться за нее, пришлось вести слежку за всем пле-

менем кроликов и в особенности за теми кроликами, которые находились на королевской службе. Но среди тех, кто находился на королевской службе, было немало кроликов, которым Король абсолютно доверял. Это были товарищи его юности, помогавшие ему взять власть в свои руки.

И вот пришлось установить слежку и за этими кроликами, хотя Король им доверял. Сложность его теперешнего положения состояла в том, что он не мог сказать: таких-то и таких-то кроликов надо освободить от слежки, потому что он им доверяет, а за такими-то следить. Это было бы слишком не похоже на Закон, который должен ко всем относиться безразлично.

— Я себя не исключаю, — говорил Король Начальнику Охраны, — если обнаружите, что я в заговоре против своей законной власти, карайте меня, как всех.

— Только попробуйте войти в такой заговор, — грозно отвечал ему Начальник Охраны, и это успокаивало Короля.

Ведь если вводится закон о тайной слежке, он должен относиться ко всем одинаково, думал Король. Ведь если всех кроликов, находящихся на королевской службе, разделить на тех, за кем надо следить, и тех, за кем не надо следить, это вызовет в умах охранников слишком грубые и ошибочные представления о том, что есть кролики, которым все доверяют, и есть кролики, которым ничего не доверяют. На самом деле все обстоит намного сложнее, и истина более опасно переливчата.

Те, за которыми следят, узнав, что есть те, за которыми не следят, могут слишком сильно обидеться и уже в глубоком подполье устроить заговор против Короля.

Но то же самое могут сделать и те, за которыми не следят. Именно в силу того, что кругом за всеми следят, а за ними не следят, они могут по закону соблазна устремиться к осуществлению возможностей, вытекающих из этого положения.

А между тем, установив слежку за друзьями юности, которым он доверял, Король чувствовал угрызения совести. Друзья его юности, заметив, что за ними установлена слежка, и, значит, Король им не доверяет, стали с ним вести себя сдержанней, то есть, с его точки зрения, стали скрытными.

Но все-таки каждый раз, когда он думал о друзьях юности, за которыми он установил слежку, он чувствовал угрызения совести, и от этого ему было неприятно. Время шло, и постепенно Король позабыл, почему, вспоминая о друзьях своей юности, он чувствует какую-то неприятность.

Он только чувствовал, что они ему внушают какое-то неприятное чувство, и решил, что чувство это вызывается их подозрительной сдержанностью.

Сам того не замечая, он перед собой пытался оправдать свою неприязнь к друзьям юности за счет донесений тех, кто следил за ними. Слушая доклады об их жизни, он каждый раз проявлял такой живой и жадный интерес ко всему, что в их жизни могло показаться подозрительным, что следящие за ними не могли не почувствовать этого. Почувствовав живой интерес Короля ко всему подозрительному, следящие сначала бессознательно, а потом и сознательно стали подчеркивать в своих донесениях все, что вызывало живой интерес Короля.

Как это ни странно, им помогало именно то обстоятельство, что друзья его юности были абсолютно чисты. В таких случаях именно чистые кролики подвергаются наиболее опасной клевете. Существо, имеющее профессию выявлять в другом существе возможности враждебных мыслей или действий, не может рано или поздно не постараться обнаружить такие мысли и такие действия. Долгое время ничего не обнаруживая, оно слишком явно обнаруживает ненужность своей профессии.

Но почему более чистый кролик в таких случаях должен страдать сильнее?

Не давая никаких реальных примет враждебности, он вынуждает кролика, следящего за ним, рано или поздно приписывать ему какую-нибудь подлость. И при этом немалую подлость. Но почему немалую? Так устроена психология кроликов. Не приписывать же кролику, на которого надо донести, что он скрыл от королевского склада лишнюю морковку. Это как-то глупо получается! Чтобы оправдать перед собой подлость доноса, доносящий кролик выдуманное злодеяние делает достаточно значительным, и это ему самому помогает приписать чувство собственного достоинства. Одно дело, когда кролик приписал другому кролику заговор против Короля, и совсем другое дело, когда он приписал ему лишнюю морковку, не сданную на королевский склад.

Психология кроликов так забавно устроена, что доносящему кролику проще доказать, что невинный кролик устроил заговор против Короля, чем доказать, что тот же невин-

ный кролик подворовывает на складе королевскую морковку.

В последнем случае начальник, которому он докладывает об этом, вполне может спросить:

— А кто, собственно, видел, что он ворует морковку?

И тогда доносящий кролик должен привести убедительные доказательства.

Но если доносящий кролик докладывал начальнику о заговоре против Короля, в котором участвует тот или иной кролик, то начальник не мог спросить у него:

— А где, собственно, доказательства существования заговора?

Почему не мог спросить? Да просто потому, что так устроена психология кроликов. Когда какого-нибудь кролика обвиняют в государственной измене, требовать доказательств существования этой измены считается у кроликов ужасной бестактностью. Такой нежный, такой интимный вопрос, как верность или неверность Королю, и вдруг какие-то грубые, зримые, вещественные доказательства. С точки зрения кроликов это было некрасиво и даже возмутительно.

И стоит ли удивляться, что доносящий кролик, услышав от начальника требование доказательств измены того или иного кролика, мог воскликнуть в порыве патриотического гнева:

— Ах, ты не веришь в существование заговора?! Да ты сам в нем состоишь!

В королевстве кроликов страшнее всего было оказаться под огнем патриотического гнева. По обычаям кроликов, па-

триотический гнев следовало всегда и везде поощрять. Каждый кролик в королевстве кроликов в момент проявления патриотического гнева мгновенно становится рангом выше того кролика, против которого был направлен его патриотический гнев.

Против патриотического гнева было только одно оружие — перепатриотичить и перегневить патриота. Но сделать это обычно было нелегко, потому что для этого нужен разгон, а разогнаться и перепатриотичить кролика, который вплотную подступился к тебе со своим патриотическим гневом, почти невозможно.

В силу вышеизложенных причин начальники доносящих кроликов не решались требовать доказательств, когда речь шла об измене Королю того или иного кролика.

Совершив несправедливость по отношению к своим бывшим друзьям, Король в глубине души готов был ожидать, что они постараются отомстить ему за эту несправедливость. И когда стали поступать сведения об их измене, он эти сведения воспринимал с жадным удовлетворением. Вскоре в окружении Короля не осталось ни одного из старых друзей, кроме Поэта. А что же он?

Сначала он напоминал Королю о его великих предназначениях, и Король ему неизменно отвечал, что все помнит хорошо, но пока, к сожалению, приходится вертеться на троне, как белка в колесе. Кроме того, он приказывал заготовить еще несколько кадок чернил, чтобы, когда придет время всеобщего образования кроликов, быть наготове.

Поэта сначала мучила совесть, и он решил, по крайней мере, ничего прямо прославляющего Короля не писать. Но что-то мешало ему уйти от придворной жизни и роскоши, к которой привык и он, и, что самое главное, его постепенно разросшаяся семья.

— Ведь Король все-таки кое-что делает для будущего, — говаривала жена Поэта, — вон новые кадки с чернилами стоят на королевском складе.

— Придется подождать, посмотреть, — утешал себя Поэт и делал то, что мог, а именно не писал стихов, прославляющих Короля.

Когда Король стал уничтожать своих друзей, кроме мучений совести Поэт стал чувствовать мучения страха.

Он считал, что Король преувеличивает опасность, но, видимо, нет дыма без огня, ведь его, Поэта, не арестовывают, не подвешивают за уши, как других кроликов.

Однажды Король пригласил его на ночную оргию, где пили хорошо перебродивший нектар и веселились в обществе придворных балеринок. Поэту пришлось веселиться со всеми, чтобы не обижать Короля. Впрочем, сам Король неожиданно освободил его от не слишком настойчивых угрызений совести.

— Ох, и достанется нам когда-нибудь от нашего Поэта, — сказал Король шутливо в разгар оргии.

Сам того не ведая, он заронил в душу Поэта великую мечту. Он решил, что отныне вся его жизнь будет посвящена разоблачению Короля гневной поэмой «Буря Разочарования». И ему сразу стало легче.

С тех пор он не пропускал ни одного греховного увеселения Короля, оправдывая это тем, что он все должен видеть своими глазами, чтобы разоблачение было глубоким и всесторонним.

— Мне что, для меня все это только материал, — говаривал он, глотая цветочный нектар или обнимая придворную балеринку.

Поэт очень быстро привыкал к материалу, который впоследствии собирался разоблачить гневным сатирическим пером. Иногда ему самому представлялось странным, что он вновь и вновь старается испытать те низменные удовольствия, которые он уже испытывал. Ему все казалось, что он еще недочувствовал каких-то тонких деталей нравственного падения Короля.

И все-таки он искренне готовился написать свою поэму «Буря Разочарования». Он думал начать ее, как только удалится от придворной жизни. А удалиться он собирался, как только изучит все детали падения Короля. Он считал аморальным начинать поэму, пока сам пользуется всеми льготами придворной жизни.

Поэтому он решил, не теряя времени, разрабатывать поэтические ритмы своей будущей разоблачительной поэмы. Работа с ритмами без слов ему очень понравилась. С одной стороны, его гневные порывы не пропадали даром, а с другой стороны, смысл их оставался недоступным придворным шпионам.

Он сочинял какой-нибудь ритм, записывал его на листке магнолии и прятал в ящик, сокращенно написав на ритме

смысл его будущего предназначения, чтобы потом не забыть. Иногда он эти ритмы читал Королю, и Король всегда одобрял свежесть и наступательный порыв каждого нового ритма.

Однажды он прочел ему ритм, выражавший ярость по поводу медлительности Короля в деле всеобщего образования кроликов.

Одобрив ритм, Король сказал:

— Тебе хорошо, ты разговариваешь прямо с Богом, а мне с кроликами приходится иметь дело. Я тебя прошу, заполни этот ритм яростным разоблачением кроликов, медлящих с уплатой огородного налога.

Услышав такую просьбу, прямо противоречащую смыслу его ритма, Поэт растерялся и согласился исполнить просьбу Короля. Ему показалось, что Король что-то заподозрил, и он таким образом решил рассеять его подозрения. Он пришел домой и написал заказанные ему стихи.

Между тем несправедное использование ритма праведной ярости вызвало в душе Поэта новый прилив еще более яростного ритма, и он, записав его, окончательно успокоился. Как обычно, для маскировки он сделал заголовок над записью ритма: «Повторная ярость по поводу...»

— Дорого обойдется Королю это мое унижение, — сказал он себе, представляя, как он исхлещет Короля, когда заполнит словами ритмы повторной ярости.

Теперь каждый раз, когда Король такими беспардонными просьбами унижал его божественные, ну, если не божественные, то, во всяком случае, праведные ритмы, в душе Поэта за-

рождался новый ритм протеста, и он его записывал, чтобы в будущем еще более язвительными стихами разоблачить Короля в поэме «Буря Разочарования». Так что теперь, читая Королю свои новые ритмы, он с немалым самоедским удовольствием ждал нового унижительного задания.

Кстати, во время исполнения одного из этих унижительных заданий он, грызя верхний конец своего гусиного пера, случайно втянул чернила из перебродившего сока бузины и почувствовал прилив вдохновения. Позже, как мы уже говорили, открытие его стало достоянием всего племени кроликов.

Наконец он принял решение уйти со двора, чтобы начать поэму, но тут жена стала на его пути. Она сказала, что ему сейчас хорошо уходить со двора, он уже прожил свои лучшие годы, а каково его подростку сыну покидать двор, когда перед ним раскрывается такая карьера.

— Вот устрой сына, тогда уйдем, — сказала она ему, — а ты пока еще пособирай ритмы...

И он устроил сына в Королевскую Охрану, и ему по этому поводу пришлось вынести унижительный разговор с Начальником Охраны, которого он не любил за жестокость и который его презирал за стихи.

Но и после этого он не смог покинуть двор. Упрямая жена его начала закатывать истерики, потому что поэтическая глушь, о которой он мечтал, была малоподходящим местом для его дочерей, собирающихся выйти замуж за кроликов придворного круга.

— Пристроим сначала дочерей, — рыдала она, — а ты пока пособирай ритмы.

— Да я уже вроде достаточно собрал, — пытался он вразумить жену.

Но вразумить жену не удалось еще ни одному поэту, и ему пришлось подождать, пока дочери выйдут замуж. А все это время он принимал участие в различных увеселениях Короля, хотя пока еще и не принимал участия в его коварных проделках.

Именно в это время Король придумал хитроумный, как ему казалось, способ убирать подозрительных кроликов. Дело в том, что в вегетарианском королевстве кроликов смертной казни не существовало, а убирать всех подозрительных кроликов при помощи удавов было слишком хлопотно. И вот что он придумал.

Он стал объявлять ежегодный конкурс на должность Старого Мудрого Кролика. Как известно, Старый Мудрый Кролик попал на эту должность после того, как он получил сотрясение мозга от упавшего на его голову морковного желудя, когда он находился под сенью морковного дуба. Получив сотрясение мозга, кролик этот неопровержимо доказал, что в его голове было, что сотрясать, и его назначили на эту должность.

С тех пор подозрительных кроликов, а подозрительными Король находил именно тех кроликов, которые выступали за дальнейшее усовершенствование правления кроликов, Король заставлял принимать участие в конкурсе на должность Старого Мудрого Кролика.

— Посмотрим, — говорил он, — если выяснится, что вы и есть в настоящее время Старый Мудрый Кролик, мы тогда серьезно обдумаем ваши предложения.

Кроликов, заподозренных в претензии на должность Старого Мудрого Кролика, ставили под морковный дуб, после чего сверху начинали трясти дерево, чтобы вызвать при помощи падающих морковных желудей сотрясение мозга конкурентов.

Обычно несколько кроликов после этого погибало от наиболее прямых попаданий морковных желудей. Оставшиеся кролики продолжали конкурс победителей, и в конце концов, когда оставался последний кролик, он или отказывался от претензий на должность Старого Мудрого Кролика, или, если не отказывался, придворный врач объявлял, что он не получил сотрясение мозга по той простой причине, что в голове его нечего было сотрясать.

Поэт не только не одобрял этого издевательства над наивным тщеславием кроликов, но, рыдая, следил за жестоким зрелищем. Щадя его чувствительное сердце, придворные кролики иногда пытались увести Поэта в сторону от моркового дуба, но он, продолжая рыдать, упирался и не уходил.

— Нет, — говорил он, — я должен испить эту чашу до дна.

При этом, утирая глаза, он мельком успевал взглянуть на небо, по-видимому, в ожидании утешительного пролета гордой птицы.

Интересно отметить, что во время ежегодного конкурса, в разгар тряски моркового дуба некоторые кролики, вовсе

ни в чем не заподозренные, сами вбегали в зону падения желедей, надеясь, что вдруг в них обнаружится мудрость, достойная должности Старого Мудрого Кролика.

Наблюдая за картиной этого горестного выявления мудрости, Поэт не только создал ритм, выражающий бурю протеста, но и, рискуя своим положением, заполнил словами его начало. В узком кругу доверенных друзей он его иногда читал:

*Разразись над миром, буря,
Порази морковный дуб!*

Прочитав эти строчки, он молча всовывал в стол листик магнолии, на котором они были написаны, а потрясенные друзья переглядывались, покачивая головой и тем самым выражая догадку о безумной храбрости зашифрованной части стихотворения.

— А ведь морковный дуб растет рядом с дворцом, — наконец произносил один из них.

— В том-то и вся соль, — добавлял другой.

Впрочем, безумная храбрость на этом заглохла. Поэт считал, и притом не без оснований, что, пока он находится при дворе, пользуясь излишествами в еде и сладострастными излишествами ночных оргий, он не имеет никакого права выступать против Короля.

Но вот дочери его вышли замуж, и тут всплыло новое обстоятельство. Оказывается, работнику Королевской Охраны,

то есть его сыну, как кролику, приобщенному к тайнам охраны, запрещено иметь родственников, удаленных или тем более добровольно удалившихся за границу двора.

Пришлось помочь сыну уйти из охраны и перевести его на работу в казначейство. На это ушел еще один год.

И тут обнаружилось, что через год исполняется двадцать лет его безупречной службы Королю и по законам королевства он должен получить звание Первого Королевского Поэта. Такое звание при жизни ничего не давало, потому что у него уже было все, но после смерти давало ему право захоронения в Королевском Пантеоне среди самых почетных кроликов королевства.

Удалиться со двора перед самым получением этого звания было бы неслыханной дерзостью, а уходить после получения звания было бы хамской неблагодарностью, и он остался еще на несколько лет.

Теперь он уже был стар, но все-таки жизнь казалась бы слишком невыносимой, если бы он отказался от своего замысла. Однажды, перебирая высохшие листья магнолии с записями ритмов будущей поэмы «Буря Разочарования», он тихо рассмеялся.

— Ты чего? — спросила жена, которая только что возвратилась из королевского склада, где получала продукты.

— Да так, — сказал он, осторожно, чтобы они не рассыпались, откладывая ворохи пожелтевших листьев магнолий, на которых были записаны его ритмы, — запасы моих ритмов напоминают запасы чернил Короля.

— Мало ли какие совпадения бывают, — ответила жена, раскладывая на столе свежие продукты с королевского склада.

Да, теперь Поэт понимал, что семья — не самое серьезное препятствие. Конечно, жена поворчит немного, лишившись придворного продуктового пайка, но останавливать его не будет. Препятствие было в нем самом. Он был достаточно стар, чтобы думать о своей смерти, он знал, что если умрет, оставаясь при дворе, то будет похоронен по самому высокому разряду в Королевском Пантеоне. Конечно, формально такое право за ним оставалось даже если бы он ушел со двора, но кто его знает, как Король воспримет его уход.

Какое трагическое противоречие, думал он иногда, никто, кроме меня, не может помочь моему трупу получить достойные похороны.

— Если бы я мог, — говаривал он жене, — похоронить себя с почестями, потом уйти со двора и спокойно писать свою поэму.

— Да не волнуйся ты, — отвечала жена, — похоронят тебя с почестями.

— Если останусь при дворе, конечно, похоронят, — отвечал Поэт, — но мы же собираемся покинуть двор... Идеально было бы похоронить себя с почестями, потом написать поэму «Буря Разочарования» и спокойно умереть...

— Ты слишком много хочешь, — отвечала жена, — другому на всю жизнь было бы достаточно, что он открыл кроликам такой прекрасный веселящий напиток... Ты уже много сделал для племени, пусть другие теперь постараются.

— Будем надеяться, что кое-что сделал, — отвечал Поэт, обдумывая, как пристроить лучшим образом свой будущий труп, и одновременно стараясь извлечь новый поэтический ритм из своих горестных раздумий.

Положение было настолько безвыходным, что он иногда предавался самым мрачным фантазиям. Ему приходило в голову притвориться мертвым, дать себя похоронить в Пантеоне, а потом, тайно покинув свой роскошный склеп, уйти в джунгли и там спокойно писать свою поэму.

Но у него хватало здравого смысла понять, насколько этот проект рискованный. Даже если бы он удался, Поэта угнетала мысль о неполноценности такого склепа. Конечно, другие будут считать, что он лежит в своем прекрасном склепе. Но он-то будет знать, что это не так, он-то будет знать, что раз он не лежит в своем склепе, значит, в сущности, этот склеп ему не принадлежит.

Так и не найдя выхода из этого трагического противоречия, Поэт заболел и в один прекрасный день умер. Перед самой смертью его посетил Король со своими сподвижниками и, пожелав ему доброго здоровья, намекнул, что в случае его смерти он самым лучшим образом распорядится его трупом.

И Король выполнил свое обещание.

Над трупом Поэта склонялись знамена с изображением Цветной Капусты. Сам Король и все Допущенные к Столу стояли в почетном карауле, а молодые кролики читали стихи Первого Поэта кроликов.

Его похоронили в Пантеоне, а ворохи листьев магнолии с записями ритмов будущей поэмы перешли в королевский архив. Главный Ученый королевства расшифровал все ритмы будущей его поэмы и нашел на каждый из них соответствующее стихотворение, вошедшее в хрестоматию королевской поэзии.

Так, для ритма, кратко озаглавленного «Ярость по поводу медлительности...», он нашел стихотворение, высмеивающее злостных неплательщиков огородного налога. А на ритм, озаглавленный «Повторная ярость по поводу...», он нашел стихотворение, высмеивающее все тех же, а может быть, и других неплательщиков огородного налога.

И так все ритмы нашего трагического неудачника были расшифрованы столь примитивным образом, что дало более поздним поколениям кроликов возможность утверждать, будто Первый Поэт кроликов был довольно-таки бездарный рифмоплет.

Правда, находились и более образованные ценители поэзии, которые утверждали, что у Поэта был ранний период, когда он писал божественные стихи, и только впоследствии под влиянием Короля он стал писать чепуху.

Но другие, еще более тонкие знатоки (а может быть, еще более тонкие хулители?) утверждали, что и в более ранних стихах его замечалась та неуверенность в силе истины, то есть они имели в виду неуверенность в конечной и самостоятельной ценности истины, что является, по их мнению, единственным признаком прочности и жизнестойкости всякого творчества. Именно отсутствие этой уверенности в душе По-

эта, по их мнению, привело впоследствии к столь прискорбному падению его таланта.

К сожалению, к нам в руки не попали эти спорные или бесспорные продукты самого раннего творчества нашего Поэта, и у нас нет собственного мнения по этому поводу. Мы просто излагаем мнения поздних ценителей, чтобы познакомить читателей, интересующихся этим вопросом, с самим фактом существования такого мнения.

Ибо все это касается несколько более поздней истории королевства кроликов. Наша тема — это, в сущности, расцвет королевства кроликов в ожидании Цветной Капусты.

...Теперь вернемся к событиям, на которых мы прервали свой рассказ. На следующий день посреди джунглей послышалась веселая песенка:

*Задумавшийся некто
На холмике сидит.
Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па
И Ля-ля-ля-чий Брод.
Но буря все равно грядет!*

Разумеется, это был голос Находчивого. Он уже несколько раз пропел свой нехитрый куплет, но никто на него не отзывался. Тем лучше, думал Находчивый радостно, я им так запутал эту песню, что тут сам черт ногу сломит. Тем более я на свой риск убрал главное слово в третьей строчке «вид-

ны»... Попробуй догадаться: кто задумался, о чем задумался и кому на пользу то, что он задумался?!

Он еще раз спел свой куплет и, не услышав ни в траве, ни в кустах знакомого омерзительного шелеста, совсем успокоился и пошел еще быстрее. Если я буду очень быстро идти, то я быстрее пройду Нейтральную Тропу, и ни один удав не успеет понять, о чем я пою, думал Находчивый, сам удивляясь своей находчивости. Теперь он бежал вприпрыжку, напевая на ходу свою песенку, и только иногда останавливался, чтобы перевести дыхание и еще раз убедиться в приятном бесплодии своего пения.

На этот раз Находчивый остановился под сенью дикой груши, росшей у самой Нейтральной Тропы. Здесь он решил передохнуть и заодно полакомиться грушами, падающими с дерева, если дикие кабаны не успели их сожрать.

Как раз в это время две мартышки, мартышка-мама и мартышка-дочка, зацепившись хвостами за одну из верхних веток, раскачивались на груше. Услышав приближающееся пение Находчивого, мартышка-мама перестала раскачиваться и тревожно прислушалась. Мартышка-дочка тоже прислушалась.

— Опять Король кроликов кого-то предает, — сказала мартышка-мама. — Ну и противный голос у этого Глашатая.

— А что такое «Ля-ля-ля-чий Брод»? — спросила мартышка-дочка.

— Это Лягушачий Брод, — сказала мартышка-мама, снова начиная раскачиваться на хвосте. — Одно утешение (и раз! взмах руками, чтобы усилить раскачку): сколько я их здесь

ни вижу, этих Глашатаев, они ненамного (и снова раз! взмах руками, чтобы усилить раскачку) переживают свою жертву.

— Значит, предавать — это убивать, — догадалась мартышка-дочка, — только не своими руками?

— Да, — согласилась мартышка-мама, добившись нужной раскачки, — предательство — это всегда убийство чужими руками своего человека, как сказали бы туземцы... А теперь следди за мной. Видишь как я свободно тело держу? Когда откачнешься на самую высокую точку, отпускаешь хвост и падаешь, ни о чем не думая. Но как только долетела до нужной ветки, легчайшим взмахом забрасываешь за нее хвост, а сама летишь дальше. Хвост сам захлестывается, и ты прочно повисаешь на ветке.

— А у меня почему-то хвост не выдерживает, и я падаю, — ответила мартышка-дочка.

— Потому что ты по дороге от страха цепляешься за всякие там лианы, — объясняла мартышка-мама, — у тебя не получается скорости захлеста. Запомни, во время вертикального падения главное — скорость захлеста. Падение — ничего. Скорость захлеста — все. Раз, — сказала она, усиливая мах и одновременно расслабляя тело и этим показывая, что совершенно не боится за его судьбу, — два-три...

Мартышка-мама полетела вниз, придав лицу то выражение безмятежности, которое бывает у туземок, когда они вяжут одежду из шерсти животных. Но вот хвост ее вяло закрутился за нужную ветку, и через мгновение, сдернутый силой тяжести тела, намертво зацепился за ветку.

— Понятно? — спросила снизу мартышка-мама, глядя на свою дочку.

— Понятно, — ответила дочка не очень уверенно, глядя вниз, где покачивалась ее мама, и еще ниже, где под сенью дерева ходил Находчивый, собирая груши, слетевшие с ветки, за которую зацепилась мартышка-мама.

Поев груш, Находчивый zalюбовался резвящимися мартышками. Хорошо им, вдруг подумал он с грустью, прыгают себе по веткам, и никаких тебе песен, никаких тебе королевских поручений.

— А кто тебе мешает? — вдруг услышал он голос из самого себя.

— Как кто? — ответил он громко от неожиданности. — Надо же стремиться к лучшему, раз природа сделала меня Находчивым.

Он прислушался, ожидая, что голос внутри него что-нибудь ему ответит, но голос почему-то не отвечал.

— То-то же, — строго сказал Находчивый этому голосу и зашагал дальше.

Он дошел до конца Нейтральной Тропы и повернул назад, думая о том, что это за чертовщина внутри него завелась. Ему было все-таки как-то не по себе. Главное, что голос этот неожиданно начался и неожиданно замолк. Если ты решил спорить со мной, спорь, думал Находчивый, а иначе что это получается? То вдруг возник, то вдруг исчез, а у меня настроение портится. Ну нет, назло тебе спою еще раз:

*Задумавшийся некто
На холмике сидит.
Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па
И Ля-ля-ля-чий Брод.
Но буря все равно грядет!*

Он спел и прислушался к джунглям. Ни один тревожный звук не возник в ближайшем окружении. Ну вот, еще разочек спою, мысленно сказал он тому голосу, и все, я свободен!

И вдруг он услышал ненавистное шипение в кустах папоротника, и в сторону реки, покачивая вершины папоротников, потянулось, полилось невидимое тело удава. Мало ли, кто куда ползет, с ужасом подумал Находчивый, пытаясь себя утешить. Нет, нет, я не верю, что он туда ползет! И чтобы самому себе доказать, что он не верит этому, он стал громко и уже не прерываясь петь свою песню.

И мысли его в то время лихорадочно пронеслись в голове. Зачем я не ушел в рядовые, думал Находчивый. Но я не мог уйти в рядовые, тут же оправдался он. О, если б я не отъел подарок Королевы, я бы мог уйти в рядовые. О, если бы я знал, что они и так знают, что я надкусил капустный листик, я бы тогда тоже ушел в рядовые. О, если б, думал он, продолжая петь и возвращаясь по Нейтральной Тропе.

А вдруг этот удав сам по себе полз в сторону реки, может быть, он уже давным-давно куда-то завернул, думал Находчивый, стараясь освободиться от тоски, которая ему была неприятна. А вон и груша, сказал он себе, если мартышки на

ней, узнаю у них, не проползал ли здесь удав. Может, он уже давно свернул в другую сторону.

А между тем мартышка-мама и мартышка-дочка продолжали отрабатывать вертикальный прыжок. За это время дочка успела свалиться с дерева, потому что у нее опять не получился захлест. Почесывая ушибленный бок, она уныло слушала свою маму, которая посвящала ее в тонкости прыжка.

— Но ведь я сейчас не цепляюсь за ветки, а у меня все равно не получилось, — говорила она в свое оправдание.

— Именно потому, что ты не цеплялась, — объясняла ей мартышка-мама, качаясь на хвосте и снизу вверх поглядывая на дочку, — ты еще больше испугалась, и у тебя от страха затвердел хвост. Тогда как во время захлеста хвост должен быть совершенно расслабленным. Тогда получается достаточное количество витков, полностью обеспечивающих безопасность. Попробуем еще раз.

Мартышка-дочка зацепилась хвостом за ветку и только взмахнула руками для раскочки, как вдруг заметила внизу у самой Нейтральной Тропы ползущего удава.

— Удав! — крикнула она. — Я боюсь.

— В сторону реки ползет, — уточнила мать.

— Уж не Глашатай ли его накликал?! — воскликнула дочка.

— А кто же еще, — вздохнула мартышка-мама, — давай, он уже достаточно отполз.

— Подожди, мама, — сказала дочка, — я вся дрожу... Как только подумаю, что этот Задумавшийся там сидит на своем

холмике, а к нему ползет удав, подосланный своими же кроликами, мне делается не по себе.

— Успокойся и еще раз попробуй, — сказала мартышка-мама, — значит, теперь главное — расслабить хвост.

Мартышка-дочка почему-то никак не могла успокоиться. А тут вдруг послышались бодрые звуки предательской песни. Это Королевский Глашатай возвращался назад по Нейтральной Тропе.

— Чего он поет, — удивилась мартышка-дочка, — разве он не знает, что удав уже прополз?

— Еще как знает, — ответила мартышка-мама, — это он нарочно, чтобы никто не подумал, что предательство и песня связаны друг с другом... Мол, он поет сам по себе, а удав сам по себе наткнулся на Задумавшегося...

— До чего ж хитер! — воскликнула мартышка-дочка. — Уж не от кроликов ли произошли туземцы?

— Не знаю, — сказала мартышка-мама, продолжая покачиваться на хвосте и прислушиваться к Нейтральной Тропе, — они так говорят, как будто произошли от нас...

В это время Находчивый подошел к груше и снова увидел все тех же мартышек на все той же ветке дикой груши. Это были первые живые существа, которых он увидел после своего предательства, и ему было приятно их видеть. Ему вдруг показалось, что в мире ничего не изменилось, в мире все осталось как было. Вот дикая груша, как она росла, так она и растет, вот обезьяны на ней, как обрабатывали свой вертикальный прыжок, так и обрабатывают. И все, все осталось по-прежнему...

Ему вдруг страшно захотелось поговорить с кем-нибудь, хотя бы с этими мартышками.

— Эй, там, на дереве, — крикнул он снизу, — тряхни-ка ветку, грушами хочется побаловаться!

Молчание. Только слышалось равномерное поскрипывание ветки, на которой качалась мартышка-мама. И снова Находчивому стало как-то неприятно, скучно.

— Жалко, что ли?! — крикнул он вверх. Опять молчание. Неужели все-таки удав прополз к реке, где сидит Задумавшийся?

— Слушай, — крикнул он снова мартышке, — здесь никто... не проходил в сторону реки?!

Тягостное молчание. Но мартышка долго молчать не может.

— Ты хотел сказать — никто не прополз, — наконец ядовито ответила она.

Знает, с ужасом подумал он и в то же время почувствовал злость на эту чересчур развязную мартышку.

— Я хотел сказать именно то, что я сказал, — надменно ответил он и замолк.

— Ой, какой наглый, — прошептала мартышка-дочка.

— Сейчас я сделаю вертикальный прыжок и плюну ему в лицо, — решительно прошептала мартышка-мама, — а ты проследи, как я буду делать захлест.

— Плюнь ему в лицо, мама, плюнь! — радостно прошептала мартышка-дочка и от волнения заерзала на ветке.

Мартышка-мама раскачалась на хвосте и полетела вниз. Она зацепилась хвостом за самую нижнюю ветку над самой

головой Находчивого. Хрястнула ветка, за которую зацепилась мартышка, и град груш посыпался на землю. Находчивый от неожиданности страшно испугался и впервые в жизни, несмотря на свою находчивость, не сразу понял, в чем дело. Он еще не знал, что душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия.

— Ой, — наконец перевел дыхание Находчивый, — это ты, мартышка?

— Нет, карающий ангел свалился с небес, — съязвила мартышка, покачиваясь на хвосте.

— При чем здесь карающий ангел? — холодно спросил Находчивый. Он уже успел прийти в себя и принять вид, подобающий Королевскому Глашатаю.

— А при том, — ответила мартышка-мама, — что можешь заткнуться со своей песней, потому что кое-кто кое-куда уже давно прополз.

— При чем здесь удав?! — закричал Находчивый, теряя самообладание. — Я не позволю! Я Королевский Глашатай! Я буду жаловаться! Я! Я! Я!

— А между прочим, я ничего не говорила про удава, — сказала мартышка, продолжая качаться на хвосте.

— Нет, говорила! — закричал Находчивый. — Это безобразия! Это издевательство над Королевским Глашатаем! Ты тренируешься над Нейтральной Тропой! Я этого так не оставлю!

А в самом деле, над Нейтральной Тропой тренироваться не положено и вообще лучше с ним не связываться, подумала

мартышка. Отменив обещанный плевок, она молча полезла вверх, а Находчивый пошел дальше, возмущенно жестикулируя ушами и что-то бормоча.

— Ну что, плюнула? — спросила мартышка-дочка, когда мать долезла до верхней ветки и уселась рядом с дочкой.

— Еще как! — ответила та.

— А он что? — спросила дочка.

— А что он? Утерся и пошел.

— Мама, — сказала мартышка-дочка, — а что, если я сбегаю, предупрежу Задумавшегося...

— Не стоит вмешиваться, — ответила мартышка-мама и добавила: — Да, пожалуй, уже поздно...

— А вдруг успею! — воскликнула мартышка-дочка. — У меня ведь очень быстрый горизонтальный прыжок...

— Нет, и все! — сказала мартышка-мама более строгим голосом. — Ты еще маленькая, чтобы вмешиваться в такие дела.

— Мамоочка, мамоочка! Прошу тебя! Я побегу! Я полечу! Я успею! — умоляла мартышка-дочка свою мать.

— Нет! — еще строже и непреклонней отвечала мать. — Ты еще многого не понимаешь. Мне тоже жалко Задумавшегося. Его учение и для нас представляет интерес... Но он слишком далеко заходит... Слишком...

— А мне его так жалко, — теперь поняв, что мать никуда ее не пустит, разрыдалась мартышка-дочка, — он там сидит и думает, а его уже предали.

— Что делать, — вздохнула мартышка-мама и, посадив дочку к себе на колени, стала гладить ее по голове, — туземцы

говорят, что наука — это такое божество, которое требует жертв... Если кролики перестанут пастись в огородах туземцев, может, встанет вопрос, что и мы должны оставить кукурузу туземцев. Задумавшийся слишком далеко заходит.

— Но ведь, мама, ты сама говорила, что туземцы от нас произошли, — напомнила дочка, постепенно успокаиваясь, и потерлась головой о подбородок матери. Так она напоминала, чтобы мать поискала у нее в голове блох.

— Во-первых, это не я так говорю, это они так говорят, — сказала мартышка-мама и, щелкая ногтями, стала рыться у нее в голове, — а во-вторых, когда дело касается кукурузы, они, забывая о родстве, травят нас собаками и ставят свои капканы, омерзительные, как пасть крокодила... Ну что, может, еще раз попробуем вертикальный?

— Только не сегодня, — грустно отвечала мартышка-дочка, — я слишком наволновалась.

— Тогда пошли домой, — сказала мартышка-мама, — расскажем нашим все, что мы видели и слышали. Интересно, чем это все кончится...

— Пошли, — уныло согласилась дочка, и они, перепрыгнув на магнолию, исчезли в глянцевой листве магнолиевой рощи.

А между тем Находчивый уже прошел почти всю Нейтральную Тропу и выбрался на небольшой луг, расположенный недалеко от первых кроличьих поселений. Всю дорогу он думал о случившемся и теперь почти успокоился и забыл про мартышек.

Во-первых, думал он, может, удав полз к реке по своим собственным надобностям. Во-вторых, может, Задумавшийся прав, и удав не сможет его обработать, а в-третьих, вон какие тучи идут с юга. С минуты на минуту начнется гроза, и Задумавшийся не станет в грозу сидеть на открытом холмике. И чем больше он находил шансов для Задумавшегося, тем бодрей он становился.

И вот на этом лугу у первых кроличьих поселений он вдруг встретил жену Задумавшегося.

— Ты что тут делаешь? — спросил он у нее после первых приветствий.

— Да вот клеверок на зиму заготавливаю, — ответила она, вздохнув. — Мой-то все думает...

— Ты же пособие от Короля имеешь, — удивился Находчивый.

— Две морковины на шесть ртов? — сказала крольчиха, подняв голову. — Нет, я благодарна Королю, но все-таки приходится крутиться...

— Наверное, будет гроза, — задумчиво сказал Находчивый и посмотрел на небо. В самом деле, очень черные, очень обнадеживающие тучи ползли с юга.

— Так я ведь тут рядом живу, — сказала крольчиха, мельком взглянув на небо.

— Послушай, а твой, если его застанет гроза, домой приходит? — спросил вдруг Находчивый.

Тут жена Задумавшегося решила, что Находчивый намекает. Когда-то в молодости они оба были в нее влюблены, но

она тогда по молодости выбрала Задумавшегося, о чем теперь очень сожалела.

— Ну, что ты, — сказала она и махнула лапой, — да он там сидит с утра до ночи и думает. Да его днем палкой домой не загонишь.

— Нет, в самом деле, — спросил Находчивый, — там же открытый холмик... Что ж, он будет целый день мокнуть?

— Но я же лучше знаю, — отвечала крольчиха, заглядывая в глаза Находчивому. — Так что заходи, угощу, чем Бог послал...

— Нет, спасибо, — сказал Находчивый, наконец поняв ее намек, но решив, что это уже будет слишком, — мне отчитаться надо перед Королем...

— Да, — вздохнула крольчиха, — ты теперь вон какая шишка. Куда тебе к нам...

— А-а-а, — махнул лапой Находчивый, — ничего особенного. Ну, допущен, ну, можно вдосталь поесть, попить. Да не в этом, оказывается, счастье...

— Все вы так говорите, — снова вздохнула жена Задумавшегося, — а у меня от клевера оскомины... Мой-то дурак тоже мог бы, да не захотел.

— Ну ладно, до свидания, — сказал Находчивый и двинулся дальше, чувствуя, что настроение у него делается все хуже и хуже.

— До свидания, — отвечала крольчиха и снова начала косить резцами клевер. — А то, если надумаешь, заходи. Худо бедно... Чем Бог послал...

Находчивый как-то неопределенно кивнул и пошел через луг, срезая его так, чтобы выйти поближе к Королевской Лужайке.

Задумавшийся сидел на своем зеленом холмике возле реки. Налево от него расстились пампасы, а направо был хорошо виден широкий Лягушачий Брод. Печальными и вместе с тем пронизательными глазами следил Задумавшийся за окружающей жизнью. А точнее сказать, пронизательными и именно потому печальными глазами следил Задумавшийся за окружающей жизнью.

Вот комар зазевался и слишком низко пролетел над Лягушачьим Бродом, и его схватила лягушка. А там лягушка зазевалась, и ее копыем клюва пронзила цапля. А там цапля, завистливо глядя на другую цаплю, глотающую лягушку, зазевалась, и ее в свою ужасную пасть затолкал крокодил. А там туземцы сумели поймать в сетку зазевавшегося крокодила, после чего, разрубив его на аппетитные (как им казалось) куски, погрузили в лодку и переправились на тот берег. Но не успели они доплыть до своей деревни, как одного из них, слишком низко наклонившегося над водой, сумел выхватить из лодки другой крокодил.

— И это они называют жизнью, — сказал Задумавшийся, кивая сидящему с ним рядом Возжаждавшему.

— Учитель, — ответил Возжаждавший, — все-таки мне кажется, если бы ты в тот раз обещал кроликам сохранить воровство, мы бы выиграли дело. Ты был так близок к победе. Неужели нельзя было один раз солгать ради нашей прекрасной цели?

— Нет, — ответил Задумавшийся, — я об этом много раз думал. Именно потому, что живая жизнь все время движется и меняется, нам нужен ориентир алмазной прочности, а это и есть правда. Она может быть неполной, но она не может быть искаженной сознательно даже ради самой высокой цели. Иначе все развалится. Морепоплаватель не может ориентироваться по падающим звездам.

— Но ведь победа была так близка, Учитель, — напомнил Возжаждавший тот великий день, когда кролики чуть не скинули Короля.

— И все-таки нельзя, — повторил Задумавшийся, — ведь если мы победим большую несправедливость по отношению к кроликам, у нас появится возможность избавиться от малой несправедливости к чужим огородам. Кроме этого, откроются и другие малые несправедливости в жизни кроликов, в том числе и новые. Например, кролики могут загордиться, объявить, что они избавили джунгли от страха перед удавами, что они теперь высшие существа... Мало ли что... И запомни, как только мы освободимся от этой великой несправедливости, для рядового кролика она мгновенно забудется, исчезнет. И любая из новых мелких неприятностей мгновенно займет те душевные силы, которые отнимал смертельный страх кроликов перед удавами. Такова жизнь, таков закон обновления тревоги, закон самосохранения жизни.

— Но ведь сейчас получается еще хуже, — возразил Возжаждавший, чувствуя, что Задумавшийся слишком далеко уходит, — кролики остались верны Королю.

— Пока — да. Сознание кроликов развращено великой подлостью удавов. К этой великой подлости они приспособили свои маленькие подлости, в том числе и подлость подворывания плодов с туземных огородов. Расшатывать это сознание — вот наша нелегкая задача.

— Но где уверенность, Учитель? — спросил Возжаждавший. — А если все так и останется?

— Есть нечто более высокое, чем уверенность, — надежда, — отвечал Задумавшийся. — Вчера я здесь сидел один, а сегодня сюда пришел ты, хотя это невыгодно и опасно.

— Ну хорошо, — снова возразил Возжаждавший, — не надо было лгать. Но мог же ты промолчать про эти проклятые огороды туземцев? Мы бы сначала скинули Короля, а потом получили самые удобные возможности расшатывать сознание.

— Нет, нет и нет, — повторил Задумавшийся, — я об этом много думал. Дела всех освободителей гибли из-за этого. Каждый из них, увлеченный своей благородной задачей, невольно рассматривает ее как окончательную победу над мировым злом. Но, как я уже говорил, когда исчезнет то, что зло сейчас, мгновенно наступит то, что зло завтра. Этого не понимали все немудрые освободители и потому, добившись победы, впадали в маразм непонимания окружающей жизни.

— А мудрые освободители? — спросил Возжаждавший.

— А мудрые освободители, — усмехнулся Задумавшийся, — до победы не доживали... Почему немудрые, победив, впадали в маразм? — продолжал Задумавшийся. — Не пони-

мая закона обновления тревоги, они воспринимали забвение освобожденными от того зла, от которого они с его помощью освободились, как чудовищную неблагодарность. Поэтому они искусственно заставляли освобожденных, склонных забывать о своем освобождении, справлять праздники освобождения. В конечном итоге освобожденные и освободители проникались тайной взаимностью. Освободители, думая, что они сделали своих соплеменников счастливыми, но те по глупости этого не могут осознать, старались день и ночь вдалбливать в них это сознание. Освобожденные, зная, что освобождение не сделало их счастливыми, злились на освободителей за то, что они обещали их сделать счастливыми, но не только не сделали, но еще и заставляют признавать то, чего они не чувствуют, а именно — счастье освобождения. Потерявшие идеал начинают идеализировать победу. Победа из средства достижения истины превращается в самую истину. Запомни: там, где много говорят о победах, — или забыли истину, или прячутся от нее. Вспомни, как любят удавы говорить о своих ежедневных победах над кроликами, и вспомни, как наш лицемерный Король каждое случайное снижение количества проглоченных кроликов удавами объявляет очередной победой кроликов, а каждое повышение количества проглоченных кроликов — временным успехом удавов.

— Вот бы мы его и скинули тогда, — бил в одну точку Возжаждавший, — если б ты промолчал, когда дело запахло капустой.

— Нет, нет и нет, — так же упрямо повторял Задумавшийся, — я об этом много думал. Дела всех преобразователей гибли из-за этого...

— Ты это уже говорил, Учитель, — перебил его Возжаждавший, — до меня твои мысли доходят лучше, когда ты через какой-нибудь пример из нашей жизни что-нибудь доказываешь...

— Хорошо, — сказал Задумавшийся и, немного подумав, добавил: — Вот тебе пример. Представь, что за кроличьим племенем гонится один обобщенный удав. Кролики устали, кролики бегут из последних сил, и вот они приближаются к спасительной реке. Река их спасет, потому что кролики ее перейдут вброд, а этот обобщенный удав, представь, страдает водобоязнью. Если кролики добегут до воды, они будут обязательно спасены. Но многие из них еле волочат ноги. А до реки еще осталось около ста прыжков. Так вот, имеет ли право вожак, чтобы взбодрить выбившихся из сил, воскликнуть: «Кролики, еще одно усилие! До реки только двадцать прыжков!»?

— Я полагаю, имеет, — сказал Возжаждавший, стараясь представить всю эту картину, — потом, когда они спасутся, он им объяснит, в чем дело.

— Нет, — сказал Задумавшийся, — так ошибались все преобразователи. Ведь задача спасения кроликов бесконечна во времени. Перебежав реку, кролики получают только передышку. Наш обобщенный удав найдет где-нибудь выше или ниже по течению переброшенное через реку бревно и будет продолжать преследование. Ведь удав у нас обобщенный, а любителей крольчатины всегда найдется достаточно.

— Значит, я так думаю, надо сохранить право на ложь для самого лучшего случая?

— Нет, — сказал Задумавшийся, — такого права нет. Как бы ни были кролики благодарны своему вожаку за то, что он взбудрил их своей ложью, в сознании их навсегда останется, что он может солгать. Так что в следующий раз сигнал об опасности они будут воспринимать как сознательное преувеличение. Но и вожак, солгав во имя истины, уже предал истину, он ее обесчестил. И насколько он ее обесчестил, настолько он сам ее не сможет уважать. Она его будет раздражать.

— Господи, как все сложно! — воскликнул Возжаждавший. — Что же нам делать?

— Расшатывать уверенность кроликов в том, что удавы их гипнотизируют. Развивая свою природу, кролик невольно, по слабости, может спотыкаться, даже впадать в огородный разгул, но идеал должен оставаться твердым и чистым, как алмаз. Я же говорил, что моряк не может ориентироваться по падающим звездам. И дело не в количестве ошибок и заблуждений, а в другом. Пока кролик, очнувшись от огородного разгула, осознает его как падение, будущее не потеряно. Поражение начнется тогда, когда он свое падение станет оправдывать своей природой или законами джунглей. Тут начинается измена идеалу, ложь, из которой нет выхода.

— Учитель! — неожиданно крикнул Возжаждавший. — Сюда ползет удав. Впервые вижу, чтобы удав охотился на открытых пространствах.

— Ну и что, — сказал Задумавшийся, — ты ведь знаешь, что их гипноз — это наш страх.

— Вообще-то, да, — замялся Возжаждавший. — Ну, а вдруг?

— Тогда отойди, и ты увидишь, что все, что я говорил, — правда.

— Мне стыдно, Учитель, но страх сильнее меня.

— Я тебя не осуждаю. Ты еще недостаточно долго думал. Когда после мучительных раздумий тебе открывается крупинка истины, ты, защищая ее, делаешься бесстрашным.

— А все-таки, Учитель... Ведь тот был одноглазый инвалид... Может, ускачем, пока не поздно?

— Этого удовольствия я Королю не доставлю, — ответил Задумавшийся, глядя, как удав выползает на его зеленый холмик, где он провел столько дней в раздумьях о судьбе своих братьев-кроликов.

Между тем удав выползал на холм.

Это был тот самый, юный, теперь уже просто молодой удав, которому когда-то Косой рассказывал о своих злоключениях.

Он первым услышал песню Глашатая и, по принятому среди удавов обычаю, получил «право на отглот». Время от времени Король через того или иного Глашатая предавал того или иного кролика, и удавы к этому давно привыкли.

Право на отглот считалось подарком судьбы, верняком. Младой удав сначала сильно обрадовался, получив это право, но теперь он был не очень доволен.

Начать с того, что на пути сюда он встретил крота и спросил у него, как лучше выйти к зеленому холму напротив Лягушачьего Брода. И что же? Оказывается, крот пустил его по неверной дороге, и он, проплутав в джунглях несколько лишних часов, с трудом нашел этот проклятый зеленый холм.

Поняв, что крот его обманул, он был потрясен бессмысленностью этого обмана. Зачем? Зачем он меня обманул, думал удав и никак не мог понять. Во-первых, удавы кротов вообще не трогают. А во-вторых, крот и не знал, куда и зачем он ползет. Ну, если бы его обманула дикая коза или индюшка, тогда было бы все понятно: удавы глотают не только кроликов. Но за что обманул крот? Кому это выгодно? Ведь ясно, что кроту нет никакой выгоды от этого обмана. Тогда зачем?! Зачем?! Зачем?!

Теперь, добравшись до зеленого холма, он был неприятно поражен видом открытого пространства, на котором ни одного дерева, ни одного куста, где можно было бы спрятаться в ожидании добычи. Какая бесплодная местность, думал он, не дай Бог здесь жить.

Доползая до вершины зеленого холма, он вдруг обнаружил, что там вместо одного кролика его ожидают два. Он знал, что кролики очень быстро размножаются, но никогда не думал, что это у них происходит с такой сказочной быстротой. Собственно говоря, кто из них Задумавшийся и кто кого родил?

Медленно подползая, он издали оглядывал обоих, на всякий случай стараясь обоим внушить, что он именно его собирается обработать. Теперь, приблизившись к кроликам, он пы-

тался дышать спокойней и не выдавать своей усталости. По обычаю удавов считалось, что удав перед обработкой кролика должен выглядеть бодрым, свежим, полным веселой энергии.

— Слушай меня внимательно, — сказал Задумавшийся, — я сейчас буду проводить опыт с этим удавом, а ты стой в стороне и наблюдай. На каком расстоянии по сводке бюро прогнозов сегодня действует гипноз?

— На расстоянии трех прыжков, Учитель! — воскликнул Возжаждавший, не спуская глаз с подползающего удава.

— Прочерти борозду на расстоянии двух прыжков от меня, — сказал Задумавшийся спокойно.

— Но ведь это опасно, Учитель! — попробовал возразить Возжаждавший.

— Не спорь, у нас слишком мало времени, — поторопил его Задумавшийся.

Удав уже полз по гребню зеленого холма и был от них на расстоянии десяти прыжков. Возжаждавший не заставил себя долго упрашивать. Он сделал два прыжка от Учителя в сторону приближающегося удава, и это были далеко не самые удачные его прыжки, хотя он очень не хотел рисковать жизнью Учителя.

Тем не менее он прочертил борозду, как сказал Учитель, и сразу же сделал десяток прыжков в сторону от удава, и каждый прыжок был удивительно удачен, хотя он изо всех сил сдерживал себя. Теперь он сидел на довольно безопасном расстоянии и с замирающим от волнения сердцем следил за происходящим.

Удав подползал все ближе и ближе. Он никак до сих пор не мог решить, на какого из этих двух кроликов распространяется право на отглот. И если один из этих кроликов родил другого, то не может ли он осуществить отглот обоих кроликов, ссылаясь на свое опоздание? Или на преждевременные роды в процессе заглота? Или не стоит?

Странные действия кролика, который сначала прыгнул в его сторону и прочертил какой-то каббалистический знак, а потом и вовсе отскочил, внушали ему сильные подозрения. Тут что-то не то, думал он, стараясь быть как можно осмотрительней.

Теперь в движениях его огромного тела чувствовалось какое-то противоречие. Та часть тела, которая поближе к голове, явно замедлила свои движения, тогда как хвостовая часть нервно извивалась, как бы раздраженная медлительностью своего начала. Кончик хвоста нетерпеливо пошлепывал по траве, выбивая из нее небольшие струйки пыли.

Предельно замедлив свое продвижение, молодой удав осторожно приблизил голову к борозде, понюхал ее языком и внимательно оглядел, стараясь понять ее коварное назначение.

— Ты видишь, — сказал Задумавшийся, — даже удав, вырванный из привычных обстоятельств, сразу же теряется.

— Да! — крикнул Возжаждавший в сильнейшем волнении. — Я вижу, но хвостовая часть сильно напирает!

— Так и должно быть, — спокойно пояснил Задумавшийся, — приказывает желудок, а голова удава — это только служба заглатывания.

Но тут удав остановился в полной нерешительности. Он даже слегка покосился на второго кролика, думая, не взяться ли за него. Неожиданная борозда, а главное, спокойный голос этого кролика слишком смущали его.

Но в это мгновение Задумавшийся наконец замер, уши у него опустились, а глаза стали покрываться приятной поволокой. Удав снова взбодрился и, уже не спуская глаз с этого кролика, продвинул голову за черту. Кролик был довольно худой, и ему мельком подумалось, что Король кроликов именно таких нежирных кроликов предаёт, чтобы жирными питаться самому. Он, конечно, знал, что кролики кроликов не едят, но сейчас почему-то забыл об этом.

— Учитель, Учитель! — крикнул Возжаждавший. — Ты, кажется, засыпаешь? Проснись!

— Не беспокойся, все идет правильно, — ответил Задумавшийся, стараясь своим голосом не спугнуть удава.

— Но зачем так рисковать, Учитель! — снова крикнул Возжаждавший.

— Мой подопытный удав слишком вяло работает, — ответил Задумавшийся, — я ему помогаю...

Удав, оставив на Задумавшегося свои омерзительные глаза, продолжал медленно переползать борозду.

— Что делает взгляд удава страшным? — продолжал Задумавшийся свои наблюдения. — Полное отсутствие мысли. В сущности, что такое удав? Удав — это ползающий желудок.

— Учитель, он уже совсем близко! — крикнул в ужасе Возжаждавший. — Прыгай в сторону!

— Ничего, я успею, — отвечал Задумавшийся и продолжал наблюдать за удавом.

Удав напелзал, сосредоточив все свои силы на священном ритуале гипноза, то есть стараясь не спускать с кролика глаз. Но на этот раз все происходило как-то необычно, странно. Нервы молодого удава были слишком напряжены.

Обрабатываемый кролик вел себя оскорбительно. И главное, от него шла утечка информации — и куда! В сторону кролика, даже не находящегося в сфере обработки. Такие ляпсусы Великий Питон никогда не прощал.

Молодой удав сейчас так жалел, что пустился на эту авантюру (ничего себе верняк!), так ненавидел этого Глашатая! Но ничего не поделаешь, теперь уже отступить было поздно.

— Слушай меня, — продолжал Задумавшийся спокойным голосом, — я полностью в сфере лжегипноза, и я ничего не чувствую, кроме его дыхания, правда, достаточно зловонного. Я полностью владею своими чувствами и конечностями. Моя речь, с научной точки зрения, должна служить доказательством моей полной вменяемости. Запомни это на случай, если Король объявит все, что я говорю, гипнотическим бредом. Сейчас я произведу ряд действий в заранее мною же предсказанной последовательности.

— Скорей, Учитель, скорей! — крикнул Возжаждавший, от нетерпения подпрыгивая на месте.

Удав уже был на расстоянии одного прыжка и тревожно прислушивался к словам Задумавшегося. Несколько раз он уже порывался ответить на его оскорбления, но строгие обы-

чай соплеменников запрещали заговаривать или вступать в дискуссию с обрабатываемым кроликом.

— Итак, я сейчас шевельну правым ухом, — сказал Задумавшийся, — потом левым. Потом обоими сразу. А потом три раза фыркну с промежутками между каждым фырком.

И вдруг удав, покрываясь холодным потом, с ужасом заметил, что правое ухо обрабатываемого кролика приподнялось и шевельнулось. И тут он сам, нарушая священный ритуал, перевел взгляд на левое ухо, которое тоже как-то задумчиво приподнялось и как-то укоризненно шевельнулось, хотя он изо всех своих гипнотических сил приказывал и даже униженно умолял кролика не шевелиться.

После этого к полной панике удава оба уха шевельнулись одновременно, и, согласно собственному предсказанию, кролик начал фыркать. И тут нервы молодого удава не выдержали.

— Я не могу так работать! — крикнул он. — Что ты фыркаешь мне в лицо? Что ты ерзаешь ушами, разговариваешь?

— Все правильно! Победа! Победа! — крикнул Возжаждавший, приплясывая и хлопая лапками. — Ты все сделал точно, только фыркнул четыре раза!

— В последний раз я чихнул, — поправил его Задумавшийся. По голосу его видно было, что он сам доволен проделанным опытом. — Очень уж от него воняет. Кстати, не исключено, что на этом основана легенда о гипнозе. Возможно, что один из наших предков, не выдержав его дыхания, упал в обморок. Тогда воздух в джунглях был чище, потому что тузем-

цев было гораздо меньше. И это послужило поводом для панических слухов.

— Победа! Победа! — закричал Возжаждавший, приплясывая на месте. — Победа разума!

— Не надо злоупотреблять словом «победа», — поправил его Задумавшийся, — даже если это победа разума. Я бы вообще выкинул это слово. Я бы заменил его словом «преодоление». В слове «победа» мне слышится торжествующий топот дураков. Но я замолкаю, кажется, мой удав совсем увял.

С этими словами Задумавшийся замолк, опустил уши и стал прикрывать глаза. Удав попробовал было снова взяться за дело, но, почувствовав огромную усталость, расслабился и осел.

— Я должен передохнуть, — сказал он, стараясь скрыть смущение. Это было довольно позорное признание, но он и так уже заговорил, да и надо же было как-то объяснить остановку.

— Отдыхай, — согласился Задумавшийся, — только смотри не усни и дыши немного в сторону...

— Мне с самого начала не повезло, — сказал удав, отчасти оправдывая свою вялость. — Если ты такой умный, ответь мне, с какой целью меня обманул крот, какая ему от этого было выгода?

Он рассказал о том, как крот его обманул, когда он направлялся сюда для отглата Задумавшегося. Между прочим, о том, кто его направил сюда, он благоразумно умолчал.

— Если бы это был козленок или дикая индюшка, — повторил он свой довод, который ему самому казался неотрази-

мым, — я бы понимал, почему они меня обманули. Но почему обманул крот, какая ему от этого выгода?

— Затем, что крот — мудрое животное, — сказал Задумавшийся, — я всегда это знал.

— Это не ответ, — возразил удав, подумав, — он же не знал куда и зачем я иду.

— Возжаждавший, — сказал Задумавшийся своему ученику, — обрати внимание на этот частный, но любопытный случай. Крот — мудр. Но если мудрость бессильна творить добро, она делает единственное, что может, — она удлиняет путь зла.

— А если я спешил помочь товарищу? — снова возразил удав.

— Ха, — усмехнулся Задумавшийся, — никто никогда не слышал, чтобы удав помогал товарищу.

— Почему же, — сказал удав, стараясь припомнить какой-нибудь подходящий случай из жизни удавов, — а Косому кто помог, когда кролик встал у него поперек живота?

— Во-первых, это уже история, — снова усмехнулся Задумавшийся, что удаву было особенно неприятно, — а во-вторых, знаем, как помогли...

— Ну и что, — сказал удав, еще больше уязвленный правильной догадкой Задумавшегося, — во всяком случае, удавы друг друга не предают, а кролики предают.

— Откуда ты это взял? — спросил Задумавшийся.

— А как ты думаешь, почему я здесь очутился? — ехидно спросил удав. Он почувствовал, что Задумавшийся совер-

шенно не знаком с богатством и многообразием форм предательства.

— Не знаю, — отвечал Задумавшийся, — мало ли куда удав может забрести.

— Так знай, — отвечал удав, чувствуя, что превосходство знаний — тоже немалое удовольствие. — Король через Глашатая объявил, что ты здесь. А Глашатаем на этот раз был так называемый Находчивый кролик.

Младой удав без колебаний предавал предателя Глашатая. Он был обозлен на него за все свои мучения. Чтобы у Задумавшегося не оставалось никаких сомнений, он даже прочел ему песенку Глашатая.

— Расшифровать, чтобы не мучился? — спросил он у Задумавшегося.

— Ясно и так. — отвечал Задумавшийся, глубоко опечаленный этим предательством. — Такого я не ожидал даже от нашего Короля. Ты слышал, Возжаждавший?

— Я потрясен! — воскликнул Возжаждавший. — Но может, это провокация?!

— Нет, — сказал Задумавшийся грустно, — я узнаю бездарный стиль нашего придворного Поэта. Ну, что ж, я осуществлю до конца коварный замысел Короля, чтобы ты мог потом его разоблачить.

— Что ты этим хочешь сказать, Учитель?! — в ужасе воскликнул Возжаждавший.

— Придется пожертвовать жизнью, — печально и просто сказал Задумавшийся.

— Не надо, Учитель! — воскликнул Возжаждавший. — Мне без тебя будет трудно... И потом, Король объявит, что он был прав, что твоя смерть — результат неправильных научных выводов.

— А ты для чего? — отвечал Задумавшийся. — Ты же все видел. Моя смерть наконец раскроет глаза нашим кроликам на своего Короля. А насчет гипноза ты теперь все знаешь и все можешь повторить.

— Все равно, Учитель, — взмолился Возжаждавший, — я тебя очень прошу, не надо этого делать!

— Нет, — сказал Задумавшийся, — я не знал, что наш Король так глубоко погряз в подлости, раз он способен предавать кроликов удавам. Теперь от него всего можно ожидать. Он может объявить, что я проводил свой опыт с больным, малокровным удавом. Нет, это вполне здоровый, нормальный удав, и он сейчас сделает свое дело.

— А я не буду тебя глотать! — неожиданно воскликнул удав и слегка отполз назад.

После всего, что здесь случилось, он чувствовал великую неуверенность в гипнозе и теперь боялся опозориться. Он даже слегка отвернулся от Задумавшегося, как отворачиваются капризные существа от неугодного блюда.

— Молодец, удав! — радостно воскликнул Возжаждавший. — Один раз в жизни сделаешь доброе дело.

— Вы это можете называть, как хотите, — презрительно прошипел удав и снова украдкой посмотрел на Задумавшегося, стараясь почувствовать, до чего у него худое и невкусное тело.

— То есть как это не будешь глотать? — строго спросил Задумавшийся.

— А вот так и не буду! — раздраженно воскликнул удав. — То крот меня обманул, то Глашатай обещал верняк, а ты тут ушами ерзаешь, разговариваешь, чихаешь в лицо!

— Я тебе не дам испортить мой опыт, так и знай, — сказал Задумавшийся и так строго посмотрел на удава, что тот слегка струхнул.

— Давай разойдемся по-хорошему, — мирно предложил удав. — Я скажу, что не нашел тебя, тем более крот меня сбил с дороги. А вы тут еще расплодились... Откуда я знаю, кто из вас настоящий Задумавшийся? Может, ты нарочно жертвуешь собой, чтобы спасти настоящего Задумавшегося?

— Мы теперь оба Задумавшиеся, — сказал Возжаждавший, отчасти чтобы окончательно запутать удава, отчасти из тщеславия.

— Вот именно, — согласился удав, — мне дано право на отглот одного Задумавшегося, а вас тут двое. Я даже не понимаю, как вы могли родить друг друга? Кто из вас крольчиха?

— Ты видишь, как они плохо нас знают? — сказал Задумавшийся. — Миф о всезнающих удавах порожден кроличьим страхом.

— Судя по всему, — снова обиделся удав за своих, — ты тоже своих кроликов не очень-то знал...

— Это горькая правда, — согласился Задумавшийся, — но я тебя заставлю проглотить меня!

— Никогда! — воскликнул удав. — Кролик не может заставить удава его проглотить!

— Ты еще не знаешь, насколько твой желудок сильнее твоего разума, — сказал Задумавшийся и стал замирать.

Младой удав презрительно отвернулся от него, потом несколько раз блудливо посмотрел на него и, убедившись, что кролик не шевелится, начал оживать и вытягиваться в его сторону.

— Конечно, — бормотнул он, глядя на Задумавшегося неуверенным и именно потому особенно наглым взглядом обещенного гипнотизера, — после долгой дороги перекусить не грех...

— Учитель! — крикнул Возжаждавший. — Но ведь твоя смерть — это уход от борьбы. Ты оставляешь наше дело...

— Тихо, — остановил его Задумавшийся, — а то ты его опять напугаешь. Я любил братьев-кроликов и делал все, что было в моих силах. Но я устал, Возжаждавший. Меня сломило предательство. Я знал многие слабости кроликов, знал многие хитрости Короля, но никогда не думал, что этот вегетарианец способен проливать кровь своих же кроликов. Я столько времени отдал изучению врагов, что упустил из виду своих. Теперь я боюсь за себя, я боюсь, что душа моя погрузится в великое равнодушие, какое бывает у кроликов в самый пасмурный день в самую середину Сезона Больших Дождей. Кролики не должны видеть меня таким... Ты будешь продолжать дело разума. И тебе будет во многом легче, чем мне, но и во многом трудней. Тебе будет легче, потому что

я передаю тебе весь свой опыт изучения удавов, но тебе, милый Возжаждавший, будет и трудней, потому что твоя любовь к родным кроликам должна приучаться к возможности предательства. Моя любовь этого не знала, и мне было легче. Я передаю тебе наше дело и потому пользуюсь правом на усталость.

Удав, который все это время напознал на Задумавшегося, старался не думать о том, что Задумавшийся довольно худой кролик, а, наоборот, стараясь думать, что Задумавшийся самый умный кролик, и он, проглотив его, лишает племя кроликов самого умного кролика и в то же время заставляет его ум слушать делу удавов. Эта мысль его настолько взбодрила, что он...

— Учитель! — крикнул Возжаждавший в последний раз и зарыдал, потому что пасть удава замкнулась за Задумавшимся.

— Я покажу этой сволочи Королю! — горько рыдал Возжаждавший. — Я покажу этому выскочке Находчивому! Сволочи, какого великого кролика загубили!

Удав, пошевеливая челюстями, незаметно уползал, прислушиваясь к рыданиям Возжаждавшего и одновременно ко вкусу проглоченного кролика. Он чувствовал не то стыд за то, что проглотил такого замечательного кролика, не то стыд за то, что проглотил его с такими долгими унижительными церемониями.

Как-то это все неловко получилось, думал он, зато теперь весь его ум во мне... Это точно. А вдруг и в самом деле нет никакого гипноза? Или мой перестал действовать... Нет, я про-

сто слишком устал... Во всяком случае, одно точно, весь его ум теперь во мне... Когда его тело после обработки станет моим телом, его уму будет некуда деваться, и он станет моим умом...

Так думал молодой удав, уползая в джунгли, стараясь отгонять всякие тревожные мысли о своих гипнотических способностях. От тревожной неуверенности мысль его вдруг возносилась к самым радужным надеждам.

В конце концов, что мне гипноз, думал он. Имея сдвоенный ум кролика и удава, я могу стать первым среди соплеменников. Великий Питон, например, вообще не ловит кроликов, ему готовеньких подают... Еще неизвестно, кто теперь умней. И вообще, вдруг промелькнуло у него в голове, почему удавами должен править Питон? Правда, он близок нам по крови, но все-таки инородец.

— Удавами должен править удав! — вдруг громко прошипел он и сам поразился глубине и четкости своей мысли.

Уже действует, подумал он, а что же будет, когда кролик переварится целиком?

Тут он окончательно успокоился и, найдя теплое местечко в зарослях папоротника, свернулся и задремал, стараясь умнеть по мере усвоения Задумавшегося.

В тот день весть о предательстве Находчивого распространилась в джунглях, чему, с одной стороны, способствовала мартышка, оповестившая об этом, можно сказать, все верхние этажи джунглей, а с другой стороны, конечно, Возжаждавший.

Кролики пришли в неистовое возбуждение. Некоторые говорили, что этого не может быть, хотя в жизни всякое случается. Они от всего сердца жалели Задумавшегося. В то же время они испытывали чувство стыда и тайного облегчения одновременно. Они чувствовали, что с них наконец свалилось бремя сомнений, которые им внушал Задумавшийся. Неизвестная жизнь в условиях желанной безопасности и нежеланной честности казалась им тяжелей, чем сегодняшняя, полная мрачных опасностей, но и захватывающей дух сладости проникновения на огороды туземцев. И чем сильнее они чувствовали тайное облегчение, тем горячее жалели Задумавшегося и возмущались неслыханным предательством.

И хотя они, честно говоря, всегда не любили следовать его мудрым советам, теперь, когда его не стало, они искренне почувствовали себя осиротевшими. Оказывается, для чего-то нужно, чтобы среди кроликов был такой кролик, который представлял бы их на путь истины, даже если они не собирались идти по этому пути.

К вечеру почти все взрослое население кроликов собралось на Королевской Лужайке перед дворцом. Кролики требовали чрезвычайного собрания. Дело пахло бунтом, и Король, прежде чем открыть собрание, велел страже прочистить запасные выходы из королевского дворца. Всегда во время таких тревожных сборов он приводил в порядок запасные выходы.

— Чем лучше запасной выход, — говаривал Король среди Допущенных, — тем меньше шансов, что он потребуется...

На этот раз положение было очень тревожно. Как всегда, перед началом собрания над королевским сиденьем был вывешен флаг с изображением Цветной Капусты. Несмотря на то, что цвета в изображении Цветной Капусты на этот раз были смещены самым таинственным и многообещающим образом, кролики почти не обращали внимания на знамя. Иногда кое-кто взглянет на новый узор Цветной Капусты с выражением бесплодного любопытства и, махнув лапкой, окунается в ближайший водоворот бурлящей толпы.

Наконец кое-как удалось установить тишину. Король встал. Чуть пониже него стоял Находчивый, испуганно зыркая во все стороны своими глазищами.

— Волнение мешает мне говорить, — начал Король скорбным голосом. — В толпе прозвучали страшные слова... Меня, отца всех кроликов, обвинили чуть ли не в предательстве.

— Не чуть ли, а именно в предательстве! — выкрикнул из толпы Возжаждавший.

— Пусть будет так, — неожиданно уступил Король, — я выше личных оскорблений, но давайте выясним, в чем дело...

— Давайте! — кричали из толпы.

— Долой! — кричали другие. — Чего там выяснять!

— Итак, — продолжал Король, — почему Глашатай попал на Нейтральную Тропу? Да, да, я лично его послал. Но для чего? К сожалению, друзья мои, по сведениям, поступающим в нашу канцелярию, резко увеличилось количество кроликов, без вести пропадающих в пасти удавов. Из этого неминуемо следует, что удавы в последнее время обнаглели. Воз-

можно, до них дошли слухи о новых теориях Задумавшегося, и они решили продемонстрировать силу своего смертоносного гипноза. Что же нам оставалось делать? Показать врагу, что мы притихли, впали в уныние? Нет и нет! Как всегда, на гибель наших братьев мы решили отвечать сокрушительной бодростью духа! Нас глотают, а мы поем! Мы поем, следовательно, мы живем! Мы живем, следовательно, нас не проглотишь!

(В этом месте раздались бешеные аплодисменты Допущенных к Столу и Стремящихся быть Допущенными. По какой-то странной ошибке позднее во всех отчетах об этом собрании эти аплодисменты были названы «переходящими во всеобщую овацию». Возможно, так оно и было рассчитано, потому что Король в этом месте остановился, может быть ожидая, что аплодисменты перейдут в овацию. Но аплодисменты, не переходя в овацию, замолкли, и Король продолжал говорить.)

— ...И вот наш Глашатай с песней был послан на Нейтральную Тропу, где он должен был, как это, кстати, записано в нашем королевском журнале, пропеть в ритме марша текст на мелодию «Вариации на тему Бури»!

— Текст! Текст! — бешено закричали кролики из толпы.

Некоторые из них свистели в пустотелые дудки из свежего побега бамбука. Это считалось нарушением порядка ведения собрания и каралось штрафом, если королевская стража находила свистевшего. Но в том-то и дело, что стража обычно не находила свистевшего, потому что свистев-

ший тут же съедал свой свисток, если к нему приближалась стража.

— Текст, собственно говоря, сочинил наш придворный Поэт, — сказал Король, озираясь, и, как бы случайно найдя его в числе Допущенных к Столу, кивнул ему. — Пусть он зачитает свой божественный ритм...

Поэт уже давно рыдал о судьбе Задумавшегося, проклиная в душе коварство Короля, который навязал ему написание этого стихотворения. Но ему надо было думать о своей судьбе, и он, продолжая всхлипывать по поводу гибели Задумавшегося, быстро сообразил, кстати, не без намека Короля, как выпутаться из этой истории.

Он вышел вперед и заявил:

— Текст, собственно говоря, условный... Он должен был прозвучать...

— Мы не знаем эти тонкости, — перебил его Король, — ты зачитай кроликам то, что ты написал.

— Пожалуйста, — сказал Поэт и с каким-то презрительным смущением задергал плечом. — Собственно говоря, я хотел предварить текст некоторыми пояснениями. Мне удалось найти своеобразный фонетический строй, который своей угнетающей бодростью давит на победную психику удавов, то есть я хотел сказать...

— Текст! Текст! Текст! — закричали кролики и засвистели в свои бамбуковые свистульки. — Не надо ничего объяснять...

— Я, собственно говоря, хотел предварить, — сказал Поэт и, еще раз дернув плечом, прочел:

*Пам-пам, тим-тим, пам-тим-пам!
Ля-ля, ли-ли, ля-ля!
Пим-пам, пам-пам, тим-тим-пам!
Но буря все равно грядет!*

Вот, собственно, что он должен был пропеть, разумеется, на мелодию «Вариации на тему Бури».

Поэт сел на свое место, поглядывая на небо в поисках случайного буревестника.

— Вариации вариациям рознь, — грозно подхватил Король его последние слова и, обратившись к Находчивому, спросил: — А ты что пел?

— Это же самое, — пропищал Находчивый, потрясенный предательством Короля и Поэта.

Как и всякий преданный предатель, он был потрясен грубостью того, как его предали.

Он не мог понять, что грубость всякого предательства ощущает только сам преданный, а предатель его не может ощутить, во всяком случае с такой силой. Поэтому любой преданный предатель, вспоминая свои ощущения, когда он предавал, и сравнивая их со своими ощущениями, когда он предан, с полной искренностью думает: все-таки у меня это было не так низко.

Не успел потрясенный Находчивый пропищать свое оправдание, как сверху раздался голос мартышки.

— Неправда! — закричала она, свешиваясь с кокосовой пальмы. — Я все слышала, и моя дочка тоже!

— Мартышка все слышала! — закричали кролики. — Пусть мартышка все расскажет!

— Братцы-кролики, — кричала мартышка, глядя на воздетые морды кроликов, — друзья по огородам туземцев! Мы с дочкой сидели на грушевом дереве возле Нейтральной Тропы. Я ее обучала вертикальному прыжку... Я ей говорю, чтобы при вертикальном падении прочно захлестывался хвост...

— Не надо! На черта нам сдался твой вертикальный прыжок! — стали перебивать ее кролики. — Ты нам про дело говори!

— Хорошо, — несколько обидевшись, кивнула мартышка, — раз вы такие эгоисты, я это место пропущу. Так вот, обучаю я дочку... и вдруг слышу — по тропе идет Глашатай и поет такую песню:

*Задумавшийся некто
На холмике сидит.
Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па
И ля-ля-ля-чий Брод.
Но буря все равно грядет!*

В толпе кроликов раздался страшный шум возмущения, свист, топанье.

— Предатель! Предатель! — доносились отдельные выкрики. — Некто — это наш Задумавшийся!

— Я сразу же поняла, что он предает Задумавшегося! — закричала мартышка. — И тогда же плюнула ему в лицо!

— Молодец, мартышка! — закричали кролики. — Смерть предателю!

— Так исказить мой текст! — воскликнул Поэт, в самом деле искренне возмущенный искажением своего текста.

Он дважды предатель, подумал Поэт, исказив мой текст, он предал меня, а потом уже предал Задумавшегося. Почувствовав себя преданным, он окончательно забыл о своей доле вины в предательстве Задумавшегося: какой он предатель, если сам предан!

Король гневно смотрел на Находчивого. Кролики постепенно притихли, ожидая, что он скажет ему.

— Значит, — мрачно обратился к нему Король, — ты так пел:

*Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па!
И Ля-ля-ля-чий Брод?*

— Да, — еле слышно признался Находчивый.

— А разве я тебя учил так петь?

— Нет, — начал было Находчивый испуганно, — вы просили...

— Молчи! — крикнул Король. — Отвечай перед народом: ты внес отсебятину в текст или не внес?!

— Внес, — сокрушенно кивнув головой, подтвердил Находчивый. Ведь он и в самом деле пропустил в третьей строчке слово, на котором настаивал Король.

— Внес отсебятину, — с горестным сарказмом повторил Король. — Куда внес? В королевский текст? Когда внес?

Именно сейчас, когда, с одной стороны, напирают удавы, а с другой стороны, никогда раньше опыты по выведению Цветной Капусты не были так близки к завершению.

— Король не виноват, — закричали кролики с удвоенной энергией, радуясь, что им теперь не надо бунтовать, — да здравствует Король! Негодяй внес отсебятину!

— Почему внес? — закричал Король, вытянув лапу обвиняющим жестом. — Не мне отвечай, отвечай всему племени!

— Братцы, помилосердствуйте, — закричал Находчивый, — каюсь! Каюсь! Но почему так получилось? Я все время думал над тем, что нам рассказал Задумавшийся. Мне очень, очень понравилось все, что он нам рассказал про гипноз. Я ему поверил всем сердцем. И я решил: чем быстрее он докажет нашему Королю и нам, что он прав, тем лучше будет для всех. Я же, братцы-кролики, не знал, что так получится...

— Кто тебя просил?! — кричала возмущенная толпа. — Предатель, негодяй!

— Пустите меня, — раздался истошный крик вдовы Задумавшегося, — я выцарапаю глаза этому Иуде!

— Простите, братцы! — вопил Находчивый.

— Нет прощения предателю, — отвечали кролики, — удав тебе братец!

Тут наконец поднялся Возжаждавший и произнес лучшую в своей жизни речь. Он рассказал о последних минутах Учителя. Он рассказал все, что видел, и все, что слышал. Многие кролики, слушая его рассказ, тяжело вздыхали, а крольчихи всхлипывали. Плакала даже Королева. Она поминутно под-

носила к глазам капустные листики и, промокнув ими глаза, отбрасывала их в толпу кроликов, что, несмотря на горе, каждый раз вызывало в толпе кроликов смущенный ажиотаж.

Возжаждавший страстно призывал кроликов развивать в себе сомнения во всесии гипноза и тем самым продолжать великое дело Задумавшегося.

В конце своей прекрасной речи он обрушился на Короля. Он сказал, что даже если Глашатай и внес отсебятину, то Король, выбирающий в Глашатаи предателя, не достоин быть королем. Поэтому, сказал он, надо наконец воспользоваться кроличьим законом, которым кролики почему-то никогда не пользуются, и при помощи голосования узнать, не собираются ли кролики переизбрать своего Короля. В самом конце речи Возжаждавший обещал на глазах у всего народа в ближайший праздничный день пробежать туда и обратно по любому удаву. Эту пробежку он посвящает памяти Учителя.

Когда он кончил говорить, огромное большинство кроликов неистово аплодировало ему. По их мордам было видно, что они не только готовы переизбрать Короля, но и довольно ясно предвидят будущего.

Однако и те, что рукоплескали, и те, что воздерживались, с огромным любопытством ждали, что же будет делать Король. В глубине души и те и другие хотели, чтобы Король как-нибудь перехитрил их всех, хотя сами не могли дать себе отчета, почему им так хотелось. Ну вот хотелось, и все!

Король, покинув свое королевское место, даже как бы махнув на него лапой, хотя и не махнув, но все-таки как бы махнув,

что означало, мол, я его вам и без голосования отдам, с молчаливой скорбью стоял, дожидаясь конца рукоплесканий.

— Кролики, — наконец спокойно сказал он голосом, отрешенным от собственных интересов, — предлагаю, пока я — король, минутой всеобщего молчания почтить память великого ученого, нашего возлюбленного брата Задумавшегося, героически погибшего в пасти удава во время проведения своих опытов, которые мы, хотя и не одобряли теоретически, материально поддерживали. Вдова не даст соврать...

— Истинная правда, кормилец! — завопила было вдова из толпы, но Король движением лапы остановил ее причитания, чтобы она не нарушала торжественности скорби.

Кролики были просто потрясены тем, что Король сейчас, когда речь идет о его переизбрании, хлопочет о Задумавшемся, а не о себе.

Все стояли в скорбном молчании. А между тем прошла минута, прошла вторая, третья, четвертая... Король стоял, как бы забывшись, и никто не смел нарушить молчания. Как-то некрасиво, неблагородно говорить, что минута молчания давно истекла. Это был один из великих приемов Короля вызывать у народа тайное раздражение к его же кумирам. Король, как бы очнувшись, сделал движение, призывающее кроликов расковаться, вздохнуть всей грудью и приступить к неумолимым житейским обязанностям, даже если эти обязанности означают конец его королевской власти.

— А теперь, — сказал Король с благородной сдержанностью, — можете переизбрать своего Короля. Но по нашим за-

конам перед голосованием я имею право выразить последнюю волю. Правильно я говорю, кролики?

— Имеешь, имеешь! — закричали кролики, растроганные его необидчивостью.

— Кого бы вы ни избрали вместо меня, — продолжал Король, — в королевстве необходимы здоровье и дисциплина. Сейчас под моим руководством вы исполните производственную гимнастику, и мы сразу же приступим к голосованию.

— Давай, — закричали кролики, — а то что-то кровь стынет!

Король взмахом лапы приказал играть придворному оркестру и, голосом перекрывая оркестр, стал дирижировать производственной гимнастикой.

— Кролики, встать! — приказал Король, и кролики вскочили.

— Кролики, сесть! — приказал Король и энергичной отмашкой как бы вlepил кроликов в землю.

— Кролики, встать! Кролики, сесть! Кролики, встать! Кролики, сесть! — десять раз подряд говорил Король, постепенно вместе с музыкой наращивая напряжение и быстроту команды.

— Кролики, голосуем! — закричал Король уже при смолкшей музыке, но в том же ритме, и кролики вскочили, хотя для голосования и не обязательно было вскакивать.

— Кролики, кто за меня? — закричал Король, и кролики не успели очнуться, как очутились с поднятыми лапами.

Все, кроме Возжаждавшего, вытянули вверх лапы. А кролик, случайно оказавшийся возле Возжаждавшего, вдруг испугавшись, что его в чем-то заподозрят, вытянул обе лапы.

Королевский Счетовод начал было считать вытянутые лапы, но Король, переглянувшись со своим народом и исключительно демократическим жестом показывая свое общенародное пренебрежение всякими там крохоборскими подсчетами, махнул лапой: дескать, не надо унижать алгеброй гармонию.

— Кролики, кто против? — уже более ласковым голосом спросил Король.

И тут только Возжаждавший поднял лапу. Король доброжелательно кивнул ему, как бы одобряя сам факт его выполнения гражданской обязанности.

— Кролики, кто воздержался? — спросил Король, голосом показывая, что, конечно же, ему известно, что таких нет, но закон есть закон, и его надо выполнять.

Дав щедрую возможность несуществующим воздержавшимся свободно выявить себя и не выявив таковых, Король сказал:

— Итак, что мы видим? Все — за. Только двое — против.

— А кто второй? — удивились кролики, оглядывая друг друга и становясь на цыпочки, чтобы лучше оглядеть толпу.

— Я второй, — сказал Король громко и поднял лапу, чтобы все поняли, о ком идет речь. После этого, взглянув на Возжаждавшего, он добавил: — К сожалению, народ, поддерживая меня, нас с тобой не поддерживает...

— Во дает! — смеялись кролики, чувствуя нежность к Королю оттого, что он, Король, зависит от их, кроликов, голосования, и они, простые кролики, его, Великого короля кроликов, не подвели.

Сам Король снова пришел в веселое расположение духа. Он считал, что когда-то придуманная им производственная гимнастика при внешней простоте на самом деле — великий прием, призванный освежать слабеющий время от времени рефлекс подчинения.

— Продолжаю свои нелегкие обязанности, — сказал Король благодушествуя и подмигивая народу. — Что скажут кролики по поводу предложения Возжаждавшего?

— Зрелища! Зрелища! — закричали кролики радостно.

— Значит, туда и обратно? — спросил Король у Возжаждавшего, подмигивая народу.

— Туда и обратно! — серьезно ответил Возжаждавший.

— Значит, туда внутрь и обратно наружу? — спросил Король под хохот кроликов.

— Нет, — спокойно отвечал Возжаждавший, — туда и обратно снаружи.

— Удава по своему выбору или по любому?

— По любому.

— Кролики, — обратился Король к народу, — для наглядности зрелища выбираем удава подлинней?

— Подлинней! — закричали кролики. — Так будет интересней!

— Хорошо, — сказал Король, — придется договориться с Великим Питоном... Но учти, Возжаждавший, удав согласится на такое унижение только с правом на отглот.

— Разумеется, — спокойно сказал Возжаждавший, — я посвящу этот пробег памяти незабвенного Учителя.

— Конечно, — отвечал Король, — как только договоримся с Великим Питоном, мы устроим зрелище для всего нашего племени.

— Да здравствует Король! Да здравствует Учитель! Да здравствуют зрелища! — кричали кролики, окончательно всем довольные.

— Кстати, как быть с предателем Задумавшегося? — сказал Король и поманил к себе Находчивого, который, пользуясь тем, что Король и кролики отвлеклись, тихонько уполз в толпу, хотя и не осмелился скрыться в ней.

Находчивый вышел из толпы и стоял перед кроликами, опустив голову.

— Смерть предателю! — закричали кролики, увидев Находчивого и снова все вспомнив.

— Не можем, — сказал Король задумчиво, — мы вегетарианцы.

— А что, если его скормить тому удаву, по которому будет бежать Возжаждавший? — спросил один из кроликов.

— Остроумно, — согласился Король, — но не можем, потому что мы вегетарианцы. Да и научный опыт не получится. Какой же риск быть загипнотизированным, если удав будет заранее знать, что ему выделили другого кролика.

— Я, как Учитель, — гордо заявил Возжаждавший, — могу рисковать только собой.

— Предлагаю, — сказал Король, — предателя навечно изгнать в пустыню... Пусть всю жизнь грызет саксаулы...

— Пусть грызет саксаулы! — повторили ликующие кролики.

— Убрать и сопроводить, — приказал Король, и двое стражников поволокли Находчивого, который смотрел на Короля и Королеву и на всех Допущенных прекрасными глазами тонущего котенка.

— Обманщик, — сказала Королева, сожалея, что не успела насладиться этими теперь даром пропадающими глазами. — Сам сказал: «Никогда», — а сам съел мой подарок.

— Он молодой, ему хорошо саксаулы грызть, — сказал Старый Мудрый Кролик, — а представляете, если б меня выслали туда?

Старый эгоист, глядя на пострадавшего и вспоминая, что и он мог пострадать, требовал к себе сочувствия, словно пострадал именно он.

Когда Находчивого волокли сквозь толпу, снова раздался истошный голос вдовы.

— Убивец! — закричала она и рванулась к Находчивому. — Кто будет кормить моих сироток? Убивец!

Ее едва удалось удержать, и в толпе кроликов поднялся переполох. Король, воздетой лапой добившись тишины, снова обратился к вдове:

— Твой муж — наш брат, несмотря на наши разногласия... Мы тебя не оставим. Твои дети — мои дети.

— В каком смысле? — встревожилась Королева.

— В самом высоком, — сказал Король и показал на небо. После этого он показал на вдову и, обращаясь к придворному Казначею приказал: — Выкатить ей два кочана капусты одновременно и выдавать по кочану ежедневно с правом заме-

ны его на кочан Цветной, как только закончатся опыты, за которыми мы следим и способствуем... А сейчас, кролики, по норам, спокойной ночи!

По приказу Казначея из дворцового склада выкатили два кочана капусты.

— Благодетель, — зарыдала вдова, упав головой на оба кочана капусты и одновременно обнимая их с боков, чтобы никто ничего не мог отколупать.

— Молодчина наш Король, — говорили кролики, разбредаясь по норам. Некоторые крольчихи с нехорошей завистью глядели на вдову Задумавшегося.

— У других мужа и после смерти в дом тащат, — сказала одна крольчиха, ткнув лапой в бок своего непутевого кролика, — а ты и живой без толку по джунглям скачешь.

— Милая, и мой при жизни не лучше был, — неожиданно бодро успокоила ее вдова и, подталкивая лапами, покатила к норе оба кочана.

На следующий день новый Глашатай был отправлен на Нейтральную Тропу. Здесь он встретился с помощником Великого Питона, и тот его провел в подземный дворец царя.

Великий Питон возлежал в огромной сырой и теплой галерее подземного дворца в окружении своих верных помощников и стражников. Личный врач ползал вдоль его огромного вытянутого туловища, следя за скоростью продвижения кроликов в желудке Великого Питона. Подземный дворец освещался фосфоресцирующими лампами потустороннего

света. Вдоль стен были выставлены чучела наиболее интересных охотничьих трофеев, которых когда-либо приходилось глотать Великому Питону.

Знаменитый придворный Удав-Скульптор мог совершенно точно восстановить формы любого проглоченного животного по форме выпуклости живота проглотившего его удава.

Среди бесчисленных кроликов, косуль, цапель, обезьян выделялось чучело Туземца в Расцвете Лет, после нелегкого заглота которого Великий Питон был избран царем удавов.

Дело в том, что загипнотизировать и потом проглотить туземца, особенно если у него за спиной торчит колчан со стрелами — а у этого именно торчал, — адская мука.

Если уж выдавать государственную тайну, то надо сказать, что Великий Питон, в сущности, не гипнотизировал своего туземца. Он наткнулся на него, когда туземец, мертвецки пьяный, спал в джунглях под стволом каштана, из дупла которого он выковырял дикий мед, нажрался его и тут же рухнул.

Сообразительность тогда еще обыкновенного питона проявилась в том, что он не стал тут же под каштаном, где все еще гудел разоренный рой, обрабатывать туземца, а перетащил его в глубину джунглей и там обработал. Обрабатывать пришлось несколько суток, и удавы, собравшиеся вокруг, следили за героическим заглотом Туземца в Расцвете Лет, как позже именовали этого злосчастного обжору.

То, что заглотал он его честно, сами видели все окружающие удавы. А потом уже Великий Питон рассказал о том, как он его загипнотизировал.

С годами он сам забыл о том, что туземец был мертвецки пьян, и искренне считал, что загипнотизировал туземца. И это неудивительно. Ведь спящего туземца Великий Питон видел один только раз, а о том, что он его загипнотизировал, слышал сотни раз, сначала от самого себя, потом и от других.

Надо сказать, что некоторые выдающиеся заглоты животных, чьи скульптурные портреты здесь были выставлены, совершили другие видные удавы. Но когда Великий Питон был назначен царем удавов, он почему-то ссорился с каким-нибудь видным удавом, после чего видный удав исчезал, а экспонат его оставался. И вот, чтобы выдающийся заглот, имеющий воспитательное значение, не пропадал, приходилось присваивать его Великому Питону.

Точнее говоря, ему даже не приходилось присваивать эти выдающиеся заглоты. Ближайшие его помощники и советники сами присваивали ему эти подвиги.

— Но ведь я не заглатывал именно этого страуса, — слабо сопротивлялся он в таких случаях.

— А сколько выдающихся заглотов ты сделал тогда, когда никакой скульптор не мог увековечить твой подвиг? — резко и даже язвительно возражали ему визири и советники.

— Тоже верно, — соглашался Великий Питон, и очередной скульптурный портрет выдающегося заглота присваивался Великому Питону.

Следует отметить еще одно чудо дворца. В самом нижнем помещении его находился склад живых кроликов на случай стихийных бедствий.

Там хранилось около тысячи живых, но законсервированных в гипнозе кроликов. Кролики лежали в ряд, погруженные в летаргический сон. Каждое утро и каждый вечер их оползал самый страшный удав племени по прозвищу Удав-Холодильник.

Если какой-нибудь кролик выходил из состояния гипноза, а такие случаи бывали, то одного взгляда Удава-Холодильника было достаточно, чтобы он снова погрузился в сон. Удав-Холодильник следил за тем, чтобы кролики не просыпались и в то же время чтобы из летаргического сна не переходили в вечный сон смерти, что иногда случалось. Вовремя убрать мертвецов тоже вменялось в обязанность Удава-Холодильника. В самую жаркую погоду отсюда же подавались кролики отменной прохлады, которыми обкладывали тело Великого Питона.

Третьим чудом подземного дворца считалась комната находок. Сюда приносили всякие интересные предметы, найденные в испражнениях удавов. Поэтому у удавов была привычка внимательно всматриваться в собственные испражнения. Кроме того, в царстве удавов был закон, по которому удавы, обработавшие туземцев, в обязательном порядке должны были сдавать не поддающиеся обработке украшения и оружие.

Дело в том, что удавы старались поддерживать с туземцами хорошие отношения. Каждый случай заглота удавом туземца, если родственники или близкие о нем узнавали, официально обсуждался Великим Питоном. Было замечено, что,

когда такого рода выбросы обработанного туземца возвратить родственнику с выражением соболезнования, он остается очень доволен и быстро успокаивается.

Кстати сказать, рядовые удавы никогда до конца не могли понять, одобряет Великий Питон обработку туземцев или нет. То есть они понимали, что в глубине души (которая находилась в глубине желудка) он всегда одобряет ее, но из высших интересов всего племени иногда может и осудить, причем самым жестоким образом. Но с другой стороны, туземцы, вечно занятые междоусобными сварами, нередко тайно прибегали к помощи удавов, чтобы расправиться с каким-нибудь из своих врагов. Обычно в таких случаях из осторожности стороны договаривались через какую-нибудь обезьяну, которая получала свою долю в виде права в первую ночь отсутствия хозяина разорять его поле, когда еще никто не знает о его гибели.

За пяток кроликов можно было нанять подходящего удава. Великий Питон и на это не обращал внимания, если опять же высшие интересы племени не заставляли его принять крутые меры.

Сам он, если приходилось разговаривать с туземцами, обычно из соображений такта приказывал занавешивать скульптуру Туземца в Расцвете Лет.

Однако пора возвратиться к Глашатаю, который высказал предложение своего Короля Великому Питону, время от времени поглядывая на убранство залы подземного дворца, придававшее ему величественный, то есть зловещий вид.

Глашатай рассказал об условиях пробежки Возжаждавшего по удаву. Как всегда, в принятой у кроликов дипломатии ничего прямо не говорилось. Король передавал любезному собрату, что если какой-нибудь расторопный удав примет это предложение и даст обоюдополезный урок, то оба племени от этого выиграют как в физиологическом, так и в психологическом смысле.

Глашатай также рассказал о возмутительном поведении удава, проглотившего Задумавшегося.

Он сказал, что данный удав, нарушая междупородный договор о гуманном отглоте, вел с обрабатываемым кроликом издевательские разговоры, применял пытки в виде колебаний и капризов и в конце концов смертельно измученного кролика отказался глотать, так что несчастная жертва вынуждена была сама броситься в пасть удава. Все это происходило, добавил Глашатай в конце, на глазах у живого кролика, который не собирался давать обет молчания.

Великий Питон выслушал его, подумал и сказал:

— Передай от моего имени Королю: мы не туземцы, чтобы устраивать зрелища. А за сообщение о недостойном поведении удава — спасибо, будет наказан.

Когда Глашатай покинул помещение, Великий Питон спросил у своего Главного Визиря:

— Что такое «обет молчания»?

— Послеобеденный сон, — ответил тот, не задумываясь. Он на все вопросы умел отвечать не задумываясь, за что и был назначен Главным Визирем царя.

— Собрать удавов, — приказал Великий Питон. — Буду говорить с народом. Присутствие вышедшего на отглот Задумавшегося обеспечить целиком! Созвать все взрослое население удавов. Удавих, высиживающих яйца, снять с яиц и пригнать!

В назначенный час Великий Питон возлежал перед своими извивающимися соплеменниками. Он ждал, когда они наконец удобно разлягутся перед ним. Некоторые влезли на инжировое дерево, росшее перед дворцом, чтобы оттуда им лучше было видно царя, а царю, если он захочет, их.

Великий Питон, как всегда, речь свою начал с гимна. Но на этот раз не бодрость и радость при виде своего племени излучал его голос, а, наоборот, горечь и гнев.

— Потомки Дракона, — начал он, брезгливо оглядывая ряды удавов.

— Наследники славы, — продолжил он с горечью, показывая, что наследники проматывают великое наследство.

— Питомцы Питона! — пронзительным голосом, одолевая природное шипение, продолжал он, показывая, что нет большего позора, чем иметь таких питомцев.

— Младые удавы, — выдохнул он с безнадежным сарказмом...

— Позор на мою старую голову, позор! — забился Великий Питон в хорошо отработанной истерике.

Раздался ропот, шевеление, шипение сочувствующих удавов.

— Что случилось? Мы ничего не знаем, — спрашивали периферийные удавы, которые свое незнание вообще рассмат-

ривали как особого рода периферийное достоинство, то есть отсутствие дурных знаний.

— Что случилось?! — повторил Великий Питон с неслышанной горечью. — Это я у вас должен спросить: что случилось?! Старые удавы, товарищи по кровопролитию, во имя чего вы гипнотизировали легионы кроликов, во имя чего вы их глотали, во имя чего на ваших желудках бессмертные рубцы и раны?!

— О Царь, — зашипели старые удавы, — во имя нашего Великого Дракона.

— Сестры мои, — обратился царь к женской половине, — девицы и роженицы, с кем вы спите и кого вы высиживаете, я у вас спрашиваю!

— О Царь, — отвечали как роженицы, так и девицы, — мы спим с удавами и высиживаем яйца, из которых вылупляются молодые удавы.

— Нет! — с величайшей горечью воскликнул царь. — Вы спите с кроликами и высиживаете аналогичные яйца!

— О Великий Дракон, что же это? — шипели испуганные удавихи.

— Предательство, я так и знал, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — удавихам подменили яйца.

— Коротышка! — вдруг крикнул царь. — Где Коротышка?!

— Я здесь, — сказал Коротышка, раздвинув ветви и высываясь из фиговых листьев. В последнее время на царских собраниях он предпочитал присутствовать верхом на спасительном дереве.

— У-у-у! — завыл царь, ища Коротышку глазами на инжировом дереве и не находя слов от возмущения. — Фиговые листочки, бананы... Разложение... А где Косой?

— Я здесь! — откликнулся Косой из задних рядов и, с трудом приподнявшись, посмотрел на царя действующим профилем. — Я не смог пробраться...

— У, Косой, — пригрозил царь, — с тебя тоже началось разложение... Где твой второй профиль, я спрашиваю?

— О Царь, — жалобно прошипел Косой, — мне его растоптали слоны...

Таким образом, подготовив психику удавов, царь рассказал всем собравшимся о позорном поведении младого удава во время отглата Задумавшегося. Пока он говорил, два стражника выволокли из толпы младого удава, столь неудачно проглотившего Задумавшегося.

В свое оправдание он стал рассказывать известную историю о том, что был переутомлен, что сначала крот его обманул, а потом он сам растерялся, увидев вместо обещанного кролика двух, потому что никогда не слышал, что кролики так быстро размножаются.

Удавы были возмущены поведением своего бывшего соплеменника.

— Зачем ты с ним разговаривал, — спрашивали они у него, — разве ты не знал, что кролика надо обрабатывать молча?

— Я знал, — отвечал им бывший юный удав, — но это был какой-то странный кролик. Я его гипнотизирую, а он разговаривает, ерзает ушами, чихает в лицо!

— Ну и что, — отвечали удавы, — он чихает, а ты его глотай.

Тут выступил один периферийный удав и от своего имени выразил возмущение всех периферийных удавов. Он сказал, что у него лично был совершенно аналогичный случай, когда он застал двух кроликов во время любовного экстаза. Оказывается, он лично, в отличие от бывшего собрата, не растерялся, а загипнотизировал обоих сразу и тут же обработал.

Удавы с уважительным удовольствием выслушали рассказ периферийного удава. Даже царь заметно успокоился, слушая его. Ему ни разу не приходилось глотать кроликов, занятых любовью, и он решил после собрания поговорить с периферийным удавом с глазу на глаз, чтобы поподробней узнать, какие вкусовые ощущения тот испытал во время этого пикантного заглота.

— Присматривайтесь к опыту удава из глубинки, — сказал царь, — он очень интересно здесь выступил...

Младой удав попытался оправдаться, говоря, что его кролики в отличие от тех периферийных не занимались любовью, а, наоборот, думали вместе, что далеко не одно и то же.

— Одно и то же, — шипели возмущенные удавы.

Он сделал еще одну последнюю попытку оправдаться, ссылаясь на то, что, лишив кроликов самого мудрого кролика, обезглавил их и в то же время приобрел для удавов его мудрость.

— Сколько можно учить таких дураков, как ты, — отвечал царь, — всякая мудрость имеет внутривидовой смысл. Поэто-

му мудрость кролика для нас не мудрость, а глупость. Скажи спасибо периферийному удаву, он улучшил нам настроение свои рассказом. Мы решили тебя не лишать жизни, но изгнать в пустыню. Будешь глотать саксаулы, если ты такой вегетарианец, и пусть Коротышке это послужит уроком.

По знаку Великого Питона удавы стали распознаться. Младой удав под конвоем двух стражников был выволочен в сторону пустыни.

— «...Удавами должен править удав», — услышал он за собой бормотание царя, — а я, по-твоему, кусок вонючего... бревна, что ли?

Прошло с тех пор несколько месяцев, а то и год. Точно никто не знает. Проклиная свою судьбу, особенно Глашатая, удав, изгнанный из своего племени, ползал в раскаленных песках в поисках пищи.

Глядя на его дряблое, сморщенное тело, трудно было сказать, что еще год тому назад это был полный сил, юный, подающий надежды удав. Нет, сейчас про него можно было сказать, что это немолодой, много и плохо живший змей.

На самом деле нравственные терзания, вызванные хроническим недоеданием, сделали свое дело.

От саксаулов в первые же дни пришлось отказаться ввиду настойчивых требований желудком более высокоорганизованной материи.

Несколько раз ему удалось способом Косого приманить орлов, паривших над пустыней. Но способ этот в условиях

пустыни оказался чересчур дорогим. Долгое время лежать на песке под палящим солнцем, да еще не двигаться было ужасной мукой.

Однажды, получив солнечный удар, он едва пришел в себя и уполз в тень саксаула. Он решил больше не притворяться мертвым. Вообще, он здесь в пустыне заметил, что притворяться мертвым как-то неприятно. Притворяться мертвым интересно, когда ты здоров и полон сил, а когда ты больной, заброшенный в пустыню удав, притворяться мертвым противно, потому что слишком похоже на правду.

В конце концов он приспособился ловить мышей и ящериц у маленького оазиса. Зарывшись в песок, он поджидал, когда мыши или ящерицы захотят напиться. И тут удав, если они близко от него проходили, высунув голову из песка, заставлял их цепенеть от ужаса и глотал.

Если они слишком долго не являлись на водопой, он стряхивал с себя песок, напивался воды и, охладив в ней свою раскаленную шкуру, снова зарывался в ненавистный песок.

Однажды на этот водопой прискакал Находчивый. С тех далеких времен он тоже страшно изменился. Шерсть на нем сваялась, правое ухо он разрезал о кактус, и оно у него раздвоилось, как ласточкин хвост. Тело его так опало, что можно было пересчитать каждое ребрышко, что, кстати говоря, удав машинально и сделал.

— Привет предателю, — сказал он, выпрастывая голову из песка и отряхивая ее. — Не думал, что на этом свете встречу с тобой.

Находчивый перестал лакать воду и обернулся.

— Что это еще за Удав-Пустынник? — спросил кролик, без всякой боязни глядя на удава. К сожалению, смелость слишком часто бывает следствием чувства обесцененности жизни, тогда как трусость всегда следствие ложного преувеличения ее ценности.

Кстати, Находчивый, изгнанный из джунглей раньше молодого удава, ничего не знал о его судьбе, а в лицо его вообще никогда не видел.

— Не узнаешь? — уныло спросил Удав-Пустынник, понимая, что он должен был сильно измениться за это время и отнюдь не в лучшую сторону.

— Не имел чести быть знакомым, — равнодушно ответил Находчивый и уже собирался было ускакать, но остановился, заинтересованный словами Удава-Пустынника.

— Я из-за тебя потерял родину, то есть место, где я имел прекрасную пищу, — прошипел удав, — из-за твоей подлой песни я вышел на отглот Задумавшегося и кончил изгнанием в пустыню.

— Ах, это ты, рохля, — сказал Находчивый презрительно, — так тебе и надо.

— Больше всех на свете я ненавижу тебя, предатель проклятый, — процедил Удав-Пустынник, с горькой ненавистью глядя на Находчивого.

— А я, представь, тебя, — ответил Находчивый. — Да, я сделал грех, предав своего же брата-кролика. Но ты, болван, не смог как следует воспользоваться моим предательством

и тем самым как бы лишил его смысла. Что может быть уни-
зительнее для предавшего, чем сознание того, что его преда-
тельством не смогли как следует воспользоваться?

— Ненавижу, — повторил Удав-Пустынник. — Ты, ты на-
толкнул меня на этот несчастный соблазн...

— Мне наплевать на твою ненависть, — сказал Находчи-
вый. — Здесь, в пустыне, негде пасть и поневоле остается
много времени на раздумья...

— И до чего же ты, подлец, додумался? — спросил удав,
слегка придвигаясь к нему.

— До многого, — отвечал Находчивый, не обращая внима-
ния на движение удава. — Я понял тайну предательства. Ведь
недаром меня считали Находчивым. Сначала я думал, что все
дело в том несчастном капустном листике, который я обещал
Королеве засушить на память, а потом не удержался и по до-
роге съел его наполовину. Позже я понял, что очень уж мне не
хотелось покидать королевский стол. А затем уже я додумал-
ся до самого главного. Ловушка всякого предательства, когда
оно задумано, но еще не совершено, — в двойственности тво-
его положения.

— Что это еще за двойственность? — спросил удав и по-
ближе придвинулся к Находчивому, мысленно сладко проги-
бая мышцами живота его слабые ребрышки.

— А вот в чем двойственность, — продолжал Находчивый,
даже как бы вдохновляясь. — Решив предать, ты мысленно
уже владеешь всеми теми богатствами, которые тебе дает пре-
дательство. Я чувствовал себя владельцем самой свежей ка-

пусты, самой зеленой фасоли, самого сладкого гороха, не говоря о таких пустяках, как морковь. И все это — еще не совершив предательства, заметь, вот же в чем подлый обман! В мечтах я как бы перебежал линию предательства, украл все блага у судьбы и, не совершив самого предательства, возвратился в положение честного кролика. И пока я не совершил самого предательства, радость по поводу того, что я обманул судьбу, то есть мысленно украл все блага предательства, ничего за это не заплатив, так велика, что она перехлестывает представление о будущем раскаянии. Вот же как мы устроены! Мы можем радоваться радостям, которые нам предстоит испытать, но мы не можем убиваться угрызениями совести по поводу задуманного предательства. Если и можем, то в тысячу раз слабей. Это точно. Как все это получается? Кажется, вот ведь я мысленно совершил предательство, а ничего, жить можно. Стало быть, и в самом предательстве ничего особенного нет. И это ощущение, что в предательстве ничего особенного нет, я никак не связываю с тем, что оно результат того, что само предательство еще не совершилось! Ты понимаешь, какое коварство судьбы! Дьявол для того, чтобы нас подтолкнуть ко злу, облегчает ужас перед ним возможностью не совершать зло, возможностью поиграть с ним. Да я тебя и не заставляю совершать зло, говорит дьявол, я просто думаю, что ты о нем неправильного мнения. Это не зло, говорит он, это трезвый расчет, это возможность отбросить глупые предрассудки. Во всяком случае, познакомьтесь, поговорите, прорепетируйте ваши будущие отношения, и, если тебе все это не

понравится, ты можешь потом не делать. Тут мы все и ловимся. Пока мы играем со злом, это еще не совершенное зло, подсказывает нам наше глупое сознание, но на самом деле это уже совершенное зло, потому что, играя со злом, мы потеряли святую брезгливость, которой одарила нас природа. Вот почему предателям всегда платят вперед и всегда платят так позорно мало! Но ведь можно было бы платить еще меньше! Ведь как мало ни плати, а предающий до совершения предательства воспринимает эту плату как чистый выигрыш: предательства еще нет, а плата уже есть, и радость тоже. И опять же, раз есть радость, значит, и в самом будущем предательстве ничего особенного нет, иначе бы откуда взяться радости...

— Это уж слишком как-то мудрено, — перебил его Удав-Пустынник. — Я, например, проглотил самого мудрого кролика и то не совсем тебя понимаю...

— Но слушай дальше, — продолжал Находчивый. — Тут-то ты и понимаешь, что перебежать назад невозможно. Душа испоганена, и при этом оказывается — недоплатили. Ты чувствуешь страшную несправедливость по отношению к себе. Да, именно к себе, а не к преданному! К нему ты испытываешь ненависть. Позволив тебе предать себя, он сам тебя этим предал, он как бы сделался соучастником обмана. Ведь что получается, Пустынник?! Ведь ты до самого конца надеялся, что как-нибудь обойдется там, как-нибудь перебежишь назад. В крайнем случае вырежешь, отдашь предательству кусочек испоганенной души, а остальное оставишь себе. Ведь ты не договаривался всю душу отдавать предательству, да ты и не

пошел бы на такой договор! Удаву это трудно понять, но мы, кролики, от природы теплокровны и чистоплотны. Я бы сравнил душу с чистой белой скатертью. Именно на этой чистой белой скатерти я мечтал в будущем есть чистую королевскую капусту, фасоль и горох. А что же предательство? Да, я знал, что оно не украсит моей белоснежной скатерти, но я думал: что ж, оторву кусок, испоганенный предательством, а остальное расстелю, чтобы насладиться благами жизни. А тут что же получается? Хап! И вся скатерть в дерьме! Это как же понимать? А на чем, отвечайте мне, есть заработанную капусту, горошек, фасоль? Я-то как мечтал? Буду есть с чистой скатерти и бедным кроликам от моего стола буду кое-что подбрасывать, ворча на бездельников. О, какое это счастье — ворчать на бездельников и чистоплюев и подбрасывать им со своего щедрого стола! А теперь что получается? Самому есть с дерьмовой скатерти? Оказывается, предательство измазывает своим дерьмом всю скатерть, а не часть ее, как я думал. Так ведь я же этого не знал! Выходит, мне ничего не заплатили, выходит, мне ничего не остается, кроме этой дерьмовой скатерти, с которой я должен есть одерьмевшие от нее продукты? Кто поймет сиротство кролика с испоганенной душой? Ведь мы, кролики, все-таки существа теплокровные и потому чистоплотные. О, там, в джунглях, я это почувствовал почти сразу, хотя и не так ясно, как теперь. Даже эти вонючие мартышки стали меня презирать. Злоба — вот что тогда осталось во мне. И самая злобная злоба на чистеньких! Что ж вы меня не остановили, если вы такие хорошие, а?!

— Ну, это уж ты завираешься, — перебил его Удав-Пустынник, — даже до того, как я проглотил самого мудрого кролика, я мог понять, что ты сказал глупость. Кто же тебя мог остановить, когда ты никому не говорил о своем предательстве? Какой же ты все-таки подлец! Напетлял тут всяких словес, чтобы скрыть суть. А суть — вот она: ты, теплокровный кролик, предал брата, значит, пролил кровь такого же теплокровного кролика. Нет, я чувствую, что я тебя должен проглотить. Пусть уже и силы не те и жара мешает гипнозу, но ненависть, я чувствую, мне поможет...

— Не очень-то пугай, — отвечал Находчивый, — все-таки, по-моему, Задумавшийся был прав насчет гипноза.

— Не говори про него, гад! — воскликнул Пустынник в сильнейшей ярости и ощущая, что эта ярость сжимает и разжимает мышцы его тела. — Ты его предал и ты же хочешь воспользоваться его открытием?

— И не собираюсь, — вяло отвечал Находчивый. — Дело в том, что я сейчас ни во что на свете не верю и, значит, не могу верить в твой гипноз. Можешь сколько хочешь зыркать своими буркалами!

— У-у-у, как я тебя ненавижу! — прошипел Пустынник, снова ощущая, что мышцы его тела сладостно сжимаются и разжимаются. — Я чувствую, что моя ненависть рождает какую-то плодотворную мысль...

— Удав, рожающий мысль? — усмехнулся Находчивый, глядя на Пустынника скучающими глазами. — Это у тебя от жары.

— Нет, нет, — говорил Пустынник, нетерпеливо извиваясь, — я всем телом чувствую рождение новой мысли. Мне кажется... Я не уверен... Мне кажется, я тебя смогу обработать каким-то новым способом...

— Ты имеешь в виду зловонное дыхание? — спросил Находчивый. — Так знай, что ты опоздал... Кролик, который носит в себе зловоние собственной души, не боится никакого зловонного дыхания...

— Нет, нет! — извиваясь в сильнейшем волнении, воскликнул удав. — Моя ненависть рождает какую-то странную любовь... Суровую любовь без нежностей... Я чувствую неос тановимое желание сжать тебя в объятиях...

С этими словами Удав-Пустынник одним прыжком обвился вокруг кролика и стал его неумело и грубо душить.

— Отстань от меня, — отбивался от него Находчивый, еще не очень понимая, что делает этот обезумевший удав, — убери свои мокрые объятия... Во-первых, я не удавиха... Мне больно... Я даже не крольчиха... Что за извращения...

— Подожди, — бормотал удав, закручиваясь вокруг Находчивого, — еще одно колечко... Просунем головку... Еще один узелок... Туже... Туже...

— Ненавижу всех! — успел крикнуть Находчивый, теряя сознание в объятиях удава.

— Уф, — вздохнул удав, — так устал, как будто не я душил, а меня душили... Неудивительно — первая в мире обработка кролика без гипноза... С таким гениальным открытием меня Великий Питон примет с распростертыми объятиями. Хотя

теперь это может звучать и двусмысленно... Сейчас подкреплюсь — и к своим... Еще видно будет, кто достойнее быть царем удавов...

С этими словами он приступил к заглатыванию кролика. Так окончилась жизнь Находчивого, обладавшего немалыми способностями, но, к сожалению, больше, чем свои способности, любившего королевский стол, к которому и был допущен, но, увы, слишком дорогой ценой.

А между тем за время изгнания Пустынника и Находчивого в царстве удавов, как, впрочем, и в королевстве кроликов, произошли важные события. Открытие Задумавшегося относительно гипноза да еще обещание Возжаждавшего пробежать по удаву туда и обратно во многом расшатали сложившиеся веками отношения между кроликами и удавами.

Появилось огромное количество анархически настроенных кроликов, слабо или совсем не поддающихся гипнозу. Большое количество удавов сидело на голодном пайке. Некоторые из них стали до того нервными, что вздрагивали и в ужасе оборачивались на малейшее прикосновение, думая, что это кролик хочет пробежать по ним. Один удав даже пустился наутек, когда неожиданно на него упал всего-навсего грецкий орех.

От периферийных удавов поступали еще более зловещие сообщения. Там авторитет удавов упал так низко, что наблюдались случаи, когда на удавов, отдыхающих под деревьями, обезьяны мочились сверху. Правда, делали это они с доста-

точно большой высоты и потом, извинившись, объясняли, что они это сделали по рассеянности. Трудно было понять, почему раньше за ними не наблюдалось столь целенаправленной рассеянности.

— Этот вопрос мы не можем решить отдельно, — отвечал Великий Питон на жалобы периферийных удавов. — Мы его решим, как только укрепим позиции гипноза... А пока берите пример с вашего земляка, сразу обработавшего влюбленную пару.

Так отвечал им Великий Питон, но это было слабым утешением. А что он мог сделать, если даже рядом с его подземным дворцом иногда раздавались возмутительные выкрики кроликов.

Действие гипноза катастрофически слабело. Чтобы вызвать в удавах угасающий боевой дух, Великий Питон приказал удавам, живущим достаточно близко от дворца, каждый день перед охотой знакомиться с его боевыми трофеями, а периферийным удавам раз в месяц приползать большими группами. Но это не только не помогало, а наоборот, вызывало в удавах еще большую ярость.

— То когда было, — говорили они и уныло уползали в джунгли.

А там кролики выделявали черт те что! То они вдруг давали стрекача в самый разгар гипноза, то они вступали в какие-то издевательские переговоры во время гипноза, мол, что я буду с этого иметь, если дам себя проглотить, и так далее и тому подобное.

Один кролик во время гипноза, уже притихнув, уже погруженный в гипнотическую нирвану, вдруг подмигнул удаву глазом, покрытым смертельной поволокой. Удав, потрясенный этой медицинской новостью, приостановил ритуал и посмотрел на кролика. Кролик притих. Тогда удав решил, что это ему померещилось, и снова, выполняя ритуал гипноза, опустил голову и уставился на него своими незакрывающимися глазами. Кролик совсем притих, глаза его покрылись сладостной поволокой, но только удав хотел распахнуть свою пасть, как тот снова подмигнул, словно что-то важное хотел ему сказать. Удав снова приостановил гипноз, но кролик снова сидел перед ним, притихший и вялый.

Видно, мерещится, подумал удав и снова приступил к гипнозу. И снова повторилось то же самое. Умиравший глаз кролика в последнее мгновение лихо подмигнул удаву. Наконец, в шестой или седьмой раз удав не выдержал, и, как только кролик подмигнул ему, он попытался схватить его пастью, но кролик, неожиданно взмыв свечой, сделал сальто и ускакал.

Что он этим хотел сказать, думал удав, не может же быть, чтобы тут не было какой-то причины.

Несколько дней он разыскивал этого кролика, надеясь узнать, почему тот ему подмигивал. Он решил, что кролик хотел сообщить ему какую-то важную тайну, а он, старый удав, верный традициям, не стал с ним заговаривать во время обработки. Теперь он решил во что бы то ни стало найти этого кролика и узнать у него, в чем было дело.

Наконец он увидел своего кролика возле куста ежевики, который тот небрежно обгладывал. Даже не пытаясь его загипнотизировать, он напомнил ему о себе и спросил, почему тот подмигивал ему во время гипноза.

— Просто так, — сказал кролик, вбирая в рот шершавый лист ежевики, — пошухерить была охота...

— Шухерить?! Во время гипноза?! — воскликнул старый удав и умер, потрясенный всеобщим падением нравов.

Другой удав дошел до позорного унижения. Его с ума свела одна очаровательная жирная крольчиха, которая во время гипноза, хоть и не подмигивала, но каждый раз, как бы придя в себя, в последний миг отскакивала в сторону.

Так она промучила его с утра до полудня и наконец, кокетничая перед ним своими жирными боками, сказала:

— Укради у туземцев кочан капусты, тогда я наемся и отдамся тебе...

Они договорились, что удав с кочаном приползет на это же место. Волнуясь и спеша, удав пополз в ближайшую деревню, залез в огород, вырвал там кочан капусты, но, когда попытался просунуть этот кочан сквозь дыру плетня, был обнаружен туземцами и избит.

Дело в том, что этот глупец пытался кочан капусты всунуть в дыру, размер которой был немного меньше окружности кочана. Думая, будто все тела обладают свойством змей переливать себя в любой проход, он, видя, что кочан капусты никак не проходит в дыру пришел в бешенство и так расхрустелся прутьями плетня, что был услышан туземцами.

За этим занятием они его застали и избивали палками до полусмерти. Туземцы, не намного отличаясь от него умом, решили, что он убит, и для устрашения других удавов повесили его на плетень. После этого, смеясь над его несообразительностью, они заделали дыру в плетне, подняли кочан и, слегка обтерев его, тут же съели. Ночью избитый удав пришел в себя и уполз в джунгли.

Между удавами и туземцами всегда были довольно приличные отношения. Учитывая, что кролики разоряли огороды, а удавы уничтожали кроликов, туземцы уважительно относились к ним, хотя из приличия перед остальными обитателями джунглей никак этого не подчеркивали.

Более того, иногда они присоединялись к тем или иным протестам обитателей джунглей по поводу особенно зверских случаев обработки удавами своей добычи, ну, например, обработки крольчихи на глазах у крольчонка или наоборот.

В отдельных, правда, очень редких случаях, если удаву удавалось обработать слабосильного старика или заблудившегося в джунглях ребенка, вождь туземцев посылал своего человека к Великому Питону с жалобой, неизменно указывая, что преступление совершилось на глазах у обезьян.

Великий Питон неизменно обещал разобраться в деле и наказать виновного, каждый раз возвращая пришельцу непереваренные предметы, найденные в испражнениях провинившегося удава: кожаный талисман, бусы, браслеты, бронзовый топорик или обломок копья с костяным наконечником.

Все это Великий Питон возвращал посланцу вождя с тем, чтобы тот передал эти предметы родственникам погибшего с выражением самого искреннего соболезнования и обещанием наказать виновного. При этом, если дело касалось мужчины, Великий Питон, кивая на обломки его оружия, прошедшие сквозь удава, говорил:

— Виновного накажем, хотя он сам себя достаточно наказал...

Интересно отметить, что случаи гибели туземцев, оставшиеся незамеченными обезьянами, из соображений высшего престижа, вождем туземцев предпочиталось не рассматривать. Считалось, что туземцев удавы вообще не смеют трогать, а случаи нападения объяснялись тем, что тот или иной удав спутал туземца с обезьяной.

Правда, на этот раз посланец вождя выразил по поводу странной попытки удава стащить кочан капусты самый решительный протест.

Великий Питон самым искренним образом разделил возмущение вождя туземцев. Он решил, что это Коротышка, продолжая деградировать, окончательно уподобился кроликам и обезьянам.

— Удавы сейчас переживают временные трудности, — сказал Великий Питон посланцу вождя, — но удав, ворующий капусту, — этого никогда не было и не будет. Есть у нас один вырожденец по имени Коротышка, который всегда позорил и продолжает позорить наше племя. Травите его собаками, забивайте его палками, мы только спасибо вам за это скажем!

— Передам, — отвечал посланец и удалился, а придя в деревню, рассказал вождю все, что слышал, и добавил от себя, что удавы стали не те.

А удавы в самом деле стали не те. Забавный случай рассказывали по джунглям обезьяны. Оказывается, одна обезьяна видела, как воробей сел на свернувшегося удава, приняв его за кучу слонячьего дерьма. Говорят, этот нахальный воробышек клюнул его несколько раз и, чирикнув: «Дерьмо, да не то», улетел.

Даже если этого случая и не было, сама возможность распространять такие анекдоты свидетельствовала о неслыханном падении престижа.

Да, в это время удавы в самом деле стали не те. Дело дошло до того, что лучшие удавы из царских охотников начали давать осечки. Обычно они во время придворных выходов двигались впереди и, загипнотизировав кролика, давали знать, что дичь готова к обработке.

Великий Питон подползал со свитой и, если кролик ему казался достаточно аппетитным, обрабатывал его сам, а если находил, что он так себе, оставлял его свите.

Но теперь было не до свиты. Свите пришлось пользоваться скудным пайком из царского холодильника, а охотиться сами они уже не могли, потому что давно отучились работать с неопеченным кроликом.

В день возвращения Удава-Пустынника в джунгли Великий Питон впервые за все время своего царствования остался без завтрака. Правда, одному из царских охотников удалось

загипнотизировать довольно приличного кролика. Он отполз в сторону, а когда царь приблизился к своей добыче, кролик вдруг встряхнулся и убежал.

— Спасибо за завтрак, — только и сказал Великий Питон, оглянувшись на охотника.

— А ты бы еще чухался, — дерзко ответил ему охотник, и царь, молча проглотив обиду (вместо кролика), уполз в свой подземный дворец.

Там его ждал удав, посланный рано утром к Королю кроликов на тайные переговоры. Великий Питон извещал Короля, что такое резкое нарушение равновесия природы обязательно приведет к дурным последствиям не только для удавов, но и для самих кроликов, не говоря об остальных обитателях джунглей. В этой связи он просил Короля держать кроликов в рамках хороших старых традиций.

— Так что он тебе сказал? — спросил Великий Питон у посланца, голодной зевотой подавляя сосущие позывы своего бездонного желудка. Он то и дело оглядывался на чучела своих боевых трофеев, которые в этот миг казались ему свежезагипнотизированными кроликами, грациозными косулями, стройными цаплями.

— Во имя Дракона, прикройте, — застонал он, не выдержав этой пытки, — если есть здесь кто-нибудь... Невозможно работать...

И только после того, как банановыми листьями были прикрыты все трофеи, он продолжал беседу со своим посланцем.

— Так что он тебе сказал? — спросил Великий Питон, уже по кислому выражению лица своего посланца понимая, что ничего хорошего ожидать не следует.

— Он говорит — сам еле держится, — отвечал посланец, — только за счет Цветной Капусты...

— А что, — спросил Великий Питон, — они его тоже не слушают?

— Да, — отвечал посланец, — он говорит, каждое утро, когда передают сводку расстояния действия гипноза, кролики откровенно хохочут...

— Понятно, — мрачно кивнул Великий Питон. — Ну ладно, пока иди...

Стоит сказать, что в этот период, даже по сильно завышенным официальным сводкам королевской канцелярии, видно было, что кривая гибели кроликов в пасти удавов резко упала.

Как королевская пропаганда ни преувеличивала количество гибнущих кроликов (теперь она утверждала, что удавы сейчас охотятся в основном в самых отдаленных джунглях королевства, где даже наблюдался случай зверского двойного заглота влюбленных кроликов), все-таки рядовые кролики не могли не понимать, что удавы стали не те.

Они сами и многие их родственники и знакомые неоднократно усилием воли прерывали гипноз, а некоторые из них проделывали все то, что мы уже наблюдали, или нечто подобное.

Случай с заглотом влюбленных кроликов, как мы знаем, действительно имевший место и в самом деле возмутитель-

ный, пропаганда довела до того, что многие кролики вообще перестали верить в его реальность.

Сначала кроликам рассказали то, что было известно об этом злодеянии. Видя, что кролики возмущены и отчасти подавлены этим зверством, утренняя сводка каждую неделю стала передавать «Новые подробности о зверстве удавов на периферии».

В конце концов в одном из последних репортажей «С места трагедии» Скороход принес весть о том, что влюбленные, оказывается, умоляли удава отвернуться и не гипнотизировать их хотя бы до окончания их первой и, увы, последней близости. Но, оказывается, безжалостный удав не захотел их слушать, и тогда влюбленные пришли к героическому решению любить до конца и, физически погибнув в пасти удава, идейно его победили.

— Откуда он узнал эти подробности? — начали сомневаться кролики.

— Как откуда? — пояснял Скороход сомневающимся. — Обезьяны рассказывают... Они все видели и слышали...

— И то, что это была первая близость влюбленных?

— И то, что это была их первая близость, — отвечал Скороход.

— Что-то не верится, — говорили кролики, зная чистоплотность своих собратьев и невозможность того, чтобы они своему палачу, то есть удаву, стали бы рассказывать такие вещи.

— Вам не удастся осквернить светлый образ наших влюбленных, — говорил Король, глядя в толпу кроликов и стара-

ясь заметить сомневающихся. Те не слишком прятались, хотя и не слишком высывались.

Сложность того исторического момента заключалась в том, что кролики, с одной стороны, под влиянием учения Задумавшегося, которое неустанно внедрял в их сознание Возжаждавший, и в самом деле достаточно часто выдерживали взгляд удавов, что, в свою очередь, выражалось в виде возрастающей непочтительности к личности короля и его власти.

Но с другой стороны, полной победы Возжаждавшего кролики тоже не хотели, потому что тогда им пришлось бы оставить в покое огороды туземцев. Им нравилось жить так, как они живут сейчас: немножко слушаться Короля, немножко выполнять заветы Задумавшегося, как можно реже поддаваться гипнозу и как можно чаще посещать огороды туземцев.

На неоднократные намеки Возжаждавшего выступить против Короля кролики блудливо отводили глаза и говорили, что они еще недостаточно сознательны для этого.

— Куда спешишь, работай над нами, — говорили они.

И Возжаждавший продолжал работать, потому что ему ничего другого не оставалось, да и по всем признакам время расшатывало королевскую власть.

Да, время в самом деле работало против Короля. Король это чувствовал и днем и ночью, когда Королева, бывало, толкала его в бок и говорила:

— Придумай чего-нибудь!

— А что я могу придумать? — бормотал Король, потирая бок.

— Тогда незачем было изгонять Находчивого, — сердито отвечала Королева и поворачивалась спиной к Королю.

Но что он мог придумать? Главное средство — страх перед удавами — с каждым днем слабело. Гипноз то и дело давал осечки. В джунглях валялась масса трупов удавов, умерших с голоду. Случаи, когда удавы хватали слишком осмелевших кроликов без всякого гипноза, были слишком редки и ненадежны.

Однажды, во время очередной сходки кроликов, прямо над Королевской Лужайкой пролетела шестерка каких-то хищных птиц, пронося в когтях труп крупного удава.

Картина, с точки зрения Допущенных к Столу, была довольно жуткая — эти молчаливые большие птицы, этот удав, провисший в их когтях. Казалось, последнего удава уносят эти символические птицы.

— Разразись над миром буря! — неожиданно крикнул Поэт, по-видимому приняв этих птиц за буревестников.

— Наш Поэт совсем ополоумел, — сказал Король, брезгливо косясь на Поэта, который, лучезарно улыбаясь, глядел на птиц и приветствовал их протянутой лапой.

Действительно, Поэт в последнее время вел себя довольно глупо. Дело в том, что приставленный к нему глазастый крольчонок куда-то исчез, и он теперь не только ворон принимал за буревестников, но и обыкновенных попугаев, что вызывало приступы безудержного смеха в среде рядовых кроликов.

Сейчас при виде птиц, несущих удава, рядовые кролики подняли такой радостный визг, что пять птиц из шести, испу-

гавшись, бросили удава, но одна продолжала тащить его качающееся и вертикально провисшее тело. Упорная птица, продолжавшая держать удава, под его тяжестью летела, все снижаясь и снижаясь, но потом к ней подлетели остальные птицы и, снова подхватив удава, стали набирать высоту.

Правда, Старый Мудрый Кролик, которому поручили разгадать смысл этого зрелища, сказал, что оно, несмотря на его зловещую видимость, обещает хорошее будущее.

— Почему? — недоверчиво спросил Король.

— Падающий удав будет снова поднят на должную высоту, — уверенно отвечал Старый Мудрый Кролик, потому что действовал теперь наверняка: если удавы оправятся, то благодарный Король возвысит его за прекрасное предсказание, а если удавы дойдут до полного слабосилия, тогда и Короля незачем будет бояться.

Кстати, ко всем этим серьезным неприятностям прибавилась еще одна пренеприятнейшая чушь. В королевстве кроликов и даже в ближайших окрестностях дворца стал появляться очень маленький, но уже очень зловредный крольчонок.

Однажды во время прогулки Короля со свитой в хорошо охраняемых джунглях, примыкающих ко дворцу Короля, из-за кустов неожиданно высунулся маленький крольчонок и сказал грустным голосом:

— Дяденька Король, Цветной Капусты хотца.

Начальник Королевской Охраны и свита замерли от негодования. И только сам Король не растерялся, а, наоборот, как будто бы оживился.

— Ах ты, мой милый крольчонок, — сказал он, с улыбкой приближаясь к кустам, из-за которых высовывалась грустная мордочка крольчонка. — Цветной Капусты у нас пока нет, но очень скоро она будет, потому что за опытами мы лично следим и способствуем... А пока что тебя Королева угостит свеженьким листиком зеленой капусты.

Королева, видя, что Король благодушно настроился, вынула из туалетной корзиночки свеженький листик зеленой капусты и с улыбкой поднесла его крольчонку. Крольчонок взял в лапу листик и, не выходя из глубокой задумчивости, снова повторил, ни на кого не глядя:

— Дяденька Король, Цветной Капусты хотца.

Король, стараясь скрыть неловкость, развел лапами и, улыбнувшись: мол, чем богаты, тем и рады, — двинулся дальше. Свита последовала за ним. Мужская ее половина стала говорить о разложении нравов, которое начинает проникать и в среду маленьких крольчат. Женская же половина больше негодовала по поводу некоторых крольчих, которые считают, что достаточно крольчонка родить, а о воспитании нисколько не думают.

Постепенно и Король и свита успокоились и даже пришли в более хорошее настроение, чем до встречи с крольчонком. У Короля улучшилось настроение оттого, что он проявил мягкость и снисходительность по отношению к этому дерзкому крольчонку, а у свиты — оттого, что она получила неожиданное развлечение в виде самого Короля, попавшего впро-сак.

И вдруг на обратном пути, уже совсем близко от Королевской Лужайки, опять из-за кустов высунулась мордочка того же крольчонка, повторившего с невыразимой грустью:

— Дяденька Король, Цветной Капусты хочца.

— С кем говоришь?! — закричал Начальник Королевской Охраны, первым придя в себя.

— Хулиган! — закричали придворные. — Надо привлечь родителей!

— Надо узнать, кто за ним стоит! — воскликнула Королева и, подмигнув Начальнику Королевской Охраны, протянула ему еще один капустный лист.

Начальник Охраны взял этот лист и, стараясь мягко ступать, подошел к кусту, из-за которого высовывалась мордочка крольчонка, подмигивавшая своими большими грустными глазами, словно прислушиваясь к чему-то, так и не прозвучавшему, словно вглядываясь во что-то, так и не появившееся.

— А где ты живешь, милый крольчонок? — спросил Начальник Охраны, отечески склоняясь над кустом и всей своей позой наглядно выражая отсутствие воинственных намерений.

Крольчонок молча продолжал прислушиваться к чему-то, так и не прозвучавшему, продолжал вглядываться во что-то, так и не появившееся.

— А папочка с мамочкой у тебя есть?

Последовало долгое грустное молчание.

— Вот я тебе дам этот листик капусты, — сказал Начальник Охраны наинезжайшим голосом, — а ты мне скажешь,

какой дяденька кролик тебя подослал попросить Цветной Капусты у дяденьки Короля, хорошо?

И не дожидаясь согласия, он протянул крольчонку листик капусты .

— Цветной Капусты хотца, — сказал тот все так же грустно, однако протянутый листик капусты взял.

Снова наступило долгое, тягостное молчание.

И вдруг в этой тягостной тишине раздался шорох шагов какого-то кролика, который переходил тропу совсем близко от Короля и его свиты. Он очень недружелюбно посмотрел в сторону Короля и его свиты и, злобно пробормотав насчет некоторых, которые сами обжираются, а крольчонку не могут дать листик Цветной Капусты, скрылся в высокой пампасской траве. И что было особенно обидно, входя в пампасскую траву, он пару раз раздраженно отбросил от морды нависающие стебли травы, из чего неминуемо следовало, что он все еще раздражен, а о том, что он публично оскорбил Короля, он и думать не думает.

Король, не сказав ни слова, повернулся и стал уходить, свита потянулась за ним.

— Задержать! — крикнул, наконец опомнившись, Начальник Королевской Охраны.

— Кого именно? — спросил один из охранников, не зная, кого он имеет ввиду — крольчонка или неизвестного кролика, перешедшего тропу.

— Всех! — закричал Начальник Охраны, чем окончательно запутал своих охранников, потому что часть из них побе-

жала за свитой. И пока их возвращали, след обоих кроликов давно простыл. Этих охранников можно было понять, потому что они знали, что Начальник Охраны день и ночь мечтает раскрыть заговор Допущенных к Столу. Они решили, что наконец он такой заговор раскрыл.

Начальник Охраны, вспомнив, что у Поэта сбежал крольчонок-поводырь, решил узнать — не он ли во время королевской прогулки столь дерзко просил Цветной Капусты? Он вызвал к себе Поэта, но тот ничего толком не мог ему сказать, хотя и был в это время в королевской свите.

— Не знаю, — сказал Поэт, — я его не видел, я же обычно на небо смотрю.

— Ну, а если поймал, опознаешь? — спросил Начальник Охраны, едва сдерживая ненависть к Поэту.

— Не знаю, — сказал Поэт, — я же на него обычно не смотрел, я на небо смотрел.

— Ладно, ступай, — сказал Начальник Охраны, едва сдерживая себя. Он так мечтал когда-нибудь подвесить Поэта за уши и заставить его в таком виде приблизиться к небу, с которого тот всю жизнь не сводил глаз. Но, увы, Король почему-то считал нужным защищать своего придворного Поэта.

— Если этот злоумышленник — мой поводырь, — начал вдруг рассуждать Поэт, — многое становится ясным...

— Что именно? — оживился Начальник Охраны.

— Теперь становится ясным, что он, пользуясь моим слабым зрением, выдавал многих буревестников за ворон. О, сколько усталых бойцов, которых я мог взбодрить своим

поэтическим голосом, бесцельно пролетели надо мной! — воскликнул Поэт с горечью.

— Ради Бога, уйди, — сказал Начальник Охраны, — иначе сегодня к твоей жене вместо буревестника явится горевестник.

— Нет, горевестника не надо, — сказал Поэт и быстро направился к выходу.

Едва придя в себя после посещения Поэта, Начальник Охраны встретился с Королем и, оправдываясь за этот непредвиденный случай на прогулке, говорил, что сначала растерялся, приняв кролика, переходящего тропу, за переодетого охранника, а потом его помощники сплеховали.

— Кусочек спокойных джунглей для прогулок, — сказал Король, — вот все, что я у тебя прошу.

— Будет, мой Король, — ответил Начальник Охраны многозначительно, — а преступников выловим.

— Посмотрим, — сказал Король и спросил: — Слышал, какие слухи пошли по королевству?

— Слышал, — отвечал Начальник Охраны, — пускаем контрслухи.

— Ну и как?

— Сложно, мой Король. Точно замечено, что одни и те же кролики с удовольствием пользуются и слухами и контрслухами.

— Теперь ты видишь, кем мне приходится управлять? — сказал Король, покачивая головой.

— Теперь вы видите, от кого мне вас приходится охранять? — сказал Начальник Охраны.

— Тоже верно, — согласился Король и добавил в знак окончания беседы: — Что ж, ступай и бди.

В самом деле, по королевству поползли нехорошие слухи. Одни говорили, что заблудившийся крольчонок случайно в джунглях наткнулся на выездной банкет, где, как у них водится, обжирались всеми сладостями вплоть до Цветной Капусты.

Оказывается, крольчонок из-за кустов смотрел, как они едят и пьют, но потом, когда они, наевшись до отвала, стали скармливать остатки Цветной Капусты обезьянам, он не вытерпел, вышел из-за кустов и, протянув лапку, сказал:

— Дяденька Король, Цветной Капусты хочца.

— Брысь отсюда, шпион проклятый! — оказывается, закричал Король, и охрана так затравила крольчонка, что его до сих пор ищут и никак не могут найти.

— Неужели чужим обезьянам скармливал, а для своего крольчонка пожалел? — обычно в этом месте спрашивал кто-нибудь из слушателей.

— Не в том дело, что пожалел, — пояснял рассказчик, — но они не любят, чтобы рядовые кролики видели, как они сидят вокруг скатерти, измазанной соком Цветной Капусты.

— А что, Цветная Капуста мажется? — спрашивал кто-нибудь из слушателей, громко глотая слюни.

— Во рту-то, говорят, она тает, как цветочный нектар, — отвечал рассказчик, — но пока до рта донесешь, говорят, мажется, потому как наинейший овощ грубого касательства не терпит.

— Я бы ее до рта донес, — мечтательно грезил один из слушателей, — она бы у меня цветным соком изошла под нёбом...

И тут кролики вместе с рассказчиком замирали и, громко глотая слюны, представляли, как нежнейший овощ тает во рту этого сластены.

По другой версии получалось, что, когда крольчонок попросил Цветной Капусты, Король, как самый последний крохобор, стал допытываться у Казначея, как отец этого крольчонка, кстати, погибший в свое время в пасти удава, при жизни платил огородный налог. И пока Казначей, проверив, установил, что покойный при жизни не очень уважал огородный налог, несчастный крольчонок стоял с протянутой лапкой на посмешище Допущенных к Столу.

— Ну, хорошо, — возмущались кролики, — даже если родитель не очень уважал огородный налог, при чем тут крольчонок? А еще называет себя отцом всех крольчат.

Самое интересное, что кролики с таким же любопытством и сочувствием рассказывали контрслух, пущенный Королевской Охраной. По этому слуху получалось, что действительно заблудившийся крольчонок набрел в глубине джунглей на чрезвычайно засекреченную плантацию, где под личным наблюдением Короля ученые кролики совместно с туземцами выводят Цветную Капусту. И вот, оказывается, крольчонок, увидев опытный кочан на грядке, сиявший всеми цветами радуги, попросил:

— Дяденька Король, Цветной Капусты хотца.

И в самом деле, со стороны туземцев и некоторых оторванных от жизни ученых была попытка прогнать этого действительно заблудившегося крольчонка. Но Король, оказывается, узнав, что крольчонок сирота, наклонился и, отрезав от опытного кочана самый сочный лист, дал его крольчонку, при этом сказав:

— Очень скоро все сироты будут есть Цветную Капусту.

— Интересно бы увидеть этого маленького счастливи-ка, — говорили кролики, услышав столь приятный рассказ.

— Увидеть нельзя, — отвечал рассказчик многозначитель-но, — потому что он теперь засекречен как знающий место-расположение плантации.

— А-а, ну тогда конечно, — легко соглашались кролики с этим объяснением, таким образом, может быть, намекая, что они и сами кое в чем засекречены. Вообще кролики ужасно любили быть засекреченными. Им казалось, что засекречен-ных удавы глотают только в крайнем случае.

Кстати, эту версию однажды услышала вдова Задумавше-гося. Ее рассказывал в кругу почетных кроликов один из ра-ботников Королевской Охраны. В ту ночь она долго не могла заснуть. Слова Короля о том, что скоро все сироты будут есть Цветную Капусту, не давали ей покоя. Она решила, что самое время напомнить Королю об его обещании — как только бу-дет возможно, заменить пенсионный паек зеленой капусты равнозначным количеством Цветной.

Рано утром она явилась во дворец, где у королевского склада другие почетные вдовы уже ждали выдачи своего пай-

ка. Всех их было около дюжины крольчих, и все они бешено завидовали друг другу, но вдова Задумавшегося по праву считалась первой среди равных.

— Мой-то еще во-он когда задумался, — сказала она, готовясь устроить скандал, если Казначей ей не выдаст Цветную Капусту.

Вдовы, стоящие в ожидании открытия склада и время от времени издававшие вдовствующие вздохи, ревниво затаили дыхание.

— О чем? — спросил Казначей, выкладывая на прилавок, положенный ей кочан капусты.

— О Цветной, — отвечала вдова, откатывая от себя поданный ей кочан обычной капусты.

— В глаза не видел, — говорил Казначей, поставив кочан на полку. — Если можешь, зайди к Королю и спроси.

— И зайду, — угрожала вдова Задумавшегося, прислушиваясь к ропоту остальных вдов, не очень уверенно утверждавших, что они вдовствуют не хуже.

— Хуже, — твердо отвечала им она и, уходя, добавила: — Ваши обжирались за королевским столом, когда мой день и ночь думал о будущем.

Так как ее уже побаивались, вдовы промолчали. По той же причине она без задержек прошла в королевскую канцелярию и, распахнув дверь, рыдая, вошла в кабинет Короля.

Она бросилась на грудь Короля и со смелостью, дозволенной только для патриотических слез, повторяла одно и то же, что особенно раздражало Короля:

— Если б он мог встать... Если б он мог увидеть... Если б он мог встать... — Наконец, успокоившись, она, ссылаясь на рассказ о крольчонке, напомнила обещание Короля со временем заменить зеленую капусту Цветной.

— Все это ужасно преувеличено, милочка, — отвечал Король, провожая ее до дверей. — Конечно, опыты проходят успешно, и мы всячески способствуем, но при чем тут крольчонок... Да и как он мог попасть на засекреченную плантацию?.. Какая-то чушь все это...

Едва выпроводив вдову, Король тяжело опустился в свое кресло и, тупо уставившись перед собой, повторил:

— «Если бы он мог встать...» Только этого не хватало на мою голову... — Затем, вызвав своего секретаря, он дал ему приказ: — Эту ведьму, если она попытается ко мне прорваться, гнать в шею... но почтительно... Вплоть до особого распоряжения...

— Насчет шеи или насчет почтительности? — спросил секретарь, деловито записывая приказ Короля.

— Насчет вдовы, — отвечал Король, задумавшись о новых трудностях, встающих перед его мысленным взором.

Кстати, через некоторое время вдова Задумавшегося снова встретила с работником Королевской Охраны и сказала ему, что он, такой ответственный кролик, в тот раз рассказал такую безответственную чушь про Короля и крольчонка.

— Так было надо, — не моргнув глазом, отвечал ей работник Королевской Охраны.

Тут вдова не удержалась и весьма ясно намекнула, что по данному поводу у нее была беседа с самим Королем, который лично высмеял этот сентиментальный миф.

— Значит, тогда так было надо, — твердо повторил работник Королевской Охраны, и при этом у него даже уши выпрямились и затвердели.

— А-а, — понимающе закивали все, кто слышал, испытывая мистическую сладость от твердой значительности его слов, — конечно, о чем говорить...

И Первая Вдова королевства тоже понимающе закивала, хотя, как мы имели возможность убедиться, была отнюдь не робкой крольчихой.

Дело в том, что в королевстве кроликов был закон, который далеко не все понимали, но все хорошо чувствовали. Закон этот гласил: «Плывя в королевском направлении, можно превышать даже королевскую скорость».

И сейчас все почувствовали, что слова работника Королевской Охраны как раз попадают под этот закон, оттого ему не страшно, что рассказ его отрицал сам Король.

А между тем в королевстве кроликов обнаруживались все новые странности, одна другой удивительней. Во-первых, появились пьяные кролики, которые горланили свои вздорные песенки не только в джунглях, но и в ближайших окрестностях королевского дворца. Они научились запихивать дикие фрукты в дупла деревьев, доводить их там до состояния брожения, законопатив дупло, и потом, сделав дырочку, отпивать оттуда алкогольный сок и снова залеплять дырочку кусочком

смолы. Иногда они путали свое дупло с чужим, и на этом основании возникала масса глупых недоразумений, не говоря о том, что выявились ходоки по чужим дуплам, которых время от времени подстерегали истинные алкоголики и, поймав, давали полную волю своей благородной ярости.

Особенно много пьяных стало попадаться после того, как кролики сделали изумительное открытие — оказывается, перебродивший сок бузины, до того известный в королевстве только в качестве чернил, может быть прекрасным, веселящим напитком.

Открытие это, как мы знаем, сделал придворный Поэт. Во время сочинения очередных стихов он однажды отгрыз верхний конец пера фламинго, которым писал, и случайно втянул в рот по трубчатому перу несколько капель сока бузины. После этого он заметил, что утоляющая горечь сока бузины как-то помогает его творческой мысли.

В конце концов он убедился, что творческая мысль его перед тем, как закрепиться на бумаге в виде стихов, требует чернил внутрь. Возможно, там идет какая-то таинственная запись, решил он и, уже упрямо окунув свое трубчатое перо в чернильницу, высасывал чернила, одновременно прислушиваясь к своему внутреннему состоянию.

Так вот он и жил, не слишком скрывая и не слишком афишируя свой творческий метод. Жена его каждое утро ходила на королевский склад, где вместе с остальными продуктами получала бамбуковую банку чернил. Так как запасы чернил в королевских складах были неисчерпаемы, Казначей обычно

не спрашивал у жены Поэта, отчего тот так быстро поглощает чернила. Возможно, даже спрашивал, и возможно, даже она ему правильно отвечала, но, согласно науке, в обществе кроликов в то время не было потребности в ее ответе, и никто на ее ответ внимания не обращал.

Но именно в этот период кролики просто изнывали от жажды услышать ее ответ, и они его, естественно, услышали.

— Да что он у тебя, пьет чернила, что ли? — как-то сказал Казначей без всякой злости, а только с удивлением и, вынув затычку из бочкообразного выдолба, налил ей полную банку и, заткнув сосуд, протянул ей.

— Так не пьет, но посасывает, — отвечала жена.

— То есть как посасывает? — удивился Казначей.

— Прямо так и посасывает — через перо, — объяснила жена.

— И ничего? — спросил Казначей.

— Ничего, — говорила жена, — работает... Только к вечеру немного запинается.

— На язык или на походку? — уточнил Казначей.

— Когда как, — отвечала жена, — раз на раз не приходится...

Несколько крольчих, жен Допущенных к Столу, самолюбиво прислушивались к беседе Казначей с женой Поэта. Как только она ушла, первая же из этих женщин потребовала банку чернил, сказав, что муж ее засел на много лет писать «Славную историю королевства кроликов». Так и пошло.

Потом включились вдовы во главе с Первой Вдовой королевства писать воспоминания о своих покойных мужьях,

и они в самом деле собирались вечерами посидеть, почернитьничать, как говорили они, вспоминая прошлые дни.

Рядовые кролики, прослышав о свойствах сока бузины, вытащили откуда-то давно забытый, но не отмененный закон, гласивший: «На образование кроликов чернил не жалеть». Закон этот был введен самим Королем, когда еще только он начинал править. Потом он как-то отвлекся, махнул на просвещение рукой, а запасы чернил продолжали пополняться. И вот теперь кролики неожиданно возжаждали просвещения.

Решив извлечь из этих запасов хотя бы политическую пользу, Король не стал возражать. Через два месяца, когда запасы чернил были почти исчерпаны, Главный Ученый, разделив количество истраченных чернил на общую численность кроликов, пришел к радостному выводу о всеобщей грамотности населения королевства.

После этого закон «Чернил не жалеть» был отменен по случаю триумфальной победы образования, а новые небольшие запасы чернил для придворных надобностей стали тщательно фильтровать, пропуская сок бузины через толстый слой папоротниковой прокладки. Рядовых кроликов отмена закона не очень смутила, и они продолжали свое теперь уже самообразование, заквашивая чернила из гроздей спелой бузины.

А между тем таинственный крольчонок появлялся то здесь, то там и всегда с какой-то рассеянной грустью просил Цветной Капусты. Однажды он даже очутился на ветке морковного дуба, росшего под окнами дворца.

— Дяденька Король, Цветной Капусты хотца, — попросил он, покачиваясь на конце ветки у самого окна королевской спальни.

Королева от возмущения упала в обморок, а Король успел поднять стражу, которая оцепила морковный дуб, предлагая крольчонку сдаться живым, а в крайнем случае, мертвым. Крольчонок ничего не отвечал, но время от времени с неряшливой меткостью бросал в стражников совершенно несъедобные, однако довольно увесистые морковные желуди.

Часть стражников была тяжело ранена, зато остальные пришли в ярость и, уже осыпаемые ядрами морковных желудей, штурмом овладели этой неожиданной цитаделью, как впоследствии писали королевские историки.

Стражники облазили все ветки, но крольчонка нигде не оказалось. Тогда они, решив, что он замаскировался в листве дуба, стали поочередно трясти все ветки, растягивая под каждой из них сетку из пампасской травы.

Еще несколько стражников было ранено своими же трясунами, и наконец некое легкое тело свалилось в сетку и запуталось в ней.

Но, увы, Король, вышедший посмотреть на возмутителя королевства, был еще более удручен. Мало того что, пока он выходил из дворца и приближался к морковному дубу, мимо него пронесли около тридцати тяжелораненых стражников, но, когда он подошел к сетке и ее осторожно распутали, в ней оказалась белка.

— Ничего, мы доберемся до его кроличьей шкуры, — сказал Начальник Королевской Охраны и велел осторожно вместе с сеткой внести белку в помещение для допросов провинившихся кроликов.

— Еще один такой штурм — и я останусь без армии, — сказал Король, горестно и брезгливо оглядывая место сражения.

Дело в том, что в королевстве кроликов Охрана Короля была равнозначна охране королевства и, естественно, считалась армией. Армия была вооружена бамбуковыми пиками, бамбуковыми палками и бамбуковыми трубками, выстреливающими кактусовой иглой. Убойная сила стреляющей трубки была равна среднему попугаю, но не годилась ни против шкуры туземцев, ни тем более против шкуры удавов.

В сущности говоря, армия предназначалась против мелких грызунов, оспаривавших кроличьи уголья или норы, а также, и даже главным образом, против бунтующих кроликов.

Приказав отпилить ветку морковного дуба, нависавшую над королевскими окнами, чтобы такие случаи не повторялись, Король ушел во дворец дожидаться результатов допроса.

А между тем допросить белку так и не удалось по причине ее упорного молчания. Заставить заговорить ее было невозможно, потому что тело белки, вернее, уши были никак не приспособлены к единственному известному в те времена в королевстве методу пыток.

Он состоял в том, что уши кролика связывали крепкой веревкой. Второй конец этой веревки перекидывали через балку под потолком, кролика слегка подтягивали и, вручив ему

второй конец веревки, отпускали. Большой узел на том месте веревки, где она перекидывалась через балку (все предусмотрели, хитрецы!), не давал ей выскользнуть в сторону завязанных ушей кролика. В конце концов висящему кролику, чтобы освободиться от мучительной боли вытягивающихся ушей, приходилось изо всех сил подтягивать себя, чтобы взобраться на балку.

Если ценой таких мучений кролик, взобравшийся на балку, признавал свою вину, его отпускали, оштрафовав согласно обвинению. Если не признавал, его спускали вниз и повторяли пытку.

У крольчонка, замаскированного под белку, оказались такие маленькие уши, что никак невозможно было прикрепить к ним веревку. Пока думали и гадали, что с ним делать, неожиданно из джунглей пришла новость: крольчонок на воле и уже у нескольких ответственных кроликов просил Цветную Капусту.

Пристыженному Начальнику Охраны пришлось отпустить белку. Впрочем кроликам-снайперам был дан тайный приказ: если белка, оказавшаяся на воле, не вскочит на первое попавшееся на пути дерево, а пробежит мимо, пристрелить ее, как при попытке к бегству. К счастью для себя, белка вскочила на первое же попавшееся ей дерево.

А между тем непослушание кроликов усиливалось с каждым днем. Утренний прогноз воздействия гипноза, объявляемый Глашатаем на Королевской Лужайке, встречался откровенным улюлюканьем.

Скандалная история чуть не вызвала разрыва дружественных отношений между кроликами и обезьянами. Дело в том, что один из сыновей Задумавшегося (кстати, всего их было четверо и все они были порядочными забияками) избил молодую мартышку, поймав ее у водооя. Он ее избил на том основании, что она когда-то, якобы зная, что отца его предадут, никому ничего не сказала. Мать этой мартышки требовала наказания для распоясавшегося кролика, который от ее дочери требует, как она говорила, того, что он должен был бы потребовать от своих же кроликов. Была пущена в ход самая тонкая дипломатия, чтобы замять скандал, потому что затрагивались интересы слишком высокопоставленных особ.

А злоумышленный крольчонок то там, то здесь продолжал появляться. Королевская Охрана сбилась с ног, ища его во всех уголках королевства. Ведь каждое новое появление крольчонка с его издевательской просьбой делало несколько смехотворной грандиозную программу по выведению Цветной Капусты.

Приметы крольчонка, нарочно написанные на капустном листе, чтобы привлекать внимание кроликов, были развешены на многих деревьях джунглей. Впрочем, развешены они были достаточно высоко, чтобы кролики могли прочесть королевский указ, а съесть его не могли.

Тем не менее злоумышленный крольчонок каждый раз бесследно исчезал.

— Это заговор, — говорил Начальник Королевской Охраны, — заговор, уходящий своими корнями к некоторым из Допущенных к Столу.

Однажды был пойман пьяный кролик, чей путь от Королевской Лужайки до норы был выслежен, а бессвязный, но подозрительный бормот выслушан и записан.

— ...А он мне, — говорил этот пьянчуга. — «Я вам Цветную Капусту, Цветную Капусту...» А я ему: «А что мне твоя Цветная Капуста? В гробу я ее видел, твою Цветную Капусту! Я, например, выпил свою бузиновку, закусил морковкой, которую сам же откопал у туземцев... А кто видел твою Цветную Капусту?» А он мне опять свое: «Я вам Цветную Капусту, я вам всё, а вы, неблагодарные...» А я ему: «Ты нам всё? Нет, ты нам ничего, и мы тебе — ничего». А он опять: «Я вам Цветную Капусту, я вам всё...»

Кролик этот был схвачен и отправлен к Начальнику Охраны. По многим признакам он казался похожим на того кролика, который во время знаменитой прогулки Короля со злобным бормотанием пересек тропу и скрылся в пампасской траве. С вечера от него трудно было чего-нибудь добиться, а утром его вызвали для допроса к самому Начальнику Охраны.

Начальник Королевской Охраны сидел у себя в кабинете и, готовясь к допросу, чинил перья, поглядывая на пьяницу, бормотавшего вчера подозрительные слова.

Вернее, он поглядывал не столько на него, сколько на его уши. За долгие годы работы он привык оценивать подследственных кроликов по форме ушей. Некоторые уши, узкие у основания, довольно резко (для опытного глаза, конечно) расширились, что Начальнику Охраны доставляло настоящее эстетическое наслаждение. Такие уши во время подвешива-

ния — хоть бантиком завязывай — никогда не выскальзывали из петли.

Именно такие уши были у этого заговорщика. В том, что он заговорщик, Начальник Охраны был уже уверен. Сами уши служили, правда, косвенным, но обстоятельным доказательством его вины.

Преступный пьяница, явно ничего не подозревая о соблазнительной форме своих ушей, сам не сводил глаз с не менее соблазнительной чернильницы, только что на его глазах наполненной секретарем свежими чернилами из сока черной бузины.

— Значит, будем играть в молчанку? — наконец сказал Начальник Охраны и слегка придвинул к себе чернильницу. Преступный кролик, стоявший возле стола, невольно сделал движение вслед за чернильницей.

— Дяденька Начальник, Цветной Капусты хотца, — вдруг раздался знакомый голос.

Начальник Охраны вздрогнул и, подняв голову, увидел крольчонка, который сидел на подоконнике с грустным видом, словно прислушиваясь к чему-то, так и не прозвучавшему, словно вглядываясь во что-то, так и не появившееся.

Начальник Охраны перевел взгляд на пьяницу, чтобы уловить связь между появлением крольчонка и им. Но пьяница явно был поглощен зрелищем чернильницы, заполненной чернилами, и, кажется, вообще ничего не слышал.

— Глянь на окно, — сказал Начальник негромко и кивнул пьянчуге. Он решил, что неожиданность появления преступного крольчонка смутит его, если они связаны.

— Сын? — спросил пьянчуга, косясь на окно и, видимо, совершенно не в силах оторваться от чернильницы.

Нет, он явно его не знает, подумал Начальник Охраны.

— Я бы такого сына... — пробормотал он и, замолкнув, уставился на грустного крольчонка. Главное, окно, затянутое прозрачной слюдой, было закрыто, и откуда он взялся, никак нельзя было понять.

— А ты знаешь, с кем говоришь? — спросил Начальник Охраны, лихорадочно соображая, как отразится появление крольчонка на внутренней жизни Дворца и каким образом можно связать его появление с заговором Допущенных к Столу.

— Знаю, — неожиданно подтвердил крольчонок, и на этот раз его грустный голос как бы намекал на то, что он ничего хорошего не ждет от своих знаний.

— Значит, пришел раскалываться, — радостно высказал вслух свою догадку Начальник Охраны. До этого крольчонок никогда ничего не говорил, кроме своей издевательской фразы.

А теперь вдруг, очутившись у него в кабинете, заговорил. Начальник Охраны почувствовал, что заваривается грандиозное дело. Он замурлыкал и потер лапы от удовольствия. Мысль его заработала с необыкновенной силой.

— Как ты очутился во Дворце, я знаю, — сказал Начальник, — во время штурма морковного дуба ты впрыгнул в спальню Королевы... Потому-то тебя не нашли тогда... Но как ты очутился в охранном отделении? Вот что меня интересует. Учти, добровольное признание облегчит твою участь.

— У меня пропуск, — сказал крольчонок грустно и добавил, как бы намекая на свое вечное сиротство: — На одно лицо.

— Ну да, пропуск, — согласился Начальник Охраны, тихо ликуя про себя, — но кто его выдал... Я, конечно, знаю, но лучше, если ты сам...

— Вы, — сказал крольчонок грустно и что-то протянул ему в лапе.

— Я?! — переспросил Начальник Охраны, задохнувшись от бешенства и одновременно догадываясь, что заговорщики таким коварным путем интригуют против него.

— Да, вы, — грустно повторил крольчонок и с неслыханной наглостью протянул ему какой-то затрепанный лоскуток, даже внешне не похожий на пропуск.

И эта наглость взорвала Начальника Королевской Охраны раньше времени. Он схватил со стола тяжелый кокосовый орех, давний сувенир делегации мартышек, и швырнул его в крольчонка.

Тяжелый орех пробил слюдяное окно и через несколько секунд шлепнулся во внутреннем дворе королевского дворца. По звуку было ясно, что он лопнул и из него брызнула жидкость.

— Раскололся, — сказал крольчонок, как показалось Начальнику Охраны, с издевательским двусмыслием.

Крольчонок, больше ничего не говоря, повернулся к окну и, осторожно наклонившись, чтобы не порезаться, пригнул одной лапой свои уши, вылез на ту сторону и исчез за карнизом. Еще несколько мгновений его уши торчали за окном,

и было понятно, что он висит на карнизе, обдумывая, куда бы спрыгнуть.

Как только уши исчезли, Начальник Охраны вскочил из-за стола, влез на подоконник и, осторожно высунув голову в дыру, крикнул вниз:

— Никто не проходил?

Охранники расхаживали внизу и, находя брызги кокосового ореха, тщательно вылизывали их. Казалось, там внизу лопнул горшок с деньгами, упавший сверху, и они ищут разлетевшиеся монеты. Один из них, которому достался солидный обломок ореха, держа его над запрокинутой мордочкой (потому-то первым и заметил Начальника), тщательно скапывая в рот последние капли, ответил:

— Никто, Начальник!

Остальные охранники тоже подняли головы и неожиданно стали кричать:

— Спасибо, Начальник! Кинь еще!

Начальник ничего не ответил и убрал голову из пролома в окне. Тут он заметил валявшийся на подоконнике сильно увядший лист капусты с печатью королевского склада.

— Черт его знает, что делается, — сказал Начальник и, отшвырнув капустный лист, сел к столу.

— Убег? — спросил пьянчуга, оживляясь и глядя туда, куда упал капустный лист.

Начальник посмотрел на него. Они встретились глазами.

— Убег, — сам себе ответил пьянчуга, и глаза его засветились невинным блеском шантажа, — нехорошо... Тем более

ежели пришел сдаваться, а вы его турнули путем швыряния казенного кокоса.

— Ладно, убирайся домой, — строго приказал Начальник. — И учти: ничего не слышал, ничего не видел.

— Я-то пойду, пойду, — сказал пьяница, не двигаясь с места и теперь уже опять уставившись на чернильницу, — но ежели кто пришел сдаваться, тем более королевский преступник... Не дозволено пугать путем швыряния казенного кокоса...

— Ладно, пей и иди, — Начальник Охраны кивнул на чернильницу.

— Ваше здоровье, Начальник, — сказал кролик и залпом опорожнил довольно вместительную чернильницу. В то же время, наклонившись, он достал с пола капустный листик, брошенный Начальником, потрянул его, мазанул пару раз о грудь, понюхал и, сунув в рот, стал жевать, одновременно знаками показывая, что он поднял его с пола и сунул в рот как ненужную вещь, иначе, мол, он его положил бы обязательно на стол.

Пусть глотает, к лучшему, думал Начальник, мимоходом удивляясь, как быстро рядовые кролики наглеют.

— Королевская, очищенная, — наконец выдохнул пьянчуга, — это вещь...

Быстро охмелев, он стал учить Начальника Охраны, как лучше поймать преступного крольчонка, при этом с выражением вымогательского намека продолжая держать в руке чернильницу.

Но тут Начальник Охраны взглянул на него своим знаменитым взглядом, который быстро привел в чувство пьянчугу.

— Все ясно, Начальник, — сказал пьянчуга и, поставив чернильницу на стол, пятясь, вышел из помещения.

То-то же, подумал Начальник, довольный эффектом своего взгляда. Он подумал, не связан ли крольчонок с каким-нибудь придворным заговором и, если не связан еще, не правильно ли будет связать его появление с еще не открытым заговором Допущенных к Столу. Он вызвал своего секретаря и узнал у него, не спрашивал ли его кто-нибудь с утра.

— Тут один крольчонок приходил, — ответил секретарь, — сказал, что ты его ищешь.

— Ну, а ты? — спросил Начальник.

— Ну, я ему сказал, — пояснил секретарь, — раз ты нужен Начальнику, заходи и жди. А что случилось?

— Значит, кто меня ни спросит, — мрачно сказал Начальник Охраны, — заходи и жди!

— Так ведь он был с королевским капустным листом, — отвечал секретарь, — а ведь это устаревшая, но не отмененная форма пропуска. Но что это? Разбито окно, да и ухо у вас в крови?! Покушение!!!

— К счастью для королевства, неудачное, — сказал Начальник Охраны, — но какая ехидина! Он сказал, что я ему дал пропуск, имея в виду капустный лист, полученный по приказу Королевы. Хорошо, что были свидетели. Опасный преступник во дворце! Перекрыть все входы и особенно выходы! Налей мне свежих чернил, да не в чернильницу, а в бокал, черт подери! Думаю, что он прячется среди королевских балерин, придется их тщательно проверить.

Несмотря на перекрытые входы и особенно выходы из королевского дворца, на следующий день Король получил неприятнейшее известие о новой вылазке крольчонка уже на окраине королевства.

Об этом рассказывал в своем секретном донесении Главный Казначей. Дело в том, что в связи с тревожными временами Король распорядился в самом глухом уголке своего королевства устроить тайный склад с капустой. В случае если королевство и в самом деле развалится, он думал вместе с женой и ближайшими сподвижниками, перекрасившись соком черной бузины, пожить там под видом богатого семейства негритянских кроликов, прибывших из далекой страны.

И вот, оказывается, еще вчера, когда Главный Казначей в сопровождении пяти рабочих кроликов вносили в склад пополнение, они заметили крольчонка, сидевшего на пирамидальной вершине капустной горы, подобно маленькому грустному Кощею, восседавшему на черепах туземцев, кстати, в отличие от капусты, абсолютно несъедобных.

Увидев кроликов, он, как обычно, попросил Цветной Капусты, что прозвучало особенно издевательски, учитывая, что он сидел на целой горе кочанов обыкновенной капусты. Это прозвучало так, как будто он убедился в полной пищевой непригодности всех запасов, на которых он сидел.

— Про меня ничего не говорил? — спросил Король, мрачно выслушав рассказ.

— Нет, — отвечал Казначей, — но интересно, когда наверх полез один из рабочих кроликов, оказалось, что на вершине

вместо крольчонка лежит кочан капусты с двумя надорванными листьями, напоминающими снизу уши кролика.

— Одно ясно, — мрачно отвечал Король, — тайный склад рассекречен... А этот болван, Начальник Охраны, ищет его во дворце да еще и щупает моих балеринок. Должен сказать, друзья, еще два-три месяца — и королевство кроликов развалится в результате падения производительной силы удавов.

Но нет, не развалилось королевство кроликов, ибо именно в этот исторический день Удав-Пустынник приполз (потому что он и исторический) к подземному дворцу Великого Питона и рассказал о своем открытии.

Великий Питон приказал собрать довольно поредевшее племя удавов. Некоторых пришлось тащить волоком, до того они ослабли от недоедания.

Один удав, залезший на инжировое дерево, росшее у входа во дворец Великого Питона, во время исполнения гимна шлепнулся с ветки и упал рядом с царем. Царь, вынужденный прервать гимн, ждал, что тот будет делать дальше.

Смущенный позорным падением и нескромной близостью несчастного случая с местом возлежания Великого Питона, он пытался уползти, беспомощно дергаясь своим непослушным телом, что производило на царя и близлежащих удавов особенно гнетущее впечатление.

— Да лежи ты, ради Великого Дракона, — наконец сказал царь и, уже решив не продолжать прерванного гимна, в сжатом виде рассказал всем о Пустыннике, который, если кто по

молодости не знает, был в свое время наказан, а теперь вернулся с интересным предложением.

Прощенный Пустынник со скромным достоинством сообщил о своем теоретическом открытии и его экспериментальной проверке, оказавшейся вполне удачной. Удавы, мрачно слушавшие рассказ Пустынника, стали задавать вопросы.

— А может, это был полудохлый кролик, — спросил удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — может, его и давить ничего не стоило?

— Конечно, — отвечал Пустынник, — кролик был не в лучшем состоянии, но учтите, что и я в проклятой пустыне, питаюсь ящерицами и мышами, еле двигался.

— Да что ты все о себе говоришь, — шипели в ответ удавы, — посмотри, на что мы стали похожи.

— Знаю, — отвечал Пустынник с еще более заметным скромным достоинством, — для этого я и вернулся... Теперь, уняв кролика совершенно новым способом без гипноза, я чувствую себя уверенно и спокойно.

— А когда ты его обработал? — неожиданно спросил Великий Питон.

— Сегодня, — отвечал Пустынник, — разве я не сказал?

— Тебе хорошо, — вздохнул Великий Питон, — ты позавтракал, а я до сих пор не емши...

Удавы почувствовали что-то, хотя и сами не знали что. Пожалуй, напрасно Великий Питон пожаловался, точнее, позавидовал Пустыннику. Позавидовал — значит, признал в чем-то его превосходство. В это мгновение над удавами пронесся

дух сомнения в Великом Питоне. Правда, как и у кроликов, отношения в племени были страшно расшатаны, опять же сегодня утром удав-охотник позволил себе дерзкую вспышку.

— Слушай, а сколько лет Великому Питону? — спросил один удав у другого в задних рядах.

— А кто его знает, — прошипел тот, — лучше послушаем Пустынника, он дело говорит.

Вопросы продолжали сыпаться. Пустынник отвечал на них со все возрастающей четкостью и скромностью.

— А каков верхний и нижний предел удушения? — спросил один из удавов.

— Братья-удавы, — отвечал Пустынник, — насчет верхнего и нижнего предела я пока ничего не могу сказать, но с золотой серединкой, с кроликом, уверенно говорю, справимся.

— Это главное, — с удовлетворением прошипели удавы.

— О, прелестная и коварная золотая середина, — вздохнул удав, некогда избитый туземцами за попытку преподнести крольчихе кочан капусты.

— Не знаю, как насчет нижнего предела, — сказал Великий Питон и странным взглядом оглядел удавов, — но верхний предел мы сейчас проверим... Дави Коротышку!

Удавы вздрогнули от неожиданности. Пустынник бросился на Коротышку, но тот, хотя на этот раз был и на земле, но все-таки лежал возле дерева. Он успел увернуться и влезть на кокосовую пальму.

— Души его на дереве! — кричал Великий Питон, горячаясь.

— Но я на деревьях душисть не умею, — отвечал Пустынник.

— Будем ждать, пока он слезет? — тоскливо спросил один из удавов.

— А я никогда не слезу, — отвечал Коротышка, — здесь хватает еды.

Удавы стали стыдить Коротышку, но он, не обращая внимания на их шипение, дотянулся до грозди бананов на соседнем дереве и стал их есть, шлепая по спинам удавов шкурками, отчего те нервно вздрагивали.

— Ты обезьяна, а не удав, — сказал Великий Питон и снова оглядел свое племя, — тогда попробуем Косого... Где Косой?

— Как прикажете, — все также скромно и четко сказал Пустынник.

— Что ж, — сказал Косой, — я слишком стар, чтобы перестраиваться... Можешь меня душисть...

Пустынник свился кольцами и набросился на Косого. Они сплелись, но Косой безвольно повисал на Пустыннике, подобно тому, как в наше время усталый боксер висит на противнике.

— Ты сопротивляйся, сопротивляйся! — крикнул царь. — Нам нужен опыт в условиях джунглей.

— Какое уж тут сопротивление, — вздохнул Косой и испустил дух.

— Хоть умер с пользой для дела, — сказал Великий Питон. — Я всегда говорил, что удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен.

— Что характерно, — заметил Пустынник, отплетая от себя мертвое тело Косого, — опыт проходит более успешно, когда подопытное существо трепещет, оказывая сопротивление. Этот трепет возбуждает и приводит в действие всю мускульную систему.

— Оттащите его подальше, — сказал Великий Питон. — Мы входим в новую эру, где никогда не будет таких инвалидов, как Косой, и таких вырожденков, как Коротышка, которого мы еще стряхнем с дерева! Пустынник мною назначается первым заместителем и пожизненным преемником Великого Питона, то есть меня. Разбредайтесь по джунглям! Тренируйтесь, развивайте свою природу!

С этими словами он удалился в подземный дворец, взяв с собой для личной беседы своего преемника.

С этого дня удавы начали усиленно тренироваться под руководством Пустынника, который разработал ряд классических упражнений для развития душителных мускулов.

Так, например, две группы удавов, держась за вытянутого удава, старались друг друга перетянуть. На песчаном речном берегу было поставлено чучело кролика, где разрабатывались прыжки.

Особенным успехом пользовалось такое упражнение. Удав подбирал два молодых дерева, растущих рядом, вползал на вершину одного из них и обвязывался там хвостовой своей частью. Потом перебрасывался на вершину другого дерева и, укрепившись головной частью, стягивался и расслаблялся, стягивался и расслаблялся. Так он мог тренироваться часами,

следуя, чтобы вершины этих деревьев схлестывались под одинаковым углом наклона, что служило равномерному развитию всей мускульной системы.

В один прекрасный день Пустынник собрал удавов и объявил им, что Великий Питон умер, но тело его будет вечно находиться рядом с его охотничьими трофеями, поскольку Удав-Скульптор сделает из него мумию.

— Согласно воле Великого Питона, — сказал он в конце, не теряя скромности и в то же время усиливая четкость, — удавами будет управлять удав, то есть я. Отныне никаких дворцов. Дворец Великого Питона переименовать в Келью Пустынника.

— Можно вопрос? — прошипел один из удавов.

— Да, — кивнул Пустынник.

— Можно вас в честь ваших подвигов называть Великий Пустынник?

— Лично мне это не надо, но если вам нравится — можете, — отвечал Великий Пустынник все так же скромно и четко.

А между тем удавы продолжали тренировку, сочетая ее с опытами на живых кроликах. В первое время многие удавы работали очень неточно, но постепенно способы удушения делались все более и более совершенными. А вначале удав, прыгая на кролика, часто промахивался, шлепался рядом, после чего кролик давал стрекача, а удав с отбитым брюхом уползал в кусты.

Некоторые удавы в процессе удушения так запутывались в собственных узлах, что потом приходилось тратить много

времени на их распутывание. А один удав настолько запутался в собственных узлах (правда, он душил довольно крупную обезьяну), что его так и не удалось распутать.

В тяжелом состоянии удава доставили ко дворцу, то есть к Келье Пустынника, где его осмотрели врачи и предложили отсечь запутавшуюся часть тела, чтобы сохранить ему жизнь.

— Нерентабельно, — отверг Великий Пустынник это предложение, — утопить в реке... У нас уже был один инвалид...

Стража отволокла неудачника к реке и утопила.

Через несколько дней Великий Пустынник прочел удавам проповедь на тему «Удушение — не самоцель». После этого был разработан ряд классических петель-удавок, и случаи запутывания удавов в собственных узлах значительно сократились.

Интересные изменения произошли в экспозиции трофеев Великого Питона. Часть из них была отдана удавам для тренировки прыжков и душительных колец. Разумеется, наиболее ценные экспонаты во главе с чучелом Туземца в Расцвете Лет были оставлены.

Вместо выбывших экспонатов коллекция была дополнена в первую очередь чучелом кролика, обработанного новым способом, и рядом старых трофеев, восстановленных по воспоминаниям Великого Пустынника. Личные трофеи Великого Пустынника заканчивались мумией Великого Питона с бдящими глазами, что создавало грозную двусмысленность, страшноватый намек на то, будто это самая блистательная его обработка. Тем более что среди удавов ходили темные слухи:

мол, незадолго до смерти Великий Питон не то был лишен права голоса, не то лишился дара речи.

Однако пора возвратиться к нашим кроликам.

Первые сведения о новом поведении удавов сначала никого не беспокоили. Те кролики, которых удавам удавалось задушить, естественно, ничего не могли рассказать своим собратьям, а те, возле которых тяжело и неловко шлепались удавы, ничего не могли понять.

Кролики сначала смеялись над этими случаями и даже довольно долго считали, что удавы на них кидаются с деревьев, стараясь оглушить их собственной тяжестью, раз уж гипноз не действует.

Потом до Короля дошли слухи, что недалеко от зеленого холмика, где по воскресеньям возжигался неугасимый огонь в память о Задумавшемся, удавы воздвигли памятник Любимому Кролику, которому они ежедневно поклоняются, бросаясь на него со своими объятиями.

— Совсем спятили, — сказал Король, услышав такое.

— У них теперь вместо Великого Питона появился какой-то Пустынник, — заметил Начальник Охраны.

— Вот они и молятся, — высказал догадку Старый Мудрый Кролик.

— Молятся?! — горько усмехнулся Король. — А как ты разгадал знамение?!

Не успел Старый Мудрый Кролик придумать ответ, как в кабинет Короля вошел его секретарь и что-то шепнул на ухо.

— Введи, — сказал Король, заметно оживившись. Через мгновение в кабинет Короля, ковыляя, вошла истерзанная крольчиха.

— Рассказывай, — приказал Король.

Вот что рассказала крольчиха. Оказывается, она паслась на границе между джунглями и пампасами, когда на нее неожиданно напал удав и, обвинив ее кольцами, стал душить. Ей с большим трудом удалось вырваться из его объятий и убежать.

— Гипнотизировать не пытался? — спросил Король.

— Какой там гипноз, — отвечала крольчиха, — я такой боли в жизни не знала. Вот, вывихнул мне лапу...

— А может, это была попытка изнасилования? — предположил Главный Ученый.

— Интересно! — воскликнула Королева.

— Вот бы тебе вывихнули лапу, — дерзко ответила крольчиха, — тогда бы я посмотрела, как это интересно...

— С кем говоришь? — грозно оборвал ее Начальник Охраны.

— Тише, тише, — сказал Король, нисколько не обращая внимания на непочтительный тон крольчихи. — Но ты ведь могла почувствовать, что он хочет от тебя?

— Я почувствовала, что он хочет меня задушить, — отвечала крольчиха, и по выражению ее мордочки было видно, как она усиленно пытается включить свое тупенькое воображение.

— Ну, а для чего? — нетерпеливо спросил Король.

— А для чего, я не знаю, — ответила крольчиха.

— Ладно, милочка, ступай, — сказал Король и, хлопнув крольчиху по плечу, добавил, обращаясь к секретарю: — Распорядись, чтобы ей выдали недельное пособие как пострадавшей на государственной службе.

Когда крольчиха, поблагодарив Короля, вышла вместе с его секретарем, Король обратился к своим помощникам:

— Ну, что вы скажете на это?

— Скажу, милый, что распустились твои подданные, — заметила Королева.

— Надо бы подтянуть, — поддакнул ей Начальник Охраны. Остальные промолчали.

— А по-моему, очень интересный случай, — оживился Король, — все выстраивается в один ряд... Увеличение количества без вести пропавших кроликов... Пострадавшая крольчиха... Странные упражнения удавов... Они разработали новое страшное оружие — удушение!

— Король, ты гений! — воскликнул Старый Мудрый Кролик. — Зачем тебе я, зачем тебе ученые, зачем тебе Начальник Охраны, когда ты — всё!

— Успокойся, — отвечал Король, — я только сделал необходимые обобщения. Оповестить кроликов о страшной опасности, нависшей над ними... Кто говорил: не надо развивать свою природу? Я говорил. Теперь доразвивались до того, что живым кроликам ломают кости. Размножаться с опережением — вот наше оружие против удавов!

Известие о новом страшном оружии удавов, требующем сплочения кроликов как никогда раньше, к сожалению, в самое

ближайшее время самым трагическим образом подтвердилось. Кролики выбросили в реку чучело кролика, на котором тренировались удавы, но было уже поздно. Попытка подгрызть молодняк, чтобы удавы не могли тренировать душительные мускулы, тоже окончилась ничем. Удавы стали подстерегать кроликов возле молодых парнорастущих деревьев. Да и возможно ли перегрызть все молодые парнорастущие деревья?

Деятельность Возжаждавшего среди кроликов после того, как удавы стали душить без всякого гипноза, имела все меньше и меньше успеха.

Начальник Охраны время от времени предлагал подтянуть его за уши, но Король отвергал эту крайнюю меру, считая, что, пока удавы по отношению к кроликам проявляют настоящую твердость, надо быть с кроликами помягче, иначе они совсем затоскуют.

Вообще к Королю вернулось чувство юмора, тот грубоватый юмор, который так ценил и понимал его народ.

— Кажется, кое-кто нам обещал пробежать по удаву, — говорил Король во время кроличьей сходки, что неизменно вызывало дружеский хохот кроликов. Обычно эта шутка звучала в ответ на предложение Возжаждавшего провести те или иные реформы.

— Но вы же понимаете, что сейчас совсем другая обстановка, — отвечал Возжаждавший на эти неприятные напоминания.

— То-то же, — кивал Король, — попробуй развивать природу — и кончится тем, что удавы будут летать за кроликами.

Так говорил мой отец еще в те времена, когда и в голову никому не могло прийти, что удавы откажутся от гипноза.

Кролики снова притихли и стали законопослушными. Теперь они регулярно вносили в королевский дворец огородный налог, а выпивать не то чтобы стали меньше, но пили у себя в норе, а не где попало. Возжаждавший, помня изречение Учителя насчет того, что если мудрость не может творить добро, то она по крайней мере должна удлинять путь злу, пытался добиться от Главного Ученого со всей его канцелярией улучшения службы безопасности кроликов.

С тех пор как удавы начали бросаться на кроликов, при этом чаще всего из засады, Главный Ученый вообще перестал выходить из дворца, вернее, выходил только во время кроличьих сходов и, разумеется, не дальше Королевской Лужайки. О проведении его ученых опытов в полевых условиях не могло быть и речи.

Правда, после долгой работы, которая заключалась в расспросах случайно уцелевших кроликов, он вывел глубокомысленную формулу, согласно которой длина прыжка удава равна квадрату его собственной длины.

Но кролики, хотя и пораженные четкой красотой формулы, все-таки жаловались — под влиянием Возжаждавшего — на то, что эту формулу никак невозможно применять на практике. Король, отчасти признавая законность этих жалоб, старался их утешить.

— У нас в руках правильная теория, — говорил Король, — а это уже более, чем кое-что.

— Теория-то, может, и правильная, — отвечали кролики, — но как же ею пользоваться, когда мы не знаем длину нападающего удава?

— Тоже верно, — соглашался Король и, найдя глазами Возжаждавшего, добавлял: — Кстати, тут кое-кто обещал пробежать по удаву... Измерил бы пять, шесть удавов, мы бы вывели хоть среднюю длину нападающего удава...

— Вы же знаете, что сейчас совсем другое время, — отвечал Возжаждавший, стыдливо опуская голову.

— Не только знаю, но и знал, — неизменно отвечал Король, что всегда приводило кроликов в состояние тихого восторга.

— «Но и знал», — повторяли кролики, разбредаясь по норам после сходки. — Что-что, а кумпешка у нашего Короля светлая.

Несмотря на свои беды, а скорее даже благодаря своим бедам, кролики продолжали размножаться с опережением и, опять же благодаря своим бедам, с еще большим усердием (смертники!) продолжали воровать на туземных огородах вместе со своими единомышленниками в этом вопросе — обезьянами.

В конце концов туземцы, развивая природу своей любви к своим огородам, сумели договориться с Великим Пустынником, чтобы он отпускал удавов дежурить на огороды в качестве живых капканов. Об уплате условились просто.

— Что поймал, то и ешь от пуза, — предложили туземцы.

Удавы охотно ходили на дежурство, потому что на огородах кролики да, кстати, и обезьяны, впадая в плодово-овощной разгул, теряли всякую осторожность.

— Если б я тогда знала, что эти мерзавцы будут кукурузу сторожить, — с элегической грустью говаривала та самая мартышка, выкусывая вшей из головы своей внучки, уже и слыхом не слыхавшей о Находчивом кролике, ни тем более о преданном им Задумавшемся.

Кстати, однажды удав, посланный дежурить на кукурузное поле, возвратился, как было замечено некоторыми удавами, несколько смущенный.

— Что случилось? — спросили у него.

— Кажется, дал маху, — отвечал он, укладываясь в сыром овраге, недалеко от Кельи Великого Пустынника, — вместо мартышки обработал жену хозяина.

— Ну и как она? — спросили удавы, отдохавшие в этом овраге.

— Да так, ничего особенного, — говорил удав, — интересно, туземец Пустыннику не пожалуется?

— А кто его знает, — отвечал пожилой, но еще моложавый удав, — раз на раз не приходится. То, бывает, соблазнится наш брат на хорошую жирную туземку — и ничего. А бывает, работаешь пигалицу, а шуму на все джунгли.

— Да эта тоже была худая и жилистая. Я ее сначала в темноте и в самом деле спутал с обезьяной, ну, а потом уже думаю: и так и так отвечать...

— Правильно сделал, — заметил пожилой удав, — труп лучше не оставлять. Потому что туземцы время от времени напиваются, как кролики, и забывают все, что было. Иной проспится и никак не вспомнит, то ли подарил кому-то жену,

то ли просто прогнал... Кстати, — через некоторое время добавил этот пожилой удав, любивший помогать молодым неопытным удавам, но делавший это несколько суетливо, — пока ее не переваришь, сдавай дерьмо в комнату находок. Туземцы легко успокаиваются, если на память о проглоченном у них остается какая-нибудь железная штучка...

Этот пожилой удав прямо как в воду глядел. Недели через две до мужа туземки дошли слухи, что исчезнувшую жену, оказывается, проглотил удав, стороживший его собственный огород. Особенно оскорбительно было то, что этот удав, на радость некоторым туземцам, говорил, будто спутал ее с обезьяной.

И вот он пришел с жалобой к Великому Пустыннику. Тот, прежде чем принять туземца, из уважения к старинному обычаю, велел занавесить чучело Туземца в Расцвете Лет.

— Твоя удав моя жинку глотал, жинку, — начал туземец жаловаться Великому Пустыннику, особенно напирая на оскорбительное сравнение ее с обезьяной.

— Накажем, — обещал Великий Пустынник. — Кстати, войдешь в комнату находок и возьмешь, если на ней были, украшения.

— Спасибо, хозяин, — поклонился ему туземец, — моя другой жинка возьмет.

— Ну, вот и уладил, — отвечал Великий Пустынник, — я всегда стоял за дружеские связи с туземцами.

Туземец был очень доволен оказанным ему приемом и просил, несмотря на этот неприятный случай, в будущем не

оставлять его поле без дежурства удава. Правда, в конце разговора возникла некоторая неловкость. Рассматривая чучело и справедливо восторгаясь искусством Удава-Скульптора, он сказал про мумию Великого Питона:

— Прямо как настоящий...

— А он и есть настоящий, — отвечал Пустынник, — только выпотрошен и залит смолой.

— А это тебя готовят? — кивнул глупый туземец на занавешенное чучело Туземца в Расцвете Лет.

— Скорее тебя, — ответил Пустынник непонятно, но страшно, и туземец поспешил уйти. Пустынник не любил разговоров о своей смерти. Он даже не любил разговоров о чужой смерти, если чужая смерть могла ему напомнить собственную.

Одним словом, после воцарения Пустынника жизнь удавов и кроликов вошла в новую, но уже более глубокую и ровную колею: кролики воровали для своего удовольствия, удавы душили для своего.

— Размножаться с опережением и ждать Цветной Капусты, — повторял Король, — вот источник нашего исторического оптимизма.

И кролики продолжали успешно размножаться, терпеливо дожидаясь Цветной Капусты.

— Ты жив, я жива, — говаривала по вечерам крольчиха своему кролику, — детки наши живы, значит, все-таки Король прав...

Кролики не понимали, что в переключке принимают участие только живые.

— Если бы жив был Учитель... — вздыхал Возжаждавший. — А что я могу один и тем более в новых условиях?

Впрочем, согласно изречению Задумавшегося, он старался развивать в кроликах стрекачество, чтобы удлинять путь злу.

Вдова Задумавшегося создала Добровольное общество юных любителей Цветной Капусты. По воскресеньям, когда на Зеленом холмике возжигался над символической могилой Задумавшегося неугасимый огонь, она собирала там членов своего общества и вспоминала бесконечные и многообразные высказывания своего незабвенного мужа об этом замечательном продукте будущего. Свежесть ее воспоминаний о Цветной Капусте поддерживалась твердым кочаном обыкновенной капусты из королевских запасов.

Однажды уже сильно постаревшие Король и Королева грелись на закатном солнце, стоя у окна, в которое когда-то заглядывал с ветки морковного дуба тот самый крольчонок, что просил Цветную Капусту.

— Находчивый — это тот, который был с красивыми глазами, или тот, который предал Учителя? — вдруг спросила Королева у Короля. Кстати, придворные косметички смело придавали лицу Королевы черты былой красоты, поскольку мало кто помнил, какой она была в молодости.

— Не помню... Кажется, родственники, — отвечал Король, ковыряясь в зубах орлиным пером. — Но кто мне надоел, так это вдова Задумавшегося.

Последнее замечание Короля, хотя никак не было связано с вопросом Королевы, не вызывало сомнений: очень уж она

зажилась. Ее собственные дети и даже некоторые внуки к этому времени уже погибли, а она все рассказывала случаи из жизни Задумавшегося, все вспоминала новые подробности его душевных бесед о Цветной Капусте.

Но и ее тоже можно было понять, ей так было жаль расставаться с дармовой королевской капустой, что это придавало ей силы для долгожития. Одним словом, всех можно понять, если есть время и охота.

Интересно, что некоторые престарелые кролики, рассказывая молодым о прежней жизни в гипнотический период, сильно идеализировали его.

— Раньше, бывало, — говорили они, — гуляешь в джунглях, встретил Косого — проходи, не останавливаясь, безопасной стороной его профиля. Или встретил Коротышку, а он на тебя и смотреть не хочет... Почему? Потому что бананами налопался, как обезьяна.

— А где они теперь? — спрашивали молодые кролики, завидуя такой вольнице.

— Косого удавы задушили, — отвечал кто-нибудь из старых кроликов, — а Коротышка вообще переродился в другое животное и взял другое имя.

— Вам повезло, — вздыхали молодые кролики.

— Раньше никто бы не поверил, — распялились старые кролики, — чтобы туземцы использовали удавов против кроликов.

— А выпивка? Чистый сок бузины даром раздавали, — вспоминали престарелые алкоголики. — Хочешь — учись писать, хочешь — пей, твое дело.

— Но вы забываете главное, — напоминал кто-нибудь, — при гипнозе, если уж тебе было суждено умереть, тебя усыпляли, ты ничего не чувствовал.

— А сейчас рядовые кролики отраву пьют, — не давал закрыть тему престарелый алкоголик, — сок бузины идет только для Допущенных...

— Одним словом, что говорить, — вздыхал один из старейших кроликов, — порядок был.

Удивительно, что и старые удавы, делясь воспоминаниями с молодыми, говорили, что раньше было лучше. При этом они тоже, как водится, многое преувеличивали.

— При гипнозе как было, — рассказывал какой-нибудь древний удав, — бывало, ползешь по джунглям, встретил кролика: хлянул — приморозил! Снова встретил — снова приморозил! А сзади удавиха ползет и подбирает. А кролики какие были? Сегодняшние против тех — крысы. Ты его проглотил, и дальше никаких тебе желудочных соков не надо — на своем жиру переваривается. А сейчас ты его душишь, а он пищит, вырывается, что-то доказывает... А что тут доказывать?

— Жили же, — мечтательно вздыхали молодые удавы.

— Порядок был, — заключал старый удав и после некоторых раздумий, как бы боясь кривотолков, добавлял: — При гипнозе...

— Они думают, душить легко, — часто говаривал один из старых удавов, укладываясь спать и с трудом свивая свои подагрические кольца. Хотя на вид это был далеко не тот удав,

которого мы знали как удава, привыкшего все видеть в мрачном свете, на самом деле это был именно он.

Вот и все, что я слышал об этой довольно-таки грустной истории взаимоотношений кроликов и удавов. Если кто-нибудь знает какие-то интересные подробности, которые я упустил, я был бы рад получить их. Лучше всего письмом, можно по телефону, а еще лучше держать их при себе: надоело.

Когда я записывал все это, у меня возникали некоторые научные сомнения. Я, например, не знал, в самом деле удавы гипнотизируют кроликов или это так кажется со стороны.

У Брема в «Жизни животных» почему-то ничего об этом не говорится. Все мои знакомые склонялись к тому, что удавы и в самом деле гипнотизируют кроликов, хотя полностью утверждать это никто не брался.

Среди моих друзей не оказалось ни одного настоящего змееведа. Но потом я вспомнил полузабытого знакомого, который любил говорить, беря командировку в пустыню Кара-Кум: «Поеду к змеям...» Хотя я знал, что он по профессии геолог, но думал, что он как-то попутно и змеями занимается. Я с трудом нашел его телефон и очень долго и безуспешно напоминал ему об этом его выражении, а он почему-то все отрицал, упирая на то, что тем или иным сотрудником филиала их среднеазиатского института он мог быть недоволен, но чтобы целый коллектив — он лично такого не помнит.

Вдобавок он у меня спросил, кто я, собственно, такой и почему я этим интересуюсь, хотя я начал именно с этого. Но он сначала, видимо, слушал меня рассеянно и благодаря моему восточному имени принял меня за кого-то из своих далеких сотрудников.

— Ах, это ты, старичок, — сказал он, наконец все поняв и обрадовавшись. — А я думал: кто-то из моих анонимщиков... Нет, нет, какие там змеи — вдоха-продоха нет... Хотя, если говорить по существу, то настоящие змеи...

Так как змеи в переносном смысле меня не интересовали, я пропустил мимо ушей его стенания и при первой же возможности положил трубку.

— Так это же по телевизору показывали, — сказала одна женщина, когда я затеял разговор об удавах в дружеской компании.

— И вы видели сами? — спросил я обнадеженный.

— Конечно, — сказала она, отвернувшись от зеркала, в которое глядела на себя с той педагогизированной строгостью, с какой все женщины смотрятся в зеркало, словно бы укоряя свой облик в том, что хотя он и хорош, но потенциально мог быть гораздо лучше.

— Ну и что? — спросил я, трепеща от любопытства.

— Ну, этого самого... — сказала она и очень выразительно поглядела на меня, — зайчика положили в клетку с удавом...

— Ну, а дальше? — спросил я.

— Я отвернулась, — сказала она и еще более выразительно поглядела на меня, — не могла же я смотреть, как этот питон глотает зайчика...

Так или иначе, она ничего не могла мне сказать по интересующему меня вопросу, и я в конце концов через другого моего знакомого, у которого оказался знакомый змеевед, узнал, как смотрит наука на эту проблему.

Этот змеевед с презрительной уверенностью сообщил, что никакого гипноза нет, что все это легенды, дошедшие до нас от первобытных дикарей (не наших ли туземцев он имел в виду?). Таким образом, слова его вполне совпали с наблюдениями Задумавшегося.

В глубине души я всегда был в этом уверен, но приятно было услышать вполне компетентное научное подтверждение взглядов Задумавшегося кролика. Тем более что открытия этого действительно замечательного мыслителя были сделаны в те далекие времена, когда не было ни крупных научных центров, ни путеводной науки, господствующей в наши времена и ясно определяющей, какие змеи полезны, а какие вредны и почему. Задумавшемуся приходилось на собственной шкуре доказывать свою правоту.

Между прочим, я заметил, что некоторые люди, услышав эту историю кроликов и удавов, мрачнют. А некоторые начинают горячиться и доказывать, что положение кроликов не так уж плохо, что у них есть немало интересных возможностей улучшить свою жизнь.

При всем своем прирожденном оптимизме я должен сказать, что в данном случае мрачнейший слушатель мне нравится больше, чем тот, что горячится, может быть, стараясь через рассказчика воздействовать на кроликов.

Вот поясняющий пример. Бывает, зайдешь к знакомому, чтобы стрельнуть у него немного денег. Как водится, начинаешь разговор издалека о трудностях заработка и вообще в таком духе. И смотришь, что получается. Если ваш собеседник, подхватывая тему, горячится, указывая на множество путей сравнительно легких заработков, то так и знайте, что он ничего не даст.

Если же во время ваших не слишком утонченных намеков собеседник мрачнеет и при этом не указывает никаких путей сравнительно легких заработков, то знайте, что тут дела обстоят гораздо лучше. Этот может одолжить, хотя может и не одолжить. Ведь он помрачнел, потому что мысленно расстался со своими деньгами, или, решив не давать их, готовится к суровому отпору. Все-таки шанс есть.

Так и в этой истории с кроликами я предпочитаю слушателя несколько помрачневшего. Мне кажется, для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще может что-нибудь помочь.

КОЗЫ И ШЕКСПИР

Я еще помню те времена, когда в Чегеме куры не знали курятников и на ночь взлетали на деревья. Выбор дерева, по-видимому, определял главный петух, который стоял на взлетной полосе, пока все куры не взлетят. Разумеется, куры одного хозяйства всегда взлетали на одно дерево. Из чего никак не следует, что они неслись, сидя на ветках.

Я об этом говорю, потому что слухи о том, что чегемские куры несутся, сидя на ветках, а чегемские женщины терпеливо стоят под деревьями, растянув простыни, чтобы мягко поймать снесенные яйца, распространялись врагами Чегема, которых я устал называть.

Нет, куриные гнезда уже придумали, хотя куры чаще предпочитали нестись вблизи от дома в кустах, вероятно, заметив, что люди нередко используют яйца не по прямому назначению продолжения куриного рода, а для поддержания собственного рода. Кур это не вполне устраивало.

Так что хозяйка дома по вечерам разгребала окрестные кусты и собирала яйца в подол, как белые грибы. Хотя грибы у нас вообще не собирают. Да и зачем собирать грибы там, где можно собирать яйца. Любовь к грибам — следствие хронической бескормицы многих народов.

...В двенадцать лет я пас коз в Чегеме и читал Шекспира. Для начала это было неплохо. Я охватывал действительность с двух сторон.

К козам меня приставили не случайно. Мои родственники, с немалым преувеличением страшась, что я страдаю под бременем дармоедства, выдали на мое попечение коз.

Но случайно в доме моей двоюродной сестры, учившейся в городе, я нашел огромный том Шекспира. Целое лето я его читал и перечитывал. Лето тоже было огромным, как том Шекспира.

— Книга перевешивает его, — насмешливо говорили чегемцы, увидев меня с этим томом.

Из этого не следовало, что они вообще против книги, а следовало, что все-таки надо сообразовывать вес книги с собственным весом. Привыкнув иметь дело с кладью на выючных животных, они чутко замечали всякое нарушение равновесия.

— Пока спускаешься к пастбищу, — остановив меня, доброжелательно поучали некоторые, — можно веревкой приторочить книгу к спине. Она будет оттягивать тебя назад. А то брякнешься носом на крутой тропе и скатишься вниз. С книгой-то ничего не будет, я за нее не боюсь. На ней вон какая шкура. А ты покалечишься и тем самым опозоришь нас. Скажут, недоглядели!

— Кто скажет? — по неопытности спрашивал я первое время, проявляя, с чегемской точки зрения, бестактность, которую нельзя свалить на ротозейство.

— Не притворяйся, что ты не знаешь врагов Чегема! Не такой уж ты маленький! — упрекали меня.

Изредка находились и неожиданные любители книг. Один из них, пощупав том Шекспира, предупредил:

— Видел, видел, как ты шастаешь по деревьям, оставив свою книгу без присмотра. Нехорошо. Козы-то ее не перегрызут, хотя обгадить могут. А буйволица, пожалуй, перегрызет.

Мои тогдашние худосочность и малорослость, видимо, способствовали тревоге чегемцев, что книга однажды окончательно перевесит меня и свалит с тропы. Но я на них нисколько не обижался. Хотя я в те времена и не мечтал о писа-

тельском будущем, но почему-то знал, что все они мне когда-нибудь пригодятся.

Впрочем, я уже тогда глубоко задумывался над происхождением слов. Именно тогда я открыл происхождение (ненавижу кавычки!) слова — айва.

...В древности русская женщина и кавказский мужчина гуляли в наших дремучих лесах. Вдруг они увидели незнакомое дерево, усеянное незнакомыми могучими плодами.

— Ай! — воскликнула русская женщина.

— Ва! — удивился восточный мужчина.

Так неведомый плод получил название — айва. Что занесло русскую женщину в наши дремучие леса, съели они тогда айву в библейском смысле или нет, меня в те времена не интересовало.

Я читал Шекспира. Сэр Джон Фальстаф баронет и королевские шуты надолго и даже навсегда стали моими любимыми героями. Один шут сказал придворному, наградившему его монетой:

— Сударь, не будет двоедушием, если вы удвоите свое великодушие!

Мне эта фраза казалась пределом остроумия, доступного человеку. Я беспокоился только об одном: дойдет ли до моих школьных товарищей в городе эта шутка без всяких пояснений. Я уже знал, что пояснения снижают уровень юмора.

Я хохотал над шутками шутов и, подняв голову, смеялся над хитростями коз. Когда я с томом Шекспира в руках гнал их на пастбище и устраивался где-нибудь под кустом, они

время от времени поглядывали на меня, чтобы угадать, достаточно ли я зачитался, чтобы двинуться на недалекое кукурузное поле. Никакая изгородь их не удерживала.

Иногда я им очень громко, возможно, пытаюсь преодолеть их неопытность в общении с Шекспиром, зачитывал наиболее смешные монологи Фальстафа. Силой голоса я пытался заразить их своим восторгом.

Пастбище было под холмом, на вершине которого находился табачный сарай, где женщины низали табак. Мой голос доходил до них.

— Ша, — вскидывалась какая-нибудь из них, — это, кажется, кричит Тот, Кого Перевешивает Книга!

Иногда самая любопытная не выдерживала и, не поленившись выйти из сарая, кричала мне вниз:

— Эй, с кем это ты там перекрикиваешься и хохочешь?!

— С козами! — кричал я в ответ, чтобы обрадовать их, ибо ничто так не воодушевляет людей, как если мы проявляем признаки неопасного слабоумия. Как мне потом передавали, мой ответ неизменно приводил женщин к долгим, аппетитным разговорам о странностях моего сумасшедшего дядюшки.

Тончайшая деликатность чегемок заключалась в том, что, аккуратно перебирая странности моего сумасшедшего дядюшки, они никогда не переходили на меня. Правда, говорили, что в этих описаниях иногда прорывалась неуместная, неактуальная горячность, ибо странности моего дядюшки были присущи ему от рождения до пожилого возраста, в котором он тогда пребывал.

Из сказанного никак не следует, что позже в жизни моего дядюшки наступила тихая, просветленная старость. Увы, это не так. Однако стремление к точности слишком преследует меня, словно я, пытаясь бежать от своего дядюшки, приближаюсь к нему с другой стороны земного шара.

Итак, я читал моим козам монологи Фальстафа. Многие козы подымали головы и слушали. Иногда даже фыркали, как мне казалось, в самых смешных местах, хотя не полностью исключается, что они фыркали по собственным козьим надобностям. Как видите, продолжаю следить за точностью происходящего.

Но, конечно, гораздо чаще, забывая все на свете, я зачитывался сам, а козы в это время перемалывали через изгородь и поедали кукурузные стебли вместе с листьями и зелеными стручками фасоли. В Чегеме фасоль часто сажают возле кукурузы, и она оплетает ее стебель. В Чегеме сажали столько фасоли, что подпорок не напасешься.

Очнувшись, я, бывало, бегу к стаду, грозно крича магическое слово, чтобы остановить потраву.

— Ийо! Ийо! — кричу я, что на козьем языке означает: прочь! Назад!

Каждый раз, услышав мой голос, козы не только не приостанавливали потраву, но, пользуясь последними мгновениями, начинали гораздо быстрее, даже с оттенком раздражения, раздирать кукурузные стебли и принимались гораздо поспешней жевать. Видимо, первейший проблеск сознания — когда отгоняют от жратвы, быстрее жри!

Мало того. Некоторые из них, держа в зубах недогрызанные кукурузные стебли, восшумев листьями, перебрасывались через изгородь на пастбище и уже спокойно доедали их там, словно все дело было в территории. Другие, опутанные плетями фасоли, перепрыгнув через изгородь, сами себя брезгливо объедали, якобы только для того, чтобы выпутаться из этих паразитических плетей.

Бригадир откуда-нибудь с далекого поля, услышав мой голос и поняв, в чем дело, посылал громкие проклятия, не теряя в крике извилистый сюжет проклятия, что больше всего меня поражало.

— Опять потрава?! — гремел он. — Чтобы ты наконец подломился под своей книгой! И чтобы я на костре из твоей книги поджарил самую жадную твою козу и, клянусь прахом отца, — огня хватит на эту козу! И чтобы я, съев козу, поджаренную на огне из твоей книги, успел прикурить от горящего пепла твоей книги! И успею, клянусь прахом отца, успею!

В самом деле успеет, с ужасом думал я и, отогнав коз, возвращался к тому Шекспира, не подозревающего, какая опасность над ним нависла.

Вместе с козами паслись три овечки. Они паслись, ни на секунду не подымая головы, словно поклявшись страшной клятвой: ни одной травинки в рот, прежде чем внюхаемся в нее! Так как они паслись, не подымая головы, они иногда наталкивались на коз, и козы их отгоняли ударом рогов. Впрочем, козы отгоняли их ударом рогов и тогда, когда овцы и не наталкивались на них.

Они вообще презирали овец. Никаких причин презирать овец у них не было, кроме одной: овцы не могли, да и не пытались одолеть изгородь кукурузного поля. Козы им этого не прощали.

Козы, в отличие от овец, паслись, часто подымая голову, чтобы оглядеть стадо или в глубокой полководческой задумчивости оценить окружающую местность. Для этого они не ленились взобраться на какую-нибудь близлежащую скалу и оттуда, пожевывая жвачку, озирались.

Видимо, им было свойственно стратегическое мышление. Впрочем, стратегическое мышление у них сочеталось с практическим. Увидев со своего возвышения козу, которая удачно подмяла куст лещины и поглощает сочные листья, они покидали свою скалу и быстрыми шагами, однако стараясь не терять лицо и не переходить на побегу, спешили к ней, чтобы вместе полакомиться. Зависть помогала им держаться вместе.

Зато если какая-нибудь коза, увлекшись кустом ежевики, застревала в овражке, из которого уже поднялось стадо, незаметно для нее пасущееся невдалеке, она начинала паниковать, металась в разные стороны, истерически взблеивала, давая знать, что она попала в губительные условия. По-видимому, травоядные не обладают соответствующим нюхом, чтобы найти своих по следам.

Что интересно, козы ей обычно не отвечали. Видимо, они наказывали ее: будешь знать, как отбиваться от стада. И только намучив ее как следует, какая-нибудь небрежно отзывалась.

Забавно, что при этом мог достаточно отчетливо слышаться колоколец на шее какой-нибудь козы из стада. Но мечущаяся в овражке коза, без риска можно сказать, не обладая достаточным музыкальным слухом, не доверяла этому звуку, потому что колокольцы разных размеров болтались на шеях и других животных — коров, буйволов, ослов.

Без отзыва коза терялась, нервничала все сильнее и сильнее, возможно, считая, что стадо именно сейчас вышло на райские луга. Стадо не отвечало, но если в это время находилась какая-нибудь другая заблудшая коза, она мигом откликнулась на ее бляенье.

Каждая из них считала, что ей отвечает представитель стада, и они, переблеиваясь, искали встречи и окончательно запутывали меня.

В таких случаях направить козу в сторону стада не хватало никаких сил. Через любые колючки, любые чащобы она рвалась на голос другой козы. Все неистовей, уже с хрипотцой переблеиваясь, они стремились друг к другу.

В голосах коз было столько вселенского сиротства, что казалось, встретившись, они не смогут оторваться друг от друга. И вдруг встреча после неслыханных блужданий! Мгновенное успокоение, и обе даже не смотрят друг на друга.

Та, которую я изо всех сил пытался повернуть к стаду, а она, вся в репьях и колючках, рвалась на голос козы, начинает деловито обглаживать куст сассапарилия, словно именно его она искала все это время.

Они паслись, не обращая внимания друг на друга. Каждая из них считала, что за спиной другой козы все стадо. Тут-то наконец их обеих вместе можно было перегнать куда надо. Козы не выносят одиночества, но предпочитают стадо, создающее полноту равнодушия.

...Целыми днями я валялся на зеленой цветущей траве. Сверху невидимые жаворонки непрерывно доказывали, что небо — первичный источник музыки.

Курчавые овцы паслись над курчавым клевером, отчего, вероятно, делались еще курчавей по законам Дарвина.

Пчелы погружались в цветки с неуклюжим упорством водолазов.

Прыгающие пружины кузнечиков.

Застенчивые зигзаги бабочек над цветками.

Какое-то крупное, неведомое мне насекомое с жужжанием подлетало к цветку, но никогда на него не садилось. Каждый раз, когда оно, жужжа, стояло в воздухе над цветком, я терпеливо ждал, когда оно сядет на цветок, чтобы я его мог рассмотреть. Но оно, жалобно жужжа и с минуту стоя над цветком в воздухе, видимо, убеждалось, что этот цветок не содержит нужного нектара, и перелетало к другому цветку. И опять, жалобно жужжа, стояло над ним, но, словно убедившись, что и он неполноценен, перелетало к третьему.

Но я так и не увидел ни разу, чтобы оно село на какой-нибудь цветок. Привередливость его удивляла меня и вызывала сочувствие. Да еще это непрерывное жалобное жужжание.

Чем же оно кормится при такой капризности? Какой же цветок оно наконец выберет?

Однажды, ближе к вечеру, оно поблизости от меня опять с жалобным жужжанием повисло над очередным цветком. И вдруг в косых закатных лучах сверкнул, как длинная, тончайшая игла, хоботок, который оно всадило в сердце цветка, не садясь на него. Я вздрогнул от предчувствия далекого коварства, хотя, казалось, был достаточно подготовлен к нему некоторыми мрачными героями Шекспира.

...Вдоль пастбища высились вплоть до котловины Сабида дикие фруктовые деревья – алыча, слива, яблони, груши, инжир, грецкий орех.

По мере созревания, а чаще значительно опережая его, я поедая фрукты и, поедая, сделал ботаническое открытие, о котором почему-то забыл известить мир. Но лучше поздно, чем никогда.

Я заметил такую закономерность: чем менее вкусны и питательны фрукты, тем плодоноснее фруктовое дерево.

Самой плодоносной была алыча. На ней плодов было больше, чем листьев. Но плод не очень вкусный, так, водянистая кислятина.

Слива гораздо вкусней, но плодов на ней гораздо меньше.

Дикие груши и яблоки вкуснее сливы, но плодов на них меньше, чем у сливы, конечно, учитывая достаточно большой размер дерева.

Инжир гораздо вкусней яблук и груш, но и гораздо менее плодоносен.

И наконец, самые вкусные и питательные — грецкие орехи, но, учитывая громадность дерева и количество плодов на единицу площади, плодов еще меньше.

Поглощая фрукты, я вывел великую закономерность природы, подсказанную аппетитом. Чем вкуснее плод, тем полезней вещество, из которого он состоит, но тем трудней корням добывать в земле редкие соки, питающие плоды. Поэтому чем вкуснее плоды, тем ниже плодоносность дерева.

Чем обильней плодоносит дерево, тем охотнее оно стряхивает с себя плоды. Поэтому под алычой всегда толпились свиньи, чавкая и громко дробя своими гяурскими зубами косточки алычи.

Свиньи, жуя алычу, приподнимали головы, с удовольствием прислушиваясь к собственному чавканью. Чувствовалось, что, чавкая, они получают от еды дополнительное удовольствие через звук. Когда многие свиньи перечавкивались, получалась симфония жратвы. Когда кончалась алыча, они переходили на другие, более вкусные фрукты, но чавканье не усиливалось, из чего можно сделать вывод, что они не улавливали разницы вкуса. Тут уже напрашиваются совсем не ботанические законы.

Вероятно, были еще какие-то другие открытия, но я о них сейчас не помню. Если потом вспомню — расскажу.

...Вечером, когда тетушка доила коз, нередко происходили недоразумения. В Чегеме (последний оплот гуманизма), когда доят коз или коров, всегда сначала подпускают детенышей к своим родительницам, чтобы они немного попили молока. И после доения оставляют молоко детенышам.

Козлят выпускают по одному. Радостно блея, козленок бежит к блеющему стаду, но часто не узнает свою мать и начинает сосать молоко совершенно посторонней козы. Самое удивительное, что опытная, уж во всяком случае по сравнению с козленком, коза тоже не узнает его и с рассеянной щедростью подставляет ему свое вымя.

Но тут спохватывается тетушка и за шиворот ведет козленка к вымени его собственной матери, чтобы дать козленку попить свое законное молоко, тем самым дать козе расслабиться и затем подоить ее.

К этому времени коза, у которой чужой козленок выпил часть молока, осознает свою ошибку, но почему-то затаивает обиду не на себя, а на тетушку, и уже когда выпускают ее козленка, довольно часто прячет молоко от тетушки, чтобы ее детенышу больше досталось.

Происходит сложнейшая психологическая борьба между хозяйкой и козой. Дав козленку немного отпить молока, хозяйка хворостиной отгоняет его и начинает доить. В это время коза, по ошибке подпустившая чужого козленка к своему вымени, с преувеличенной нежностью вылизывает своего детеныша, словно пытаясь зализать свою ошибку.

Однако, покаявшись всласть, она решительно прячет молоко, делая вид, что оно кончилось. Но хозяйка об этом знает. Все учтено: и то, что успел выпить чужой козленок, и то, что успел выпить свой.

Хозяйка снова подпускает козленка к законному вымени, и якобы кончившееся молоко снова исправно поступает,

и козленок, причмокивая, дергает за сосцы. Через некоторое время тетушка мягко, очень мягко отодвигает козленка от вымени и начинает доить козу.

Проходит минут десять, и вдруг коза, туповато оглянувшись (интересно, о чем она думала все это время?), обнаруживает, что не козленок под выменем, а тетушка. Коза, спохватившись, снова прячет молоко. Тетушка снова подпускает козленка к вымени, молоко снова подается, и так несколько раз.

Ради справедливости надо заметить, что некоторые козы, очень редкие козы, когда под ними чужой козленок, вероятно, почувствовав чуждый прикус сосца чужим козленком, сразу отгоняют его. Но такая чуткость явление исключительное.

Насколько я заметил, сам козленок не придает особенностям родных сосцов никакого значения: молоко отсасывается, ну и ладно! Кстати, человеческий младенец в этом отношении, по-моему, ничем не отличается от козленка. Не подумайте, что последнее соображение я извлек из личных воспоминаний. Как это ни странно — я не помню себя грудным младенцем. А ведь это длилось довольно долго.

Но вот наконец козы, загнанные в загон, утомонились. Ночь. Тишина. Взбрыкнет колоколец сонной козы, и вновь тишина. Передохнем и мы.

Вот мои, кажется, самые ранние воспоминания. Года, вероятно, в четыре отец мне объяснил, что царя нет. Если были еще какие-нибудь подробности, я о них не помню.

Помню, что я поверил отцу, и мне стало невыносимо тоскливо. Я вышел на улицу и подумал: царя нет, значит, эта земля, по которой я хожу, никому не принадлежит, никто за нее не отвечает. Было жалко себя, но я отчетливо помню, что особенно было жалко землю без хозяина. Крестьянские гены матери, что ли, сработали?

Соседский мальчик подбежал ко мне, чтобы поиграть. Но какие тут могут быть игры!

— Царя нет, — сказал я ему, чтобы потрясти его распадом миропорядка. Но то, что я сказал, до него как-то не дошло.

— А где он? — спросил мальчик.

— Нет совсем, — сказал я, не оставляя ему никакой надежды. Но я опять почувствовал, что это его не тронуло.

Оскорбленный, я отошел от него, чтобы полноценно страдать одному. Видимо, это был кризис сказочного сознания. Разумеется, я уже что-то слышал о Советской власти, но я считал, что царь стоит надо всем этим.

...Однако не будем преувеличивать мою педантичную привязанность к Шекспиру. Иногда, бывало, я приходил пастушить без тома Шекспира. И я заметил, что козы при этом явно скучнели. В этих случаях они почти не пытались перелезть на кукурузное поле, потому что тут я всегда был начеку и вовремя отгонял их. За лето козы, привыкнув к моей бдительности вне чтения, начинали понимать, что кукурузные стебли им недоступны, если они не видят в моих руках тома Шекспира.

Когда же я утром с томом Шекспира в руках гнал коз из загона, они сразу веселели и приходили в игривое настро-

ние. Игривость их доходила до того, что они насмешливо демонстрировали внесезонную случку. Козы пародировали однополоую любовь, на ходу изящно громоздясь друг на друга, что отдаленно напоминало мне путаницу с переодеваниями у Шекспира, где мужчина рядился в женщину и наоборот.

Совершенно нелепо заподозрить тут склонность к извращениям, но вполне допустимо, что козы пытались встряхнуть, разгорячить степенно вышагивающих козлов. Можно предположить, что это была легкая форма забастовки соскучившегося от безработицы гарема. Но было похоже, что козлы угрюмо осуждают эти внесезонные любовные игры. Они молча отстаивали свое законное право на отдых.

Их можно было понять. Их было всего четыре, а коз около сорока. Козы при виде тома Шекспира явно взбадривались с далеко идущими целями. Было совершенно ясно, что козы хотят, чтобы я читал Шекспира. Дальнейшее они брали на себя. Козлы, конечно, тоже хотели, чтобы я читал Шекспира, но не такой дорогой ценой, на которую намекали козы. При этом должен заметить, что овцы были совершенно равнодушны к Шекспиру.

Между придворными интригами у Шекспира и хитростями коз я нашел много общего, и это веселило меня и, как я сейчас думаю, подсознательно работало на оптимизацию моего мировоззрения.

Тогда же я понял: человек — это нечто среднее между козой и Шекспиром. Говорят, последние математические исследования на эту тему не только подтвердили, но даже усугуби-

ли мою догадку. Говорят, теперь установлено: Шекспир, деленный на козу, дает человека в чистом виде. Без остатка.

Для проверки этого положения даю беглый набросок моей московской жизни. Когда я приехал сюда учиться, я в первые же дни был потрясен двумя, можно сказать, противоположными событиями.

Как-то, будучи в центре города, я подошел к милиционеру и спросил, как пройти на такую-то улицу.

Милиционер вдруг отдал мне честь, подняв руку в перчатке потрясающей белизны, и гостеприимно показал дорогу к нужной улице. Мне, мальчишке, отдают честь, да еще в такой белоснежной перчатке!

Я был потрясен этой доброжелательностью. Может быть, перчатка была из шерсти чегемских коз, думал я ликуя, но как он узнал, что я чегемец?

А через несколько дней я стал свидетелем совершенно не понятного мне и даже испугавшего меня зрелища. Я увидел, как милиционеры грубо и без всяких перчаток на большой проезжей улице сгоняют все машины на обочину.

А через минуту я увидел правительственные автомобили, мчавшиеся с такой панической скоростью, словно за ними гнались пулеметчики, словно они чудом выскочили из-под обстрела. Но никакой погони за ними не было, в чем я убедился воочию.

За годы пребывания в Москве я не раз наблюдал подобное зрелище и убедился, что это нормальная мания преследования, видимо, присущая всем правителям. Впервые я это уви-

дел в сталинские времена. Потом времена менялись, но ма-ния преследования оставалась.

На цветущих подмосковных полях я иногда встречал одиноких коз, которых обычно пасли одинокие старушки. Одна коза на одну старушку. По чегемским обычаям старушки, пасущие коз, это все равно что старики, стирающие белье в корыте. Меня в первое время подмывало спросить у старушек: а куда делось стадо?

Но чегемская деликатность удерживала меня от этого чегемского вопроса.

Но что меня больше всего поражало. Одинокая коза спокойно паслась, не проявляя никакого волнения по поводу отсутствия стада. И это было для меня дико. Сотрясаясь от внутренних рыданий, я следил за козой и думал, до чего большевики довели коз, что они забыли о всяком родстве. Смирилась гордая коза, рыдай, Россия!

За время долгой жизни в Москве я сделал немало открытий из писательской жизни. Из чего, конечно, не следует, что я теперь пас писателей. Скорее, меня самого пасли и наказывали как заблудшую козу, уже злонамеренно избегающую стада.

Я надеюсь, что любовь к Фальстафу не стала фальстартом в моей писательской судьбе.

Вдохновение — счастье для писателя. Но ничего так не изнашивает человека, как счастье. Природа щадит нас, редко достаивая счастьем. Так что, люди, будьте счастливы тем, что счастье — редкий гость.

Читатель может спросить у меня: чем хороший писатель отличается от плохого?

Спешу ответить, даже если читатель меня об этом не спросит.

Вот как бездарный и талантливый писатели пишут об одном и том же.

Бездарный писатель пишет:

— Я зашел в ресторан и увидел своего приятеля (называет по имени), он, как всегда, сидел за столиком и, как всегда, пил водку.

Талантливый писатель пишет:

— Я зашел в ресторан и увидел своего приятеля (называет по имени), он, как всегда, сидел за столиком и, как всегда, пил водку, и я, как всегда, незамедлительно присоединился к нему.

Одна фраза все меняет. Самоирония делает картину более объемной и не оскорбительной для пьющего приятеля.

Вообще писатель, лишенный самоиронии, рано или поздно становится объектом иронии читателя, и именно в той степени, в какой он лишен самоиронии.

Итак, Шекспир, деленный на козу, дает человека. Я для смеха рассказал об этом одному милому ученому, мы с ним сдружились на любви к шекспировским шутам. Мы помогли друг другу жить тем, что жили, находя время для шуток. Однажды, будучи в мрачном настроении, я написал такие стихи.

*Отяжелел, обрюзг, одряб,
Душа не шевелится.*

*И даже зрением ослаб,
Не различаю лица
Друзей, врагов, людей вообще,
И болью отдает в плече
Попытка жить и длиться.
...Так морем выброшенный краб
Стараньем перебитых лап
В стихию моря тщится...
Отяжелел, обрюзг, одряб,
Душа не шевелится.*

Через несколько дней он пришел ко мне, и я дал ему почитать эти стихи. К этому времени настроение у меня выровнялось. Бесперывно куря, он странно долго читал стихи, а потом поднял голову и сказал:

— Если бы эти стихи я прочел в другом городе, я примчался бы к тебе на помощь.

Я смутился и замаял разговор. Тем более, я знал, с каким безукоризненным мужеством он вел себя в труднейшие для него годы борьбы с космополитизмом. Шутник!

Мы нередко с ним спорили и просто говорили на отвлеченные темы. Чаще всего наши мнения совпадали, хотя иногда и расходились, но это никогда не влияло на нашу дружбу.

Вот некоторые формулировки, на которых мы сошлись.

Жестокость — попытка глупости преодолеть глупость действием.

Коварство — удар труса в темноте.

Анализ убивает всякое наслаждение, но продлевает наслаждение анализом.

После долгих споров мы установили строгую научную линию эволюционного развития человека: живоглот, горлохват, горлоед, оглоед, шпагоглот, виноглот, куроглот, мудоглот, трухоглот, мухоглот (он же слухоглот), горлодер, горлопан, горлан и, наконец, полиглот.

Если здесь последует вздох облегчения, то, предупреждаю, он преждевремен, потому что развитие это циклично (чуть не сказал — цинично) и все повторяется в том же порядке. Эволюционная лестница рушится, не выдержав бедного полиглота, и все опять начинается с живоглота.

Но в вопросе — может ли человек, принимающий людей за коз, пользоваться козьим мясом, мы не сошлись. Я считал, что не может такой человек есть козье мясо. А он считал, что мой подход — выражение крайнего субъективного идеализма, или, грубо говоря, солипсизма.

Так вот, когда я ему со смехом (для перестраховки!) сказал, что современная наука установила, что Шекспир, деленный на козу, дает человека, он иронически приподнял брови и подхватил! Он умел подхватывать:

— Здравствуй! Этому открытию уже двадцать лет! Даже появилось доказательство от обратного — Шекспир, деленный на человека, дает козу.

— Почему же об этом не было слышно? — удивился я.

— Потому что это считалось государственной тайной, — отвечал он, — тайной национального мышления. Но когда

американские разведчики выкрали у нас секрет нашего национального мышления, а наши разведчики выкрали у американцев секрет их национального мышления, обе тайны абсолютно совпали, и стало возможно их рассекретить. Угроза войны отпала, демократия у нас расцвела, как огород для коз, и каждая страна перешла на подножный корм. Правда, у каждой страны свой подножный корм, но это другая тема.

Кстати, мой ученый друг был оставлен на необитаемом острове для проведения научных опытов в условиях полного одиночества. Через три года, как и договаривались, за ним приплыли соотечественники.

— Какое у вас самое сильное впечатление от трехлетнего одиночества? — спросили они у него.

— Совесть отдохнула, — неожиданно ответил он, но, смягчившись, добавил. — К тому же тут полно диких коз.

— В смысле людей? — догадался кто-то, правильно проследив за направлением его смягчения.

— Да, в смысле людей, но и в смысле свежего мяса, — пояснил он, возможно, заочно продолжая спорить со мной.

Соотечественники все-таки обиделись на него за себя и за человечество. — Так, может, вас еще на три года оставить здесь? — язвительно спросил один из них.

— А вы думаете, человечество за три года исправится? — не менее язвительно ответил мой друг, подымаясь по трапу. — По-моему, со времен Шекспира оно не изменилось, но качество шуток сильно снизилось.

...Нет, шепчу я про себя, прогресс все-таки есть. Чегемские куры больше не взлетают на деревья, но покорно удаляются на ночь в курятник. А может, все-таки лучше бы взлетали? Боже, боже, как все сложно! Точно установлено, что на деревья взлетало гораздо больше кур, чем тех, что теперь укрываются в курятниках.

...Но где я? Где Чегем? А все-таки с козами было лучше.

терем-теремок

Небольшая делегация молодых московских писателей по командировке ЦК комсомола прибыла в большой сибирский город. Нас встречал местный комсомольский вожак, крепкий молодец с добродушными плутоватыми глазами. Он был похож на замаскированного мастера карате.

Он отвез нас в местную гостиницу, но, увы, нам велели подождать, пока освободятся номера. Свободных мест не было. Помощники вожака что-то напутали, и нам не заказали номера.

Был вечер. Мы уныло ждали, когда выедут другие постояльцы. Но они не выезжали, и уже некоторые командировочные, почему-то неизменно в лиловых кальсонах, выходили из своих номеров и шлепали в единственную на этаже уборную. Время тянулось и тянулось.

— Я сейчас позвоню в одно место, — вдруг сказал комсомольский вожак и сверкнул своими плутоватыми глазами. — Или пан, или пропал.

Он решительно подошел к телефону, висевшему на стене, набрал номер и стал с кем-то разговаривать. Когда его соединили, глаза его стали излучать мягкий блеск, а голос заурчал.

— Делегация ЦК комсомола, — урчал он, — неудобно, люди устали, а номеров нет.

Потом он некоторое время говорил про какой-то таинственный терем-теремок. Было странно слышать это слово из детских сказок, которое произносилось без всякого подобия улыбки.

— Спасибо, спасибо, Марья Дмитриевна, — прощаясь, сказал он, низко склонив голову к трубке, словно пытаясь поцеловать далекую женскую руку.

Он возвращался к нам от телефонной трубки, как мастер карате, только что выигравший трудный бой.

— Сейчас, — сказал он загадочно, — поедem в одно местечко. Там перекусим, и там вы переночуете.

Он вынул платок и вытер вспотевшее лицо. Видно, нелегко ему дался этот разговор, но он был доволен результатом:

— Пошли отсюда, — не без брезгливости сказал он, и мы вышли из гостиницы. А на улице холодина, метель.

— Сейчас придут машины, — успокоил нас неунывающий крепыш.

«Знаем это ваше сейчас, — думал я, дрожа от холода и отворачиваясь от ветра. — Про гостиничные номера он тоже говорил: “Сейчас! Сейчас!” — а мы прождали три часа, так ничего и не дождавшись».

Все это время он неутомимо расспрашивал одного нашего поэта, работавшего в комсомольском журнале. Он расспрашивал о смещениях и перемещениях кадров в аппарате ЦК комсомола, сладострастно выслушивал новости далекой аппаратной жизни.

На этот раз мы прождали минут пять, хотя и успели за это время основательно продрогнуть. Лихо подкатили две «Волги», и нас повезли куда-то. Шоферы были радостно возбуждены. Наш, во всяком случае. Машины ехали быстро, резко и неожиданно сворачивая в какие-то переулки, выезжая из них, снова сворачивая, словно стараясь сделать неведомый нам город еще более неведомым, словно заметая следы, и без того заметенные метелью.

Наш шофер время от времени озирался на нас, как бы дивясь чуду несоответствия наших лиц нашему маршруту. Это чудо явно вдохновляло его для собственных будущих надобностей. И я заметил, что он имеет отдаленное сходство с нашим вожаком. Так сказать, недошлифованный алмаз.

Наконец машины резко затормозили. Мы с чемоданами стали вылезать.

— Саша, заедешь за мной через два часа, — сказал наш провожатый шоферу.

Мы подошли к подъезду ничем не примечательного дома. Он как-то не был похож на гостиницу. Однако как только мы поднялись к дверям, они распахнулись и оттуда высунулся крепкий молодец. Он с гостеприимной улыбкой провел нас в переднюю и указал на вешалку. Он был удивительно похож

на нашего провожатого. Тоже напоминал мастера карате, даже не слишком замаскированного. Оба прочно сбитые, румяные, а главное — у обоих тот особый лоск на лице, который свойствен, как говаривал дядя Сандро, людям, допущенным к столу.

Он ввел нас в теплое помещение с тяжелыми золотистыми занавесками и коврами на полу. Комната была уставлена несколькими столами со сплящими белизной накрахмаленными скатертями.

На одном из столов громоздились закуски, скромно светились коньячные бутылки и, позабыв о всякой скромности, сияли в вазах огромные апельсины, словно здесь, в Сибири, они и созрели, выращенные мичуринским способом.

Мы уселись за стол. Приступили к закускам с некоторой поспешностью, как бы опережая возможность ошибки случившегося, однако стараясь не клацать вилками и зубами. Процедура никто не прерывал. Окончательно обнаглев, мы стали посыпать вдогон закускам золотистые струи армянского коньяка. Ни один из нас никогда не сидел за таким столом, а некоторые поэты вообще жили впроголодь. Но пить умели все.

Но что за стол? Таймени, пельмени, мозги оленьи, какие-то почки, какие-то грибочки и Черное море икры в странной географической близости с Красным морем икры!

А главное, чувствовалось, носилось в воздухе, что за все это не придется платить. Да и кому платить и какие деньги? Экспроприаторов экспроприировали! Деньги отменены! Мы ворвались в царство коммунизма. Это он, родимый, сближающий моря и народы!

Хотя стол был переполнен, нас обслуживали официанты, принося горячие блюда. Хрустящие молодые официантки, хорошенькие, как на подбор. Они приоткрывали тайну тщательно продуманного и «промытого» отдыха государственных людей от государственных дел.

После нескольких рюмок коньяка наш провожатый признался нам, что звонил жене самого секретаря обкома, умнейшей женщине, и она дала добро на наше воцарение в тереме-теремке.

А я-то по простоте душевной, когда он звонил, думал, что он разговаривает с директрисой другой гостиницы. Лихой человек, решил я, быть ему в ЦК комсомола, о деятелях которого он так подробно расспрашивал.

Кстати, в течение нашего застолья он, впадая в служебный лунатизм, то и дело невпопад обращался к нашему поэту из комсомольского журнала.

— Агапов теперь в отделе пропаганды? — заискивающе спрашивал он, как бы заранее умиляясь, что тот в отделе пропаганды, но как бы и готовый умиляться, если того из отдела уже вышвырнули.

Наш поэт, на мой взгляд, давно исчерпал свои скромные знания аппаратной жизни, но, чтобы угодить ему за царский прием, явно блефовал.

Но тот не замечал. Он зачарованно прислушивался к чему-то, словно по скудным обрывкам мелодии восстанавливал и восстанавливал в голове всю грандиозную симфонию этой жизни.

С самого начала опьянев от сказочной пещеры, куда мы попали, мы уже почти не пьянели от многих рюмок коньяка. Конечно, в этом и закуски сыграли свою выдающуюся, тор-мозящую роль: таймени, пельмени...

Нет, мы, конечно, все-таки пьянели, но я заметил, что по мере нашего опьянения, как бы для равновесия ситуации, строжали и строжали лица наших молодых официанток. И чем больше они строжали, тем яснее проступала в их чертах суровая мощь монастырского блуда.

И по мере опьянения, может быть, из-за явной недоступности официанток хотелось броситься на шею руководства страны и крикнуть ему, содрогаясь от преданности:

— Так вот что вы готовите народу, наши избранники! Сегодня вы нас допустили к столу как бы для пробы! А завтра или послезавтра весь народ хлынет в распахнутые двери тер-ремков!

После ужина второй каратист, обегая нас, как добрая ов-чарка, и не давая разбредаться по дому, всех уложил спать в просторных комнатах, в душистых от свежести постелях.

Утром он провел нас в это же помещение завтракать. Пер-вый каратист был уже здесь и, попивая боржом, дожидался нас. Стол теперь, прямо скажем, не ломился, но всего хватало. А главное — не забыли дать опохмелиться. Хотелось зары-дать от этой прославленной партийной чуткости. Хотя неко-торые из нас считали, что в прославлении партийной чутко-сти есть немалые преувеличения.

И вот сегодня из совсем другой эпохи я кричу:

— Была! Была! Эта чуткость! Сам на себе ее испытал! И не раз!

Под строгим надзором нашего вожака мы опохмелились на джентльменском уровне. Официантки уже были другие, но такие же хрустящие и хорошенькие. И мы дивились: в каких парниках их выращивают?!

Днем и вечером мы выступали перед рабочей и студенческой аудиторией. Нас отлично принимали. Комсомольский вожак, сопровождавший нас веста день, был очень доволен. Такой уж прыти он от нас не ожидал. Да мы и сами от себя не ожидали такой прыти. Если еще, в сущности, не зная нас, нас так угощали, что же будет после наших искрометных выступлений! Может быть, нас посадят рядом с Марьей Дмитриевной? Мы даже гадали: нет ли ее в зале, инкогнито?

После вечернего выступления мы вышли на улицу. Пиршество близилось неотвратимо. С болью отдираясь от разгоряченных студентов, приглашавших нас на вечеринку, мы ввалились в машины и поехали. Машины были те же и шоферы те же.

Но через некоторое время я почувствовал какую-то тревогу. Наш шофер больше на нас не озирался. В его езде не было вчерашнего азарта, а главное — вчерашней извилистости пути. С какой-то тупой прямолинейностью нас привезли не в терем-теремок, а в ту же протухшую гостиницу. За что?!

— А как же вещи? — ушибленный обидой, спросил один из членов нашей делегации, возможно, надеясь, что наш вожак

привез нас в гостиницу по какой-то дурной инерции. И вероятно, сейчас опомнится...

— Уже здесь, уже все на месте, — доброжелательно отвечал вожак. Однако голосом он дал знать, что такая сказка может присниться только раз в жизни и то благодаря Марье Дмитриевне, за золотое сердце которой мы вчера пили.

Открывая дверь номера, куда нас водворили с моим приятелем, я успел заметить, как некий командировочный — все в тех же лиловых кальсонах — прошаркал в сторону уборной. В соседнем номере громко переговаривались и злобно шелкали фишками домино.

Я открыл дверь. Наши чемоданы были на месте. Прислонясь лбом к оконному стеклу, я долго дивился административной гениальности нашего вожака. Ничего ни у кого не спрашивая, он точно разместил нас всех так, как мы хотели. Даже чемоданы не спутали. Или бумаги о нас шли впереди нас? Трудно поверить.

Нет, думал я, эту систему никто никогда не победит. И в самом деле — ее никто не победил. Она рухнула сама. Не потому ли, что на тебя ушли все силы, терем-теремок?

А где же наши каратисты?

Они теперь главные фирмачи или главные охранники фирмачей. Иногда встречаю их или их подобия на презентациях и чувствую всей шкурой: ох, главное, главное они остались!

молодой архитектор и красотка

Молодой архитектор Павел Богатырев после окончания московского института приехал в один среднерусский город. Он попал сюда по распределению. Проработав здесь с полгода, он уже обзавелся друзьями из местных интеллигентов и новым заграничным костюмом, который на нем хорошо сидел. Такого у него еще никогда не было. Но пальто у него было старое, студенческое, мешковатое.

Однажды один из его новых друзей привел его в местный педагогический институт на какое-то праздничное мероприятие. Начались танцы. Во время танцев он заметил, что на него очень смело поглядывает хорошенькая девушка. Она поглядывала на него из-за плеча своего кавалера, с которым танцевала, как из-за ограды, через которую можно легко перемахнуть.

Своими взглядами она как бы радостно удивлялась тому, что до сих пор его никогда не видела. Возможно, она его принимала за студента и тем более удивлялась, что до сих пор его никогда не видела. «Где ты пропадал? Скорее ко мне!» — как бы восклицала она своими распахнутыми зелеными глазами.

Минут через десять он ее пригласил танцевать, и они довольно долго топтались в танцах, охотно переговариваясь. А потом гуляли по коридорам института и даже заглянули в одну пустую аудиторию и сели рядом.

Сидя в пустой аудитории с очаровательной девушкой, он вдруг совершенно ясно почувствовал, что вот сейчас он может обнять и поцеловать ее и она его не оттолкнет. Это было абсолютно ясно.

Но он решил не торопить события. Конечно, она его предпочла всем остальным молодым людям. Как проникательная девушка, думал он. Как здорово, что ее красота сочетается с такой проникательностью.

Из их разговора получалось, что она ждала его приезда в этот город, а он как бы только для этого сюда и приехал. Ясно, что он ей нравится. Проникательная девушка, думал он. Собственно говоря, она его и привела в эту пустую аудиторию, чтобы получить от него первый урок любви. Так он думал. Но он не решился на этот урок отчасти потому, что аудитория была не заперта и сюда могли забрести другие студенты со своими уроками.

После танцев он провожал ее домой. Он подал ей в гардеробной ее легкую шубку и надел свое пальто. И тут он краем глаза заметил, что его красotka сильно и неприятно удивлена. Старое пальто, мешковатое и неуклюжее, скрыло его красивый костюм. Он не без юмора подумал, как это все в ее головке укладывается: пальто с чужого плеча или костюм? Или он вообще архитектор-самозванец?

Все это промелькнуло в его сознании, но не сильно расстроило его. Он еще верил в возможность идеальной любви, которая ни с каким пальто не считается. Тем не менее он подумал, что, сдержавшись там, в аудитории, он допустил шах-

матную ошибку. Тут нужен был более атакующий стиль. Она, видимо, этого ждала, еще ничего не зная о его плохо прикрытом фланге — о его пальто.

Он проводил ее домой. Они еще во время танцев, когда она ничего не знала о его пальто, договорились встретиться на вечеринке у его друга. Она охотно приняла приглашение, тем более что слышала об этом доме. Это была известная в городе семья.

В парадной ее подъезда, расставаясь с ней, он понял, что поцеловать ее сейчас нельзя. Мешало пальто. Он скромно попросился с ней и почувствовал, что она ему благодарна за сдержанность. По тем авансам, которые она выдавала в институте, еще не зная о его пальто, он мог бы теперь быть посмелее. Но сейчас она видела, что он не требует платить по счетам. Она была так благодарна ему за это, что на прощанье с необычайной смелостью поправила ему кашне на горле, правда, ему показалось, что она при этом старалась не прикасаться к его пальто. После этого она облегченно взлетела на свой этаж.

На вечеринку к друзьям он пришел с ней в том же пальто. Просто другого у него не было. На его спутницу все обратили внимание. А девушка хозяйина дома с тайным поощрительным восторгом закивала ему головой. Он знал, что нравится ей. Но она была подружкой его товарища, и он никогда не пытался сделать шаг в ее сторону, хотя и она ему нравилась. Иногда ему казалось, что она ждет этого шага. Но это было не в его правилах. И сейчас она поощрительными кивками бла-

гословляла его уход к другой. Если уходить, то только к такой, как бы говорила она.

Потом было веселое застолье с выпивкой и танцами. С его девушкой зачастил танцевать один молодой, но уже известный в городе журналист. Они танцевали очень хорошо, почти с недопустимой по тем временам чувственной смелостью. Тем более что этот журналист был здесь со своей женой.

Молодой архитектор почувствовал, что его захлестывает багровая ревность. Он старался как можно больше пить. Но это не помогало. Чем больше он пил, тем больше трезвела ревность. «Мы всего второй раз видимся, — уговаривал он себя, — она мне ничем не обязана, и я ее не люблю. Откуда же эта ревность?»

Он все-таки попытался что-то восстановить и пригласил ее танцевать, заранее предчувствуя какой-то провал.

— Вы танцуете примитивно, — вдруг заметила она ему во время танца своим задыхающимся, грудным голосом, который так волновал его до этого. Она это сказала, как бы кивнув на его пальто. Он и в самом деле плохо танцевал. Но ведь в институте они довольно долго танцевали, и она как будто не замечала этого. Тогда она его неуклюжие движения приняла за новомодную московскую небрежность. Но потом, увидев его пальто, сообразила, что никакой новомодной небрежностью тут и не пахнет. И теперь она как бы дважды его уличила.

И он больше с ней не пытался танцевать и вообще не танцевал. Она продолжала танцевать с этим журналистом. Жена

журналиста, чтобы скрыть свою ревность, стала бешено кокетничать с хозяином дома, и тот, может быть, под влиянием выпивки, поддался этому напору и не сводил с нее глаз. А девушка хозяина дома, в свою очередь, чтобы скрыть свою ревность, так резвилась в танцах, что в конце концов подвернула ногу и ее уложили на диван.

Выпивка и танцы продолжались. А бедная девушка, подружка хозяина дома, бросала на молодого архитектора взгляды, исполненные грусти и упрека.

Ее взгляды означали: «Если бы ты вовремя обратил на меня внимание, ничего такого не произошло бы со мной». Еще ее взгляды означали: «Если бы ты со своей красоткой не явился сюда, ничего такого не произошло бы ни с тобой, ни со мной. А так теперь мы оба страдаем».

Какая умница, подумал он о ней, она уловила всю цепочку и поняла взаимосвязь того, что произошло. И только эти двое ничего не понимали. Его красотка и этот ничтожный модный журналист со своими тошнотворными либеральными намеками. Они продолжали танцевать как ни в чем не бывало. Кошмар, тупицы, думал молодой архитектор и тянулся к рюмке.

После вечеринки он проводил ее домой. Голова его была ясна, но не настолько, чтобы уследить за тем, как разъезжаются его ноги. Идти по заледенелому тротуару было скользко, и ему казалось, что, держа ее под руку, он как бы цепляется за нее и продолжает, как в жутком сне, еще более неловкий и унижительный танец.

О попытке поцеловать ее в подъезде теперь не могло быть и речи. Теперь она была далека, как на Северном полюсе. Добраться до нее, да еще в таком пальто, было абсолютно невозможно. Он попрощался с ней и пошел домой, ничего не сказав о возможности встречи.

Однако испытания того вечера на этом не кончились. Была глубокая ночь. Недалеко от его дома он заметил, что навстречу ему идут два человека, и он вдруг подумал: что-то будет. В самом деле, они попросили у него закурить. Он протянул им пачку и взял сигарету сам. Дул сильный ветер, поэтому он сначала сам прикурил от спички, а потом протянул горящую сигарету одному из них, чтобы тот прикурил. И тот долго у него прикуривал, и молодой архитектор с бьющимся сердцем тоскливо понял: да, что-то будет! Тот наконец прикурил и, подняв голову, вдруг рявкнул:

— А теперь сымай пальто, падло!

Страх сдунуло. И ему стало яростно и весело. Все-таки нашелся человек, который польстился на его пальто!

Сильным неожиданным ударом он сбил его с ног и повернулся ко второму, готовый и с этим подраться. Но тот явно уклонился от драки.

— Ладно, ладно, пошутить нельзя, — проворчал он угрюмо и стал поднимать своего товарища.

Молодой архитектор благополучно добрался домой. Он с удивлением подумал, что, если бы этот негодяй потребовал от него денег, он, пожалуй, отдал бы ему свой тощий бумажник. Тем более что рука негодяя, когда он рявкнул про паль-

то, опустилась в карман его телогрейки, где, вероятно, лежал нож. Но с этим пальто они его достали!

Несколько раз после этого вечера он встречал ее на улице. Она явно шла из института, и ее всегда сопровождали франтоватые студенты. Иногда ее сопровождал один и тот же студент, без компании. Молодой архитектор вежливо кивал ей, она тоже кивала ему, и они проходили мимо друг друга.

Так прошло месяца два. Он сменил свое пальто на вполне приличный плащ, потому что наступила весна. Но это уже не могло ничего изменить, а он продолжал о ней думать. Он не мог забыть о том ощущении странного волшебства, которое его охватило, когда они познакомились и особенно когда они, тихо переговариваясь, сидели в аудитории. Казалось, тайна счастья приоткрылась ему и захлопнулась в гардеробной. И он не мог об этом забыть. Но в конце концов ему надоело думать о ней. Он решил совсем выкинуть ее из головы и перестал при встречах здороваться с ней. Когда он первый раз прошел, не поздоровавшись, она окинула его долгим удивленным взглядом. И это ему понравилось. Ему показалось, что он поставил ее на место.

Шумная гурьба франтоватых студентов продолжала провожать ее домой. Она царила среди них. Иногда ее провожал один и тот же студент, и как победно, как радостно он вышагивал рядом с ней!

Молодой архитектор продолжал одиноко и мрачно проходить мимо нее, не здороваясь. И он заметил, что она каждый раз внимательно взглядывается в него и как бы чего-то ждет.

По-видимому, она решила, что упорство молодого архитектора слишком далеко зашло. Вероятно, она никак не могла поверить в то, что чары ее на кого-то перестали действовать. Было похоже, что она готова простить ему старое мешковатое пальто. Тем более что он теперь был во вполне приличном плаще. А впереди предстояло долгое лето, и в конце концов к осени он мог купить новое пальто. Но он еще был так молод и ему так надоело его одиночество-одиночество!

И вскоре молодой архитектор познакомился с милой девушкой, и у них начался довольно бурный роман. Она не только не презирала его старое пальто, но даже, можно сказать, пользовалась им. В каморке, которую снимал молодой архитектор, было всегда прохладно, и они, ложась, накидывали его пальто поверх одеяла. Однако и о той красотке он почему-то никак не мог забыть, хотя и стыдился этого.

Однажды он шел со своей девушкой по улице и вдруг увидел, что навстречу идет она с победно вышагивающим студентом. И она его увидела издалека. И она была потрясена. Она резко отстранилась от своего провожатого, словно отбросила его, и быстрыми шагами, почти переходящими в побегу, стала приближаться. Она жадно вглядывалась в его спутницу и одновременно очень дружески и виновато улыбалась ему. Брошенный студент остановился, ничего не понимая и ошарашенный случившимся. А она быстро-быстро двинулась архитектору навстречу, дружески и виновато улыбаясь и одновременно жадно оглядывая его спутницу.

В ее облике была какая-то безуминка. И ему вдруг захотелось все забыть и все начать сначала! Но он взял себя в руки. Ему потребовалось собрать все свое самообладание, чтобы не улыбнуться и не рвануться ей навстречу.

Поняв, что он и на этот раз не собирается с ней здороваться, она уже в двух шагах от него вдруг сникла, даже подурнела и прошла мимо. Девушка молодого архитектора, слава Богу, ничего не заметила. Он почувствовал, что это полная победа, но никакой радости она ему не принесла.

Какая красота погибает, наивно думал он, имея в виду, что теперь уже совершенно невозможно восстановить знакомство. Других он считал недостойными ее красоты. Иногда он в себе ощущал такой мощный прилив сил, что был готов срыть этот кургузый город и построить новый. В такие минуты он изо всех сил хватался пальцами за стол или за стул, на котором сидел, чтобы не взлететь на высоту своего воображаемого шедевра. Но этот неожиданный прилив сил, который он порой испытывал, к его удивлению, никто не замечал. Впрочем, опомнившись, он и сам осознавал, что не скоро дождется заказчика, если дождется вообще.

Красотка и в самом деле была потрясена. Возможно, она даже влюбилась в него, потому что впервые в жизни получила от ворот поворот. Этого она еще не могла ни понять, ни принять.

В тот вечер, один придя в свою каморку, он сильно захотел выпить. Вспомнил, что есть в запасе бутылка вина. Он достал бутылку, но никак не мог найти штопора и стал вилкой выковыривать пробку. Пробка долго сопротивлялась, но он ее на-

конец выковырял. В борьбе бутылки с человеком всегда побеждает человек, подумал он, усмехнувшись чему-то. Он спокойно выпил три стакана вина, а когда выпил четвертый, вдруг взгляд его остановился на пальто, уныло висевшем на гвозде, и он вдруг так сжал стакан в руке, что он хрустнул и рассыпался. Осколки сильно поранили его ладонь, и обильно потекла кровь.

Он открыл кран и подставил ладонь под холодную струю воды. Теплая боль, теплая кровь и ледяная струя воды успокаивали его. Минут через двадцать кровь перестала сочиться, он перевязал ладонь платком и лег спать. Теперь он окончательно успокоился.

Однажды, побывав в гостях у своих друзей, они вместе со своей подружкой, оба навеселе, вернулись в его каморку.

После близости она вдруг вскочила с постели, полуголая, накинув его пальто, симпровизировала очаровательный дикарский танец, пародирующий все современные танцы. И танец этот, приперченный насмешкой, пародируя пародийную свободу современных танцев, приобретал истинную свободу и смысл. Пальто, как бы ликуя и одобряя ее, взлетало и болталось на ней. И она кружилась по комнатке, хорошея и хорошея и каждым движением доказывая неисчерпаемость комических оттенков не только танца, но и всей жизни. При этом она каким-то образом, словно угадывая, прихватывала в своей пародии и его страсть к красоте. И это было так смешно, что он хохотал до слез. Юмор, подумал он, это музыка правды, не требующая доказательств.

Этим танцем, сама того не ведая, она навсегда уложила на лопатки и его, и его красотку, но уложила не рядом, разумеется, но вдали друг от друга.

Вскоре они поженились и покинули этот город. Через несколько лет он стал известным архитектором. И те порывы творческой энергии, которых никто не замечал, остались в его памяти как единственная реальность, связанная с этим городом.

Но ему было суждено еще раз встретиться с красоткой. Через двадцать лет по его проекту и под его личным присмотром, что было гораздо труднее, чем создать проект, учитывая пьянство и вороватость рабочих, был воздвигнут прекрасный курортный комплекс на берегу Черного моря.

Строили вместе иностранные и наши рабочие. Он давно заметил, что иностранные рабочие трудились превосходно, если не соприкасались с нашими рабочими. Но если на стройке они работали вместе с нашими, их хватало почему-то ровно на три месяца. Дальше их можно было отсылать домой. Начав пить с нашими рабочими, они через три месяца теряли всякую работоспособность и уже работали хуже наших рабочих, которые и в пьяном виде кое-что кумекали. Почему не добросовестные влияют на разгильдяев, а наоборот? Он часто над этим задумывался и пришел к выводу, что человек от природы больше склонен опускаться, чем подниматься. Это был горький вывод из наблюдений над человеком, но не горше других.

Так вот. Местное начальство пригласило на открытие здравницы почетных гостей из Москвы и других мест. И она приехала сюда с мужем, тайно прославленным генералом. Он где-то, кажется в Африке, кого-то свергал. Нашему архитектору об этом шепнул директор здравницы. Для генерала генерал очень молодо выглядел. А ее он просто не узнал. Глядя на генерала, он подумал: в нашей дряхлеющей стране молодеют и молодеют генералы. К чему бы это? Не придется ли генералу в следующий раз ехать куда-нибудь поближе, мелькнуло у него в голове.

В разгар банкетного пиршества, когда все подвыпили, жена генерала, поймав его взгляд, вдруг нежно улыбнулась ему и кивнула. Они сидели за соседними столами. И он улыбнулся ей и благодарно кивнул ей в ответ, думая, что она приветствует его как творца этого сооружения. Тем более что в этой праздничной суматохе, с многочисленными общими тостами, об архитекторе, который все это создал, никто не вспомнил.

Она была довольна его приветливой улыбкой, ей показалось, что она наконец победила его упорство и последнее слово осталось за ней. «Боже мой, — вспоминала она, — в каком задрипанном пальто ходил он в нашем городе, и нравился мне, и влюблен был в меня, но за что-то обиделся на меня, гордец, и перестал здороваться». Она никак не могла припомнить, за что он обиделся на нее. «Я же не виновата, что я всем нравилась», — подумала она, припомнив, что всегда была окружена поклонниками. Глядя на него, ей и в голову не мог-

ло прийти, что он ее мог не узнать. «Кажется, волнуется, — подумала она. — Я тоже, кажется, волнуюсь».

Но у него была другая причина для беспокойства. Вокруг нового курортного комплекса, сильно нарушая его гармонию, были наляпаны хибарки местных жителей. Их было не очень много, но они были. Чтобы снести эти хибарки, он для их обитателей выстроил новые коттеджи с такими удобствами, о которых они и мечтать не смели.

Но пока шла стройка, эти жулики успели прописать в своих хибарках несметное количество родственников, чтобы потом, перейдя в коттеджи, оставить за собой и хибарки. В курортный сезон лишняя площадь сулила здесь немалые доходы. Предстояла скандальная разборка. Но он был уверен, что победит. Его душу уже обжигал замысел нового проекта. Надо было поскорее освободить голову от всякого мусора, а в таких случаях он бывал неукротим.

жил старик со своею старушкой

В Чегеме у одной деревенской старушки умер муж. Он был еще во время войны ранен и потерял полноги. С тех пор до самой смерти ходил на костылях. Но и на костылях он продолжал работать и оставался гостеприимным хозяином, каким был до войны. Во время праздничных застолий мог выпить не меньше других, и, если после выпивки возвращался из гостей, костыли его так и летали. И никто не мог понять,

пьян он или трезв, потому что и пьяным, и трезвым он всегда был одинаково весел.

Но вот он умер. Его с почестями похоронили, и оплакивать его пришла вся деревня. Многие пришли и из других деревень. Такой он был приятный старик. И старушка его очень горевала.

На четвертый день после похорон приснился старушке ее старик. Вроде стоит на тропе, ведущей на какую-то гору, неуклюже подпрыгивает на одной ноге и просит ее:

— Пришли, ради Бога, мои костыли. Никак без них не могу добраться до рая.

Старушка проснулась и пожалела своего старика. Думает: «К чему бы этот сон? Да и как я могу послать ему костыли?»

На следующую ночь ей приснилось то же самое. Опять просит ее старик прислать ему костыли, потому что иначе не доберется до рая. «Но как же ему послать костыли?» — думала старушка, проснувшись. И никак не могла придумать. «Если еще раз приснится и будет просить костыли, спрошу у него самого», — решила она.

Теперь он ей снится каждую ночь и каждую ночь просит костыли, но старушка во сне терялась, вовремя не спохватывалась спросить, а сон уходил куда-то. Наконец она взяла себя в руки и стала бдеть во сне. И теперь, только увидела она своего старика и, даже не дав ему раскрыть рот, спросила:

— Да как же тебе прислать костыли?

— Через человека, который первым умрет в нашей деревне, — ответил старик и, неловко попрыгав на одной ноге, при-

сел на тропу, поглаживая свою культяпку. От жалости к нему старушка даже прослезилась во сне.

Однако, проснувшись, взбодрилась. Она теперь знала, что делать. На окраине Чегема жил другой старик. Этот другой старик при жизни ее мужа дружил с ним, и они нередко выпивали вместе.

— Тебе хорошо пить, — говаривал он ее старику, — сколько бы ты ни выпил, ты всегда опираешься на трезвые костыли. А мне вино бьет в ноги.

Такая у него была шутка. Но сейчас он тяжело болел, и односельчане ждали, что он вот-вот умрет.

И старушка решила договориться с этим стариком и с его согласия, когда он умрет, положить ему в гроб костыли своего старика, чтобы в дальнейшем, при встрече на том свете, он их ему передал.

Утром она рассказала домашним о своем замысле. В доме у нее оставался ее сын с женой и один взрослый внук. Все остальные ее дети и внуки жили своими домами. После того как она им рассказала, что собирается отправиться к умирающему старику и попросить положить ему в гроб костыли своего мужа, все начали над ней смеяться как над очень уж темной старушкой. Особенно громко хохотал ее внук как самый образованный в семье человек, окончивший десять классов. Этим случаем, конечно, воспользовалась и ее невестка, которая тоже громко хохотала, хотя, в отличие от своего сына, не кончала десятилетки. Отхохотавшись, невестка сказала:

— Это даже неудобно — живого старика просить умереть, чтобы костыли твоего мужа положить ему в гроб.

Но старушка уже все обдумала.

— Я же не буду его просить непременно сейчас умереть, — отвечала она. — Пусть умирает, когда придет его срок. Лишь бы согласился взять костыли.

Так отвечала эта разумная и довольно деликатная старушка. И хотя ее отговаривали, она в тот же день пришла в дом этого старика. Принесла хорошие гостинцы. Отчасти как больному, отчасти чтобы умаслить и умирающего старика, и его семью перед своей неожиданной просьбой.

Старик лежал в горнице и, хотя был тяжело болен, все посасывал свою глиняную трубку. Они поговорили немного о жизни, а старушка все стеснялась обратиться к старику со своей просьбой. Тем более в горнице сидели его невестка и некоторые другие из близких. К тому же она была, оказывалось, еще более деликатной старушкой, чем мы думали вначале. Но больной старик сам ей помог, он вспомнил ее мужа добрыми словами, а потом, вздохнув, добавил:

— Видно, и я скоро там буду и встречу с твоим стариком.

И тут старушка оживилась.

— К слову сказать, — начала она и рассказала ему про свой сон и про просьбу своего старика переслать ему костыли через односельчанина, который первым умрет. — Я тебя не торплю, — добавила она, — но, если что случится, разреши положить тебе в гроб костыли, чтобы мой старик доковылял до рая.

Этот умирающий с трубкой в зубах старик был остроязыким и гостеприимным человеком, но не до такой степени, чтобы брать к себе в гроб чужие костыли. Ему ужасно не хотелось брать к себе в гроб чужие костыли. Стыдился, что ли? Может, боялся, что люди из чужих сел, которые явятся на его похороны, заподозрят его мертвое тело в инвалидности? Но и прямо отказать было неудобно. Поэтому он стал с нею политиковать.

— Разве рай большевики не закрыли? — пытался он отделаться от нее с этой стороны.

Но старушка оказалась не только деликатной, но и находчивой. Очень уж она хотела с этим стариком отправить на тот свет костыли мужа.

— Нет, — сказала она уверенно, — большевики рай не закрыли, потому что Ленина задержали в мавзолее. А остальным это не под силу.

Тогда старик решил отделаться от нее шуткой.

— Лучше ты мне в гроб положи бутылку хорошей чачи, — предложил он, — мы с твоим стариком там при встрече ее разопьем.

— Ты шутишь, — вздохнула старушка, — а он ждет и каждую ночь просит прислать костыли.

Старик понял, что от этой старушки трудно отделаться. Ему вообще было неохота умирать и еще более не хотелось брать с собой в гроб костыли.

— Да я ж его теперь не догоню, — сказал старик, подумав, — он уже месяц назад умер. Даже если меня по той же тропе отправят в рай, в чем я сомневаюсь. Есть грех...

— Знаю твой грех, — не согласилась старушка. — Моего старика с тем же грехом, как видишь, отправили в рай. А насчет того, что догнать — не смеши людей. Мой старик на одной ноге далеко ускакать не мог. Если, скажем, завтра ты умрешь, хотя я тебя не тороплю, послезавтра догонишь. Никуда он от тебя не денется...

Старик призадумался. Но тут вмешалась в разговор его невестка, до сих пор молча слушавшая их.

— Если уж там что-то есть, — сказала она, поджав губы, — мы тебе в гроб положим мешок орехов. Бедный мой покойный брат так любил орехи...

Все невестки одинаковы, подумала старушка, вечно лезут поперек.

— Да вы, я вижу, из моего гроба хотите арбу сделать! — вскрикнул старик и добавил, обращаясь к старушке: — Приходи через неделю, я тебе дам окончательный ответ.

— А не будет поздно? — спросила старушка, видимо преодолевая свою деликатность. — Хотя я тебя не тороплю.

— Не будет, — уверенно сказал старик и пыхнул трубкой.

С тем старушка и ушла. К вечеру она возвратилась домой. Войдя на кухню, она увидела совершенно неожиданное зрелище. Ее насмешник-внук с перевязанной ногой и на костылях стоял посреди кухни.

— Что с тобой? — встрепелась старушка. Оказывается, ее внук, когда она ушла к умирающему старику, залез на дерево побивать грецкие орехи, неосторожно ступил на усохшую

ветку, она под ним хрястнула, и он, слетев с дерева, сильно вывернул ногу.

— Костыли заняты, — сказал внук, — придется деду с месяц подождать.

Старушка любила своего старика, но и насмешника внука очень любила. И она решила, что внуку костыли сейчас, пожалуй, нужнее. Один месяц можно подождать, решила она, по дороге в рай погода не портится. Да и старик, которого она навещала, по ее наблюдениям, мог еще продержаться один месяц, а то и побольше. Вон как трубкой пыхает.

Но что всего удивительнее — больше старик ее не являлся во сне с просьбой прислать ему костыли. Вообще не являлся. Скрылся куда-то. Видно, ждет, чтобы у внука нога поправилась, умилялась старушка по утрам, вспоминая свои сны. Но вот внук бросил костыли, а старик больше в ее сны не являлся. Видно, сам доковылял до рая, может быть, цепляясь за придорожные кусты, решила старушка, окончательно успокаиваясь.

А тот умиравший старик после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в гроб чужие костыли. Обидно ему было: ни разу в жизни не хромал, а в гроб ложиться с костылями. Он и сейчас жив, хотя с тех пор прошло пять лет. Пасет себе своих коз в лесу, время от времени подрубая им ореховый молодняк, при этом даже не вынимая трубки изо рта.

Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой!
Тюк топором! Пых трубкой! Смотрит дьявол издали на него

и скрежетет зубами: взорвал бы этот мир, но ведь прокляту-
щий старик со своей трубкой даже не оглянется на взрыв!
Придется подождать, пока его козы не наедятся.

Вот мы и живы, пока старик — тюк топором! пых трубкой!
А козы никогда не насытятся.

авторитет

Георгий Андреевич был, как говорится, широко известен
в узких кругах физиков. Правда, всей Москвы.

На праздничные майские каникулы он приехал к себе на
дачу вместе с женой и младшим сыном, чтобы отдохнуть от
городской суеты и всласть поработать несколько дней в ти-
шине.

Весь дачный поселок был послевоенным подарком Стали-
на советским физикам, создавшим атомную бомбу. Однако
с тех давних пор дачи сильно одряхлели, отремонтировать их не
хватало средств. За последние годы, даже еще до перестрой-
ки, государство потеряло интерес к физикам: мавр сделал
свое дело... Тем более старшее поколение физиков, создавав-
шее эту бомбу, в основном уже перемерло.

На третий день праздников труба в ванной дала течь. Геор-
гий Андреевич пошел в контору. Он знал, что оттуда можно
было вызвать одного из двух сантехников. Но работник кон-
торы скорбно заявил ему, что сантехники сами вышли из
строя.

— Что с Женей? — спросил Георгий Андреевич.
— Руку сломал, — ответил конторский работник.
— А Сережа?
— Голову разбил. Только что его увезли на машине, — был мрачный ответ.

Георгий Андреевич вернулся на дачу несолоно хлебавши. «Трудно жить в России, — думал он. — Прежде чем починить трубу, надо починить слесаря. Нам многодневные праздники ни к чему. Работа невольно заставляет нашего человека делать некоторые паузы в выпивке. Праздничные дни — пьянство в чистом виде».

Однако он не дал себе испортить настроение этой неудачей, а сел работать. Работа — единственное, в чем он еще не чувствовал приближения старости. И тем более было обидно, когда любимый ученик сказал ему об отзыве о нем одного известного физика. «Каким ярким ученым был Георгий Андреевич! — вздохнул якобы тот. — Как жалко, что он замолк».

«Откуда он взял, что я замолк?» — с горьким негодованием думал Георгий Андреевич. За последние два года четыре его серьезные работы были опубликованы в научных журналах. Да тот просто журналы эти не видел! Физики, — во всяком случае, те, что остались в России, — перестали интересоваться работами друг друга. Это тоже было знаком времени. На свои последние публикации он получал восхищенные отклики от некоторых иностранных коллег.

Однако ему было шестьдесят пять лет, и он действительно чувствовал первые признаки старости. Только не в работе.

Так он думал. Но, например, процесс еды перестал приносить удовольствие, и он ел не то чтобы насильно, но с некоторым тихим раздражением, примиряясь с необходимостью перемалывать пищу. Сколько можно!

Утреннее бритье тоже стало раздражать его. «Боже мой, — думал он, включая электробритву, — сколько можно бриться! всю жизнь каждое утро бриться!» Некоторые его коллеги давно завели бороды, якобы подчиняясь моде возвращения к национальным корням. Он сильно подозревал, что им просто надоело бриться. Сам он никак не хотел заводить бороду. Они при помощи бороды маскируют собственную старость, думал он.

Третьим признаком старости он считал то, что на ночь стал проверять, хорошо ли закрыты дверные запоры. Раньше он никогда об этом не думал. Правда, этот признак старости он мог не засчитывать себе или по крайней мере смягчить тем, что, по вполне проверенным слухам, многие дачи их академического поселка ограбили.

Слава Богу, обошлось без убийства. Правда, одного опустившегося физика, пьяницу, воры избили. Он случайно во время грабежа оказался на даче, но был так беден, что из дачи буквально нечего было вынести. Все, что можно было вынести и продать, он уже сам вынес и продал. Воры обиделись и, разбудив его, избили за свои напрасные труды. Тем более у кровати его стояла пустая бутылка. Как будто он один любит выпить!

Но Георгий Андреевич почему-то чувствовал, что его повышенный интерес к замкам и запорам перед тем как лечь

спать связан не с участвовавшими грабежами вообще, а с философским старческим отношением к собственности. Тем более он хорошо помнил слова Гёте о том, что в молодости мы все либералы, потому что нам нечего терять, а в старости делаемся консерваторами, потому что хотим, чтобы нажитое нами осталось именно нашим детям.

Ничего особенного нажито не было, хотя он был лауреатом нескольких международных премий. Но деньги, на которые он никогда не обращал внимания, как-то незаметно испарились, хотя это было не совсем так.

Оба его старших сына были биологами, и, когда они женились, он обоим купил квартиры. Они рано женились. Это было еще в советское время, и один из них, которому он дал деньги на квартиру, просил его, чтобы он, пользуясь своим авторитетом, помог вступить в какой-то кооператив. Но он отрез отказался. Он презирал этот путь и никогда в жизни не умел и не хотел им пользоваться.

— Я же дал тебе деньги, — твердо ответил он сыну, — дальше действуй сам.

— Деньги — это далеко не главное, — ответил ему сын довольно нахально.

Впрочем, в те далекие, как теперь казалось, советские времена, вероятно, так оно и было.

Зато теперь деньги решали все. Оба его старших сына по контракту работали в Европе. Судя по всему, они были хорошо устроены и в Россию почти не приезжали. Беспокоиться об их судьбе не приходилось. Но он волновался о младшем

сыне. Отчасти и это было признаком старости или следствием постарения.

Через пятнадцать лет после второго сына у него родился третий сын. Ему было сейчас двенадцать лет, и отец несколько тревожился, что может не успеть поставить его на ноги. А время настолько изменилось, что однажды сын ему сказал с горестным недоумением:

— Папа, почему мы такие нищие?

Вопросу сына он поразился как грому среди ясного неба.

— Какие мы нищие! — воскликнул он, не в силах сдержать раздражения. — Мы живем на уровне хорошей интеллигентной семьи!

Так оно и было на самом деле. Денег, по мнению отца, вполне хватало на жизнь, хотя, конечно, жизнь достаточно скромную. Но в школе у сына внезапно появилось много богатых друзей, которые хвастались своей модной одеждой, новейшей западной аппаратурой да и не по возрасту разбрасывались деньгами. И это шестиклассники!

Напрасно Георгий Андреевич объяснял сыну, что отцы этих детей, скорее всего, жулики, которые воспользовались темной экономической ситуацией в стране и нажились бесчестным путем. Он чувствовал, что слова его падают в пустоту.

И тогда он подумал, что грешен перед своими детьми: всю жизнь углубленный в науку, не уделял им внимания. Двое старших, слава Богу, без его участия стали вполне интеллигентными людьми и достаточно талантливыми биологами. Да иначе с ними не продлевали бы контракты с такой охотой!

Западные фирмы с необыкновенной точностью выклевали наших самых талантливых ученых! И ему, несмотря на его возраст, приходили выгодные предложения, но он их отклонял. «Мы, — думал он о своем поколении, — так страстно мечтали о новых демократических временах, и, если демократия пришла с такими чудовищными уродствами, мы ответственны за это». Уезжать казалось ему дезертирством.

Но дети ни при чем. Да, двое его старших сыновей стали на ноги. Но что будет с младшим? Он увлекается спортом и почти ничего не читает. Неужели это свойство поколения, неужели книга перестала быть тем, чем она уже была в России в течение двух столетий для образованных людей? Может быть, это всемирный процесс? Хотя такие признаки есть, но он отказывался в них верить. Не может быть, чтобы книга — самый уютный, самый удобный способ общения с мыслителем и художником — ушла из жизни!

Он сам стал читать сыну. С каким увлечением он читал ему пушкинский рассказ «Выстрел». Он сам чувствовал, что никогда в жизни вслух не читал с таким волнением и с такой выразительностью. Он читал ему минут пятнадцать, и сын как-то притих. «Достал! Достал!» — ликовал отец про себя: сын подхвачен прозрачной волной пушкинского вдохновения! Однако, воспользовавшись первой же паузой, сын встал со стула и очень вежливо сказал:

— Папа, извини, но это для меня слишком рано.

И вышел из кабинета. Отец был сильно смущен. В словах сына ему послышалось сожаление по поводу его напрасных

стараний. Но не может быть, чтобы ясный Пушкин до сына не доходил!

Все-таки он прочел ему несколько книжек, в том числе «Капитанскую дочку». Нельзя сказать, чтобы сын не понимал прочитанного. Формальный смысл он легко улавливал. Он не улавливал того очаровательного перемигивания многих смыслов, которое дает настоящий художественный текст и в который автор вовлекает благодарного читателя. Неужели телевизор и компьютерные игры победили? И тогда он решил пойти самым большим козырем, который у него был в запасе, — он решил прочесть ему «Хаджи-Мурата».

И действительно, «Хаджи-Мурат» несколько растормошил сына. Отец радовался, читая ему эту великую книгу, написанную не только гениально, но и с рекордной простотой. Он думал, что смерть Хаджи-Мурата потрясет сына, но ничего такого не случилось.

— Я так и знал, — сказал сын, покидая его кабинет, как всегда после чтения, со сдержанным облегчением. Все-таки облегчение он сдерживал. И на том спасибо!

Но ведь не был же сын бесчувственным! Отец несколько раз, случайно войдя в столовую с телевизором, видел на глазах у сына слезы. Ясно было, что сын только что смотрел какой-то сентиментальный фильм. Как втолковать ему условия игры книги, ему, так samozабвенно усвоившему жалкие условия игры телевизора?

И нельзя же все время читать ему вслух. Ему уже двенадцать лет. «Боже мой, — думал Георгий Андреевич, — в этом

возрасте меня невозможно было оторвать от книги!» Более того, он был уверен, что его успехи в физике каким-то таинственным образом связаны с прочитанными и любимыми книгами. Занимаясь физикой, он заряжал себя азартом вдохновения, которое охватывало его при чтении. А ведь счастье этого состояния он испытал до физики. Книга была первична.

Нет, надо приучить его читать самого. Но как сын этого не хотел, как морщился, как пытался любым способом увильнуть от этой постылой обязанности!

Здесь, на даче, он с сыном играл в бадминтон. И сын у него насмешливо выигрывал каждый раз. Сын его был очень спортивен, впрочем, как и отец в юности. Отец в очках только работал или читал. Играя с сыном без очков, иногда он просто лупил ракеткой мимо волана. В таких случаях сын безжалостно смеялся. Но отца это почти не трогало. Он с нежностью вспоминал, как всего несколько лет назад он аккуратно и плавно отбивал сыну волан, чтобы тому было легче его принять.

Как легит время! А сын требовал от отца, чтобы тот с ним играл каждый день. Просто у него сейчас не было другого партнера. Из-за насмешек сына во время игры отец вдруг понял, что, в сущности, он, хотя и физик высокого класса, никаким авторитетом у сына не пользуется. Нужно завоевать авторитет. Но как это сделать? Очень просто. Спорт — единственное, что увлекает сына кроме телевизора и компьютерных игр. Он должен через спорт завоевать авторитет у сына. Он должен переиграть его в бадминтон.

На следующий день, когда сын предложил поиграть, он сказал ему:

— Если я у тебя выиграю, будешь два часа читать книгу!

— Ты у меня выиграешь... — презрительно ответил сын. — Папа, у тебя крыша поехала!

— Но ты согласен на условия?

— Конечно! Пошли!

— Только дай я очки надену!

— Хоть бинокль!

Отец зашел в кабинет и взял старые запасные очки. Все-таки рисковать очками, в которых он обычно работал, не решился. Он надел их и стал мотать головой, чтобы посмотреть, как они держатся. К его приятному удивлению, очки ни разу не соскочили. Инструмент, помогавший в работе его стареющим глазам, как бы по-товарищески обещал помогать ему и в игре.

Он взял ракетку и вышел вслед за сыном на дачный двор. Было на редкость тепло. Поздняя весна быстро набирала силу. Из соседних дворов доносился запах цветущих яблонь. У самого дома, обработанная женой, цвела большая грядка цветов. Синели гроздочки гиацинтов, цвели нарциссы и примулы. Уже выпустились березы, словно излучая тепло, рыжели стволы сосен, и только сумрачные ели оставались верны своей траурной зелени.

На лужайке высыпало множество лиловых незабудок. «Какая глазастая свежесть любопытства к жизни! Если бы их свежесть любопытства к жизни соединить с моим опытом, — неожиданно подумал он, — был бы толк в науке. Но это не-

возможно». И вдруг ему захотелось улечься на эти незабудки и, раскинув руки, лежать, ни о чем не думая. Но тогда уж под ними, насмешливо поправил он себя. Нет, сверху, встряхнулся он духом, лежать и думать только о физике.

Между соснами, елями и березами была небольшая площадка, на которой они обычно играли. Они играли без сетки, игровое пространство не было очерчено, так что потерянную подачу иногда приходилось определять на глазок. Кроме того, на площадке были рытвины и несколько трухлявых пеньков, которые иногда мешали отбить волан. Отец, проявляя благородство, прощал сыну промахи, вызванные неровностью площадки, и сын туговато, но следовал его примеру. Отец, решив во что бы то ни стало выиграть у сына, внутренне сосредоточился, напряжился, хотя внешне держался равнодушно. Это, конечно, была боевая хитрость. Но не аморально ли хитрить, думал он, с трудом отбивая подачи сына. Тот почти все время умудрялся гасить.

Нет, успокоил он себя, если хитрость служит добру, она оправданна. Сам Христос хитрил, когда на коварный вопрос фарисеев ответил: кесарю кесарево, Богу Богово. Христос, по соображениям Георгия Андреевича, исходил из того, что если кесарю не платить кесарево, то для народа Иудеи это обернется еще большим, безвыходным злом. Конформизм народа оправдан, если другое решение грозит непременно кровью. Свою-то кровь Христос не пожалел. Но свою!

Когда несколько лет назад сын только научился плавать, он панически боялся глубины. И тогда, чтобы приучить сына

к глубине, Георгий Андреевич пустился на хитрость. Он немного отплыл от берега и позвал сына к себе, вытащив руки из воды и подняв их над собой в знак того, что он стоит на дне. На самом деле он до дна не доставал, но, сильно работая одними ногами, держался на плаву. Сын клюнул на эту удочку, подплыл к нему и так постепенно приучился плавать на глубине.

...То и дело слышалось шлепанье ракеткой по волану. Хотя Георгий Андреевич весь был сосредоточен на игре, в голове его мелькали мысли, часто никакого отношения к игре не имеющие.

...Физик, который не следит за работами своих коллег, не может считаться профессионалом... Удар!

...Если бы Пушкин прожил еще хотя бы десять лет, вероятно, история России могла быть совершенно другой... Удар!

...Опять забыл ответить на чудное письмо физика из Вены! Какой стыд!.. Удар!

...Вся русская культура расположена между двумя фразами. Пушкинской: «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас!» И толстовской: «Не могу молчать!» Пожалуй, в пушкинской фразе более далеко идущая мудрость... Удар!

...Задыхаюсь! Задыхаюсь! Нельзя было почти всю жизнь работать по четырнадцать часов! А в застолье по четырнадцать рюмок можно было пить?! Удар!

...Сейчас много пишут о реформах Столыпина. И это хорошо. Но почему молчат о реформах Витте? Фамилия не та? Некрасиво!.. Удар!

...Выражение «тихий Дон», кажется, впервые упоминается у Пушкина в «Кавказском пленнике»... Если бы не перечитывал сыну, никогда бы не вспомнил... Удар!

...Религиозный взгляд на мир научно корректнее атеистического. Нужен смелый ум, чтобы иногда сказать: это не нашего ума дело!.. Удар!

...Обширные пространства России всегда вызывали в правителях тайную агорафобию. Отсюда чувство психической неустойчивости, вечное желание нащупать твердый край, принимать крайнее и потому невзвешенное решение... Удар!

...Если предстоит конец книжной цивилизации, это удесятикратит агрессивность человечества. Ничто не может заменить натурального Толстого и натурального Шекспира... Удар!

...Знание о жизни другого народа смягчает этот народ по отношению к нему. В темноте все опасны друг другу... Удар!

...Политика! Как говорил Ходжа Насреддин: «Не вижу лиц, отмеченных печатью мудрости»... Удар!

...Первый признак глупца: количество слов не соответствует количеству информации... Удар!

...Какой маразм! Пригласил домой иностранного физика и, называя ему адрес, забыл указать корпус дома! Проклятый телефон! Но он, молодец, догадался сам найти! Маразм... Хотя в момент звонка я был весь в работе... Удар!

...Не смерть страшна, а страшно недостойно встретить ее... Удар!

...Человек краснеет и делает шаг к жизни. Человек бледнеет и делает шаг к смерти!.. Удар!

...Подставленная щека воспитывает бьющую руку... Сомнительно. Односторонность подставленной щеки... Удар!

Они обычно играли до двадцати пяти: кто первым набрал двадцать пять очков, тот и выиграл. Сын, не замечая необычайной сосредоточенности отца, пропустил достаточно много ударов, уверенный, что отец случайно вырвался вперед. Но при счете десять — пять в пользу отца он как бы очнулся.

— Ну, теперь ты у меня ни одного мяча не выиграешь! — крикнул он.

После чего яростно скинул рубаху и отбросил ее. Стройный, ладный, худой, поигрывая юными мускулами, он сейчас стоял перед ним в черных спортивных брюках и белых кедах, незавязанные шнурки которых опасно болтались. Отец предупредил его относительно шнурков, но он только резко махнул рукой и с горящими глазами приготовился к подаче.

Шквал сильных ударов посыпался на отца. Но почти все удары, сам удивляясь себе, отец изворачивался брать и посылать обратно. Иногда отец забывался, срабатывала давняя привычка играть с сыном, начинающим игроком, и тогда он мягко и высоко отбивал волан. Сын гасил с необычайной резкостью, и отец пропускал удар или, что выглядело особенно глупо, неожиданно ловил волан рукой, не успев рвануться в сторону и подставить ракетку.

Однако чаще всего, продолжая сам себе удивляться, он дотягивался до очень трудных подач и отбивал их. После того как он отбивал особенно трудные подачи, он замечал в глазах у сына как бы комически-заторможенное уважение. Однако

сын порядочно загнал его своими подачами. Сердце колотилось во всю грудную клетку, он был весь мокрый от пота. Но чем труднее ему было, тем с большей самоотдачей он шел к победе. В каждый удар он вкладывал все силы, как будто удар этот был последним и самым решительным.

А сын, несмотря на свои яростные усилия, в отличие от отца оставался совершенно свежим и ровно дышал. Задышающемуся отцу это казалось чудом. Но игра приближалась к победному концу, и сын стал нервничать. После неудачного удара он в бешенстве швырнул свою ракетку.

— Будешь нервничать, будешь хуже играть, — задыхаясь, предупредил его отец.

— Эта ракетка соскальзывает с руки, — крикнул сын, — я пойду возьму запасную.

И побежал домой. Отцу показалось, что эта передышка в две-три минуты спасла его. Сейчас, когда игра остановилась и он осознал свою усталость, ему подумалось, что еще несколько мгновений такого напряжения — и он рухнул бы наземь.

Отец слегка отдышался. Сын прибежал с новой ракеткой, и они продолжили игру. И хотя эта ракетка была ничуть не лучше прежней, сын, видимо, успокоился и стал бить еще точнее и свирепее. Сын бил ракеткой по волану с такой размашистой силой, словно стремился не просто выиграть у отца, а вытолкнуть его из жизни. Это пародийно напоминало отцу то, что он часто читал в глазах у некоторых молодых физиков: когда же вы наконец сдохнете! Авторитет таких уче-

ных, как Георгий Андреевич, стоял поперек их завиральным идеям.

Сын опять загнал отца, но вдруг споткнулся, наступив на шнурок незавязанного кеда, и чуть не упал, однако, ловко сбалансировав, устоял на ногах.

— Завяжи шнурки, иначе не играю! — грозно крикнул ему отец. Он боялся, что сын опасно шлепнется на землю.

Сын занялся своими шнурками, а отец в это время старался отдышаться. Иначе от переутомления он сам мог грохнуть-ся. Чтобы уберечь сына от падения, он остановил его, но именно потому и сам не рухнул, загнанный одышкой.

Через минуту игра продолжилась, и сын окончательно загнал отца, однако отец выиграл, на два очка опередив сына.

— Ну что, сынок, старый конь борозды не портит? — спросил он, обнимая его и целуя.

— Случайный выигрыш, — сказал сын и, не удержавшись, всхлипнул. Он уворачивался от отцовских поцелуев и одновременно прижимался к нему как к отцу, ища у него утешений. И отец вдруг почувствовал всем своим существом, что сын проникся к нему уважением.

— Ты играешь лучше меня, но у меня внимания больше, потому что меньше времени осталось, — сказал отец.

Он сразу же пожалел о своем сентиментальном объяснении. Как-то само сорвалось. Впрочем, сын навряд ли его понял.

— Завтра я выиграю всухую, — сказал сын с вызовом, приходя в себя.

— Посмотрим, — ответил отец, — но сегодня ты два часа считаешь.

— А что читать? — спросил сын.

— «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», — ответил отец, — начнем с этого. Ты ведь любишь юмор.

— Я эти фильмы двадцать раз смотрел по телевизору, — ответил сын.

— Это не фильмы, а книги прежде всего, — пояснил отец.

— Хорошо, — согласился сын, — но завтра я тебя разгромлю.

Это прозвучало как тайная угроза бойкота чтению.

Тут жена Георгия Андреевича позвала их обедать. Они сидели на кухне перед тарелками с пахучим, дымящимся борщом. Запах борща вдруг вызвал у Георгия Андреевича забытый аппетит. А может быть, воспоминание об аппетите.

— А наш отец еще ничего, — сказал сын матери с некоторым поощряющим удивлением, — но завтра я его расколошмачу.

После обеда сын послушно пошел читать в свою комнату. Георгий Андреевич чувствовал невероятную усталость. «Неужто вот так я его каждый день буду вынужден заставлять читать? — подумал он о предстоящем долгом лете. — Впрочем, — успокоил он себя, — будем считать, что это одновременно и борьба со старостью. Надо и завтра у него выиграть».

мальчик и война

Мальчик был уже в постели, когда друг отца вместе со своим взрослым сыном пришли к ним в гости. Звали его дядя Аслан, а сына звали Валико.

Это были гости из Абхазии. Мальчик три года подряд вместе с отцом и матерью отдыхал в Гаграх. Они жили у дяди Аслана. И это были самые счастливые месяцы его жизни. Такое теплое солнце, такое теплое море и такие теплые люди. Они там жили в таком же большом доме, как здесь в Москве. Но в отличие от Москвы там люди жили совсем по-другому. Все соседи — абхазцы, грузины, русские, армяне — ходили друг к другу в гости, вместе пили вино и вместе отмечали всякие праздники.

Если кто-нибудь варил варенье, или пек торт, или готовил еще что-нибудь вкусное, он обязательно угощал соседей. Так у них было принято. В доме все друг друга знали, а на крыше была устроена особая площадка, каких не бывает в московских домах, где соседи собирались на праздничные вечера.

И вот сейчас в Абхазии идет страшная война и люди друг друга убивают. Чего они не поделили, мальчик никак не мог понять. Сейчас возбужденные голоса родителей и гостей раздавались из кухни.

— Ты, кажется, воевал? — спросил отец мальчика у Валико. Валико было лет двадцать пять, он был лихим таксистом.

— Да, — охотно согласился Валико. — Вот что со мной случилось. Когда мы ворвались в Гагры, я взял в плен двух грузинских гвардейцев. Отобрал оружие, веду на базу. А со мной рядом казак. Я вижу — эти гвардейцы сильно приуныли. Я им говорю:

— Ребята, с вами ничего не будет, вы пленные.

И вдруг один из них нагибается и вырывает из голенища сапога гранату. Я не успел опомниться, а автоматы у нас за плечами. Видно, отчаянный парень был, вроде меня. Одним словом, кидает гранату в меня, и они бегут. Граната ударила мне в грудь и отскочила. Слава Богу, на таком близком расстоянии она не взрывается сразу. Ей надо шесть секунд. Я прыгнул на казака, и мы вместе повалились на землю. Взрыв, но нам повезло. Осколки в нас не попали. Мне чуть-чуть царапнуло ногу. Вскакиваю и бегу за этими гвардейцами. Они, конечно, далеко убежать не успели. Забежал за угол, куда они повернули, и достал обоих автоматной очередью. Иду в их сторону и думаю, как это нам повезло, что гранатой нас не шарахнуло.

И вдруг вижу: двое — старик и молодой парень — выходят из дому, как раз в том месте, где лежат убитые гвардейцы. А на спине у них вот такие тюки. Перешагивают через мертвых гвардейцев и идут дальше. Я сразу понял, что это мародеры. Мы берем город, значит, наши мародеры.

— Бросьте тюки! — кричу им по-абхазски.

Молчат. Идут дальше.

— Бросьте тюки, а то стрелять буду! — кричу им еще раз.

Молодой оборачивается в мою сторону. А тюк за его спиной больше, чем он сам.

— Занимайся своим делом, — говорит он, и они идут дальше.

Я психанул. Мы здесь умираем, а они барахло собирают. Скинул свой автомат и дал им по ногам очередь. В старика не попал, а молодой упал. Я даже не стал к ним подходить. Надо было в бой идти. Одним словом, Гагры мы отбили.

Проходит дней пятнадцать. Я вообще забыл про этот случай. Живу в гостинице. Все наши бойцы жили в гостинице. В тот день мы отдыхали. Вдруг вбегает ко мне сосед с нижнего этажа и говорит:

— Приехали за тобой вооруженные ребята. Все с автоматами. Духовитый вид у них. Может, помощь нужна?

— Не надо, — говорю, — никакой помощи.

Я вспомнил того, молодого, которого я в ногу ранил. Что делать? А на мне вот эта же тужурка была, что сейчас. Взял в оба кармана по гранате и выхожу. Руки в карманах. Гранат не видно. Готов ко всему.

Вижу — метрах в двадцати от гостиницы стоит машина. А здесь, у гостиницы, четыре человека. Все с автоматами.

Я подхожу к ним не вынимая рук из карманов.

— Что надо?

— Ты стрелял в нашего брата? Вот он здесь в машине сидит.

— Да, стрелял, — говорю и рассказываю все, как было.

Рассказываю, как нас чуть не взорвали гвардейцы и как их брат вместе со стариком тюки тащил из дома. Рассказываю,

а сам внимательно слежу за ними. Чуть кто за автомат, взорву всех и сам взорвусь.

И они немного растерялись. Никак не могут понять, почему я, невооруженный, не боюсь их. Стою, руки в карманах, а они с автоматами за плечами. И тогда старший из них говорит, кивая на машину:

— Подойдем туда. Можешь при нем повторить все, что ты здесь сказал?

— Конечно, — говорю, — пошли.

Я иду рядом с ним, но руки держу в карманах. Подошли к машине. Тот, кого я ранил в ногу, сидит в ней. Я его узнал. И я повторяю все, как было, а этот в машине морщится от злости и стыда. Окна в машине открыты.

— Правду он сказал? — спрашивает тот, что привел.

— Да, — соглашается тот, что в машине, и ругает в Бога, в душу мать своих родственников за то, что они его привезли сюда.

А у меня руки все еще в карманах.

— Что это у тебя в карманах? — наконец спрашивает тот, что привел меня к машине. Уже догадывается о чем-то, слишком близко стоит.

— Гранаты, — говорю, — не деньги же. Я воюю, а не граблю.

— Ты настоящий мужик, — говорит он, — мы к тебе больше ничего не имеем.

— Я к вам тоже ничего не имею, — отвечаю ему и иду вместе с ним назад, но руки все-таки держу в карманах.

Так мы и разошлись. Война. Бывают ужасные жестокости с обеих сторон. Но я, клянусь мамой, ни разу не выстрелил в безоружного человека. Эти двое не в счет. Я же психанул. Гранатой шарахнули в двух шагах.

— А почему ты не с автоматом вышел, а с гранатами? — спросил отец мальчика.

— Если бы я вышел с автоматом, — ответил Валико, — получилась бы бойня. А так они растерялись, не поняли, почему я их не боюсь. Я правильно рассчитал. Я был готов взорваться вместе с ними. И потому твердо и спокойно себя держал. Если бы они почувствовали мой мандраж, кто-нибудь скинул бы автомат. А так они растерялись, а потом было уже поздно.

— Ладно тебе хвастаться, — перебил его отец, — счастливая случайность тебя спасла и от гранаты гвардейца, и от родственников этого раненого. По теории вероятности, если два раза подряд повезло, очень мало шансов, что повезет в третий раз... Учти!.. А ты знаешь, что доктора Георгия убили?

Он явно обратился к отцу мальчика. У мальчика екнуло сердце. Он так хорошо помнил доктора Георгия. Тот жил в доме друга отца. После работы он выходил во двор и играл с соседями в нарды. Вокруг всегда толпились мужчины. Доктор Георгий громко шутил, и все покатывались от хохота.

Однажды доктор Георгий рассказал:

— Сегодня еду из больницы в автобусе. Вдруг одна пассажирка кричит: «Доктор Георгий, вас грабят!» Тут я почувствовал, что парень, стоявший рядом со мной, шарит у меня

в кармане. Я поймал его руку и говорю: «Это не грабеж, это медицинское обследование». Автобус хохочет. Многие меня знают. Парень покраснел, как перец. Тут как раз остановка, и я разжал его руку. Он выпрыгнул из автобуса. Если вор способен краснеть, он еще может стать человеком.

— За что его убили? — спросил отец мальчика.

— Кто его знает, — ответил дядя Аслан. — Но он громко ругал и грузинских, и абхазских националистов. Я о случившемся узнал от нашей соседки. Тогда еще шли бои за Гагры, я места себе не находил, потому что не знал, мой сын жив или нет.

Двое вооруженных автоматами людей ночью вошли в наш дом и постучали в двери соседки. Она открыла.

— Нам нужен доктор Георгий, — сказали они, — он в вашем доме живет. Покажите его квартиру.

— Зачем вам доктор Георгий? — спросила она.

— У нас товарищ тяжело заболел, — сказал один из них, — нам нужен доктор Георгий.

— Зачем вам доктор Георгий? — ответила соседка. — У меня только что умер муж. Он был болен и не выдержал всего этого ужаса. От него осталось много всяких лекарств. Я вам их дам.

Ей сразу не понравились эти двое с автоматами.

— Нам не нужны ваши лекарства, — начиная раздражаться, угрожающим голосом сказал один из них, — нам нужен доктор Георгий. Он должен помочь нашему товарищу.

С каким-то плохим предчувствием, так она потом рассказывала, она поднялась на два этажа и показала на квартиру

доктора. Сказать, что она не знает, где он живет, было бы слишком неправдоподобно для нашей кавказской жизни.

Показав им на квартиру доктора Георгия, она остановилась на лестнице, чтобы посмотреть, что они будут делать. Но тут один из них жестко приказал ей:

— Идите к себе. Больше вы нам не нужны.

И она пошла к себе. Ночь. В городе еще идут бои. Одинокая женщина. Испугалась. Через полчаса она услышала, что внизу завели машину, раздался шум мотора и стих. Она решила, что это, скорее всего, они увезли доктора. Доктор с самого начала войны успел отправить семью в Краснодар. Он оставался жить с тещей.

Соседка снова поднялась на этаж, где жил доктор, чтобы у тещи узнать, куда они отвезли его и как с ним обращались. Стучит, стучит в дверь, но никто ей не отвечает. Думает, может, испугалась, затаилась. Громко кричит: «Тамара! Тамара!» — чтобы та узнала ее голос. Но не было никакого ответа. И тут она поняла, что дело плохо. Эти двое с автоматами увезли доктора вместе с тещей. Если доктор им нужен был для больного, зачем им была нужна его теща, которая к медицине не имела никакого отношения? Она вернулась в свою квартиру.

На следующий день обо всем мне рассказала. А что я мог сделать? Спросить не у кого. Да и сам места себе не нахожу: не знаю, жив ли сын.

Но вот проходит дней пятнадцать. Бои вокруг Гагр затихли. Однажды стою возле дома и вижу — по улице едет знакомый капитан милиции. Увидев меня, остановил машину.

— Ты можешь признать доктора Георгия? — спрашивает, приоткрыв дверцу.

— Конечно, — говорю, — он же в нашем доме жил. А что с ним?

— Кажется, его убили, — отвечает капитан, — если это он. Поехали со мной. Скажешь, он это или не он.

Мы поехали на окраину города в парк. Там возле пригорка стоял экскаватор, а за пригорком валялись два трупа. Это был доктор Георгий и его теща. По их лицам уже ползали черви. Я узнал доктора по его старым туфлям со сбитыми каблучками.

— Это доктор Георгий и его теща, — сказал я. Экскаваторщик уже вырыл яму.

— А почему не на кладбище похоронить? — спросил я.

— Столько трупов, мы с этим не справимся, — ответил капитан.

Он приказал экскаваторщику перенести ковшом трупы в яму.

— Не буду я переносить трупы, — заупрямился экскаваторщик, — у меня ковш провоняет.

Капитан стал ругаться с экскаваторщиком, угрожая ему арестом, но тот явно не хотел подчиняться. В городе бардак. Видно, капитан поймал какого-то случайного экскаваторщика.

Тут я подошел к экскаваторщику, вынул все деньги, которые у меня были, и молча сунул ему в карман. Там было около пятнадцати тысяч. Экскаваторщик молча включил мотор, перенес ковшом оба трупа в яму и завалил их землей.

Мальчик, затаив дыхание, слушал рассказ, доносящийся из кухни. Он никак не мог понять смысла этой подлой жестокости. Он пытался представить, что думал доктор Георгий, когда его вместе с тещей посадили в машину и повезли на окраину города. Ведь он, когда его вывезли из дому вместе с тещей, не мог не догадаться, что его везут не к больному. Почему он не кричал? Может, боялся, что выскочат соседи и тогда и их ждет смерть?

В сознании мальчика внезапно рухнуло представление о разумности мира взрослых. Он так ясно слышал громкий смех доктора Георгия. И вот теперь его убили взрослые люди. Если бы они при этом ограбили дом доктора, это хотя бы что-то объясняло. Мародеры. Но они, судя по рассказу друга отца, ничего не взяли и больше в этот дом не заходили.

Мальчик был начитан для своих двенадцати лет. Из книг, которые он читал, получалось, что человек с древнейших времен становится все разумнее и разумнее. Он читал книжку о первобытных людях и понимал, что там взрослые наивны и просты, как дети. И это было смешно. И ему казалось, что люди с веками становятся все разумнее и добрее. И теперь он вдруг в этом разуверился.

Уже гости ушли, родители легли спать, а он все думал и думал. Зачем становиться взрослым, зачем жить, думал он, если человек не делается добрее? Бессмысленно. Он мучительно искал доказательств того, что человек делается добрее. Но не находил. Впрочем, поздно ночью он додумался до одной зацепки и уснул.

Утром отец должен был повести его к зубному врачу. Мальчик был очень грустным и задумчивым. Отец решил, что он боится предстоящей встречи с врачом.

— Не бойся, сынок, — сказал он ему, — если будут вырывать зуб, тебе сделают болеутоляющий укол.

— Я не об этом думаю, — ответил мальчик.

— А о чем? — спросил отец, глядя на любимое лицо сына, кажется, осунувшееся за ночь.

— Я думаю о том, — сказал мальчик, — добреет человек или не добреет? Вообще?

— В каком смысле? — спросил отец, тревожно почувствовав, что мальчик уходит в какие-то глубины существования и от этого ему плохо. Теперь он заметил, что лицо сына не только осунулось, но в его больших темных глазах затаилась какая-то космическая грусть. Отцу захотелось поцелуем прикоснуться к его глазам, оживить их. Но он сдержался, зная, что мальчик не любит сантименты.

— Сейчас людоедов много? — неожиданно спросил мальчик, напряженно о чем-то думая.

— Есть кое-какие африканские племена да еще кое-какие островитяне, — ответил отец, — а зачем тебе это?

— А раньше людоедов было больше? — спросил мальчик строго.

— Да, конечно, — ответил отец, хотя никогда не задумывался над этим.

— А были такие далекие-предалекие времена, когда все люди были людоедами? — спросил мальчик очень серьезно.

— По-моему, — ответил отец, — науке об этом ничего не известно.

Мальчик опять сильно задумался.

— Я бы хотел, чтобы все люди когда-то в далекие-предалекие времена были людоедами, — сказал мальчик.

— Почему? — удивленно спросил отец.

— Тогда бы означало, что люди постепенно добреют, — ответил мальчик. — Ведь сейчас неизвестно, люди постепенно добреют или нет. Как-то противно жить, если не знать, что люди постепенно добреют.

«Боже, Боже, — подумал отец, — как ему трудно будет жить». Он почувствовал всю глубину мальчишеского пессимизма.

— Все-таки люди постепенно добреют, — ответил отец, — но единственное доказательство этому — культура. Древняя культура имеет своих великих писателей, а новая — своих. Вот когда ты прочитаешь древних писателей и сравнишь их, скажем, со Львом Толстым, то поймешь, что он умел любить и жалеть людей больше древних писателей. И он далеко не один такой. И это означает, что люди все-таки, хотя и очень медленно, делаются добрей. Ты читал Льва Толстого?

— Да, — сказал мальчик, — я читал «Хаджи-Мурата».

— Тебе понравилось? — спросил отец.

— Очень, — ответил мальчик, — мне его так жалко, так жалко. Он и Шамилю не мог служить, и русским. Потому его и убили... Как дядю Георгия.

— Откуда ты знаешь, что доктора Георгия убили? — настоятельно спросил отец.

— Вчера я лежал, но слышал из кухни ваши голоса, — сказал мальчик.

Отцу стало нехорошо. Он был простой инженер, а среди школьников, с которыми учился его сын, появилось немало богатых мальчиков, и сын им завидовал.

Взять хотя бы эту дурацкую историю с «мерседесом». На даче сын его растрепался своим друзьям, что у них есть «мерседес». Но у них вообще не было никакой машины. А потом мальчишки, которым он хвастался «мерседесом», оказываются, увидели его родителей, которые ехали в гости со своими друзьями на их «Жигулях». И они стали смеяться над ним. И он выдумал дурацкую историю, что папин шофер заболел и родители вынуждены были воспользоваться «Жигулями» друзей.

Объяснить сыну, что богатство не самое главное в жизни, что в жизни есть гораздо более высокие ценности, было куда легче, чем сейчас. Сейчас сын неожиданно коснулся, может быть, самого трагического вопроса судьбы человечества: существует нравственное развитие или нет?

Он знал, что мальчик его умен, но не думал, что его могут волновать столь сложные проблемы. Хорошо было людям девятнадцатого века, неожиданно позавидовал он им. Как тогда наивно верили в прогресс! Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны, значит, светлое будущее человечества обеспечено! Но почему? Даже если человек и

произошел от обезьяны, что сомнительно, так это доказывает способность к прогрессу обезьян, а не человека. Конечно, думал он, нравственный прогресс, хоть и с провалами в звериную жестокость, существует. Но это дело тысячелетий. И надо примириться с этим и понять свою жизнь как разумное звено в тысячелетней цепи. Но как это объяснить сыну?

Когда они вышли из подъезда, он увидел, что прямо напротив их дома в переулке стоит нищая старушка и кормит бродячих собак. Он ее часто тут видел, хотя она явно жила не здесь. Нищая хромая старушка на костылях кормила бродячих собак. Она вынимала из кошелки куриные косточки, куски хлеба, огрызки колбасы и кидала их собакам.

У него не было никаких сомнений, что старушка все это находит в мусорных ящиках. Она с раздумчивой соразмерностью, чтобы не обделить какую-нибудь собаку, кидала им объедки. И собаки, помахивая хвостами, с терпеливой покорностью дожидались своего куска. И ни одна из них не кидалась к чужой подачке. Казалось, что старушка, справедливо распределяя между собаками свои приношения, самих собак приучила к справедливости.

— Вот посмотри на эту старушку, — кивнул он сыну, — она великий человек.

— Почему, почему, па? — быстро спросил сын. — Потому что она кормит бродячих собак?

— Да, — сказал отец, — ты видишь, она инвалид. Скорее всего, одинокая и бедная, но считает своим долгом кормить

этих несчастных собак. Где-то мерзавцы убивают невинных людей, а тут нищая старушка кормит нищих собак. Добро неистребимо, и оно сильнее зла.

Теперь представь себе злого человека, который всю свою жизнь травил бродячих собак. Но вот он сам впал в нищету, стал инвалидом и роется в мусорных ящиках, чтобы добывать объедки и, сунув в них яд, продолжать травить бродячих собак. Если бы это было возможно, мы могли бы сказать, что добро и зло равны по силе. Но можешь ли ты представить, что злой человек в нищете, в инвалидности роется в мусорных ящиках, чтобы травить собак? Можешь ты это представить?

— Нет, — сказал мальчик, подумав, — он уже не сможет думать о собаках, он будет думать о самом себе.

— Значит, что? — спросил отец с жаром, которого он сам не ожидал от себя.

— Значит, добро сильней, — ответил мальчик, оглянувшись на увечную старушку и собак, которые со сдержанной радостью, виляя хвостами, ждали подачки.

— Да! — воскликнул отец с благодарностью в голосе.

И сын это мгновенно уловил.

— Тогда купи мне жвачку, — вдруг попросил сын как бы в награду за примирение с этим миром.

— Идет, — сказал отец.

веселый убийца

Я работал в комиссии по помилованию. Среди прочих безумных дел там было и такое.

Одной женщине вконец надоели пьянки мужа, скандалы, погромы, побои, которые он учинял в пьяном виде. После этих пьянок он на несколько дней становился тихим и послушным, как ягненок, и быстро приводил в порядок свой разгромленный дом. У него были золотые руки. Но через неделю все повторялось. И это ей надоело, и она решила, что мужа надо убить.

Сама она по каким-то причинам не могла пойти на такое и наняла сравнительно молодого соседа, чтобы он убил ее мужа. Тот охотно согласился, и они быстро обо всем договорились. Она обещала заплатить за убийство четыреста рублей. Нешуточные деньги. По тем временам это была трехмесячная зарплата среднего служащего.

И вот сосед приходит к ним в гости. Видимо, они были хорошо знакомы, потому что муж этой женщины не удивился его приходу. Хозяйка выставила достаточно обильную закуску и выпивку. Она как бы устроила поминки по мужу с его участием. И муж был очень доволен ее щедростью. И вот сидят они с этим сравнительно молодым человеком и весело выпивают.

Муж весел, а сосед еще веселее. Через некоторое время, воспользовавшись моментом, когда эта женщина вышла

в другую комнату, сосед подкатил к ней и сообщил, что он уже вполне готов убить ее мужа. Но она ему осторожно отвечала, что еще рано, что муж ее еще недостаточно пьян.

Видимо, этот сосед еще никогда никого не убивал, и ему было очень интересно посмотреть, как это происходит. А может быть, он спешил получить деньги. Теперь это уже нельзя установить. Так или иначе, этот сосед проявлял редкую услужливость. Он несколько раз поспешал в другую комнату, когда жена пьяницы туда выходила, и торопил хозяйку дать разрешение на убийство.

Однако хозяйка дома оказалась довольно степенной разумницей и говорила, что надо еще подождать, что муж ее еще недостаточно пьян. Возможно, она даже жалела мужа и считала, что операция должна пройти под хорошим наркозом. Кто его знает?

И кто его знает, почему так спешил молодой сосед. Может, он намеревался в этот вечер пойти в кино с любимой девушкой. Мы ничего не знаем об этом. Мы только знаем, что он был весел и спешил.

Наконец муж этой женщины опьянел настолько, что она его уложила в постель. После этого она еще несколько раз останавливала молодого человека, рвущегося в комнату, где лежал ее муж. Она его отталкивала от дверей. Она его уговаривала, что надо подождать, что муж ее еще не уснул.

Муж ее в самом деле, вопреки свойству нормального пьяницы мгновенно засыпать, добравшись до кровати, а иногда и не добравшись, достаточно долго не засыпал.

Возможно, он что-то заподозрил. Возможно, он даже приревновал жену к этому молодому человеку с его беготней в другую комнату. Вероятно, он ждал, что они будут делать, когда он уснет. Вероятно, он притворился спящим, но забыл, что при этом надо храпеть. Жена точно знала, что он, как только засыпает, начинает храпеть. Но и его можно понять. Человек так устроен, что слышит все, кроме собственного храпа. Тем более что он был пьян. Поэтому жена, входя в комнату, легко угадывала, что он еще не уснул.

— Еще не храпит, — в очередной раз сообщила она молодому человеку. И тот не выдержал.

— Не храпит, так захрипит! — воскликнул молодой человек, по-видимому, не лишенный филологических склонностей, и, ворвавшись в комнату, зарезал ее мужа. После этого они уволокли его труп в подвал и там закопали его. Однако через несколько дней степенная разумница поссорилась с молодым человеком. И она какую-то часть денег недоплатила ему. Она обвинила его в том, что, пользуясь суматохой с убийством, он спер ее кухонный нож, с тем чтобы, выкинув свой, обгаренный убийством, в дальнейшей жизни пользоваться ее невинным ножом.

И между ними возник конфликт. Молодой человек был обижен на эту женщину. И видимо, вследствие своей горячности где-то проговорился, что она, вероломно нарушив договор, недодала ему положенные деньги. Не исключено, что при этом он был достаточно осторожен и не уточнял, за что именно бедная вдова платила ему.

Но слухи об этой жалобе дошли до милиции. И она обратила внимание на то, что муж этой женщины сначала как-то притих, а потом совсем исчез, а молодой сосед требует от вдовы какие-то деньги.

Их обоих арестовали. Сделали обыск и под кроватью покойного мужа нашли кухонный нож. Но тщательный анализ как лезвия, так и ручки ножа показал, что муж убит не этим ножом. Однако наличие его под кроватью подтверждает нашу догадку о том, почему так долго не засыпал муж. Возможно, он был убит в тот миг засыпания, когда рука с ножом разжалась, но до храпа еще не дошло.

Обоих допрашивали, и они в конце концов во всем признались. Вернее, молодой человек, откуда-то узнав, что под кроватью мужа нашли кухонный нож, пытался утверждать, что он убил мужа этой женщины в порядке самообороны. Но следователь милиции метко заметил ему, что договор с женой убитого приходит в явное противоречие с самообороной.

И тогда после некоторых раздумий он стыдливо признался, что у него был вариант обмануть эту женщину и, не убивая мужа, ограничиться выпивкой на дармовщину. Но муж ее, долго не засыпая, привел его в ярость, и он позабыл о своем запасном варианте. Тем более что сам был пьян.

Степенная разумница на суде утверждала, что она в последний момент покаялась в своем замысле и пожалела своего мужа. И что она несколько раз пыталась остановить молодого человека, но тот оказался чересчур нахальным, и она уже не могла, учитывая ее преклонный возраст, его остановить.

Единственное, что она могла сделать, — это продлить жизнь мужа на несколько часов. И она это сделала. По этому поводу она просила суд смягчить ее участь.

Письмо молодого человека с просьбой снизить суровый срок наказания пришло к нам в комиссию вместе с материалами судебного дела. Письмо было сентиментальным и глупым. Комиссия оставила в силе решение суда.

Находясь в комиссии по помилованию, я удивился одному обстоятельству, о котором не подозревал: оказывается, самое страшное оружие в России — это кухонный нож. Большинство убийств у нас происходит на кухне при помощи кухонного ножа.

Не знаешь, чему больше удивляться — низкому уровню человеческих отношений или высокому качеству кухонных ножей. Можно подумать, что российские власти уделяют особое внимание качеству кухонных ножей. Или это грозный, прощальный отблеск былых рекордов по выплавке чугуна и стали?

Муж убивает жену кухонным ножом. Нередко и жена убивает мужа кухонным ножом. Дружки во время пьянки затевают дискуссию о смысле жизни, и тот, кто раньше успел исчерпать свои аргументы, хватается кухонный нож и убивает своего более основательного собутыльника. Таков наш естественный отбор. И видно по материалам дела, что за пять минут до трагического исхода никто никого не собирался убивать.

Так что наш молодой человек в известной мере, можно даже сказать, теоретик. Правда, замысел убийства ему был под-

сказан, но он целых две недели держал его в голове, обкатывал и даже придумал парадоксальный вариант. Я почему-то уверен, что у него и в самом деле был вариант выпить на дармовщину и уйти под каким-нибудь предлогом. Но соблазн и любопытство оказались сильнее.

Кстати, страсть к зачатию и страсть к убийству философски связаны. У некоторых насекомых, далеко не столь степенных, как наша разумница, говорят, они сочетаются. К тому же обе эти страсти возгораются от выпивки. Так что окажись наша разумница помоложе и помиловиднее, мог бы осуществиться третий вариант. Но в таком случае мог сработать и тот самый кухонный нож. Так что, куда ни кинь — везде клин.

В мировой литературе немало великих и страшных книг о том, что происходило в голове убийцы. Но самая страшная книга еще не написана. Это книга о том, что в голове убийцы ничего не происходило. Таковую книгу трудно написать, но стоило бы.

ЗОЛОТО ВИЛЬГЕЛЬМА

Это случилось в брежневскую эпоху. Сравнительно молодой историк Заур Чегемба (сравнительно с кем?) в сравнительно веселом настроении (сравнительно с чем?) влез в пригородный поезд, мчавшийся в Москву. Субботу и воскресенье он провел на даче своего друга. Там он хорошо порабо-

тал и отдохнул и теперь к вечеру возвращался в Москву. День выдался необычайно жарким, и, хотя вечерело, жара не спадала.

Вагон электрички, в который он влез, был переполнен, и духота в нем стояла неимоверная. Не только все места были заняты, но и все проходы были забиты. Но как раз когда он входил в вагон, один из пассажиров, стоявший у приоткрытого окна слева от входа, стал протискиваться к выходу, и Заур, несколько стыдясь вороватости своего намерения, протиснулся навстречу и встал на его место рядом с женщиной с тихими, усталыми глазами.

Поезд с грохотом рванулся дальше, стоявшие в проходах пошатнулись, но все цепко удержались на ногах. Заур тоже употребил немалые усилия, чтобы не притолкнуться к женщине, стоявшей рядом с ним.

Это был обычный летний воскресный вагон электрички. Все москвичи, которым было куда выехать из душного города, теперь возвращались домой. В вагоне было много пьяных, достаточно крикливо настроенных, были и такие, которые запаслись бутылками для опохмеля и сейчас мирно и даже благостно попивали из горла: после водочной пахоты — винный отдых. Еще больше было похмельных мужиков, которым было нечем опохмелиться и потому исполненных раздражения и ненависти ко всем остальным пассажирам.

При всем при этом среди пассажиров было немало женщин, прижимавших к груди детей или букеты с полевыми цветами. Многие читали книги. Среди них были и такие, ко-

торые, покачиваясь по ходу поезда, стоя в проходах, упорно продолжали читать.

Среди читавших явное большинство составляли женщины. Глядя на все это и как бы мысленно охватывая всю эпоху, Заур подумал: мужчины дичают быстрее. Гнет исторического бездействия в основном ложится на мужчин, думал Заур, потому они так много пьют, чтобы забыться, чем еще больше усугубляют свою общественную анемичность.

В дальнем конце вагона какая-то молодежная компания, явно под градусом, пела песни о скитаниях по тайге, о долгих зимах, о людях, оторванных судьбой от семьи и Большой земли.

Можно было подумать, что это фольклор, созданный заключенными, но на самом деле эти песни, за редким исключением, сочиняли вполне интеллигентные геологи, мореплаватели и вообще люди скитальческих профессий.

*От злой тоски не матерись,
Сегодня ты без спирта пьян.
На материк, на материк
Ушел последний караван.*

Пели ребята, скорее всего не подозревая, что эту песню создал известный океанограф и поэт. Заур случайно был с ним знаком. Этот океанограф, избородивший все океаны Севера и Юга, однажды на севере в ресторане услышал спую песню, которую пели рядом с ним за столиком. Он не удержался

и признался поющим, что это его песня. В ответ он не только не услышал благодарности, но его чуть не зарезали.

— А ты сидел? — спросил у него один из певших.

— Нет, — искренно признался он, но лучше бы не признавался.

Последовал буйный взрыв негодования, а один из них все рвался расправиться с ним. Его едва удержали.

— Это наша песня! — кричал он. — Тех, что получали срока! Может, автор ее гниет под Магаданом, а ты, падла, присвоил его песню.

В сущности говоря, это был комплимент, который чуть не стоил ему жизни. Песня действительно прекрасна. Вообще, давно замечено, что в России интеллигенция и народ охотно поют фольклор заключенных и песни, написанные в духе этого фольклора.

Тюремная тоска в условиях тоталитарного режима понятна и близка всем. Она близка даже тем, кто сам поддерживает этот режим. По-видимому, во время звучания этих песен они тоже чувствуют себя жертвами исторических обстоятельств.

Поезд грохотал в сторону Москвы, и машинист, словно сам был пьян, резко тормозил на станциях и резко набирал скорость. Хотя некоторые окна были открыты (остальные невозможно было открыть), духота в вагоне принимала взрывоопасный характер. И эта взрывоопасность исходила в основном не от пьяных, а от похмельных, которым нечем было опохмелиться. Видимо, они пили в субботу, пили в воскресенье

с утра и теперь, трезвея, были исполнены тихой ярости. Сжатые сосуды жаждали расшириться, хотя бы за счет мускульного напряжения.

Через какое-то время Заур вдруг обратил внимание на то, что некий человек, стоявший в нескольких шагах от него в проходе, уставился на него ненавидящими глазами. На вид ему было лет тридцать пять, он был высок, в аккуратном сером пиджаке и почему-то, несмотря на жару, в мягкой шляпе.

Судя по лицу, он был простым рабочим. Но шляпа его несколько возвышала над представлением о простом рабочем. Может быть, он был бригадиром или начальником цеха. Высокий, он смотрел поверх людских голов, как поверх станков. Но теперь он уставился на Заура, как бы обнаружив в этом станке злокачественную неисправность.

Он тоже был в состоянии похмельного раздражения, но почему он избрал своей мишенью Заура, было непонятно. То ли по чертам лица Заура было видно, что он кавказец, то ли потому, что он в руке держал кейс, и это выдавало в нем интеллигента. В те времена люди неинтеллигентных профессий такие чемоданчики не носили. Скорее всего, и то и другое удваивало его злобу.

После одной особенно резкой остановки, когда стоявшие в проходах сильно покачнулись, а кое-кто, вскрикивая, даже свалился, Заур так шатнулся в сторону женщины, что чуть не коснулся ее, однако же, изо всех сил спружинив ногами, все-таки не коснулся. И тут человек в шляпе дал выход своей ярости.

— Что ты навалился на женщину, паскуда, — крикнул он, побелев глазами, — не видишь, что женщина беременна?!

— Я ни на кого не навалился, — ответил Заур, — нечего кричать.

Заур посмотрел на женщину. Если она и была беременна, это было незаметно. Лицо женщины выражало стыд и страдание. Она умоляюще посмотрела на человека в шляпе.

— Уймись, Паша, — тихо сказала она, — на меня никто не наваливался.

— Я же видел своими глазами, что навалился, — крикнул человек в шляпе, — ...их мать, понаехали сюда!

— Паша, — страдальчески вырвалось у женщины.

У Заура все внутри похолодело. Матерную ругань в свой адрес он никогда не мог выдержать. Но и ответить ему тем же, здесь, в присутствии женщин, он не мог.

— Попридержи язык, здесь женщины, — только и сказал Заур.

— Я тебе попридержу язык, чучмек, только сойдем с поезда, — прохрипел человек в шляпе и снова матерно выругался.

— Паша, перестань, — опять тихо взмолилась женщина.

Заур огляделся. Некоторые пассажиры с откровенным любопытством следили, что будет дальше. Те, что читали, в основном сделали вид, что так увлечены текстом, что ничего не замечают. «Читать, — с горечью подумал Заур, — это способ заглядывать в случившуюся жизнь, чтобы замаскироваться книгой от окружающей жизни. Читающий книгу во

время преступления как бы юридически находился в другой жизни».

А некоторые из пассажиров с комическим оцепенением уставились в одну точку, словно застигнутые необыкновенной мыслью, уносящей их в потусторонние сферы. Но они то как раз внимательнее всех прислушивались к развитию скандала: оцепенение лица выдавало сосредоточенность ушей.

Заур стоял ни жив ни мертв. Этот тип в шляпе явно хотел подражаться, но такое Заур никак не мог себе позволить. Дело в том, что в кейсе у него лежали необыкновенные документы, которые не позволяли ему рисковать. Это были подробные выписки из жандармских докладов. Ища совсем другие материалы, он случайно наткнулся на них в одном из московских архивов. Это были доклады о связи Ленина с вильгельмовским золотом. Слухи о деньгах Вильгельма в помощь большевистской революции ходили всегда. Но точно об этом ничего не было известно.

Заур верил, что это могло иметь место. И его удивляла ярость, с которой большевики всегда отрицали эти слухи. Казалось бы, по логике самой мировой революции, начатой в России, не должно было видеть в этом большую аморальность. То, что творилось во время революции и после революции в самой России, было в тысячу раз аморальнее. Но этого большевики не отрицали, считая все жестокости, царившие в стране, естественным следствием революционного правосознания. Но слухи о золоте Вильгельма в помощь револю-

ции всегда рассматривались как злобная клевета, и заикнуться об этом было нельзя.

И вдруг Заур наткнулся на документ, где перечислялись суммы выданных денег, конкретные немецкие чиновники, которые выдавали эти деньги, и конкретные революционеры, через которых деньги проникали в Россию. И даже прослеживалось несколько путей путешествия этих денег.

И как раз сейчас, находясь на даче друга, он писал об этом статью. Разумеется, он понимал, что ее никто сегодня не опубликует и было бы самоубийственно показывать ее в какой-нибудь журнал. Но он был уверен, что эра большевиков кончается и он еще застанет другую эпоху, где его статья пригодится, хотя и тогда не всем понравится.

Главная мысль статьи заключалась в том, что большевикам с самого начала было присуще имперское сознание, хотя сами они этого не понимали. И потому, отрицая патриотизм, согласно своей формальной доктрине, они с псевдопатриотическим неистовством всегда отрицали золото Вильгельма, хотя чудовищный свой террор легко оправдывали как историческую необходимость. И поэтому, по иронии истории, большевики, сокрушившие одряхлевшую империю, объективно были единственной силой, способной ее воссоздать. Империя для своего сохранения нуждалась в новой вывеске, чтобы оправдать новую энергию соединяющего гнета. И то и другое она получила от большевиков. И поэтому, отрицая золото Вильгельма, большевики, сами того не осознавая, проявляли имперское самолюбие, а не революционное.

И вот выписки из этих жандармских документов и черновик статьи лежали у него в кейсе. И он понимал, что никак не может рискнуть вляпаться в какую-нибудь историю, иначе кейс его попадет в милицию, а оттуда, конечно, в КГБ. И сейчас чувство оскорбленной чести и чувство самосохранения разрывали душу Заура. Но чувство самосохранения побеждало, и чем явнее оно побеждало, тем сильнее он ощущал свою униженность и презрение к себе.

Но этот тип в шляпе, конечно, по-своему понимал его сдержанность и всю дорогу его оскорблял, и люди, сидевшие и стоявшие вокруг, с подлым любопытствующим нейтралитетом прислушивались к нему. И только время от времени раздавался горестный голос женщины, стоявшей рядом с Зауром:

— Паша, отстань! Паша, прекрати! Замолчи, Паша!

Но голос его жены (конечно, эта женщина была его женой) его как будто подхлестывал. Он как бы говорил жене: «Ты видишь, ты видишь, как этот интеллигентишка отступает!»

О, если бы Заур был свободен! Он в юности занимался боксом и знал, что такое его удар справа! Но Заур изо всех сил сдерживался, хотя время от времени что-то ему отвечал. Но он все время помнил, что дело никак нельзя доводить до драки: кейс попадет в руки милиции! И тогда затаскают или посадят!

Если хотя бы не было черновики его статьи, исключавших всякое оправдание выписок из жандармских докладов!

А человек в шляпе продолжал его оскорблять. И вдруг откуда-то из середины вагона высунулся какой-то парень в голубой футболке, обтягивающей его мощные мускулы, и крикнул человеку в шляпе:

— Замолчи, падло, или я из тебя котлету сделаю!

Голос его благоуханным маслом омыл душу Заура.

— Я сам из тебя котлету сделаю, — крикнул в ответ человек в шляпе, — еще русский называется! Из-за таких мандавошек, как ты, они нам на голову сели!

— Ты сегодня так от меня не уйдешь! — крикнул парень и пригрозил ему кулачищем. У него было широкое разгоряченное лицо, и чувствовалось по глазам, что он еле-еле себя сдерживает.

— Иди, иди, целуйся с ним, пидор! — крикнул человек в шляпе.

В отличие от парня в футболке, явно горячившегося, человек в шляпе сохранял какую-то злобную невозмутимость. Никакой жестикуляции. Все это время он был неподвижен. Он сейчас и на этого парня смотрел как бы поверх станков.

— Паша, прекрати, — опять взмолилась женщина, стоявшая рядом с Зауром.

— А вот за это еще отдельно получишь! — крикнул парень в футболке и опять, сотрясаясь всем телом, пригрозил ему кулачищем.

— Это еще посмотрим, кто получит, — ответил человек в шляпе и покрепче надвинул ее на голову. Единственный жест.

Однако теперь он перестал обращать внимание на Заура. Поезд грохотал и грохотал в сторону Москвы под неугомонные песни молодежи в том конце вагона, где, конечно, не знали о том, что случилось здесь.

До Москвы оставалась еще одна остановка, и Заур немного успокоился, покрепче сжимая свой кейс. «Я тоже хорош, — думал он о себе с отвращением, — протиснулся к окну, хотя на это имели право те, кто раньше пошел в вагон. Вероятно, ничего бы не случилось, если бы я не стоял рядом с его женой. И как можно жить, считая себя порядочным человеком, после таких оскорблений», — уныло думал он. И все-таки временно с этим он был доволен, что кейс не попал в чужие руки. Кроме всего, и документ было жалко: такой редкий, такой неожиданный.

Наконец поезд подъехал к московскому вокзалу. Толпа со страшной силой еще до остановки поезда стала напирать в сторону выхода. Уже потеряв из виду обидчика, весь излупцованный пережитым, выжатый толпой, Заур оказался на перроне. И вдруг перед ним завихрилась новая толпа, из которой одни выбегали, а другие вбегали. И он, вспомнив все, ринулся в толпу.

Спортивный парень в голубой футболке дрался с человеком в шляпе. Это было жуткое по своей беспощадности зрелище. Парень в футболке несколько раз налетал на человека в шляпе, и смачный стук ударов звучал над толпой.

И более всего Заура поразила смертельная ненависть с обеих сторон. Казалось, оба всю жизнь жаждали увидеть

друг друга, чтобы убить друг друга. Ни тот ни другой ни сколько не заботились о защите и только стремились ударить поразмашистее. И еще более поразило Заура, что человек в шляпе ничуть не уступал этому молодому парню с мощными мускулами под футболкой.

Какие-то люди, мгновениями выскакивая из толпы, пытались их растащить, но они оба вырывались из рук и налетали друг на друга. И уже в ход пошли даже ноги.

Какая-то женщина внезапно выскочила из толпы и, пытаясь удержать парня в футболке, обеими руками спереди обняла его. Видно, она была близка ему, так обхватить чужого человека посторонняя женщина не решилась бы.

Человек в шляпе, подлейшим образом воспользовавшись этим, успел крепко врезать парню в футболке. Тот ринулся вперед, женщина отлетела, и парень в футболке нанес противнику два сокрушительных удара. Заур был уверен, что тот сейчас грохнется на перрон, но тот даже не пошатнулся, и, главное, шляпа почему-то держалась на его голове, как будто была прибита к ней гвоздем. Хотя человек в шляпе мощно размахивал руками, тело его оставалось прямым и неподвижным, а лицо хладнокровным. А парень в футболке был горяч, гибок, спортивен, но, вероятно, он не тем видом спорта занимался.

Заур заметил, как этот парень несколько раз терял драгоценные секунды на размашистые удары там, где нужно было бить коротким прямым в подбородок.

И как Заур ни болел за этого парня в футболке, который из-за него затеял драку, он вынужден был признать, что это

бой равных. И более всего в этой драке поражала сила ненависти противников друг к другу и совершенно необъяснимая устойчивость шляпы на голове этого оболтуса.

Внезапно раздались возгласы: «Милиция! Милиция!» — и трель милицейского свистка прорезала воздух. Толпа вместе с дерущимися мгновенно разорвалась на клочья. Заур пошел в сторону метро. Через несколько шагов он увидел двух милиционеров, бодро шагающих к месту драки, где драки уже не было. И вдруг в толпе впереди себя Заур увидел этого типа в шляпе, преспокойно идущего рядом со своей женой. Заур остановился и, когда тот затерялся в толпе, пошел дальше.

Спускаясь в метро, он неожиданно на лестнице заметил того парня в голубой футболке. Лицо его было все еще разгряченным, а глаза так и рыскали по проходящей толпе. Заур подошел к нему и поблагодарил его.

— Ладно, идите, идите! — вдруг сказал парень с оттенком раздражения. — Я жену потерял!

После этого, не говоря ни слова, он рванул вниз в метро, то ли ища жену, то ли пытаясь скрыться от милиции.

Слова парня совсем раздавили Заура. Он почувствовал новый приступ унижения и боли. И теперь унижение было горше, чем унижение от этого верзилы в шляпе. Оно было изощреннее и потому больней. В его словах Заур почувствовал оттенок брезгливости из-за того, что Заур сам не вступил в драку, в которую вынужден был вступить этот парень да еще в суматохе потерял жену. Вечно приходится защищать

вас, интеллигентов, как бы хотел он сказать. Проклятый кейс! Но разве объяснишь!

Заур был так раздосадован, что не захотел идти в метро, боясь снова там с ним встретиться. Он поднялся на площадь. Издали по очереди определив место стоянки такси, он подошел туда и в полутьме стал за последним человеком, все еще мучаясь унижительной встречей с этим парнем. И уже за ним заняли очередь, когда он, как в страшном сне, разглядел, что впереди него, как ни в чем не бывало, стоит тот мерзавец в своей непотопляемой шляпе. Никаких следов драки на его одежде не было видно.

И вдруг Заур почувствовал всю тупиковость возникшего положения: оставаться унижительно, и уходить унижительно. Заур смотрел ему в спину и поражался — ни малейшего смущения случившимся его фигура не выражала: процветающий, солидный мастеровой в шляпе, вместе с женой после воскресного отдыха возвращается в город. Обратите внимание, не в метро или троллейбусе, а в такси!

Заур минут пятнадцать стоял в медленно движущейся очереди, никак не решаясь, что ему делать: достоять очередь или все-таки идти в метро? И главное — оба решения казались ему трусливо-унижительными.

Стоять здесь за ним, а рано или поздно тот заметит его присутствие, как бы означало — ничего особенного не случилось. Только забавное совпадение: ехали в одном вагоне и, не сговариваясь, оказались в одной очереди. Бывает! Бывает! Мерзость!

А уходить как бы означало — навсегда оставить поле боя за ним. Когда они совсем приблизились к стоянке, Заур заметил расторопного и грозного распорядителя, который спрашивал у очереди, кому куда ехать, и, если находился попутчик уже сидевшему в такси, он его туда почти заталкивал, и машина уносилась. Зауру представилось, что он окажется попутчиком верзилы, и его распорядитель будет заталкивать в занятое ненавистной шляпой такси!

Такого он не мог вынести и поплелся в метро, чувствуя спиной, что покинул поле сражения, и все больше и больше ненавидя свой кейс. «И зачем я так испугался за него, — думал сейчас Заур. — При моем знании техники бокса, пять — десять секунд, поймал на удар, и он обязательно завалился бы, даже если бы шляпа и не слетела с него. Так и завалился бы? А где же был бы в это время мой кейс? Нет, — поправлял он себя, — если б я его свалил, толпа отдала бы меня в руки милиции, и там бы обязательно проверили мой кейс, если бы, конечно, он к этому времени сохранился. Куда ни кинь — везде клин».

Он спустился в метро. Толпа, прибывшая с пригородными электричками, схлынула, и перрон с той стороны, куда он ехал, был почти пуст. Какая-то очень стройная девушка в джинсах и черной рубашке с закатанными рукавами стояла метрах в десяти от Заура, а к ней приставал и приставал какой-то высокий парень и что-то ей говорил. Девушка очень дерзко отворачивалась от него, делала несколько шагов в сторону, но он не отставал от нее. «Что-то будет, — вдруг поду-

мал Заур. — И опять верзила! Слава Богу, хотя бы без шляпы и без всякого головного убора».

Наконец девушка, заметив Заура, точнее, обратив внимание на то, что он стоял с кейсом, демонстративно пошла в его сторону и встала рядом с ним: интеллигент защитит. Так это понял Заур и понял благодарно. Кроме стройной фигуры у нее были хорошие черты лица и волнующие, режущие холодной силой очень синие глаза. Парень опять подошел к ней и, наклоняясь к ее лицу, стал опять ей что-то шептать.

— Отстань, мерзавец! — громко сказала девушка и повернулась к Зауру, сладостно резанув его душу своими синими льдинками глаз.

И вдруг этот парень как-то странно, плечом, вроде поворачиваясь уходить, вроде случайно, но резкой и неожиданно толкнул ее, и девушка беспомощно забалансировала в воздухе, уже почти вся за перроном, еще мгновение — и рухнет в грохот налетающего поезда. Ее спасла почти от верной смерти молниеносная спортивная реакция Заура. Он выбросил руку вместе с плечом вперед, как при прямом ударе в боксе, поймал ее за волосы и водворил на перрон.

— Что ты делаешь, сволочь! — не своим голосом заорал Заур.

— Заткнись, сука, а то сейчас пришью на месте! — почти на ухо прошипел ему парень, обдав его смрадным дыханием.

Что-то взорвалось в груди у Заура! На сегодня это был невыносимый перебор!

Вместе с налетающим поездом на него налетела волна хладнокровия, как в юности перед дракой. Открылась дверь вагона. Девушка смотрела на Заура глазами спасенного зверька. Заур всучил ей свой кейс и почти втолкнул в вагон.

— Телефон есть? — крикнул он.

— Есть! — вздрогнула она, оживая, и назвала ему свой телефон.

— Я позвоню и приду за ним! — крикнул Заур.

Дверь захлопнулась. Девушка прильнула к стеклу, и поезд стал медленно набирать скорость, а потом загрохотал, и все стихло.

Дождавшись, когда телефон отпечатался в голове, Заур повернулся к этому парню. Давно он не чувствовал в себе такую полноту юношеских сил!

Это был высокий монголовидный парень. Лицо его источало презрение деревянного идола. Глаза были мутными. Возможно, он был под балдой. Заур никогда не встречал таких высоких людей этой расы. О, если б тот тип в шляпе увидел, как он будет колошматить этого парня! Да и тому в футболке не помешало бы!

— Идем, подонок! — твердо сказал Заур и взял его рукой за предплечье. Он с удовольствием почувствовал, что оно вялое.

— Брось руку! Ты что, мент?! — истерично крикнул парень и задергался.

— Спокойно, спокойно, — сказал Заур, еще сильнее облапив его руку и окончательно успокаиваясь, — ты ведь, подлец, чуть девушку не убил!

Он его уже вел из метро, и тот довольно послушно шел рядом.

— А ты докажи, что я толкнул, — завизжал парень. — А ты думаешь, я не знаю, что ты в чемоданчике чувихе передал?! Знаю! Все знаю!

— А что в нем? — спросил Заур дрогнувшим голосом. Он не мог скрыть волнения: почему парень заговорил о содержании кейса? Парень заметил его волнение.

— Что, мандраж? — усмехнулся он, продолжая вышагивать рядом с Зауром. — Наркота у тебя в чемоданчике. Вот что! Ты боялся, что, если мы подеремся, менты заберут твой чемоданчик, и ты получишь срок. Но ты его и так получишь. Чувиха свое дело знает — настучит.

И вдруг Заур почувствовал, что у него крыша поехала. «Гениальная провокация, чтобы тихо присвоить мой кейс! Каскад провокаций! Сначала в поезде, чтобы я в драке потерял свой кейс. Я же по телефону сказал товарищу, каким поездом возвращаюсь в Москву. Но драка со мной не получилась, я отстранился, но выскочил непредусмотренный парень в футболке! Этот верзила в шляпе был, конечно, чекист. Вот он и смотрел поверх людей, как поверх станков. Вот почему он так спокойно уходил почти на глазах милиции. И сразу последовала следующая провокация в метро. Кто-то следил за мной. Такого типа парни к столь хорошо выглядящим девушкам так не пристают. И невинная девушка с хулиганом все-таки так дерзко не разговаривает. Но ведь не могли они ею пожертвовать, ведь она чуть не свалилась на рельсы? Все-та-

ки — чуть. Тысячи раз отработанный прием! Тоже мне девушка на шаре! Девушка на земном шаре! Потрясающе, как все точно выстраивается! И как был взволнован после драки тот парень в футболке и как был спокоен тот тип в шляпе!

Наркота! Так вот в чем дело! Ни о каком золоте Вильгельма, ни о каких выписках со мной не будут разговаривать! “Ваш кейс?” — “Да, мой! Посмотрите, что внутри?” — и откроют кейс, наполненный ампулами, или наркотиками в облатках, или черт его знает в чем!» Он точно знал, что так много раз бывало во время обысков в квартирах правозащитников. Чекисты подсовывали наркотики куда-нибудь между книг, а потом якобы их обнаруживали.

Заур никогда в жизни не видел наркотиков. Впрочем, однажды был такой случай. Он был в гостях у одного пианиста.

— Хочешь, попробуй сигареты с травкой, — сказал тот и ткнул рукой в сторону стола, где возле пепельницы лежало несколько сигарет. Руки гостей потянулись к сигаретам, и Заур решил попробовать. Он затягивался душистым дымом и прислушивался к своему состоянию, гордясь собой и удивляясь, что сигарета никак на него не воздействует. Но, выкурив сигарету, он через пять минут почему-то прочел короткую и страстную лекцию об императоре Юстиниане. Слушали хорошо, хотя и несколько удивленно.

И только на следующее утро он с величайшим недоумением вспомнил про свою лекцию. Где Юстиниан, где музыканты? Кто его просил? И только потом он вспомнил про сигарету с травкой. Значит, все-таки подействовало.

И теперь, поднимаясь на эскалаторе с этим монголовидным чекистом, сыгравшим роль приклатненного хулигана, и продолжая держать его за предплечье, он почувствовал всю странность своего поведения: он ведет чекиста. Но куда? Может, их наверху уже ждут, чтобы забрать его и повезти на Лубянку, где дожидается его кейс, аккуратно заполненный наркотиками. А девушка будет невинным свидетелем того, что именно он передал ей этот кейс.

В голове стоял какой-то пятнистый туман. Он не знал, что делать. Бежать? Смешно. Они, конечно, знают, где он живет. «Во всяком случае, — решил он, — надо выиграть время и, значит, делать вид, что я ничего не заподозрил».

— Точно я тебя накнокал? — вдруг сказал этот парень и улыбнулся ему сверху вниз зловещей азиатской улыбкой.

— Идем, идем, — тупо повторил Заур, чувствуя, что надо продолжать роль защитника девушки, хотя у него давно улетучилось желание драться. Но чтобы тот этого не понял, он с новой силой сжал его предплечье. Они уже поднялись на эскалаторе и шли к выходу из метро.

— А ты, парень, с душком, — почти весело сказал не то мнимый монгол, не то мнимый хулиган.

Они вышли из метро. Кругом горели ночные огни. Парень внимательно огляделся по сторонам. Ищет своих, уныло догадался Заур, они, видно, запаздывают.

— Отпусти руку, хочу закурить, — сказал парень, и Заур, не зная, что делать, отпустил его руку. Парень порылся в карманах, вытащил пачку, медленно достал из нее сигарету, су-

нул ее в рот и, теперь опять очень внимательно озираясь, стал искать в карманах зажигалку. Нашел, щелкнул и стал прикуривать. Долго прикуривал. Пока он прикуривал, лицо его нахмурилось и в нем проступило выражение древней чингисхановской жестокости. Прикурил и стал снова озираясь: где же они?

Ищет своих, снова подумал Заур, чувствуя абсурдность всего происходящего. Он как бы стерег человека, боясь, что тот сбежит, хотя бежать хотелось ему самому. Парень крепко затянулся, опять внимательно огляделся и вдруг рванул изо всех сил с тротуара прямо на площадь, на ходу выплюнув сигарету. Он переметнулся через площадь, чуть не угодив под машину, и скрылся за поворотом. Вид высокого, бегущего в панике человека всегда смешон.

Заур замер, и вдруг в голове его стало яснеть. Так значит, никакой провокации не было? Значит, это обыкновенный хулиган, который в последний миг струсил? А озираясь он в поисках других хулиганов или обдумывал, в какую сторону дернуть?

Заур облегченно вздохнул всей грудью. «Боже, Боже, — подумал он, — до чего мы дошли, повсюду ищем тень КГБ! Даже если, допустим, они подслушали телефонный разговор и узнали, когда я уезжаю в Москву, как они могли определить вагон, в который я сяду? Я же сел в случайный вагон. Если бы затеявший скандал верзила в шляпе пришел из другого вагона, это было бы на что-то похоже. Как это не пришло мне в голову».

Сколько нелепых слухов ходит о всевидящем глазе чекистов! Тысячи и тысячи интеллигентных москвичей уверены, что их телефоны прослушиваются. Откуда у КГБ столько пленок и столько служащих, чтобы расшифровывать суетные телефонные разговоры? В последнее время ходили зловещие слухи, что в одном доме, где весь вечер какая-то компания вела антисоветские разговоры, хозяин, пытаясь куда-то позвонить, снял трубку, и — о ужас! — телефон заговорил сам! Он повторил весь вечерний разговор компании! Там якобы пленка раскрутилась не в ту сторону. Какой вздор!

Правда, самого Заура за несколько лет пребывания в Москве дважды вызывали в КГБ, и там был достаточно неприятный разговор. Но ничего таинственного. Он подписал несколько писем в защиту диссидентов, и разговор, хотя и с оттенком угрозы, велся прямо по этому поводу.

Заур взял такси и приехал к себе домой в коммунальную квартиру. Он тихо открыл дверь и проскользнул в свою комнату. Тут тоже его подстерегала небольшая опасность. Дело в том, что рядом с ним в этой квартире жила весьма любвеобильная соседка. Заур был холост, и она всячески пыталась его соблазнить. Правда, при этом она в основном действовала мимикой и чарами своего полубожаженного тела, доводя свою действительную неряшливость до степени полураспада одежды.

Заур, конечно, знал ее мужа и не мог иметь дело с женщиной, мужа которой он знал. Это было не в его правилах. Возможность любого коварства сотрясала его до омерзения, как

если б он добровольно сунул паука за пазуху. Но мало того, что он знал ее мужа. Он еще достаточно хорошо знал ее любовника, который приходил в эту квартиру, пожалуй, почаще, чем ее муж.

Ее муж был инженером-наладчиком каких-то сложных машин и по своим делам ездил по всей стране. Это был милый, тихий человек и, по наблюдениям Заура, явно не брал взяток с тех, чьи машины он налаживал, потому что жили они довольно бедно. Иногда он бросал на Заура пугливо-застенчивые взгляды, но Заур ему ничем не мог помочь. Видно, он подозревал жену в неверности и мучился, но вполне ошибочно мысленно ткнул в самую близкую точку. И как ему дать знать, что Заур перед ним чист? Это было невозможно, если не донести, а донести Заур не мог.

Любовник ее был джазист и всегда приходил не только с выпивкой, но и со своей трубой. Он тоже ревновал к Зауру. Пожалуй, посильнее, чем ее муж. Жалея ее мужа, Заур держался с любовником подчеркнуто сухо, что только усугубляло подозрения любовника.

Тем более она, бывая с любовником, принаряженная и возбужденная выпитым, довольно бесцеремонно врывается к Зауру, то прося одолжить чай или еще что-нибудь, то зазывая его к застолью. Заур, конечно, всегда отказывался от этих застолий как от сопредательства. Черт его знает, чего она этим всем добивалась! То ли подхлестнуть Заура, то ли любовника? Возможно, она добивалась и того и другого. Впрочем, любовника навряд ли приходилось подхлестывать. Во время своего пре-

бывания в комнате соседки он вдруг начинал трубить какую-то победную мелодию, и, как догадывался Заур, каждый раз это происходило после близости. Заур почему-то уныло подсчитывал количество победных выступлений за вечер и даже предполагал, что они полемически обращены к нему. Однажды это даже дерзко подтвердилось. Ровно в двенадцать часов, когда Заур уже лежал, джазист вышел из комнаты своей любовницы и протрубил у самых его дверей. Заур психанул, но не отозвался на зов оленя. Вскоре джазист ушел. Он никогда не оставался на ночь. Возможно, труба играла еще и другую роль, возможно, что он у себя дома говорил, что идет на работу.

На следующее утро Заур сказал соседке:

— Если он еще раз протрубит возле моих дверей, он долго не сможет поднести трубу к своим губам. Так и передайте!

— Он был пьян, простите ему, — ответила она извиняющимся голосом, вероятно, забеспокоившись о судьбе губ джазиста и для собственных надобностей. Больше тот в самом деле не выходил трубить, но продолжал трубить в комнате соседки, и Заур вопреки своей воле подсчитывал количество победных мелодий.

Когда Заур пришел домой, соседки, слава Богу, не было в квартире. Ему не терпелось позвонить девушке, которой он отдал свой кейс. К тому же, что скрывать, сама девушка не выходила у него из головы. Она ему очень понравилась. И он видел какой-то высший знак в том, что спас ее от смерти, и, кто знает, может, в будущем она будет его вечной спутницей. Высоко возносился мыслями Заур! И сейчас ему было прият-

но, что соседки нет дома, потому что она всегда туповато прислушивалась к его телефонным разговорам, их единственный телефон стоял в коридоре. Он подошел к телефону. Перед тем как набрать номер, он вдруг вспомнил, что не знает имени девушки. Он был уверен, что голос ее узнает. Но как быть, если мать или отец подойдут к телефону и спросят, кто звонит. Сказать — знакомый из метро? Плоско и нахально. Чтобы не тревожить родителей, она могла и не рассказать им о случае в метро. Как же представиться?

Все-таки он набрал номер и с сильно бьющимся сердцем стал ждать: может, повезет и она сама возьмет трубку.

— Але? — услышал он жаркий, доброжелательный голос. Ему показалось, что это она.

— Вы — это вы? — спросил он довольно глупо.

— Да, я — это я, — ответила она и тихо рассмеялась. — Я давно жду вашего звонка.

— Благополучно доехали? — спросил он, сам чувствуя сомнительную содержательность своего вопроса.

— Как видите, — ответила она и опять тихо рассмеялась. — Вернее, как слышите.

Заур так и не сумел освоить непринужденность телефонных разговоров москвичей. Ему надо было видеть лицо человека, с которым он говорит.

— Все сохранилось? — не удержавшись, спросил он о кейсе, но из какого-то суеверия стыдясь его назвать.

— О да! — воскликнула она с большим пафосом, заставившим его слегка помрачнеть. Было похоже, что она знает о со-

держании кейса. — Как же я могла не сохранить ваш кейс, — продолжила она, — когда вы сохранили мне жизнь.

— Ну что вы! — постыдился он, но слышать это было приятно.

— А чем вы занимаетесь, — нежно спросила она, — кроме того, что спасаете девушек от хулиганов?

— Я историк, — сказал он почему-то осторожно.

— А-а-а, историк, — вздохнула она, как ему показалось, облегченно. — Странно, — сказала она, подумав, — я чуть не попала под колесо поезда. Но ведь есть еще выражение: попасть под колесо истории.

Что-то царапнуло его в этой фразе. Но он не понял, что именно.

Странная девушка, подумал он, имея в виду далековатость сближенных ею колес.

— Будем надеяться, — сказал он, — что вас минули эти два колеса.

— Кстати, вы проучили этого хама? — вдруг спросила она с жадным любопытством.

— Представьте себе — не удалось! — воскликнул он.

— Как так — не удалось? — звонко разочаровалась она.

— Держа его за руку, я его вывел из метро, — стал рассказывать Заур, чувствуя, что сильно упрощает все, что случилось с ним, — а когда мы вышли из метро, он попросил отпустить его руку, потому что ему захотелось закурить. Я отпустил, и он вдруг дал стрекача прямо через площадь. Чуть под машину не попал!

Он сделал ударение на последнем обстоятельстве как хотя бы на частичном возмездии. Но она этого явно не приняла.

— Зачем же вы его руку отпустили! — закричала она азартно. — Какой вы доверчивый! Вы и свой кейс доверили случайной девушке! Я ведь могла дать ложный телефон. Какой же вы доверчивый!

— Ну, с вами-то я, слава Богу, не ошибся, — сказал он, сам не замечая, что голос его приближен к интонации признания в любви, — но он... вы знаете... мне показалось, что все это провокация...

«Дурак! Идиот! Зачем такие подробности!» — сразу же крикнул он себе, но было уже поздно.

— Провокация! — воскликнула она потрясенным голосом. — Какое гениальное совпадение!

— Да, провокация, — согласился он, угасая, — но это не телефонный разговор.

— Конечно, — очень охотно согласилась она, — конечно. Я жду вас завтра дома в два часа дня. Она назвала адрес.

— Вы сможете завтра? — спросила она с явным желанием, чтобы он смог.

— Обязательно приду, — сказал он.

— Я вас очень жду, — донеслось до него, обдавая теплым ветерком. И она вдруг добавила: — Только захватите с собой паспорт.

— Зачем? — спросил он, холодея от смутных подозрений.

— Ну, — сильно замешкалась она, — у нас такой дом... Спокойной ночи, мой спаситель!

— Спокойной ночи! — ответил он автоматически и положил трубку.

Какое там спокойной ночи! Он вошел в свою комнату и долго ходил из угла в угол, страшно взволнованный. «Как? Почему с паспортом? Разве бывают такие дома, куда являю-тся с паспортом? Это связано с милицией, с прокуратурой или КГБ! Постой! Постой! Она знает о содержании кейса! Это точно!»

Но разве девушка, которую спасают от смерти и поручают ей кейс, чтобы отомстить мерзавцу, могла ему всучить телефон милиции или КГБ? Даже если она такая советская профурсетка, она же тогда не знала о содержании кейса?! А может, она и сейчас не знает о содержании кейса? «Нет, знает, знает! Я это чувствую! Постой, постой, — решил он, — надо трезво вспомнить весь разговор».

Пользуясь своей прекрасной памятью и стараясь быть хладнокровным, он несколько раз прокрутил в голове всю эту телефонную беседу.

«— Провокация! — воскликнула она потрясенным голо-сом. — Какое гениальное совпадение!»

Эта фраза требовала исследования. Значит, в ее сознании то, что мне показалось провокацией, и ей показалось прово-кацией. Ей показалось, что мы угадали одну провокацию. Но что же ей могло показаться провокацией? Да то, что случи-лось в метро! Она порвала с каким-то подлецом, а тот нанял этого мерзавца, чтобы он ее как следует напугал. Скорее все-го напугал, а тот переборщил. Но почему порвала с подле-

цом? Просто эта чудная девушка положила конец домоганиям подлеца! И с каким бесстрашным презрением она отворачивалась от этого ублюдка и как она не испугалась назвать его мерзавцем, чуть не поплатившись за это жизнью! Какую замечательную девушку я спас!

Постой! Постой! А может быть, не совсем так?

«— Провокация! — воскликнула она потрясенным голосом. — Какое гениальное совпадение!»

Скорее, в ее сознании одна провокация совпала с другой. И обе провокации оказались очень близкими по времени. Отсюда: совпадение! Не две мысли об одной провокации совпали, как я думал, а две провокации совпали по времени. Тут совершенно точно. Попробуем пойти дальше.

«— А чем вы занимаетесь? — спросила она.

— Я историк, — сказал я.

— А-а-а, историк, — вздохнула она».

С облегчением? Кажется, с облегчением. Конечно, о содержании кейса она знает. Предположим, дома она его раскрыла и прочла запретные в стране документы. Кто их ей передал? Совершенно неизвестная личность. Ни имени, ни фамилии. И тогда она воскликнула: «Это провокация!» Но ведь она умная девушка! Не могла же она не знать, что провокатор не спасает от смерти провоцируемого. Но ведь так мог воскликнуть кто-то из домашних, совсем не она! Конечно, только так. Если бы, когда я сказал о провокации, она бы вспомнила, что и она сама об этом подумала, она бы воскликнула по-другому:

— Какое гениальное совпадение! Я тоже подумала о провокации!

И теперь совершенно ясно, что повторились слова других людей — мои и еще кого-то. Скорее всего — отца. Возможно, он диссидент, ждущий обыска. И тогда такой неожиданный документ в доме — признак провокации и близкого по времени обыска. А может, ее отец большой человек? Он тоже мог это воскликнуть».

Заур знал, какая грызня идет наверху, и там не гнушаются никакими методами, чтобы свалить соперника.

«И потому она облегченно вздохнула:

— А-а-а, историк.

То есть не провокатор подбросил кейс с такими документами. Значит, просто историк, это его профессиональные занятия. Только он слишком далеко зашел в этих занятиях. Отсюда и намек на колесо истории, под которое я могу угодить. Она меня жалела и предупреждала», — подумал он.

Но при чем тут паспорт? «У нас такой дом», — сказала она. Может, это дом атомщиков и у них при входе паспортная система? Но в Мухусе он бывал в доме профессора-атомщика, в дочь которого был влюблен, там не было паспортной системы. Там не было, а здесь есть. Какой странный вариант судьбы, если он снова попадет в дом атомщика. А может, дом в смысле семья? Такая семья. Родители точно хотят знать, кто спас их дочь. Ну, ладно, паспорт так паспорт. Его охватило сладостное предчувствие долгого романа, переходящего в женитьбу. Пора, пора, покоя сердце просит.

Он вспомнил, что еще не ужинал, и пошел на кухню. Нагрел чайник на газовой конфорке, нарезал хлеб, вынул из холодильника масло и сыр. Сел ужинать. «Я уже оправдал свою жизнь, — думал он, все больше и больше умиляясь собой, — я спас от смерти девушку. Конечно, родители ее будут моими союзниками».

В это время на кухню вошла его соседка. Он даже не заметил, когда она пришла домой. Сейчас она была в черной нижней рубашке с голыми руками, с яростными бедрами и мощными, косящими грудями, просвечивающими сквозь ткань. Такой оголенности еще не бывало, и это звучало как лозунг: сегодня или никогда!

— А я думала, вы уже спите, — сказала она, якобы смущенно улыбаясь. Но даже сделать вид, что смутилась, ей было трудно.

Заур рассеянно кивнул ей, продолжая ужинать. Она явно думала, что произведет на него на этот раз сильное впечатление, и, может, ждала игривого разговора. Но Заур молча ужинал, и она прошла к мойке и стала мыть скопившиеся за несколько дней тарелки. Он с тайным юмором следил за выражением ее лица, на котором было написано горестное сиротство, одновременно выражающее и оскорбленное целомудрие: «Если уж на вас и это не действует, не могу же я на кухню выходить голой?!»

«Можешь, можешь, но мне это ни к чему», — думал Заур, отхлебывая чай. Стриптиз голой руки, трясущейся над тарелками, наконец окончился, и она с выражением смиренной

оскорбленности стала выходить из кухни как бы под бременем своих тяжеловатых чар. Но яростные бедра под ее рубашкой сами по себе работали в ритме соблазна, по-видимому, минорные сигналы хозяйки до них не доходили, если они вообще не работали в автономном режиме.

Через некоторое время он покинул кухню и прошел в свою комнату. Несмотря на минорное выражение лица хозяйки, дверь в ее комнату была, как всегда, гостеприимно приоткрыта. Разумеется, как всегда в тех случаях, когда ни мужа, ни любовника не было при ней.

На это ее гостеприимство он не только не отвечал встречным гостеприимством, а, наоборот, запирался в своей комнате с плюшкинской тщательностью. Но при этом (деталь!) он никак не хотел ее оскорбить и всегда старался действовать ключом как можно тише: если запираешься, запирайся деликатно.

Иногда, лежа в темноте, он вдруг проникался тревожным сомнением относительно того, запер он дверь или нет. И тогда, тихо встав, он на цыпочках в темноте подходил к двери и легонько толкал ее, чтобы убедиться, что она надежно заперта. Он ее боялся. Боялся, что однажды ночью проснется и обнаружит ее в своей постели и вдруг не в силах будет ее прогнать.

Ему было так жалко ее мужа, такого интеллигентного и даже физически такого хрупкого, что иногда боязно было, что эта молодка с яростными бедрами однажды если не придушит его, то случайно придавит в своей постели.

Ну зачем ей мужской гарем из трех наложников, думал он иногда. Мысль о том, что его, Заура, ей нужно совратить для того, чтобы он не мог донести ее мужу про ее любовника, приходила ему в голову. Но он ее отвергал. Для этого она ему казалась слишком простодушной. Может быть, и напрасно.

Но сейчас дверь была так надежно, так уютно заперта, и ему так сладостно было думать о завтрашней встрече с этой стремительно-стройной девушкой с такими недоступными синими глазами! И он ее спас от смерти, и не может это просто так кончиться, и должна начаться какая-то новая волшебная жизнь. Он с улыбкой заснул, и ему всю ночь снились томительные сны с этой девушкой, и он ее так явно ощущал, что, проснувшись, долго не мог поверить, что ее рядом нет, а он ощущал ее всем телом, и даже затекшая рука явно говорила, что на ней лежала, и долго лежала, ее головка. И тогда он вновь и вновь убеждался не только в мудрости, но и в зримой реальности того, о чем древние говорили: жизнь есть сон, а сон есть жизнь.

На следующий день ровно в два часа он стоял в одном из арбатских переулков возле большого нового дома, о существовании которого он не подозревал, хотя, казалось, неплохо знает окрестности Арбата.

Когда он вошел в дом и увидел обширный вестибюль первого этажа, он сразу понял, почему она просила его захватить паспорт. За столиком сидел милиционер и уже уставился на него. Он понял, что надо подойти к нему. Подошел и показал милиционеру паспорт, чувствуя некоторую тревогу. Милици-

онер раскрыл паспорт и довольно долго сверял его внешность с фотографией. Это был пожилой человек в очках. Взглянув на Заура из-под очков, спросил:

— Вам в какую квартиру?

Он назвал. Милиционер удивленно посмотрел на него, а потом набрал номер какого-то телефона. Трубку на том конце сейчас же подняли.

— Вы ждете гостя? — спросил он.

— Да! Да! — раздался знакомый нетерпеливый голос.

Милиционер, мужественно преодолевая затруднения, прочел имя и фамилию Заура и спросил в трубку:

— Этого человека вы ждете?

Заур страшно заволновался, она же не знает его имени.

— Да! Да! — громко раздалось в трубке. Умница, подумал Заур, она, конечно, сразу все поняла.

— Надо же заранее заявлять, Лина, — с ворчливым домашним упреком сказал милиционер и положил трубку. — Проходите, пятый этаж, — кивнул милиционер на лифт и вернул Зауру паспорт.

Заур прошел в лифт и нажал на кнопку. «Мы познакомились через милиционера», — думал Заур, прислушиваясь к мягкому, успокаивающему шуму лифта. Он вышел на пятом этаже, озираясь, удивлялся, что на этаже только одна квартира. Такого он не встречал. Он нажал на кнопку звонка. Раздались очень глухие и очень быстрые шаги. Дверь распахнулась. В дверях, улыбаясь, стояла вчерашняя девушка. Как ей шла улыбка! Сейчас она была еще привлекательнее,

чем вчера. На ней были те же джинсы, но не черная рубашка, а синяя кофточка с коротенькими рукавами. Такие трогательные, тонкие, длинные руки. «Как глупо, — подумал Заур, — что поэты столько раз воспевали женские ноги и никто не догадался воспеть вот такие трогательно опущенные тонкие руки».

— Здравствуйте, Лина, — сказал Заур, улыбкой намекая на их знакомство через милиционера.

Но она его не поняла. Улыбка погасла, и лицо стало тревожным. Она даже подбоченилась своими тонкими, но сейчас напрягшимися руками.

— Откуда вы знаете мое имя? — строго спросила она. — Мы ведь так и не представились друг другу?

— Но ведь и вы, оказывается, знаете мое имя, — улыбаясь, отпарировал Заур.

— Ах да, милиционер! — догадалась она, и две руки неожиданно заплеснулись за шею Заура. — Мой спаситель!

Губы ее мягко прикоснулись к его губам, легкие руки еще мгновение лежали на его шее. Заур почувствовал головокружение, которое не прошло и после того, как она убрала руки. Он вдруг понял, что в доме никого нет, что они одни, и ощутил, как аромат влюбленности разлился в воздухе. Это напоминало его ночной сон.

— Мой спаситель! — повторила она. — Мы должны это дело отпраздновать!

Она провела его на кухню, сверкающую никелем неведомых установок. Такую большую кухню он не видел никогда.

Стол был накрыт. На столе стояла бутылка дорогого коньяка, лоснились в тарелке маслины, розовели и краснели ломти рыб, плотные, слегка заплесневелые по бокам кругляки нарезанной колбасы напоминали древние монеты, и только слезливый сыр на тарелке казался сентиментально-неуместным. Сияла ваза с яблоками и редкими тогда в Москве, во всяком случае в кругозоре Заура, бананами.

Она усадила Заура на широкий диван, стоявший с той стороны стола, уселась напротив него, умело разлила коньяк, и они выпили за встречу. Дорогой коньяк, неведомый Зауру, деликатной теплотой разлился по его телу, как бы призывая его самого к деликатности.

Они стали закусывать. Никогда в жизни Заур один на один не сидел с такой очаровательной девушкой, и никогда в жизни ему не было так хорошо. Во всяком случае, так ему сейчас казалось. Ничем не объяснимое таинство влюбленности разливалось в воздухе: тайна счастья. И ему было так хорошо, что у него ни на миг не возникало желания притронуться к источнику этого очарования. Это казалось так же глупо и бессмысленно, как если бы, греясь у уютного костра, вдруг захотелось бы схватить пламя руками.

Она попросила снова со всеми подробностями пересказать историю с этим хулиганом. Потом спросила об институте, где он работает. И приятно удивилась, узнав, что он доктор наук.

— Какой же вы молодец! — воскликнула она. — Такой молодой, а уже доктор наук!

— Не такой уж я молодой, — отвечал Заур, — мне уже тридцать два года.

— Молодой, — повторила она, — а я вот никак не могу защитить кандидатскую диссертацию!

Оказывается, она преподает французский язык в институте иностранных языков. Заур пил и закусывал. Чем больше он пил, тем сильнее атмосфера влюбленности сгущалась. Коньяк делался все приятнее и приятнее и как будто больше не призывал к деликатности. Или все более деликатно призывал к деликатности. Но Заур уже сам, гордясь собой, ощущал, что у него нет никаких чувственных поползновений. Хотелось, чтобы нашелся тайный свидетель его счастливой сдержанности. Он при помощи юной хозяйки, помощь ее была достаточно скромна, выдул почти всю бутылку коньяка.

Потом она подала невероятно пахучий кофе. И все движения ее, когда она вставала, садилась, разливала кофе, были стремительны и точны. Заур не сводил глаз с ее движущейся фигуры, как бы с рыдающим восторгом сопровождая каждое ее движение.

После кофе с такой же стремительной точностью она вдруг встала, подошла и села ему на колени. После стольких восхищений точностью ее движений он не мог и не хотел усомниться в точности того, что она сейчас сделала. Своими длинными прохладными руками она обняла его за шею. Ледяной секс ее глаз оказался в невообразимой близости. У Заура снова закружилась голова, но теперь как бы в обратную

сторону. Первый раз его голова закружилась в сторону влюбленности, а теперь закружилась в сторону чувственности.

— Сейчас я вам должна сказать очень важную вещь, — начала она ясным голосом, глядя ему в глаза, — у меня папа — большой человек. Не спрашивайте, кто он, это для вас не имеет значения. Вчера вечером, когда я ему рассказала о случившемся в метро, он воскликнул: «Это провокация против меня! Я должен сейчас же проверить кейс! Это был ловкий способ всучить тебе его! Черт его знает, что там внутри! Но я старый десантник!»

И он, заставив меня и маму выйти из комнаты, открыл его. Около часа он был в комнате, а потом вышел к нам.

«Это действительно провокация, — сказал он, — но не против меня, а против нашей партии. Но из этого следует, что молодой человек, который спас тебя, спас искренно. Я не хочу осложнять жизнь человека, спасшего мою дочь, хотя обязан это сделать по своему положению. Когда он придет за кейсом, вели ему сжечь это все в нашем камине на твоих глазах».

Заур, послушайте моего папу! Он очень умный и порядочный человек. Папа сказал, что вы клюнули на провокацию царской жандармерии. Но это не только опасно, это бессмысленно. Это никто никогда не напечатает. Вы только опрокинете на свою голову неисчислимые бедствия. Сделайте, как сказал папа! Вы мой спаситель, я для вас готова на все!

И она прижалась к нему, как беззащитный птенчик. Заур понял, что оторваться от нее он уже не сможет. Он это понял

уже тогда, когда она села к нему на колени. После долгих расцветавших и расцветающих поцелуев, он обхватил ее легкое тело и переложил его на диван. Недоснятая одежда только усиливала чувственное напряжение. Через полчаса, когда они притихли, он услышал ее ясный голос:

— Отвернитесь!

Он отвернулся. Она оделась и вышла в ванную. Он привел себя в порядок и сел на диван. Во всем теле он чувствовал приятную легкость. А в голове звенела легкость иронии, происхождение которой он не совсем понимал.

Он вспомнил томительные сны с участием этой девушки, которые он видел накануне. То, что сейчас было, было хорошо, но почему-то не дотягивало до тех сказочных ощущений, что он испытал во сне. «Во сне нет времени, — подумал он, — и потому прекрасный сон воспринимается как вечность. И ужасный сон потому так ужасен, что воспринимается как вечность». Он уже самовольно допил коньяк и закусил бананом, который до этого не решался взять. Бананы он не пробовал уже несколько лет. Раздев банан, он вспомнил, что сам недоодет. Пиджак его валялся на диване. Он взял его, встряхнул и надел.

Она вошла с кейсом на кухню и молча передала ему. Чувствуя некоторый недостаток благородства и удивляясь, что это его не смущает, он открыл кейс и проверил бумаги. Все было на месте.

— Приступим к аутодафе, — объявил Заур. — Камин он имел в виду в прямом смысле или в переносном?

Заур слышал, что в некоторых богатых московских домах устраивают камин. Но сам их никогда не видел. Он видел только очаги у себя в Абхазии, в крестьянских домах.

— В прямом смысле, — сказала она.

— Прекрасно, — бодро сказал Заур, вставая и чувствуя, как в нем играет ирония. — Кстати, проверим тягу.

Она провела его в большую, уставленную старинной мебелью комнату, где действительно находился камин. Старинная мебель потянула за собой камин, подумал Заур.

Заур вывалил в камин свои бумаги и даже показал ей свой распахнутый опустевший кейс. Он вынул сигареты и зажигалку. Сначала прикурил от зажигалки сигарету, с удовольствием затянулся, а потом, встав на корточки и собрав бумаги в кучу, поджег их. В первые, долгие секунды они очень плохо горели и очень хорошо дымили, словно надеясь, что их еще спасут. Но потом, пыхнув гневом, воспламенились, и языки пламени потянулись вверх.

— Тяга хорошая, — сказал Заур и вдруг, не удержавшись, расхохотался.

— Почему вы смеетесь? — с тревогой спросила она.

Он не мог ей сказать, почему он смеется.

— Я просто вспомнил слова булгаковского Воланда: «Рукописи не горят».

— Горят, горят, — бодро подхватила она и, схватив кочергу, рассыпала еще дымящийся в камине пепел.

На самом деле Заур подумал о том, что при его очень хорошей памяти он все это мог восстановить с фотографиче-

ской точностью. Главное, что рукописи не оказались в чужих руках.

Бросив кочергу, она победно выпрямилась и теперь снова была так хороша, что Зауру мучительно захотелось ее обнять. Но, увы, ледяной секс ее глаз ему сейчас был недоступен. «Если бы у меня под рукой были материалы о судьбе царских алмазов, — подумал он, — можно было бы все повторить».

Он понимал, что надо уходить, но уходить так сразу было как-то неудобно. Слишком явно все это напоминало товарообмен.

— Позвоните через два месяца, — вдруг сказала она, о чем-то подумав и давая ему повод попроситься.

— Хорошо, — мрачновато ответил Заур, — к этому времени я, может, чего-нибудь наскребу.

Она поняла его юмор и громко расхохоталась, сверкая прекрасными зубами. Одновременно ее бледное лицо покрылось легким румянцем стыда. Она сейчас была очень хороша, и уходить не хотелось.

— Нет, я уезжаю, — сказала она, провожая его в переднюю, — а, кстати, что вы подумали, когда я вас попросила прийти с паспортом?

— Я подумал, что мы пойдем в ЗАГС, — сказал Заур.

Она опять расхохоталась.

— Какой вы остроумный, — вздохнув, вдруг вымолвила она, — вот этого всегда не хватало моим поклонникам. Но вы, конечно, поняли, что у нас особая среда. Здесь такие вопросы

девушка не может решать сама. Все-таки позвоните через два месяца...

Они распрощались, и она захлопнула за ним дверь. Погруженный в какие-то не совсем ему ясные мысли, он вызвал лифт, вошел в него и нажал кнопку. Лифт с тихим шумом пошел вниз. «Почему два месяца?» — подумал он. Вероятно, в этой среде проверяется досье всех, кто вхож в дом, если он со стороны. Клан. Патриархат. Досье ничего утешительного не обещало: сын репрессированного, дважды вызывался в КГБ. Лифт остановился, и Заур вышел из него, захлопнув дверь.

И вдруг он обнаружил, что оказался в каком-то замкнутом помещении, совсем не в том, где сидел милиционер в вестибюле. Прямо против лифта была дверь, он подошел к ней и подергал ее, но она оказалась наглухо заперта. Он почувствовал ужас человека, попавшего в мышеловку. Все его вечерашние подозрения ожили с необыкновенной ясностью. Он кинулся к лифту, но именно в этот миг лифт с тихим злорадным шипением пошел вверх. Казалось, кто-то сверху, может быть, в специальный телевизор с дьявольской насмешкой следит за ним. Он несколько раз нажимал на кнопку лифта, но тот отрубился начисто.

Рядом с лифтом он увидел лестницу, ведущую куда-то вниз. Он устремился по этой короткой лестнице, одолел ее несколькими прыжками и вышел в какой-то коридор. С обеих сторон коридора были двери. Он рванулся к одной двери и стал судорожно дергать ее, но она была заперта. Он перебе-

жал к другой двери и не только стал ее дергать, но и начал стучать в нее изо всех сил, прислушиваясь к тишине и к своему гулко бьющемуся в тишине сердцу. Он подумал, что его панические движения взбаламутили выпитый коньяк, и он сейчас пьян и не очень контролирует обстановку. «Дурак, — вспомнил он, окрыленный надеждой, — я, видимо, нажимал на кнопку лифта, когда он еще шел вверх, но дом высокий, и здесь его было неслышно». Он снова взлетел к лифту и стал бешено нажимать на кнопку, но лифт был мертв. И теперь он окончательно уверился, что он в ловушке. Он опять сбежал вниз и стал метаться по узкому коридору, уверенный, что попал в полицейскую ловушку.

*Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла, —*

монотонно звучали у него в голове строчки из лермонтовской «Тамары». Он всегда считал, что описанная в стихотворении дикая жестокость женщины — романтическое преувеличение. И сейчас думал: «Все правда. Гений никогда не ошибается! Я пропал!»

Сплошная цепь провокаций со вчерашнего дня наконец увенчалась успехом. Какое же значение они придают золоту Вильгельма, если столько сил бросили против него! Как наивно было думать, что они ограничатся сожжением рукописи, а носителя знаний о ней оставят в покое! И как наивно он думал, что их перехитрил, надеясь на свою память!

Вдруг он услышал в тишине за коридорными дверями, в которые он барабанил, шаги палача. Вскоре убедился, что палачей двое, и они переговариваются и не спешат. А куда спешить? Жертва в клетке.

Скрежетнул ключ в замке, и дверь с тяжелым скрипом отворилась. В дверях стояли двое и делали вид, что удивлены его присутствием. Оба были в голубых комбинезонах. Один был высокий и возрастом намного старше второго. В одной руке он держал какой-то железный палаческий инструмент и не скрывал этого. При первом ударе, лихорадочно подумал Заур, принять его на кейс, а потом постараться отнять его. А второй? Неужто он будет ждать, чем закончится эта борьба. Второй был мал ростом, но страшно широкоплеч. Палачи все еще стояли на пороге, продолжая разыгрывать удивление: как это сама подзалетела птичка? Пожалуй, самым ужасным Зауру показалось то, что второй палач, низкорослый и широкоплечий, оказался точно в такой же шляпе, какая была у того типа в поезде. Видно, часть формы, мелькнуло в сознании Заура. Но как странно, что все началось с той шляпы и теперь все прихлопывается этой шляпой. Заур был уверен, что этот низкорослый с невероятными плечами и есть главный душегуб. И ему не надо никаких инструментов.

— Кто вы такой и что вы здесь делаете? — грозно спросил первый палач и, как бы проверяя надежность инструмента, качнул его в руке.

— Я не знаю, — сказал Заур, — я спускался на лифте и оказался здесь.

— И теперь вы решили здесь жить? — насмешливо спросил первый палач.

— Я был в гостях, — сказал Заур, кивнув наверх. Он не стал уточнять, где именно был. Он решил перехитрить их. Не все же жители этого дома связаны с палачами, он мог быть у других.

Тягостное молчание.

— Надо проверить, что у него в чемоданчике, — вдруг сказал низкорослый с каким-то жадным личным любопытством.

— Пожалуйста, — охотно согласился Заур и распахнул кейс, как бы гордясь его пустотой. Он даже махнул в воздухе распахнутым кейсом. Он смутно вспомнил, что повторил жест, когда перед камином демонстрировал девушке опустошенный кейс. «Одна шайка!» — взвизгнуло в мозгу.

— Да не нам показывайте, — явно разочарованный пустотой кейса сказал плечистый, хотя именно он и сказал, что надо проверить кейс.

Тот, что был с пыточным инструментом, вдруг приподнял зубчатое железо и стал почесывать им голову, как бы отдаленно намекая, что может им прикоснуться и к голове Заура. Заур вдруг вспомнил, что в Абхазии, прежде чем зарезать козу или барана, человек, держащий нож, символически обтачивает его о ладонь, хотя нож давно отточен и жертва у ног.

— А милиционер вас видел, когда входили в дом? — спросил первый, перестав чесать голову.

— Конечно! — вскричал Заур и стал лихорадочно рыться в карманах в поисках паспорта, одновременно с ужасом ду-

мая, что он мог вывалиться там, на диване. Нашелся! — Вот паспорт! — вскрикнул он, показывая его.

— Да на кой нам-то твой паспорт, — уныло сказал тот, что держал пыточный инструмент, — мы техники.

Последнее разъяснение нисколько не успокоило Заура. Он и так знал, что палачи — это техники и могут никакого представления не иметь о золоте Вильгельма.

— Уже показывал, — вскрикнул Заур, — когда входил в вестибюль.

— Вы шляпа, — вдруг отчетливо и зло сказал человек в шляпе, все еще раздраженный, что кейс Заура оказался пуст, Заур это почувствовал, — вы не на ту кнопку нажали! Шляпа!

— Как не на ту? На ту! — возмутился Заур, чувствуя, что они хотят воспользоваться какой-то чудовищной бюрократической зацепкой. Нажал на ту кнопку — вышел на улицу. Нажал не на ту кнопку — попал к палачам.

— Пойдемте, — хмуро сказал человек с инструментом в руке и показал наверх. На ту первую дверь у лифта. «Оказывается, пыточная там, — удивился Заур, — а я по старинке думал, что она где-нибудь пониже».

— Куда? — спросил Заур, стараясь скрыть ужас.

— Как куда? К выходу, — ответил тот. Промельк надежды, но и бдительность нельзя терять.

— Только я за вами пойду, — упрямо сказал Заур, не желая подставлять спину.

— Да это псих какой-то, — сказал первый палач, тяжело под бременем инструмента взбираясь по лестнице.

— Не псих, а шляпа, — повторил человек в шляпе и последовал за первым, — а с тебя пол-литра, глухарь. Я же говорил, что кто-то барабанит в дверь, а ты не верил. — Открывая дверь ключом, человек в шляпе обернулся к Зауру: — Скажи честно, барабанил в дверь?

Заур осторожно поднимался за ними. Человек в шляпе распахнул дверь, и Заур узнал вестибюль. Вернее, часть его. Человек в шляпе продолжал смотреть на Заура, дожидаясь ответа.

— Ну, стучал, — признался Заур.

— Вот видишь, глухарь, с тебя пол-литра, — торжествующе сказал широкоплечий.

И теперь Заур внезапно понял, почему тот так разочаровался в его кейсе. Он ждал, что там может оказаться бутылка водки или коньяка.

Они уже прошли в вестибюль и стояли у двери. Заур прошел мимо них и радостно увидел знакомого милиционера.

— Михеич, — крикнул человек, державший инструмент, который теперь показался Зауру вполне применимым и в мирных целях, — ты этого человека видел?

— Конечно, — раздраженно ответил милиционер и, обращаясь к Зауру: — Это вы забыли дверь в лифте закрыть? Мне уже звонили.

Он почему-то не удивился, что Заур поднялся из подвального помещения.

— Нет, — сказал Заур, окончательно приходя в себя, — я закрыл дверь лифта. После меня он поднялся наверх.

— Ну, ладно, идите, — сказал милиционер устало.

Уф! С какой радостью Заур выскочил на улицу! Свобода! Свобода! Никаких провокаций не было! Бред какой-то! Но какое завихрение жизни после долгих, однообразных часов на кафедре и в тиши архивов! «А ведь я все-таки правильно угадал, что о провокации говорил ее отец», — с запоздалой гордостью думал он, направляясь в институт.

Вечером к соседке опять приходил джазист. И они снова устроили себе маленькую пирушку. Заур рано лег спать, чтобы завтра пораньше засесть за работу, восстановить выписки из жандармских докладов и потом продолжить работу над статьей. Часов в одиннадцать из соседней комнаты раздался первый торжественный звук трубы. «Труби, труби», — думал Заур, с удовольствием возвращаясь к распорядку нормально-го безумия.

* * *

Дней через десять статья была готова. Заур пошел в архив, чтобы уточнить некоторые мелкие детали, сперва показавшиеся ему несущественными. Каково же было его удивление, однако на этот раз не переходящее в мистический страх, когда он обнаружил, что папок с жандармскими отчетами нет на месте. Он решил, что за это время была проведена очередная идеологическая ревизия и папки просто убрали оттуда.

Но тут-то нашего героя как раз подвела его прекрасная память. Дело в том, что перед выписками из жандармских док-

ладов он автоматически ставил библиографический шифр материала. И он об этом начисто забыл. А отец Лины, читая эти выписки, как раз обратил внимание на эти шифры и переписал их в записную книжку. На следующий день он позвонил в соответствующую инстанцию и продиктовал их, после чего эти папки изъяли из архива и, вероятнее всего, уничтожили.

Заур не долго думал об исчезнувших папках. Это вообще была не его тема. Его тема была Византия, потому что он считал, что оттуда все главное пошло на Руси. Больше он Лине никогда не звонил, хотя долго помнил ее.

мимоза на севере

С Раулем Аслановичем Камба мы познакомились на охоте. У села Тамыш, на огромной приморской поляне, кое-где поросшей зарослями ежевики, держидерева, сассапарилы, шла охота на перепелок. Кругом раздавались приглушенные расстоянием хлопки выстрелов, взвизги и взлаи охотничьих собак, виднелись и сами собаки, петляющие в траве, и фигурки охотников, подбегающих к ним после удачных выстрелов.

И вдруг среди этого буйства охотничьих страстей я увидел могучего увальня, лениво бредущего по тропе с ружьем, горизонтально лежащим на плечах, и двумя ручищами, как два отдыхающих хобота, с двух сторон свисающими над ружьем.

Это был человек, явно не поддающийся охотничьему азарту. Видимо, он тоже заметил, какой я охотник: я шел навстречу, и, когда мы сблизились, он остановился и неожиданно спросил:

— Выпить не хотите?

— А почему бы нет, — ответил я.

Походка его стала несколько более деловита, он подвел меня к дикой яблоне, как к хорошо знакомой закусочной. Он подобрал несколько паданцев, мы присели у тенистого подножия яблони. Он снял с пояса фляжку, отвинтил колпачок, и мы стали пить из него превосходный коньяк, закусывая кислящими, в жару очень приятными паданцами.

— Люблю вот так выехать за город, — сказал он, — но охоту, честно говоря, не люблю. То ли в перепелку попадешь, то ли в собаку. И перепелку жалко, и собаку тем более. Охота для меня — это хороший способ освежить место выпивки. А вы чем занимаетесь, когда не выезжаете на охоту?

Мне показалось, что он намекает на одинаковую плодотворность обоих моих занятий. Почему-то всегда стыдновато называть свою профессию. Мир так безумен, что писатель в нем кажется неуместен, как звездочет в сумасшедшем доме. Кажется, назвав свою профессию, услышишь недоуменное: если вы писатель, почему мир так безумен? Если мир так безумен, зачем писатель?

Что тут ответить? Писательство — безумная попытка исправить безумный мир. Тут кто кого перебезумит. У меня лично более скромная задача — перевести мир из палаты буйных в палату тихих. А там посмотрим.

Тем не менее я взял себя в руки и назвал свою профессию. Он кивнул головой в том смысле, что его ничем не удивишь.

— Вот Лев Толстой всю жизнь проповедовал христианство, а охотником был азартным, — сказал он, видимо, решив начать с главного звездочета. — Неужели он сам не видел этого противоречия?

— Не знаю, — ответил я, — он вообще был очень страстным человеком.

— А как насчет выпивки? — спросил он. — Понятно, что он выступал против алкоголя. Но сам он выпивал?

— В молодости мог крепко поддать, — сказал я, — но в зрелости остерегался.

— Понятно, — сказал он, — свою норму взял, а потом стал противником алкоголя.

Большое, но пропорциональное росту лицо моего нового знакомого производило приятное впечатление: правильные, крепко вылепленные черты и общее выражение добродушного мужества. Однако в его зеленоватых глазах чувствовалась какая-то тихая, затаенная печаль. Казалось, печаль эта даже как-то выцветает от долгого употребления. Выражение его глаз не совпадало с его постоянной, как я потом заметил, склонностью к шутке. Но кто знает, может, эта его склонность была неосознанной борьбой с печалью.

Пока мы пили, закусывая паданцами, он стал очень живо выклеивать юмористические сценки из произведений Толстого и радостно, а иногда и с хохотом мне пересказывать. Оказалось, что таких сенок в произведениях Льва Толстого

было гораздо больше, чем я предполагал. Эти сценки выглядели особенно смешными в его смачном исполнении. Он их помнил почти дословно. Конечно, я их тоже помнил, но они для меня были затенены гениальными поэтическими картинами Толстого.

Всем этим сатирическим сценкам придавало дополнительный юмор то, что они и сейчас звучали не только современно, но даже особенно своевременно. Главным образом это касалось государственной жизни, жизни чиновничества. Захлебываясь от смеха, он пересказал то место в «Анне Карениной», где высшее чиновничество обсуждает вопрос об инородцах. Но что именно они хотят сказать об инородцах, Толстой упорно не раскрывает, тем самым подталкивая читателя к мысли, что они ничего не знают об инородцах и им нечего о них сказать.

— Вот так, — смеясь, говорил он, — иногда на бюро обкома, дожидаясь, когда поднимут вопрос о строительстве, я слушаю, о чем они говорят, вспоминаю эту сцену Толстого и умираю от внутреннего смеха, хотя надо было бы плакать.

Вообще, Рауль оказался неплохим знатоком литературы, тем более учитывая, что по профессии он был инженером-строителем. Вот еще одно, по-моему, интересное его наблюдение над творчеством Льва Толстого. Сами факты, о которых он рассказывал, множество раз обсуждались в критике, но психологическую природу их он объяснил достаточно оригинально.

— Когда читаешь Толстого, — вдруг сказал он без всякого юмора, — странное чувство иногда возникает. У него Наполе-

он повсюду глуп и смешон. И хотя умом понимаешь, что Наполеон не мог быть столь глупым и смешным, но подчиняешься невероятной уверенности его, что все было именно так, как он пишет, и не могло быть иначе. Если бы он о Наполеоне писал статью, я бы ни на минуту не поверил ему.

Видимо, здесь тайна художественного колдовства. Он создает некий свой мир, свою планету. Ты вступаешь в этот мир, и тебе там так хорошо от всей его слаженности, что ты поневоле проглатываешь и вещи, которые не соответствуют обычной логике. Тебе же было так хорошо в созданном им мире, ты так поверил в его правдивость и поэтичность, что поневоле глотаешь вещи, которые не соответствуют здравому смыслу. Ты говоришь себе: здесь, в этом мире, это правда. Иначе ты должен был бы подвергнуть сомнению и те описания жизни в этом мире, где ты был счастлив. Кто же добровольно откажется от собственного счастья и скажет, что счастье было ложно?

То же самое и Кутузов. Толстому веришь, хотя частью ума, которой не завладел его мир, понимаешь, что не мог великий полководец считать, что надо отдаваться стихии и она сама вынесет. Ничего себе — вынесет!

Вот я, например, строитель. Скажем, мы взялись за объект. Стройматериалы подвозятся, прорабы и рабочие все на местах. И я, начальник строительства, говорю себе: больше я этим объектом заниматься не буду, стихия строительства сама вынесет. Ничего себе! Я же знаю: только отведи глаза — и через неделю половину стройки раскрадут, а вторую половину исхалтурят. Вот тебе и стихия!

Он расхохотался и взглянул на меня насмешливыми глазами, как бы требуя ответа. Вместе с тем он налил в колпачок коньяку и осторожно поднес мне. Почему-то, прежде чем выпить, оправдывая угощение, надо было что-то сказать.

— Главная мысль всех великих умов, — важно заметил я, — бессилие мысли. Отсюда и культ стихии.

Вскоре к нам подошел его товарищ, увешанный перепелками. Он явно знал, где его искать. Рыжая охотничья собака его с разинутой огнедышащей пастью стала нервно тыкаться нам чуть ли не в лица, словно призывая: «Мой хозяин уже наохотился. А я еще не наохотилась. Иду с вами. Вставайте!».

— Что если плеснуть ей в пасть коньяку, — сказал Рауль, — может, она успокоится?

Он рассмеялся, но хозяин даже обиделся.

— Плечи себе в пасть, — прошипел он, — все равно на охоте ты больше ничего не умеешь делать. Охотничья собака — это почти член семьи. Как можно так говорить!

Он наклонился, поймал собаку и стал, взъерошивая ей шерсть, тщательно исследовать состояние ее кожи, особенно на груди. Время от времени он выбирал и выщелкивал оттуда растительную труху.

— Колючки проклятые уродуют мою собаку, — сказал он, вздохнув.

— Ты бы достал ей бронжилет, — рассмеялся Рауль, — и перед охотой надругивал бы его на нее.

— Не смейся, — отвечал хозяин, — я в самом деле хочу что-нибудь такое придумать.

Мы пошли к машине товарища Рауля. Человек, который привез меня на охоту, давно обо мне забыл и правильно сделал. Да если б и не забыл, в отличие от товарища Рауля не знал бы, где меня искать. Мы поехали в город.

Так мы познакомились с Раулем. Я уже жил в Москве и в Абхазию обычно приезжал раз в год отдыхать. Здесь я чаще, чем в Москве, бывал в ресторанах. Обычно я ходил в верхний ярус ресторана «Амра» попить кофе или чего-нибудь покрепче. Там я несколько раз встречал Рауля. Когда изредка заходишь в один и тот же ресторан и встречаешь там одного и того же человека, кажется, что он в отличие от тебя всегда здесь пропадает.

— Не слишком ли часто ты здесь бываешь, — сказал я однажды, встретившись с ним в «Амре» и подсаживаясь к нему.

— Нет, — отвечал он, придвигая мне фужер, — но куда деваться? Мои друзья почти забыли этику домашнего застолья. Когда они бывают у меня в гостях и затевается какой-нибудь спор, они начинают подхамливать и переходить на личности. Я не могу соответствовать, потому что с молоком матери всосал: хозяин должен быть снисходителен к гостю и прощать ему неловкости. Бывая у них в гостях, я опять слышу хамские выпады и переход на личности. Но опять же, следуя этике застолья, не могу в ответ хамить и нарушать законы гостеприимства уже как гость. Таким образом, и в гостях, и дома я оказываюсь в дерьме. Лучше ресторан — это нейтральная почва, и тут можно дать по рукам человеку, если он переходит границу.

В ресторане он часто перебрасывался шутками со своими знакомыми и приятелями за другими столиками, а иногда и бутылками (разумеется, через официантов), вознаграждающими острое словцо. Одним словом, он производил впечатление большого добродушного увальня, беспрерывно ищущего повод посмеяться.

Однажды от нечего делать мы с одним приятелем забрели к нему в контору в рабочее время. По-моему, приятель, который затащил меня к нему, надеялся, что впоследствии выпивка по поводу нашего прихода. Мы пошли.

В передней перед его кабинетом нас встретила молодая секретарша и очень удивленно оглядела нас.

— У вас дело? — спросила она.

— Нет, — признался приятель, — мы просто друзья.

Лицо секретарши теперь выразило крайнее удивление. Она замешкалась, но потом сказала, вздохнув:

— Хорошо, я доложу...

Это прозвучало так: вы, конечно, сумасшедшие, но как будто не буйные. Она прошла в кабинет и через минуту вышла.

— Пройдите, — сказала она, выйдя из кабинета, как бы пораженная нашим успехом, но все-таки не переставая надеяться, что этот успех частичный.

Мы вошли в его обширный кабинет. На столе у него стояло несколько телефонов. По одному из них он говорил. Не прерывая разговора и окинув нас не очень узнающими глазами, он широким жестом указал нам на кресла, а потом, двинув ручищей вниз, как бы навсегда нас в них утопил.

И тут я увидел совершенно другого человека. Это был суровый капитан на капитанском мостике. Телефоны звонили почти непрерывно. Одним он давал какие-то советы, похожие на приказы, а другим отдавал приказы, похожие на дружескую просьбу.

Несколько раз входили люди с какими-то бумагами, и, если он говорил по телефону, они замирали у дверей с выражением военизированного смирения. Потом следовал короткий рапорт, который он еще ухитрялся на ходу укоротить. И они бесшумно исчезали из кабинета.

Мне уже стало неловко за наше расхлябанное посещение этой четко работающей могучей машины. Я, переглянувшись с приятелем глазами, показал ему, что нам лучше всего удалиться восвояси. Казалось, утопив нас в креслах, он вообще забыл о нашем существовании даже в качестве утопленников. Мы встали, вынырнув. В это время он говорил по телефону. Секунды три он глядел на нас, как бы пытаясь осознать, откуда мы взялись, а потом прикрыл трубку и сказал:

— Если у вас нет конкретного дела, встретимся в восемь часов в «Амре».

Возможно, по инерции, но его слова прозвучали как приказ. Мы вышли из кабинета, и секретарша опять удивленно оглядела нас, теперь, вероятно, пытаясь понять, во время какой паузы мы с ним общались, когда такой паузы вообще не было. Разве что общались знаками, когда он говорил по телефону. Вообще-то один такой знак он нам сделал, после чего мы утонули в креслах.

— Потрясающий человек, — сказал приятель, — даже кофе не угостил.

Блаженное солнце, блаженное море, ленивые стайки туристов и еще более ленивые старожилы, попивающие кофе в открытой кофейне и, вероятно, сравнивающие, как на вкус кофе влияло правление Сталина, правление Хрущева и теперь правление Брежнева. Судя по их лицам, разница была небольшая.

Было удивительно осознавать, что в этом городе, приятно балдеющем от жары, есть точка, где идет четкая, ясная, яростная работа. Вероятно, на таких точках все еще держится наша жизнь. Если узнать, сколько таких точек по стране, вероятно, можно было бы определить, сколько мы еще продержимся.

Вечером мы с Раулем снова встретились в «Амре». В его облике никакой усталости не чувствовалось. Это был все тот же добродушный увалень, обменивающийся шутками с соседними столиками, а иногда и бутылками в ответ на особенно удачные остроты.

Через год, в следующий свой приезд в Абхазию я узнал, что Рауль, никому ничего не сказав, внезапно покинул город и уехал работать на Север. Он уехал именно тогда, когда здесь в правительственных кругах обсуждался вопрос о назначении его министром. Местным, конечно.

— Бросил квартиру, жену, друзей и, никому ничего не сказав, уехал на Север, — жаловались наши общие знакомые.

И всегда неизменно в перечислении того, что он бросил, квартира стояла на первом месте. Жена и друзья иногда ме-

нялись местами, но квартира всегда шла первой. То, что он уехал на Север, его бесчисленные знакомые узнали от его бывшей теперь жены. Судя по их словам, она сама больше ничего не знала. Казалось, мухусчан более всего угнетала скудость информации.

— Тут обком голову ломает, хочет рискнуть и назначить его министром, — сокрушался один местный либерал, — а он фактически нелегально уезжает на Север. Плюнул на либеральное крыло обкома. Из-за него сейчас сталинисты окончательно верх взяли.

— Я думал, — рассказывал при мне тот человек, с которым он был на охоте, — может быть, он деревенским родственникам что-нибудь рассказал. Специально поехал в Лыхны, но и они ничего не знают, он и на них плюнул. Вообще, я вам про него скажу как близкий друг. Хотя он и был первоклассный инженер, с головой у него было не все в порядке. Я это в прошлом году заметил. Вдруг стал придирается к моей охотничьей собаке. Придирается и придирается! Что она тебе плохого сделала? Ты жрешь у меня в доме перепелок, которых она выносила из ужасных колючек. Нет! Придирается. В прошлом году на охоте (он, видно, забыл, что я там был) давай, говорит, вольем ей в глотку коньяк. Сам пьяница, хочет, чтобы все пьяницами стали. И уже разинул моей бедной послушной собаке пасть и хотел туда влить коньяк. Я, клянусь матерью, психанул! Вырвал у него фляжку и изо всех сил забросил ее подальше.

— А он что?

— А что он мог сказать? На моей машине приехал. Куда денется. Как миленький молча пошел и поднял фляжку. И что характерно! Там же на месте допил из нее.

— Ну, не совсем так было, — сказал я.

Он возмущенно посмотрел на меня и вдруг вспомнил как бы мое предательское присутствие там. Однако тут же взял себя в руки и даже, повысив голос, добавил:

— При тебе, может, не совсем так было, а без тебя было именно так! Я же не говорю, что он один раз придрался к моей собаке. Если б один раз, я бы даже не вспомнил. Нет, он каждый раз к ней придирался. А перепелок наяривал, дай Бог! Спрашивается, где же принципиальность? Лишь бы похохмить, лишь бы похохотать!

Так Рауль исчез под ворчание друзей из их жизни. Из моей жизни он тоже исчез. Прошло лет десять. И вдруг в самой середине идиллического, как теперь кажется, болота брежневской эпохи его имя внезапно появилось в нескольких центральных газетах.

Оказывается, он там, на Севере, уже руководил какой-то огромной стройкой и ввел у себя новый метод оплаты труда рабочих, поощряющий частную заинтересованность каждого из них в конечном результате общих усилий. Там описывались какие-то подробности, которых я сейчас не помню. Но суть в этом.

Ради справедливости надо сказать, что некоторые журналисты и тогда поддержали его метод, но некоторые злобно высмеивали его, подтверждая уже свою частную заинтересо-

ванность в нашей идеологии, на которую он якобы покусился. При этом каждый из них ехидно отмечал, что Рауль специальным рейсом послал самолет в Абхазию, чтобы привезти оттуда на далекий Север мимозы. Что хорошего можно было ожидать от человека, спрашивали они, позволяющего себе такие сентиментальные шалости?

И вдруг однажды летом раздается звонок от одного моего приятеля-режиссера. Он жил за городом, в деревне. Он сказал, что со мной хочет поговорить мой земляк, и кому-то передал трубку. Я сразу узнал голос Рауля.

— Хотелось бы увидеться, — сказал он, — можешь приехать?

— Конечно, — ответил я.

Мне и в самом деле хотелось увидеться с ним и, может быть, наконец узнать тайну его исчезновения из Абхазии. К тому же мне вообще нравилась семья этого режиссера, их небогатый, но всегда веселый и гостеприимный дом. Я сел в электричку и поехал, по дороге гадая, как там мог оказаться Рауль, и, если они знакомы и близки, почему они о нем ни разу не вспомнили при мне.

Я вышел на станции и побрел к дому режиссера. Был теплый летний день, повсюду буйствовала зелень. Недалеко от дома режиссера я увидел очаровательную картину. На длинной скамейке сидели юноша и девушка. Девушка сидела как-то боком, стройно подобрав ноги и чуть наклонив вперед свое гибкое тело и лохматую голову: наездница в женском седле. В детстве в Абхазии я еще застал наездниц в женских седлах,

и меня всегда тревожило, как они удерживаются в седле с ногами на одну сторону. Юноша сидел на скамейке верхом, как в мужском седле. Крепкое тело его и голова, тоже лохматая, были наклонены в сторону девушки. Казалось, всадник и всадница мчатся навстречу друг другу и никак не могут домчаться. Они сидели примерно на расстоянии метра друг от друга. О скорости скачки говорили только тела, наклоненные вперед, да лохматые головы. Они молчали, пока я проходил, и было похоже, что молчали гораздо дольше. Ясно было, что они влюблены. Торжественное молчание, и они мчатся навстречу друг другу.

Эта картина как-то меня взбудрила. Я даже подумал, что это хорошая примета. И вот наконец мы увиделись с Раулем. Время, время! Я его, конечно, сразу узнал. Но теперь из добродушного увальня он превратился в мрачно-добродушную глыбу: сильна потолстел.

Рядом с ним была известная, талантливая, интересная актриса. Она работала в театре, где был режиссером хозяин дома. И стало ясно, почему он сюда попал. Как потом выяснилось, у Рауля с ней был многолетний роман, но здесь они вдвоем появились впервые. Была еще одна пара. Родственник режиссера из Ленинграда со своей женой. Они приехали сюда на несколько дней погостить. Я его здесь несколько раз встречал. Это был крупный физик, а если бы, к своему несчастью, не писал пьес, которые никто не хотел ставить, в том числе и его собственный родственник, он, вероятно, стал бы еще более крупным физиком.

— В Абхазию не тянет? — спросил я у Рауля.

— Нет, — ответил он, — отдыхать езжу, но жить уже там не могу: компот. Я привык к Северу, есть где развернуться.

Слышать про компот было неприятно. Патриотизм имеет множество оттенков, но в нем до сих пор не было оттенка смирения. Так проявим же смирение: компот так компот. Возможна и такая точка зрения.

— Это правда, что ты самолет послал в Абхазию за мимозой? — спросил я, напоминая о давней дискуссии.

— Правда, — признался он мрачно. — Далась им эта мимоза. Я ее и в глаза не видел. Но наши женщины работают там в таких зверских условиях, что мне захотелось им сделать подарок. Сколько раз писали, что я одним рейсом отправил в Абхазию самолет за мимозами. Но ни разу не писали, что в том же году, уже не по моей инициативе, самолеты сделали пятьсот рейсов на Большую землю за спиртом.

— Ты бы мне хоть раз веточку мимозы подарил, — шутливо пожаловалась актриса, — наши женщины...

— Я им сказал, — рассмеялся он, — чтобы они, пролетая над Москвой, сбросили тебе веточку мимозы. Разве они этого не сделали?

— Может, ты спутал адрес, — сказала актриса, — и они не туда ее сбросили?

— У меня нет других адресов, — отвечал он, — вот поедем в Абхазию, я тебе целое дерево мимозы подарю.

— А как мы его вывезем? — заинтересовалась она.

— На вертолете, — сказал он с мрачной серьезностью.

— Нет, уж лучше не надо, — смирилась она, — представлю, что о тебе тогда напишут.

— Уже все написали, — отвечал он.

Хозяйка дома — она тоже была актрисой — с быстротой молнии накрыла на солнечной веранде прекрасный стол из всяческих разносолов домашнего изготовления, дымящейся молодой картошки и прочей закуски. В раблезианском обилии выпивки угадывался почерк Рауля. Но с какой сказочной быстротой появился на благоухающей веранде этот цветущий оазис стола!.. Да, есть еще интеллигентные женщины в русских селеньях, которые могут играть на сцене, в антрактах рожать детей, а в свободное время быть хлебосольными хозяйками.

Кстати, четверо ее детей, три мальчика и одна девочка, прямо перед верандой, азартно крича, играли в бадминтон.

За верандой, всего в десяти шагах от нас, начинался настоящий подмосковный лес: сосны, березы, ели. Рядом с телесно-загорелыми соснами девственно белели стволы берез. Чем-то это напоминало черноморские пляжи, где рядом с забронзовевшими телами отдыхающих женщин бледнеют тела новоприбывших туристок. Глядя на загорелые стволы сосен и белые, не принимающие загара стволы берез, хотелось (после первых рюмок) выдвинуть гипотезу, по которой березы вышли к солнцу на несколько миллионов лет позже сосен. Мрачноватые ели как бы пытались доказать, что они детища еще более древнего и более угрюмого, чем солнце, светила и не собираются ему изменять.

Мы расселись на веранде и уже выпили по две рюмки водки, закусывая ее горячей картошкой и соленьями, как вдруг раздался зычный голос женщины:

— Хозяйка!

— Это молочница, — сказал хозяин, заметно помрачнев, как если б на нас в пылу пиршества нагрянула ревизия.

Хозяйка пулей устремилась в дом.

— Ну и что? — спросил Рауль, почувствовав некоторое несоответствие между мирным приходом молочницы и странным помрачением хозяина.

— Тут сложные отношения, — сказал хозяин, — жена сама расскажет.

— Если нас заставят пить парное молоко вместо водки, будем сопротивляться до последней рюмки, — сказал Рауль, с шутовой поспешностью разливая всем водку.

Вскоре вернулась хозяйка. Лицо ее выражало некоторую победную растерянность.

Вот что она нам рассказала:

— Уже месяц, как нам носит молоко местная молочница. Каждый раз, когда я пыталась ей дать деньги, она отмахивалась: «Потом-потом».

А нас за последние годы дважды грабили, когда мы бывали на гастролях. Весь поселок говорит, что это дело рук сына молочницы. Да мы и сами знаем, что он настоящий вор. Но доказательств нет никаких.

Сегодня я с ней хотела окончательно расплатиться, но она мне говорит:

— Я с вас денег не возьму. Вы нам столько хорошего сделали.

— Да уж, — не удержалась я, и на этом расстались. И отказаться от нее не хватает духу: детям нужно молоко.

Все расхохотались, находя в этом случае глубинный смысл всей российской ситуации.

— Нет правового сознания, но теплится совесть: мы ее маленько ограбили, теперь маленько поможем молоком.

— Ничего себе — маленько ограбили! — подняла голос хозяйка.

— Нет, это чисто русское любопытство к крайней ситуации. Она ведь сама почти призналась в том, что это они этот дом грабили.

— Призналась по глупости!

— На Западе грабитель к ограбленному никогда добровольно не придет!

— Собственность священна — этого наш человек никогда не поймет, потому что государство всегда его грабило.

— Воровство в России уравнивает недостатки плохого правления.

— Воровство — тайна многотерпения русского народа.

— Когда воровать становится нечего, то есть когда воровство становится нерентабельным, русский народ быстро забывает о своем многотерпении и устраивает революцию. И тут уже выгребают подчистую.

— Знать бы, когда воровство станет нерентабельным, чтобы удрать отсюда.

— Успокойтесь, Россия еще очень богата.

— Дело не в русских, а в азиатчине. На Кавказе у нас воруют больше, чем в России. Когда жизнь теряет творческий смысл, люди привязываются к воровству. Воровство — тоска по творчеству, имитация творчества.

— Я имел много дел с западными издателями. Среди них попадаются такие жулики, каких у нас поискать. Но разумеется, со своими писателями они не могут себе позволить то, что позволяют себе с нашими. Это говорит об универсальной природе человека.

Ясно, что из России невозможно судиться с западным издателем. И он это знает, и это создает для него соблазн. Значит, дело в неминуемом правовом возмездии. Но в бесправном государстве правового возмездия не боятся, потому что люди и так лишены прав. Тюрьма не создает этического неудобства. Нам надо, чтобы люди почувствовали сладость полноценного правового существования, и вот тогда они будут по-настоящему бояться правового возмездия.

— На это уйдет сто лет, — сказал Рауль. — Лучше я вам расскажу забавный анекдот, который я недавно слышал. Стоят два антисемита — глупый и умный. Проходит похоронная процессия. Глупый антисемит спрашивает: «Кого хороните?» — «Еврея», — отвечают ему из процессии. Глупый антисемит оборачивается к умному: «А разве евреи умирают?» — «Иногда умирают, — отвечает умный, — но чаще пригораются».

Посмеялись и снова разлили водку.

— Что ни говори, Маркс — грандиозная личность. Создать стройную теорию возмездия всем имеющим деньги во всемирном масштабе — это надо быть гением. Процесс Маркса с человечеством длится уже сто пятьдесят лет...

— Но время показало, что Маркс проиграл этот процесс.

— Еще не вечер. Возможна новая революционная волна, и скорее всего на Западе. Компьютер, создавший техническую революцию, может стать источником и социальной революции.

— Как так?

— Главный недостаток планового хозяйства — это абсолютная невозможность учета из одного центра всего, что делается в стране. Компьютер создает возможность такого учета.

— Главное противоречие России — орлиные просторы и куриное зрение правителей.

— Самоуправление всех частей России — вот спасение.

— Самоуправление у нас кончится самоуправством.

— Ну, это филология.

— А что ты думаешь, филология играет огромную роль в политике. Временное правительство было обречено на гибель уже потому, что назвало себя временным.

— Кстати, я никак не могу понять, почему бы не взять классическое стихотворение русской поэзии и не сделать его гимном страны. Например, стихи Блока «О, весна без конца и без краю».

— Это, конечно, очень подходит России: вечная весна!

— А вы заметили, что северные, тундровые народы имеют какое-то сходство с очень южными, например африканцами

или там всякими островитянами. Где слишком холодно и слишком жарко — там замедляется духовная жизнь.

— Точнее сказать, там, где слишком много энергии уходит на борьбу за существование, и там, где слишком мало энергии идет на борьбу за существование, замедляется духовная жизнь. Нужна середина.

— Ну что ж, у нас есть одно утешение. Сказано же: нищие духом первыми войдут в Царство Божие.

— Ничего себе — нищие духом! Русская литература за семьдесят лет, с начала зрелости Пушкина до зрелости Чехова, с блистательной быстротой прошла путь, на который европейским народам понадобилось пятьсот лет.

— Ну, это особенные условия, сложившиеся в девятнадцатом веке. Гений Пушкина еще и потому так развернулся, что у него был такой читатель, как Чаадаев. Дворянство в России не занималось практическими делами, оно читало.

— А может, Россия зачиталась и прозевала свой поезд?

— Коренную ошибку Маркса ничем нельзя исправить. Если бы социальное зло было единственным или главным, он оказался бы прав. Но зло, как уже доказывал Достоевский, лежит в человеке глубже, чем его социальная жизнь.

— Человечеству нужен религиозный колпак.

— Но колпак как раз прикрывает небо.

— Не придирайся к словам.

— Кстати, знаменитый афоризм: бытие определяет сознание. Кажется, Энгельс его придумал. Сколько нам его вдальблывали. Но разве это так?

— Это с какой стороны посмотреть. Чем примитивнее человек, тем бесспорнее бытие определяет его сознание. Чем глубже, чем разумнее человек, тем чаще его сознание определяет его бытие.

— Всякое бытие беременно новым сознанием!

— Совершенно верно, но далеко не всякий это понимает! Для человека развитого всегда сознание определяет бытие. Если бы бытие физика Эйнштейна определяло его сознание, не было бы теории относительности.

— А может, лучше бы ее не было?

— Подожди, это другой вопрос. Совершенно ясно, что мы за разумного человека, у которого сознание определяет бытие. Но что движет народами? Вот что главное. Народами движет соблазн бытия, определяющего сознание. И потому Маркс всегда впереди. Марксизм — всегда религия примитивного сознания. А все народы были, есть и будут примитивны. Этика не передается генетически. Человек каждый раз рождается дикарем. И если первый штурм Маркса в России скорее всего не удался, это ничего не значит. Рано или поздно последуют новые штурмы в новых местах.

— Ты хочешь сказать, что культура не воздействует на жизнь народов?

— История доказала, что нет. Всякий народ, видимо, способен растворить в своих недрах культуру процентов на пять. Не больше. После чего образуется насыщенный раствор. Такова химическая сущность всех народов. В более или менее

полной мере культуру поглощают те, кто создает культуру. Таким образом, культура пожирает сама себя.

— Ты слишком мрачную картину нарисовал. Где же выход?

— По-видимому, в религии. Самый примитивный человек, если он религиозен, сам того не понимая, музыкально превращается в разумного человека. То есть в человека, для которого религиозное сознание определяет бытие. Религиозный человек за Марксом не пойдет.

— А по-моему, вся мировая история — это борьба ума с мудростью, цивилизации с культурой. Цивилизация — оголенный ум. Культура, мудрость — нравственно осмотрительный ум. Пока что на протяжении всей истории культура уступает под напором цивилизации. Цивилизация выигрывает все бои, но она сама себя неизменно истощает. Культура все время отстывает, но сохраняет и накапливает свои силы. Цивилизация — это Наполеон, безостановочно наступающий на Россию и в конце концов проигрывающий решительное сражение. Ум не может понять чужую территорию, а для мудрости нет чужой территории, потому что для нее принципиально нет чужих.

— Кто-то тут говорил, что духовная жизнь замирает в слишком холодных и слишком жарких странах. А ведь все великие религии созданы в жарких странах: буддизм, христианство, магометанство.

— Оттого-то человечество такое счастливое!

— В жарких странах люди от жары раньше проснулись. В этом дело!

— В жарких странах сознание легко миражирует. Тоска по оазису создает миражи.

— Так что ж, по-твоему, христианство — это мираж?

— Конечно, красивый мираж!

— Даже если это так, нужен такт!

— Да ты, брат, пьян!

— Я не пьян. Я, как народ, — насыщенный раствор.

— В конце концов, какая разница: религия — мираж или действительность, если она действительно помогает человеку. Я в юности толкал ядро. И вот я заметил такую закономерность: если, когда толкаешь ядро, мысленно намечаешь точку, где оно упадет, примерно на метр дальше, чем ты толкаешь, то ядро действительно летит дальше, хотя и не на метр. Но если намечаешь точку, куда упадет ядро, примерно на два метра дальше, чем там, где у тебя обычно падает ядро, то оно летит даже хуже, чем когда ничего не намечаешь.

— Что из этого следует?

— Вера — это когда намечаешь на метр дальше, чем можешь. Это придает силы и, может быть, более правильную траекторию летящему ядру. Фанатизм — это когда намечаешь точку на два метра дальше своих возможностей. Фанатизм — бешенство мечты. Он все разрушает. Бог ненавидит своих бешеных приверженцев.

— Кстати, что вы скажете о философии женственности, если для нас это еще не поздно.

— Нет, нет, милая, для вас это еще не поздно!
— Спасибо за этот финишный комплимент!
— «Что мужчине нужна подруга, женщине не понять. А тех, кто знает об этом, не принято в жены брать».

— Есть два типа женственности. Женственность публичного дома и женственность семейного дома. Женственность публичного дома рассчитана на одноразовый удар. Тут надо оглушить мужчину оголенностью и развязностью.

Истинная женственность состоит в бесконечном многообразии запахивающих движений. Как духовных, так и физических. И сколько бы мужчина ни делал вид, что ему нравится распахнутая женщина...

— Это он, подлец, так делает потому, что жениться не хочет...

— Совершенно верно... На самом деле ему всегда нравилась и будет нравиться вечная женственность прикрывающегося движения. Стыд — самая соблазнительная одежда женщины. Современная цивилизация словно хочет из всех женщин сделать проституток. Кино, книги, телевидение, моды всячески поощряют оголенность. Разумеется, в этом нет какого-то дьявольского умысла. Есть желание быстрее продать свое изделие. Но вред это приносит изрядный. Женщина думает, что так мужчине легче понравиться, а мужчина уже не может порядочную женщину отличить от шлюхи.

Все три женщины в нашем застолье были в легких летних платьях, с оголенными руками и шеями.

— Прямо не знаю, как быть теперь, — сказала подруга Рауля, — не придется ли нам?

— Вы уже вне игры, — шутливо сказал Рауль, — вас это не касается.

— Ты в этом уверен? — иронически заметила его подруга и с выражением очаровательного испуга скрестила руки на груди, якобы прикрывая оголенные плечи. И в самом деле сразу сделалась соблазнительнее. Сыграла.

Мы прекрасно сидели. Подруга Рауля была хороша и лихо выпивала водку почти наравне с мужчинами. Вдруг она выразительно посмотрела на меня и рассказала:

— Еще в начале царствования Брежнева я, тогда молоденькая актриса, играла в одной пьесе секретаршу большого начальника. На сцене у меня было много пауз, и я должна была делать вид, что увлечена чтением какой-то посторонней книги и поэтому явно уклоняюсь от своих обязанностей. Это был такой сатирический ход в пьесе. А я на самом деле в это время читала один самиздатовский роман. И вдруг во время чтения я так прыснула от смеха, что страницы рукописи, напечатанной на папиросной бумаге, разлетелись по сцене, а некоторые даже залетели в партер. Секунду я ни жива ни мертва: если начальство узнает, что именно я читала, — выгонят из театра.

И вдруг слышу аплодисменты зрителей. Они решили, что я окончательно распоясалась, что это входило в замысел постановки. Я взяла себя в руки, собрала разлетевшиеся листки, а из партера мне подали те, что залетели туда. Я села на свое место и уже как ни в чем не бывало делаю вид, что продолжаю читать. Никто ничего не узнал. Режиссер решил, что

я сымпровизировала эту сценку достаточно удачно, и просил меня повторить ее, когда мы в следующий раз будем играть эту пьесу. Но я, конечно, больше ее не повторяла.

Мы посмеялись ее рассказу. Скромность мешает мне называть автора тогда подпольного романа. И вдруг в разгар пиршества, когда хотелось воскликнуть: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!» — подруга Рауля сильно побледнела и сказала:

— Мне что-то плохо. Я пойду лягу.

Рауль вскочил, но хозяйка дома, опережая его, подбежала к ней и попыталась помочь ей встать. Но она отстранилась от помощи и встала сама, бледная, с капельками пота на лбу. Продолжая отстраняться от помощи хозяйки, она очень прямо и очень твердо вошла в дом. Рауль и хозяйка последовали за ней. Через некоторое время хозяйка вышла на веранду.

— Дала ей валидол, — сказала она. — Кажется, лучше.

— Она выкладывается на репетициях, как на премьере, — с грустной гордостью заметил хозяин, — талант прет из нее. Но порой не выдерживает нагрузки.

Мы еще посидели за столом. Подул предзакатный ветерок, и березы, как сухопутные ивы, затрепетали струящейся зеленью веток: множество прощальных косынок. Я как бы про запас полной грудью вдохнул благоухающий воздух и как бы про запас посмотрел на небо: под высокими перистыми облаками реяла последняя ласточка.

Я решил узнать, как дела у заболевшей, а потом ехать домой, то ли с Раулем, то ли одному. Я вошел в комнату, где ле-

жала его подруга. Дверь в нее была распахнута. Она спала на кровати, укрытая одеялом. Рауль молча сидел у ее изголовья, погрузневший и как бы еще более погрузневший. Его грузность сейчас подчеркивала необъятность его терпения.

И вдруг что-то неуместно-комическое я увидел во всей этой сцене. Здесь, в далеком Подмосковье, он словно вернулся к традициям абхазской народной жизни. Это у нас называется дежурить у постели больного, а если точнее переводить, караулить, вероятно, чтобы вовремя остановить его душу, не дать ей отлететь. Вошла хозяйка и пощупала пульс больной.

— Все в порядке, — шепнула она, — завтра на репетиции будет как огурчик. Езжайте.

Мы попрощались со всеми, выпили на посошок и пошли к электричке. Я обратил внимание на то, что влюбленная парочка, сидевшая на скамье, все еще сидит там в тех же позах, как бы наезжая друг на друга на конях, но кони все еще никак не доскачут. Расстояние между ними оставалось прежним, но наклоненные головы сильно приблизились. Вот оно, настоящее чудо тяги друг к другу, чудо влюбленности и стыда. Все-таки жизнь продолжается на Земле!

*Что мужчине нужна подруга, женщине не понять.
А тех, кто знает об этом, не принято в жены брать.*

Это бормотал Рауль.

— Здорово сказано! Чьи стихи? — спросил Рауль.

— Киплинга, — сказал я.

Помолчали. Мне вдруг показалось, что процитированные стихи имеют какое-то отношение к его внезапному исчезновению из Абхазии и он сейчас сам все расскажет. Но он заговорил о другом.

— Слушай, — вдруг сказал Рауль, морщась от неловкости и всовывая свою лапищу во внутренний карман пиджака, — я знаю, тебя сейчас не печатают... Я хочу тебе не дать... считай, одолжить деньги до лучших дней...

Я, конечно, денег у него не взял. Но жест его был так искренен и сам он так смутился, что я был тронут.

— Ну, ладно, как хочешь, — сказал он и добавил: — Тебя, конечно, интересует, почему я внезапно уехал из Абхазии? Я тебе сейчас все расскажу.

И он мне рассказал свою историю с подробностями, на которые я и не рассчитывал.

В Москве, во время учебы в строительном институте, он познакомился с девушкой из Абхазии. Она была на несколько лет младше его и училась в Плехановском институте экономики. Они влюбились друг в друга, и у них начался бурный роман, который длился почти до окончания им института.

Первая любовь всегда оказывается несчастливой, даже когда она счастливая. Когда первая любовь счастливая, человек не понимает этого, потому что она первая. Ему ее не с чем сравнивать. Первая его любовь была и первой женщиной, которую он узнал. Так прошло несколько безоблачных лет.

Приезжая на лето в Абхазию, они расставались, потому что он жил в Гудаутах, а она в Мухусе. Ему было ужасно не-

ловко знакомиться с ее родителями, потому что он уже жил с их дочкой, но не был на ней женат и даже не считался женихом. Все-таки она один раз затащила его в свой дом, и он навсегда запомнил ее мать, интересную женщину с большими выразительными глазами. Скорее всего, запомнил от стыда.

И так как его первая любовь и была его первой женщиной, и так как роман с ней у него был безоблачный, в конце концов перед ним встал вопрос: и это все, что можно ожидать от женщины? Не может быть!

Именно эта мысль охладила его отношение к своей девушке. Он решил, что ему жениться рано. Он решил, что у него была обыкновенная любовь, а ему надо испытать необыкновенную. Разумеется, при расставании были слезы, объяснения, ночные звонки. Однако она была гордой девушкой, и недолго длились объяснения. К тому же все эти годы — он знал об этом, да она и не скрывала — в достаточно обозримой близости от нее маячил влюбленный студент.

Итак, они расстались. После окончания института он приехал в родной город и стал там работать в строительном управлении. Там он пробыл несколько лет, быстро поднимаясь по службе. За это время у него было несколько романов с женщинами, приезжавшими отдыхать на Черноморье. И он с удивлением осознал, что ни одна из них ничего нового ему не открыла.

Более того, он с не меньшим удивлением убеждался, что на самом деле не был в них влюблен, что это ему только казалось до первой близости. И с еще большим удивлением он до-

гадался, что и эти женщины не были в него влюблены, но в отличие от него у них не было даже этой иллюзии.

Это его потрясло. Ему казалось, что женщина по самой своей природе романтичнее мужчины. Он все больше и больше тосковал по своей первой любви, хотел что-нибудь узнать о ее судьбе, но узнать было не у кого. Обращаться к ее родителям он не рискнул. Если они что-то узнали о его истинных отношениях с их дочкой, он бы испепелился от стыда.

В конце концов он, как и многие мужчины, влюбился и женился на девушке, которая внешне чем-то была похожа на его первую любовь. Однако первая любовь не повторилась, и особенной душевной близости он с этой женщиной не испытывал. Тогда он вообще махнул рукой на любовь. Детей у них не было: жена не могла рожать, и он весь сосредоточился на работе, которая его и так захватывала. В передышках между трудовыми запоями он предавался застольным радостям или чтению книг, в которых он искал юмор как земную замену счастья.

Вскоре из Гудаут его перевели в Мухус, и он здесь стал начальником одного из самых крупных строительных управлений. В обкоме его ценили как хорошего спеца и прощали ему некоторые странные выходки, которые не простили бы другому.

Так, перед заселением им же построенного дома какой-то чиновник горсовета вычеркнул из списка очередников рабочего из его строительного управления. Вместо него он втиснул в этот список своего родственника. Дело еще осложня-

лось тем, что рабочий этот задолго до заселения дома пришел к нему и сказал, что квартиру отдают совсем другому человеку. Рауль позвонил чиновнику из горсовета, но тот его успокоил и сказал, что список остается неизменным. Рауль был удивлен такой подозрительностью рабочего и уверил его, что он обязательно получит квартиру.

— Как вы посмотрите мне в глаза, Рауль Асланович, если я окажусь прав? — сказал рабочий.

— Я вам даю право плюнуть мне в глаза, — сказал Рауль, — если вы останетесь без квартиры.

И вот в последнее мгновение этого рабочего действительно убрали из списка и квартиру дали именно тому инженеру, на которого указывал рабочий.

Бледный, с трясущимися руками, рабочий ворвался к нему в кабинет в день вселения в новый дом.

— Вы не останетесь без квартиры, — сказал ему Рауль, как бы опережая плевков, на который все же навряд ли был способен этот рабочий, — сегодня же переезжайте в мою квартиру. Меня или посадят, или дадут новую квартиру. В обоих случаях, как видите, я не останусь без квартиры.

И захохотал. И этим навсегда покори́л этого рабочего. Тот и в самом деле с женой, тещей и двумя детьми в тот же день переехал к нему в квартиру. Причем стройуправление Рауля выделило ему машину для переезда.

Весть о том, что начальник самого крупного строительного управления в знак протеста против незаконного распределения квартир поселил у себя в доме рабочего со своим се-

мейством, потрясла чиновничий аппарат Мухуса. Такого никогда не бывало и не должно было быть! Конечно, арестовать Рауля за это не могли, но все были уверены, что его под тем или иным предлогом снимут с работы. Но кого назначат на его место, гадали в аппарате самого обкома.

Рауля спасло то, что Абхазией тогда правил знаменитый Абесоломон Нартович, человек сам лихой и тщательно коллекционировавший лихие поступки подданных его царства.

— Он поступил как настоящий большевик, — сказал на бюро обкома Абесоломон Нартович, — и мы его за это должны поддержать.

Но Абесоломон Нартович не был бы самим собой, если бы тут же, на глазах у Рауля и не предупредив его, не присочинил кое-что о своем участии в его небольшом подвиге.

— Не думайте, что все это так стихийно случилось, — добавил Абесоломон Нартович, — он мне по телефону рассказал всю историю с этим рабочим и посоветовался, как ему быть. Я ему на это ответил: «Ты рабочему обещал квартиру — значит, выполняй обещание. Мы не можем обманывать рабочий класс».

— Да, но заигрывание с массами, — зароптали обкомовцы, напоминая знакомую формулу. Но Абесоломон Нартович и тут нашелся.

— Шарахаясь от заигрывания с массами, — сказал он, — мы слишком заигрались в обратную сторону. Если обком не выделит квартиру этому талантливому инженеру, я его, в свою очередь, беру к себе домой. Тогда вам придется выде-

лить новую квартиру секретарю обкома, а это вам дороже обойдется.

Через три дня Раулю выделили новую квартиру из обкомовских запасов, а рабочий со своим семейством так и остался на его старой квартире.

Вся эта история имеет типичные особенности и довольно забавно кончилась. Во-первых, никому в голову не пришло, что надо выдворить из квартиры инженера, незаконно ее занявшего. Это было не под силу даже самому Абесоломону Нартовичу. Я несколько раз в жизни сталкивался со случаями просто разбойного захвата квартир, когда захватывавшие эти квартиры даже не заручались мошеннической помощью чиновников. Они занимали самовольно квартиры, потом баррикадировали дверь, некоторое время через окно на веревке спускались за продуктами, и в конце концов их оставляли в покое. Власть, написавшая на своем знамени гимн насилию, почему-то в таких случаях остерегалась применить насилие. Что их удерживало? Загадка. То ли боязнь публичного скандала — огласки, то ли смущение перед неожиданным насилием снизу? Надо при этом учесть, что на такие отчаянные шаги обычно шли люди, многие годы бесплодно состоявшие в очередниках горсовета.

Но и для Рауля, несмотря на высочайшую защиту Абесоломона Нартовича, история эта просто так не кончилась. Когда страсти улеглись, его собственная парторганизация, конечно с подсказки обкома, вlepила ему выговор с забавной формулировкой: «За административную бестактность». Абе-

соломон Нартович мог об этом и не знать. В обкоме всегда, согласно с диалектикой (единство противоположностей), действовали две силы.

Зато доподлинно известно, что сам Абесоломон Нартович не без пользы для себя неоднократно рассказывал отдыхающим в Абхазии большим московским начальникам про этот случай. При этом он искренне забывал, что Рауль к нему за советом не обращался и он ему никаких советов не давал. Большие московские начальники одобрительно кивали головами, удивляясь экзотическим крайностям на окраинах.

— Иногда с бюрократами приходится бороться парадоксальными методами, — заключал свой рассказ Абесоломон Нартович. И большие московские начальники одобрительно кивали головами, не только не подозревая, что сами они тоже бюрократы, но радуясь, что со своими бюрократами им не приходится бороться столь парадоксальными методами.

Тем не менее Рауль вел с обкомовцами сложные интриги, сущность которых сводилась к тому, чтобы уступать им во второстепенных просьбах и рекомендациях, но стоять стеной там, где эти рекомендации грозили провалом в работе. Так, он не взял на работу ни одного инженера из тех, кого ему навязывал обком. Навязывали всегда плохих.

Идти на полную независимость от обкома он не мог. По его словам, на стройке всегда найдут, к чему придраться, снимут с работы и назначат такого остолопа, который все обрушит. Так, по его словам, оплата земляных работ в те времена производилась по расценкам тридцатых годов, а за такую оп-

лату ни один рабочий не пойдет на стройку. Приходилось выкручиваться, приписывая рабочим объем этих работ, чтобы они получали приличные деньги.

И вот однажды воскресным днем, сидя в «Амре» и попивая кофе, он увидел, как через столик от него присели две женщины с чашечками кофе. Одна из них была матерью его первой любви. Он почувствовал волнение. Он встретился с ней глазами и поздоровался с осторожной почтительностью. Но она смотрела сквозь него, словно он был прозрачным. Потом отвела глаза. Он подумал, что она по рассеянности его не заметила, и снова, поймав ее взгляд, когда она посмотрела в его сторону, с подчеркнутой почтительностью поздоровался с ней. Она опять ему не ответила! Черт его знает, что ему показалось! Ему подумалось, что с ее дочкой случилось какое-то несчастье, что мать узнала об их истинных отношениях, что, если бы он не бросил ее дочку, с ней этого несчастья не случилось бы.

Потемнев от боли, обиды, унижения и страшных предчувствий, он покинул «Амру». Теперь девушка его первой любви и ее мать, презрительно смотревшая сквозь него, не выходили у него из головы. И так как он об этом думал день и ночь в ближайшие два месяца, он, несколько раз встречая ее на улице, издали узнавал. В первый раз он опять почтительно кивнул ей, она шла навстречу и никак не могла не заметить его, но она, не мигая своими большими синими глазами, смотрела сквозь него, оледенев презрением. И он перестал с ней здороваться, хотя еще несколько раз встречал ее на улице.

Увидев ее, он чувствовал как бы разряд тока огромного напряжения и, почти теряя сознание от ужаса, проходил мимо. Но что случилось с ее дочкой, не у кого было узнать. А вдруг она, никому ничего не сказав, покончила жизнь самоубийством? Он знал силу ее характера и теперь понимал, что от нее всего можно было ожидать.

К нему пришла бессонница, которой он никогда не ведал. Лежа рядом с беззаботно посапывающей женой и представляя океан бессонной ночи, который предстоит переплыть, он приходил в такое отчаяние, что с трудом отворачивался от сулящего покой распахнутого окна. То, что жена ничего не подозревала о его мыслях, с одной стороны, его устраивало. Но с другой стороны, приводило в невероятную ярость. Рядом с ней мучается много недель ее муж, близкий к самоубийству, так неужели можно ничего не заметить? Конечно, он ей ничего не говорил, но неужели, курдючная душа, думал он, можно ничего не замечать? Хотя бы заподозрить, что у него на работе какие-то неприятности? Нет, ничего не замечала. И может быть, именно потому воспоминания о первой любви разрастались, как раковая опухоль.

Теперь он никак не мог понять, почему он ее бросил. Как можно было, любя, бросить любящую девушку? «Сам я — курдючная душа», — злобно думал он о себе. Он вспоминал, как вершину счастья, один случай из их жизни. В то лето они несколько дней гостили за городом на даче его друга. Дача была расположена над Москвой-рекой. В тот день они на попутной лодке переплыли на другой берег, долго гуляли в ле-

су, поклевывая сладкую малину, заблудились, плутали, вышли в маленький городок, голодные, зашли в ресторан и так засиделись в нем, закусывая и выпивая, что, когда покинули ресторан, оказалось, что последняя электричка ушла и им не попасть на тот берег.

— Давай переплывем реку? — сказала она, посмотрев на него безумными влюбленными глазами.

— Давай, — сказал он, и они спустились к берегу. Безлунная, почти белая ночь, и никого вокруг. Он знал, что она хорошо плавает. Но кто знает, что может случиться? Не глядя на нее, а только стараясь охватить взглядом ширь реки, он прибавил: — Но учти, что нам тонуть никак нельзя.

— Почему? — спросила она.

— Представляешь, какой ужас, — сказал он, продолжая оглядывать реку, — нас обнаружат голыми.

— Разве это так ужасно? — сказала она насмешливо. Он повернул голову — она стояла перед ним голая, стройная, юная. Когда она успела? — подумал он, удивляясь фантастической скорости, с которой она успела раздеться. В их бездомных скитаниях, рискованных уединениях бывали случаи, что их могли застукать случайные люди, и тогда она вот с такой же фантастической скоростью успевала привести себя в порядок.

Он тоже разделся догола, тщательно свернул и связал одежду обоих, взял этот узел в одну руку, и они погрузились в холодную ночную воду. Он плыл, гребя одной рукой, а другую, с одеждой, высунав над водой.

— Я знаю, что ты сделаешь, если я утону, — сказала она, тихо смеясь над водой.

— Что? — спросил он, осторожно загребая одной рукой.

— Ты сначала выплывешь на берег, наденешь трусы, а потом поплывешь доставать меня со дна.

— Точно, — ответил он, стараясь не окунуть в воду узелок с одеждой.

— Вероятно, если здесь не слишком глубоко, достанешь меня со дна и осторожно, как эту одежду, отбуксируешь к берегу, — фантазировала она.

— А потом? — спросил он, чувствуя, что рука с одеждой затекает от неподвижности.

— А потом, — продолжала она, — ты сделаешь мне искусственное дыхание, но я не оживу. А потом ты попробуешь другой способ, и я оживу.

Он так захохотал, что чуть не окунул в воду узел с одеждой.

— Он еще хохочет! — кричала она, смеясь. — Прочь от меня, труположец! Я выйду замуж за чистого мальчика, который любит меня издали! Он — рыцарь!

Безумцы! Они еще шутили! Что бы было, если б на них наткнулся какой-нибудь патрульный катер! Но никто на них не наткнулся, он только поглядывал на ее побледневшее от холода и необыкновенно похорошевшее лицо, и они благополучно добрались до берега.

И как было изумительно, когда они, уже на берегу, бросились друг другу в объятия и она, дрожа и клацая зубами, ис-

кала губами его губы, и как было чудесно прижиматься к ее холодному мокрому телу, всем телом добираясь до горячо струящейся ее крови. Как долго — оказалось, на всю жизнь — длилось блаженство от холода и страха, что их все-таки кто-нибудь увидит! Но никто их не увидел! И никто их никогда не накрывал в их бездомье ни в студенческих общежитиях, ни в загородных лесах, ни когда они внезапно уединялись на молодежных сборищах в чьей-нибудь случайной квартире!

Как он мог бросить такую девушку, как он мог выдержать ее слезы, когда она в последний раз звонила и звала его на встречу, а ему казалось, что все уже ясно, что все уже и так сказано, а главное, ему было жалко покидать застолье в доме его друга, где он с ней несколько раз был счастлив и куда она ему догадалась позвонить, понимая, как унизителен ее звонок в дом его друга, где она бывала в качестве его полноправной возлюбленной!

Ужас вины перед ней сотрясал его душу. Он не знал, что думать: заболела неизлечимой болезнью, стала калекой, умерла?! А тут еще ее мать ходит по городу с широко распахнутыми глазами и смотрит сквозь него! Невыносимо! Еще две-три встречи — и он позорно грохнется на землю и потеряет сознание!

И тогда он понял, что надо навсегда покинуть Абхазию и ехать на Север. Почему на Север? Просто потому, что там работал его товарищ по студенческим временам и в своих письмах усиленно зазывал его туда. Ночью перед отъездом, преодолевая чувство вины перед женой, он ей сказал, что на-

всегда уезжает на Север. К этому времени она уже понимала: что-то должно случиться. В ответ она ему сказала самое глупое и самое успокоительное из всего, что можно было сказать:

— А как имущество делить будем?

И он окончательно уверился в правильности своего решения.

— Делить нечего, — сказал он, — я беру только чемодан со своими вещами.

Так он оказался на Севере, где руководил огромной стройкой, столь огромной, что ему и самолет с мимозами вынуждены были простить.

Когда он стал рассказывать о женщине, которая от презрения к нему смотрела сквозь него, я чуть не закричал, но вовремя прикрыл рот. Дело в том, что я достаточно хорошо знал эту женщину и ее семью. Они жили на нашей улице, и в ее дочь был влюблен мой школьный товарищ и даже посвящал ей стихи. Впрочем, вероятно для рифмы, он был влюблен в еще одну девушку.

Как мило она высовывалась из окна веранды, стена которой низвергала фиолетовый водопад глициний! Цвет ее глаз! «Ее глаза подражают глициниям или глицинии подражают ее глазам?» — философствовали тогда два школьника.

Обычно она высовывалась из окна веранды, когда мы возвращались из школы. Я думаю, что звук школьного звонка дотягивал до ее дома. И хотя она не отвечала моему другу взаимностью, ей лестно было, что этот интересный мальчик, да еще лучший школьный поэт, влюблен в нее.

Мы несколько раз бывали на вечеринках в ее доме. И хотя мы были одноклассники, я понимал, что эта обаятельная девушка только оттачивает о нас зубки своей женственности. Почему-то чувствовалось, что она ждет кого-то постарше нас. Ее мать была ужасно близорука, но, видимо, из пожизненного кокетства никогда не надевала очки. Эта интересная сорокалетняя женщина тогда нам казалась безнадежной старухой. А она напропалую кокетничала с нами, над чем мы потом, оставшись наедине с другом, охотно и много смеялись. Для дочери мы как будто были слишком юны, а для матери — нет. Однажды, когда мы уже уходили, она, как бы шутливо подпрыгнув, поцеловала меня прямо в губы. Я чуть в обморок не упал: за что?! И не могла же она по близорукости спутать меня со своим мужем, который только что вошел в дом и, стоя у дверей, обалдело оглядывал нас. Боже, если б я знал тогда, куда запрыгнет ее дочь!

Разумеется, эта женщина просто не узнавала Рауля, и для презрения к нему у нее не было никакого повода. Дочь ее вполне удачно вышла замуж, живет в Киеве, у нее двое детей. Все это было мне совершенно точно известно. Уже предположительно могу сказать, что она вышла замуж именно за того влюбленного студента, который все годы ее учебы терпеливо маячил в обозримой близости. Если это так, можно полагать, что тот звонок в дом друга Рауля был последней попыткой вернуть его. Думаю, сразу после этого она сказала студенту «да».

Выслушав Рауля, что я мог ему сказать? Сказать, что близорукая женщина только из-за своей близорукости чуть не

довела его до самоубийства и перевернула всю его жизнь? Этого я не мог произнести. Открыть человеку, что все его страдания — результат шутовства самой жизни? Нет, этого я не мог. Если подумать, ценность человека прямо пропорциональна возможностям его нравственного напряжения. А чем вызвано это напряжение, никакого значения не имеет. Даже если это последствие дурного сна.

В конце концов он заслужил эти страдания и с честью вышел из них. Но про его девушку я ему сказал, чтобы навсегда вырвать из его сердца эту занозу.

— Она благополучно живет в Киеве, — сказал я ему, — у нее муж и двое детей.

— А ты откуда знаешь? — спросил он и странно посмотрел на меня, кажется, жалея, что он все это рассказал.

— Она жила на нашей улице, — пояснил я, — я ее еще школьником знал.

— Что же ее мать так презирала меня? — с ненавистью спросил он.

— Не знаю, — сказал я, — уверен, что дочь ничего не говорила ей.

— Да, — согласился он, — это не похоже на нее. Видно, какие-то сплетни дошли. А сколько лет ее старшему... сыну или дочке?

Он с большим любопытством взглянул на меня. Даже с волнением.

— Этого я не знаю, — сказал я, — я потерял ее из виду гораздо раньше, чем ты.

— Впрочем, все это теперь не имеет никакого значения, — вздохнул он уже в метро, где мы собирались расстаться. Он это сказал, странно озираясь с высоты своего роста. Казалось, метро вообще создано для таких крупных людей, и он сейчас тоскливо озирается, не видя соплеменников по росту.

Сейчас он мне показался особенно огромным и особенно одиноким. Всякий крупный человек всегда кажется одиноким. Но когда он и в самом деле одинок, мы утешаем себя мыслью, что он просто кажется одиноким оттого, что крупный.

— Ты женат? — спросил я и кивнул как бы на Север.

— Кажется, нет, — сказал он и сам же расхохотался, не очень уверенно нащупывая юмористическую тропу.

Мы обнялись и пошли в разные стороны. С тех пор я его никогда не видел.

Недавно я узнал, что он там, на Севере, внезапно умер от инсульта. Думаю, что туда все еще много завозят спирта, но мимозы, это уж точно, теперь туда никто не завезет. Да и какие мимозы сейчас в несчастной Абхазии!

пастух и косуля

Он еще раз заглянул в огромный, километровый провал, поросший кое-где кустами держидерева, лещины, рододендрона и лавровишни. В самой глубине провала шумела белопенная горная речушка. Он поежился. Холодок прошел по

его спине при мысли, что он сорвется и полетит вниз. Все-таки он надеялся, что этого не случится.

Над самым обрывом росло молодое буковое дерево. Больше зацепиться было не за что, хотя голос косули, к которой он собирался спуститься, раздавался гораздо правее того места, где рос бук. Но больше зацепиться было не за что.

Дело в том, что уже два дня откуда-то с этого обрыва раздавалось жалобное блеяние косули. Видимо, она сорвалась с крутого склона и очутилась в таком месте, откуда не могла выбраться. В горах и с домашними животными, особенно с козами, это изредка случалось. В таких случаях пастухи старались добраться до животного и вытащить его на ровное место. Если животное оказывалось покалеченным, его резали, часть мяса варили и ели, а часть коптили над костром. Впрочем, за лето на альпийских лугах одну-две козы могли прирезать и так, даже если они никуда не проваливались. Пастухи, дружно евшие мясо, друг на друга донести не могли, а колхозное начальство списывало этих коз как жертв стихийного бедствия.

И вот два дня жалобно блеет косуля, застрявшая где-то на обрыве. Пастухи по гребню хребта подходили к тому месту, откуда раздавался голос косули, но самой косули не было видно, а место, по их мнению, было настолько гиблым, что никто и не подумал попробовать туда спуститься. Правда, один пастух обошел провал, спустился с карабином к речке, чтобы снизу убить ее в надежде, что туша убитой косули, нигде не зацепившись, скатится вниз. Но сколько он ни взгляды-

вался в склон огромного обрыва, он так и не смог нащупать глазами коосулю. Пастухи махнули рукой на эту соблазнительную, но недоступную добычу: близок локоть, да не укусишь.

Но пастух Датуша решил сегодня добратся до косули, вытащить ее из провала, а потом пристрелить или на веревке притащить к шалашу, прирезать ее и попировать вместе с товарищами. Он сам не осознавал, что его решительность вызвана невыносимыми звуками жалобного блеяния косули. Конечно, и другие пастухи жалели коосулю, но он чувствовал, что жалеет ее гораздо сильнее остальных, но ему было бы в этом стыдно признаться им. Они бы его высмеяли: какой же ты мужчина?

И вот сегодня, когда наступила его очередь дежурить в шалаше и готовить обед пастухам, которые ушли пасти стада коров и коз, он решил вытащить коосулю из провала.

Датуше было пятьдесят лет. Он был выше среднего роста, крепкого сложения. На нем была сатиновая рубашка, перепоюсанная не кавказским, а широким, как здесь считали, солдатским ремнем. На ногах — черные брюки галифе и крепкие, начищенные бараньим жиром ботинки. Сбоку на поясе в чехле болтался пастушеский нож.

Его загорелое лицо с большими голубыми глазами производило впечатление добродушия, что и соответствовало действительности. Однако наблюдательный человек по крутой, упрямой посадке его головы мог почувствовать в нем сильный характер и не ошибся бы.

Датуша имел прозвище Чистюля. Он был физически необычайно опрятен и, кроме того, когда брался за какое-нибудь дело, доводил его до блеска, казавшегося окружающим излишним и даже глуповатым.

Условно говоря, начиная с пастуха и кончая академиком, люди разделяются на две категории: способные и одаренные. Способные люди делают то или иное дело хорошо в силу технологической угадчивости, комбинационного любопытства, сообразительности. Одаренные люди хорошо делают то или иное дело, когда чувствуют некий этический толчок, заставляющий их действовать. Вне этического толчка часто выглядят глуповатыми. Таким и был пастух Датуша по прозвищу Чистюля.

Лет пятнадцать назад какая-то дикая туристская группа неожиданно вывалилась к их пастушеским шалашам. Пастухи встретили туристов гостеприимно, а сами туристы, среди которых женщин было больше, чем мужчин, выставили водку. Много водки. Датуша поджарил копченое мясо, приготовил мамалыгу. Водку было хорошо запивать ледяным кислым молоком.

Во время вечернего пиршества как-то само собой получилось, что женщины, свободные от кавалеров, распределились между пастухами. Вместе с Датушей их было трое. Женщина, которая по каким-то неведомым расчетам должна была переспать с Датушей, подседа к нему и блестящими, слегка пьяными глазами посматривала на него. Датуша таких вещей не терпел.

— Я женат, — разъяснил он ей, когда приблизилось время расходиться по шалашам.

Известие это вызвало всеобщий хохот, но Датуша ничуть не смутился.

— И я замужем, — сказала женщина с улыбкой, как бы успокаивая его, — тоже мне чистюля...

Тут двое пастухов грохнули от хохота, даже шутливо попали на траву, не в силах вымолвить ни слова. Туристы удивленно смотрели на них, не понимая, что их так развеселило.

— Вы в точку попали, — наконец сказал один из них, утирая глаза, — мы его тоже называем Чистюлей, только по-абхазски.

— А что, в самом деле, — слегка распалилась женщина и, довольная поддержкой пастухов, повторила: — Да, я тоже замужем.

— Нет, — твердо ответил ей Датуша и посмотрел на нее своими ясными голубыми глазами, — у тебя нет мужа.

Тут от хохота грохнули все, почувствовав в утверждении Датуши какой-то свой философский смысл. Женщина, может быть по причине некоторого опьянения, этот философский смысл не уловила, а стала рыться в рюкзаке в поисках своего паспорта, что вызвало у всей компании новый взрыв хохота.

Датуша и тут ничуть не смутился, но ушел в свой шалаш и лег спать. Что там происходило снаружи и в других шалашах, он не видел, но мог догадываться. То и дело раздавались голоса и смех подвыпившей компании.

— Куда лезешь, — вдруг услышал он голос одного из пастухов, — ты что, не видишь, что я уже женился?

Он обращался к другому пастуху. Опять раздался дружный хохот. Утром туристы ушли, а пастухи часто вспоминали эту женщину и, смеясь, говорили Датуше:

— Как она тебя усекла, Чистюля?!

...Датуша подошел к молодому буку, бросил моток веревки, которую держал в руке, а потом снял с плеча карабин и осторожно положил его у подножия бука. После этого он аккуратно распутал веревку, обмотал конец ее за ствол бука и крепко, тремя узлами, прикрепил ее к стволу. После этого он обхватил веревку двумя руками и изо всех сил стал тянуть и дергать ее в стороны для проверки узлов и надежности самой веревки. Веревка была достаточно крепкой, чтобы выдержать тяжесть его тела. Так ему показалось.

Держа второй конец веревки в руке, он осторожно подошел к краю провала, скинул его туда и стал медленно, пропуская веревку сквозь пальцы, опускаться вниз. Двухметровая веревка, телепаясь, заскользила в провал. На полпути вниз виднелся выступ, он боялся, что веревка застрянет на нем. Когда конец веревки достал до выступа, он чуть приподнял ее, откочнул и бросил. Конец веревки обогнул выступ и заскользил дальше. Вскоре вся веревка размоталась, но конец ее не был виден из-за выступа.

Он подумал: хватит ли ему сил после того, как он спустится по веревке, снова по ней подняться? Он решил, что хватит, хотя никогда по веревке никуда не спускался и не поднимал

ся. Но по виноградной лозе метров на пять или десять он, случалось, поднимался на дерево во время сбора винограда. Конечно, лоза потолще веревки, она более шершавая, более хватистая, но зато здесь можно ногами кое-как опираться о каменистую стену обрыва.

«С Богом!» — мысленно сказал он себе и, сев на край обрыва спиной к нему, ухватился обеими руками за веревку и стал спускаться, стараясь ногами, где только можно, упираться в неровности стены, в выемки и камни, торчащие из нее. Веревка обжигала ладони, и тяжесть собственного тела показалась ему невыносимой. Он вдруг подумал: не вернуться ли ему наверх пока не поздно? Но он преодолел малодушие, как всегда в таких случаях, вспомнив колхозного агронома, которого ненавидел всей душой.

Лет двадцать назад этот агроном, оказавшись два раза в одном застолье с Датушей, очень плотоядно глазел на его жену. Два раза, а не один раз. Если б этот агроном так смотрел на его жену один раз, он, вероятно, простил бы ему это. Но два раза! Он не мог об этом забыть! Правда, агроном был сильно пьян и городского происхождения и, может быть, даже не знал, что на замужнюю женщину так смотреть нельзя.

Но Датуша его возненавидел с тех пор. Отчасти, может быть, потому что тогда никак не мог отомстить агроному или хотя бы оскорбить его словами презрения. Не убивать же этого ничтожного человечка за его мокрые, грязные взгляды! Но и оскорбить его в самом застолье не мог, потому что не был уверен, что и другие заметили эти взгляды. Если бы он его ос-

корбил, все поняли бы, за что он его оскорбил. А ему это было неприятно. К тому же по чегемским обычаям портить застолье скандальной бучей считалось признаком крайней невоспитанности.

И так эту обиду Датуша с собой и унес, и с годами она несколько не затухала. Но и вспоминал он о ней в минуты крайней опасности. А так почти не вспоминал. Но в минуты крайней опасности он особенно ярко и яростно вспоминал неотомщенного агронома, и те два застолья вставали перед его глазами, как одно. При этом уже постаревший агроном (он и тогда был старше его) виделся ему теперешним, расплывшимся, слегка трясущимся стариком, а жена виделась такой же молодой, какой она была двадцать лет назад. И от этого взгляды агронома в его воображении делались особенно бесстыжими и позорными.

И каждый раз в минуты крайней опасности перед его глазами вставал этот агроном, и каждый раз ярость перешибала страх, приходила уверенность, что он должен жить и будет жить, если не для мифической мести агроному, то, во всяком случае, назло ему; агроном — казалось ему в эти минуты — только и делает, что ждет его смерти.

Итак, вспомнив агронома, он преодолел малодушие и продолжил спуск, иногда лоя носком ботинка выемки в стене или торчащие камни. Опираясь на них ногой, он несколько мгновений передыхал и снова пускался в путь. Когда он елозил ботинками по стене, от нее отрывалась каменная осыпь и, перещелкиваясь, летела вниз.

Он надеялся, добравшись до большого выступа из стены, через который он еще наверху так старательно перебрасывал веревку, там постоять обеими ногами и отдохнуть.

Он взглянул вниз и увидел, что этот выступ уже совсем недалеко от него, метрах в трех-четырех. И, увидев, что выступ близко, он почувствовал, что руки его совсем одеревенели, веревка обжигает пальцы, еще мгновение — и он полетит вниз. Но какими-то сверхусилиями он удержался на веревке, несколько раз перебрал руками и, наконец, почувствовал под подошвами ног твердость выступа.

Минут десять он старался отдышаться. Потом еще минут пять встряхивал руками, стараясь оживить их и дать им отдохнуть. Потом он шагнул на край выступа и заглянул в глубину чудовищного провала. И он подумал, что, если бы не этот выступ, он, вероятно, рухнул бы вниз от усталости рук.

Однако, успокоившись, он подумал, что скорее всего это не так. Привычка всю жизнь иметь дело с тяжелой физической работой подсказывала другое.

Например, когда несешь на плече бревно для костра и мысленно намечаешь себе впереди место, где ты остановишься передохнуть, поставив бревно на землю, всегда перед самым этим местом, за несколько метров до него, тяжесть начинает неимоверно давить на плечо и ты еленосишь бревно до этого места.

Силы человеческого тела соотносятся с местом обещанного отдыха. Он это заметил давно. Перед местом обещанного отдыха человеческое тело, как бы боясь, что воля человека

отменит обещанный отдых, симулирует бессилие. Так и теперь, отдохнув, он понял, что, если бы этот выступ оказался дальше на несколько метров, руки его все-таки донесли бы до него и только в самой близости от выступа он почувствовал бы страшное бессилие.

Он посмотрел по ту сторону провала, где поднималась пологая зеленая гора. Поближе к вершине ее виднелся пастушеский шалаш. Там жили пастухи из другого села. На склоне горы паслись коровы и виднелась фигурка пастуха, который сидел среди своих пасущихся коров. Он играл на дудке, и довольно заунывные звуки ее порой еле слышно доносились до Датуши. И он на миг позавидовал его безмятежности.

Пора было двигаться дальше. В ботинки ему набились скальная осыпь и мелкие камушки. Он присел, расшнуровал ботинки, скинул их и тщательно выбил о выступ. Потом полез рукой в каждый ботинок, стараясь пальцами соскрести то, что не удалось выбить. Потом он снял носки и протер ими вспотевшие ноги, вывернул, отряхнул от всякой трухи и снова надел. Потом натянул ботинки и тщательно зашнуровал их.

Он стал спускаться дальше вниз. Веревки оставалось еще метров пять, когда он ботинками нащупал под ногами выступ карниза. Встав обеими ногами на узкий, примерно в полметра, карниз, он посмотрел вдоль него направо.

Так вот, где она! Метрах в пятнадцати от себя на этом же карнизе он увидел коосулю. Там, где она стояла, карниз расширялся. Это было стройное животное. Бурая шерсть на спине косули, поближе к хвосту, желтела и золотилась, превраща-

ясь в пепельно-белую подпалину на животе. Косуля стояла к нему в профиль, но, увидев его, она повернула в его сторону голову и неподвижно смотрела на него. Почти прямо за ней карниз обрывался.

Минут десять они смотрели друг на друга. Потом он поднял глаза над ней, стараясь найти следы ее падения на этот карниз, но ничего не нашел. Обрыв над ней был гораздо более пологий и травянистый, но метров за десять от карниза, на котором она стояла, начиналась крутая, каменная стена.

Но как же подойти к ней? И как она будет вести себя, если он подойдет к ней и погонит ее впереди себя? Он мог бы ее там же прирезать ножом, но понял, что по этому узкому карнизу с мертвой косулей за плечами он не сможет вернуться назад. Нет, надо подойти к ней и гнать ее по карнизу впереди себя. Через пару шагов от того места, где он спустился, карниз снова обрывался, и косуля никуда от него уйти не смогла бы. В руках у него оставалось еще метров пять свободной веревки. Держась за нее, можно было смело пройти по карнизу до конца веревки. А дальше? Оставалось метров десять. Он тщательно осмотрел карниз между собой и косулей, ища возможного подвоха по дороге. Карниз был достаточно ровным, но и без того узкий, он поближе к косуле еще больше сужался, а там, где стояла косуля, снова расширялся.

И потом, как лучше идти? Спиной к стене, держа перед глазами распахнутое пространство, куда боишься рухнуть? Или лицом к стене, когда опасность делается еще опаснее, потому что она за спиной? Но если идти лицом к стене, можно

использовать какие-то неровности в стене или щели, куда можно просунуть пальцы. Впрочем, особых неровностей в стене или тем более щелей он не заметил. «Но вдруг камни карниза подо мной обрушатся, — подумал он. — Когда больше возможностей, слетая со стены, уцепиться за что-нибудь — если ты скользишь лицом к провалу или спиной к нему? Трудно сказать. Невозможно сказать. Как повезет. Но если я все-таки дойду до косули, а она вдруг упрется или шарахнется в мою сторону? Не дай Бог!»

Он слышал, что иногда косули, загнанные волками, выбегали на горных дорогах прямо на человека или людей, идущих по дороге. И даже какое-то время шли вместе с людьми. Он это слышал от других людей, но сам этого никогда не видел. Как это понять?

Неужели косуле кажется, что человек менее опасен, чем волк? Во время горной охоты косули чутко чувствовали человека и старались его близко не подпускать. Но вот, оказывается, когда приходится выбирать между человеком и волком, косуля выбирает человека. Бедная косуля, если б она лучше знала человека! И все-таки приятно, что она от волка бежит к человеку. Но как к ней подойти? Опасно. Страшно.

И вдруг косуля, глядя на него, жалобно заблеяла. Жалобный звук ее блеяния, прямо обращенный к нему, пронзил его насквозь. И он решил дойти до нее во что бы то ни стало. Хотя и сомнения оставались. Сумеет ли он подтащить ее к веревке, не упрется ли она на этом узком карнизе, как глупый козел. «Ну что ж, — подумал он, — если она упрется и не пой-

дет, я оставлю ее, и совесть моя будет чиста. Совесть», — повторил он про себя удивленно, но и сам не мог понять, при чем тут совесть.

Он крепко взялся за веревку и, встав лицом к стене, стал боком идти в сторону косули, осторожно перебирая веревку и стараясь все время держать ее натянутой. Но вот веревка кончилась. Теперь надо было бросать ее и идти самому. Однако, прежде чем бросить веревку, он догадался, что она откачнется назад и тогда при возвращении (если оно состоится) эти пять метров тоже придется идти без веревки. Он оглядел обрыв и увидел почти над самой головой приземистый куст самшита. Он осторожно перебросил конец веревки через куст и завязал его одним узлом. Теперь он был уверен, что веревка не уползет.

Он посмотрел вниз, прежде чем сделать первый шаг без веревки. Теперь провал под ним показался ему еще более бездонным. Еще метров на двадцать по крутому склону кое-где росла альпийская трава, зеленели редкие кустарники, а дальше шла до самой речки голая и белая, как смерть, меловая осыпь. Там уж ни за что не зацепишься, если сорвешься.

Он решил больше вниз не смотреть, чтобы не закружилась голова. Он посмотрел на косулю. Косуля стояла неподвижно, как изваяние, и следила за ним. Стараясь как можно плотнее вжаться спиной в стену и глядя на место, куда поставит ногу, он сделал первый шаг, осторожно перенес на шагнувшую ногу тяжесть тела и подволок вторую ногу к ней. Он почувствовал, что ноги его стали дрожать мелкой подлой дрожью. Он

эту дрожь не мог остановить и, зная, что она только усилится, осторожно поспешил вперед.

Он старался держать тело с некоторым запасом отклонения к стене, чтобы, случайно покачнувшись, не рухнуть вниз, имея перевес в сторону стены. Но от этого двигаться было труднее: спина терлась о стену. Через несколько минут он остановился. Теперь он был в пяти метрах от косули. Но карниз совсем сузился, он теперь был даже чуть короче длины его ботинка.

Ноги дрожали все сильнее и сильнее. Была безумная мысль сделать еще два-три шага и уже прыгнуть на площадку, где стояла косуля. Но он чувствовал, что ни сил ни духу не хватит это сделать. И вдруг он понял, что отсюда никогда не выберется. Конец, подумал он, теперь ни вперед ни назад. Тепло наливалось чугунной тяжестью и отказывалось ему служить. Оно чугунилось с такой быстротой, что он понял: скоро, скоро он просто не удержится на ногах и рухнет в безжалостный провал.

И тут перед его глазами снова встал агроном. Старый, расплывчатый, каким он был сейчас, он смотрел на его молоденькую жену, какой она была двадцать лет назад. И его толстые плотоядные губы были жадно приоткрыты, а слезливые глаза щурились от предвкушения... Мразь!

И ярость пронзила Датушу и выпрямила его. «Надеешься, что я рухну вниз, гадина, — сказал он про себя. — Нет, никогда этого не будет и никогда я тебе не прощу твои гяурские взгляды. Никогда!»

Видение агронома исчезло вместе со страхом. Ноги перестали дрожать, тело ожило. Но все-таки пройти последние пять метров по карнизу он и сейчас не рисковал. Что же делать?

Косуля продолжала на него смотреть. Если он не в состоянии подойти к ней, может, попробовать чем-нибудь приманить ее? Ведь она два дня ничего не ела. Он осторожно повернулся и оглядел стену над собой. Кое-где над карнизом плющились кусты ежевики и лещины. Но до них было трудно дотянуться. Прямо над ним торчал куст лещины. Он распрямылся, встал на цыпочки и правой рукой дотянулся до первого листика ближайшей ветки. Он осторожно стал тянуть на себя этот листик так, чтобы пригнуть вместе с ним ветку, но и не разорвать листик и успеть цапнуть ветку левой рукой. Стоять на цыпочках и медленно тянуть ветку за листик, который мог оборваться в любой миг, было неудобно и страшно. Ноги его стали снова дрожать, а он тянул и тянул листик, стараясь не оборвать его, и наконец, почувствовав, что может схватить ветку левой рукой, выбросил ее над собой, рискуя потерять равновесие и свалиться вниз, если листик в последний миг оборвется. Но листик не оборвался, и он успел схватить ветку левой рукой и пригнуть ее.

Весь куст лещины согнулся с этой веткой, и он теперь обеими руками держался за него и стоял на ногах, и страх исчез. Он выломал наиболее густолистую ветку лещины и осторожно, продолжая другой рукой держать за пригнутый куст, протянул ветку косуле.

Теперь между протянутой веткой и косулей было около полутора метров. Косуля с любопытством смотрела на ветку, но не двигалась. Так прошло минут пять. Он не знал, что делать. Тогда он решил подразнить ее этой веткой. Он стал сперва потряхивать ею, а потом оттягивать ее от косули. Когда он стал потряхивать веткой, и листья на ней задрожали, морда косули ожила, и глаза выразили удивление по поводу дрожащих листьев.

Когда он, продолжая потряхивать веткой, оттянул ее к себе, косуля встrepенулась, однако не последовала за веткой. Но казалось, тайна дрожащих листьев продолжает ее занимать. Он снова протянул ей ветку. Косуля замерла, глядя на ветку. Он опять стал потряхивать ветку, и листья на ней задрожали. Казалось, косуля очень хочет и никак не может понять, от чего дрожат эти листья. Тогда он стал медленно убирать ветку, продолжая потряхивать ею. Косуля не выдержала тайну дрожащих листьев и потянулась за веткой. Он сунул кончик трепещущей листьями ветки прямо ей под нос.

Шумя листьями, косуля стала жадно обглаживать ветку. Он продолжал ее потряхивать и заметил, что косуля чаще хватается за наиболее живо дрожащие листья, как бы боясь, что они отлетят.

Обглаживая листья, она смело двигалась в его сторону все ближе и ближе. Слышалось, как жадно листья хрустят у нее на зубах. Когда она обглодала всю ветку, он хотел сломать новую, но косуля вдруг стала требовательно и быстро лизать ему руку своим шершавым языком. Совсем как коза! Воз-

можно, кожа человека содержит соль, подумал он, и потому все травоядные, которым всегда не хватает соли, любят лизать человеческое тело. А может, это знак благодарности? Может, она ждет от него спасения?

Он придвинул руку поближе к себе, и косуля, смело сделав шаг к нему, снова стала лизать ему руку. Тогда он, прижавшись спиной к стене, сделал осторожный шаг назад. Косуля снова потянулась к нему и снова стала лизать тыльную сторону его ладони.

И вдруг он почувствовал прилив сил и уверенности. Он подумал, что, если вдруг его нога соскользнет с карниза, он успеет ухватиться за косулю и не рухнет в провал. Он знал, что на крутых склонах животные, особенно козы, гораздо устойчивее, чем человек. Но и они иногда проваливаются. Почему-то мысль провалиться вместе с косулей и погибнуть на дне обрыва показалась ему не такой страшной, как провалиться одному.

И вот так, делая осторожный шаг боком и подставляя косуле свою ладонь, он постепенно приближался к веревке, и ноги теперь у него не дрожали. Наконец он дошел до того места, где конец веревки был перекинут за самшитовый куст. Он сдернул веревку с куста и сразу легко вздохнул. Теперь он стал лицом к стене, ухватился за веревку обеими руками и, перебирая ее, двинулся дальше все так же осторожно, но более уверенно. После каждого шага он, продолжая держать веревку правой рукой, подставлял левую косуле, и она все так же ненасытно лизала ее своим шершавым языком.

Они подошли к месту, куда он спустился по веревке. Он продел конец веревки под живот косуле возле передних ног, потом для страховки один раз перетянул тело веревкой и, туго стянув ее, завязал тройным узлом. Тело косули было горячее и плотное, и прикасаешься к нему было приятно. Пока он ее подвязывал к веревке, она ему мешала, мотая головой и все время норовя лизнуть ему руку.

Ему подумалось, что полдела сделано. Он разогнулся и почувствовал необыкновенный прилив сил. Он почему-то, сам не зная почему, отказался от мысли прирезать здесь косулю, потом подняться самому наверх и вытянуть туда ее тушку. Теперь он решил подняться наверх, вытянуть косулю, а потом уже наверху пристрелить ее или на веревке привести к пастушескому шалашу. Он ухватился как можно выше обеими руками за веревку, повис на ней и, упираясь ногами, где только можно, в скальную стену, стал подниматься вверх. Под самым выступом, где он отдыхал, когда слезал, рос большой развесистый куст рододендрона. Когда он слезал по веревке, он скользнул по верху куста, подмяв его ветки. Сейчас ветки рододендрона нависли над ним, он с трудом раздвинул их и влез на выступ.

Руки у него страшно устали. Он сел на выступ и, продолжая держать веревку, заглянул вниз. Косуля снизу смотрела на него. Их взгляды встретились, и она коротко и жалобно проблеяла. Ему показалось, что ее блеяние означало: «А я?!»

— Сейчас, сейчас, — сказал он вслух, словно косуля могла его понять. И она, словно в самом деле поняв его, поднялась

на задние ноги и, упершись передними ногами в стену обрыва, замерла, глядя на него. Всей своей позой она как бы показывала ему, что стремится оказаться рядом с ним.

Немного отдохнув, он полез дальше вверх, используя в стене каждый торчащий из нее камень или выбоину, чтобы поставить ноги. Теперь, когда он лез наверх, было видно, что в стене гораздо больше неровностей, куда можно поставить ногу. Взгляд снизу вверх на стену был почему-то плодотворнее, чем взгляд сверху вниз. Он в этом убедился, но не понял, почему это так.

Наконец он вылез на гребень хребта. Он был сильным мужчиной, но руки у него здорово устали. Ладони горели. Красные рубцы от давления веревки пересекали их. Он разлегся на траве, раскинув руки и глядя на бездонный синий купол неба, где медленно кружились орлы. Сейчас он вспомнил, что орлы кружились над этим местом и тогда, когда он только вышел на гребень хребта. Теперь ему показалось, что орлы, продолжая кружиться, сдвинулись влево. Если это так, значит, они первыми почуяли, что косуля может погибнуть, и ждали этого. Но как они догадались, что живая косуля может погибнуть? Вероятно, подумал он, опыт им подсказывал, что животное, которому предстоит жить, два дня не стоит на одном месте. Пока он отдыхал, снизу несколько раз пробежала косуля. Солнце уже довольно крепко припекало.

Почувствовав, что силы вернулись к нему, он встал и пошел к обрыву. Он взял в руки веревку, поудобнее расставил

ноги, чтобы не поскользнуться, и стал тянуть ее вверх. Сначала он легко вытянул часть веревки, свободную от тяжести косули, потом веревка натянулась, он напряг мышцы и стал вытягивать косулю. Привычка иметь дело с мешками, наполненными мукой или сыром, помогла ему легко определить тяжесть косули — около двух пудов. Сильными, но достаточно соразмерными движениями, чтобы косуля не разбила голову о каменистую стену, он вытягивал ее. Видно, косуля дрыгалась на веревке, потому что веревка дергалась и раскачивалась. Вдруг веревка перестала вытягиваться. Он изо всех сил, напрягая мускулы и боясь, что веревка лопнет, продолжал тянуть ее. Но веревка не двигалась, и косуля заблеяла дурным голосом. Он понял, что ей больно. Он заглянул в провал и, хотя косули не было видно, понял, что она застряла за тем самым выступом. Возможно, она запуталась между сильными и гибкими ветками рододендрона.

«Что же делать, черт возьми?» — подумал он, волнуясь и чувствуя, что руки от напряжения немеют. Мелькнуло видение агронома, но он, тряхнув головой, освободился от него: «Без тебя обойдусь, зараза!» Он решил, что надо отойти на несколько шагов в сторону, а потом тянуть, чтобы косуля поднялась не над выступом, а сбоку, минуя выступ. Он отошел влево метров на пять и стал тянуть веревку, но она не двигалась, а натянулась, как леска, зацепившаяся о подводную корягу. Тогда он отошел направо от выступа, надеясь сдернуть косулю с этой стороны. Но и отсюда он ее никак не мог сдернуть. Видно, она крепко застряла там между ветками родо-

дендрона. Несколько раз, когда он тянул веревку, косуля издавала какое-то кряхтящее бляение.

Он чувствовал, что силы его иссякают, и он не знал, что делать. Мгновениями его охватывало отчаяние, и ему хотелось выхватить нож и перерезать натянутую веревку. Но ему было жалко косулю, которая в таком случае полетит в бездонную пропасть и, конечно, насмерть разобьется. Он одолел отчаяние и стал думать, как быть дальше. Он решил больше не тянуть веревку вверх, а, наоборот, опустить ее подальше вниз и потом уже, став в сторону, вытягивать косулю мимо выступа. Он ослабил натяжение и попытался опустить веревку. И вдруг почувствовал, что тяжесть косули исчезла. Веревка болталась. У него мелькнула мысль, что косуля вообще выпала из веревки, а конец ее сам запутался в кустах рододендрона. Тогда он снова вытянул веревку и с облегчением почувствовал на ней живую тяжесть косули. Да, это была именно живая тяжесть живой косули, а не сопротивление веревки, запутавшейся в кустах. Сопротивление застрявшей веревки было бы более упругим, как и ветви рододендрона. И тогда он понял, что косулю держит куст рододендрона настолько крепко, что ее теперь ни вверх поднять, ни вниз опустить невозможно.

Надо было снова самому спуститься вниз до выступа, выпутать косулю из кустов рододендрона, взгромоздить на выступ, а потом снова подняться и тянуть ее вверх.

Для страховки все еще придерживая веревку, но не чувствуя на ней тяжести косули, он постоял у обрыва, давая рукам

отдохнуть. Теперь его беспокоила сама веревка. Она столько терлась и ерзала по скалистому обрыву, что он боялся, как бы она не оборвалась под тяжестью. Ту часть веревки, которую он уже вытянул, он тщательно осмотрел, и она ему показалась все еще надежной, хотя кое-где чуть-чуть забахромилась.

Уже было жарко. От всех своих усилий он так вспотел, что рубашка на нем была совсем мокрая. Продолжая держать ослабленную веревку и перекладывая ее из одной руки в другую, он отстегнул пояс, скинул рубашку и, отряхнув, аккуратно положил ее подальше от обрыва, чтобы случайным порывом ветерка ее не сдуло в провал. Теперь он остался в майке. Он поднял ремень и, плотно перетянув его на поясице, застегнул.

Стукнув ногой по земле, он почувствовал, что в ботинки ему снова набились скальная осыпь и мелкие камушки. Присел и разулся, стараясь не забывать о веревке. Вытряхнул ботинки, вытряхнул носки и снова обулся. Подошел к провалу.

Сбросив вниз ту часть веревки, которую уже вытянул, он, снова схватившись за нее, полез в обрыв.

Теперь он боялся, как бы косуля не сорвалась с ветвей рододендрона и не повисла в воздухе. Тогда веревке пришлось бы держать их обоих, и он не очень был уверен, что она выдержит после стольких ерзаний по скалистому обрыву. И он старался спускаться как можно быстрее. Вскоре он был на выступе. Чувствуя сильную усталость, он лег ничком на скальный выступ и, продолжая держать веревку, пролежал на

нем минут пятнадцать. Скала уже нагрелась от солнца, и лежать на ней было приятно. Вдруг он совсем рядом услышал жалобное блеяние косули. Казалось, она почуяла его близость и хотела сказать: «Ну, что ты там?»

Держась одной рукой за веревку, он заглянул вниз. В самом деле, косуля запуталась в гибких и крепких, как ремни, ветках рододендрона. Надо было очень сильно вытянуться из-за выступа, чтобы руками достать ее, а потом, выпутав из веток, взгромоздить на выступ.

Тут он почувствовал новую опасность. Если косуля выпутается из кустов до того, как он успеет крепко обхватить ее, то оттого, что сейчас свободной веревки слишком много, она может рухнуть и разбиться о карниз. Или еще хуже: пролетит мимо, оборвет веревку и скатится на дно обрыва. Он прихватил свободную часть веревки, намотал ее на свой пояс и завязал несколькими узлами.

После этого он уже смело вытянулся над выступом и стал одной рукой отодвигать упругие ветви, спеленавшие тело косули. Ветки выскользывали из рук, потому что он едва дотягивался до них, а второй рукой не мог себе помочь, потому что упирался ею в скалу. А две ветки, накрывавшие косулю, оказались настолько крепкими и упругими, что он был не в состоянии далеко отодвинуть их. Как только он, отодвинув их, бросал, они с какой-то одушевленной злостью возвращались назад и накрывали тело косули. Он намучился с ними. От неудобной позы кровь сильно прилила к голове, и он в конце концов выхватил нож из чехла и, все больше и боль-

ше раздражаясь и даже приходя в ярость, потому что они и под ножом гибко отодвигались, все-таки кое-как перерезали их. При этом ему приходилось осторожно соразмерять свои движения, чтобы не ранить коосулю. Она же, не понимая, что он делает, иногда сама неловкими движениями мешала ему, и он, теряя терпение, порой хотел полоснуть ее ножом по горлу, чтобы она ему не мешала.

Наконец он ее выпутал из веток, положил нож на скальный выступ, дотянулся до веревки, обхватившей тело косули, крепче оперся левой рукой о скалу и с невероятным напряжением сил в уставшей руке вытянул коосулю на выступ. Когда он медленно вытягивал ее на выступ, ему казалось, что он вот-вот выблует свои внутренности вместе с сердцем. Все-таки вытянул.

Теперь он лежал на скале ничком, чувствуя, что даже шевельнуться нет сил. От страшного напряжения он тут же забылся и уснул. Косуля неистово лизала теперь его полуоткрытое и окончательно просоленное от пота тело. Минут через двадцать он проснулся, смущенно вспоминая свой сон. Ему приснилось, что он лежит в постели с женой. Черт его знает, что может присниться, подумал он и, привстав, вложил нож в чехол. Расстегнув пояс, развязал и выпутал из него веревку. Снова застегнул пояс. Косуля, стоя рядом с ним, продолжала неистово и деловито лизать его плечо.

Не прирезать ли ее здесь, подумал он и вдруг почувствовал, что ему жалко ее резать. Он подумал, что дело в том, что он слишком много сил на нее потратил и потому теперь ему

жалко ее. «Ничего, — подумал он, — наверху пристрелю. Сначала отпущу метров на двадцать, а потом пристрелю. Так будет гораздо легче убить ее».

Он снова полез вверх по веревке. Вылез на гребень хребта и сел передохнуть. Потом встал, поудобнее уперся ногами в землю и стал вытягивать лишнюю веревку. Наконец она натянулась, и он стал тащить вверх коосулю. Она еще один раз застряла за маленьким выступом, он попытался, собрав все силы, сдернуть ее, но она не одернулась. Он почувствовал, что силы его оставляют, и тут снова явилось видение агронома. «Прочь, гадина, — сказал он ему в сердцах, — обойдусь без тебя». Видение агронома исчезло.

Он сделал несколько шагов в сторону и потянул веревку. Косуля одернулась и пошла вверх. Наконец он ее вытянул на гребень.

Когда он стал отвязывать коосулю, она, мешая ему, снова стала лизать ему руку. Он подошел к своему карабину, лежавшему у подножия бука. Косуля шла рядом с ним, пытаясь лизнуть ему руку. Сейчас, здесь, он не мог убить ее. Поэтому он хлопнул ее по спине, чтобы она убежала, но она никуда не убежала, а продолжала лизать ему руку. Тогда он покрепче хлопнул ее по спине.

И вдруг коосуля, словно что-то вспомнив, повернулась и побежала от него по гребню хребта. Она бежала, высоко скидывая задние ноги. Спина ее золотилась. Левый пологий травянистый склон гребня, по которому она бежала, тоже золотился от цветущих примул.

Он поднял карабин, но вдруг понял, что стрелять ему в нее все еще жалко. «Пусть подальше отбежит», — подумал он. Косуля бежала и бежала, и чем дальше она уносилась, тем меньше жалости оставалось в нем. «Еще секунд десять, — подумал он, — и жалости не будет, и я выстрелю в нее».

Но жалость перехитрила его. Через десять секунд косуля уже была так далеко, что он понял — пуля ее не достанет. Грохот пустого выстрела показался ему глупым самообманом, и он даже не приложился к карабину.

И вдруг из-за гребня хребта, где пас коров тот самый пастух с дудкой, раздался пронзительный свист.

— Дурак, дурак, — кричал он ему изо всех сил, — возле тебя косуля пробежала! Куда ты смотрел!

— Сам дурак, — тихо сказал Датуша и не стал ему ничего отвечать. Он только махнул ему рукой, мол, отвяжись. Тот явно заметил косулю, когда она от Датуши была на большом расстоянии. Он с усмешкой представил, что бы тот кричал, если бы увидел, что косуля выскочила у него прямо из-под рук. Он надел рубаху, отвязал веревку от бука и собрал ее в моток. Ему было хорошо. Он сам не знал, почему все так получилось. Он не знал, что мощная страсть спасения косули удержала его от жалкой страсти ее убийства.

Ему было хорошо, легко. В жизни оставалось только одно неудобство: в ботинки снова набились скальная осыпь и мелкие камушки. Он снова присел и разулся. Снова вытряхнул ботинки и вытряхнул носки. Снова обулся и, сидя на земле, посмотрел на небо. Приближался полдень, и пора было гото-

вить обед пастухам. Краем глаза он отметил, что орлы перестали кружиться над гребнем хребта. Они куда-то разлетелись.

Перекинув карабин через плечо и подхватив моток веревки, Датуша поспешил к своему шалашу. Сейчас он был озабочен тем, чтобы успеть пастухам приготовить обед. Он не собирался рассказывать им о приключении с косулей. Он почувствовал, что они бы его не поняли. И тем более ему было бы стыдно опоздать с обедом — ведь времени было много.

пламенный мечтатель и тиран

Он сидел в плетеном кресле напротив Сталина за столом в саду санатория, где отдыхал вождь. Сталин в белоснежном кителе, грозно нахмурившись, с карандашом в руке просматривал какие-то бумаги, время от времени что-то подчеркивая и отчеркивая в них. Посреди стола возвышалась бутылка вина и стояли рядом с ней два бокала.

Учитель истории ачандарской школы Леонтий Луарсабович ждал, когда Сталин освободится и поговорит с ним. Это был его звездный час. Он готовился к нему несколько лет, сам не веря, что это может произойти. Разумеется, в конце концов то, что он хотел сказать Сталину, он бы написал ему в письме. Но письмо — это не то. Да и попало ли бы оно ему в руки среди тысяч писем, которые пишут Сталину, кто его знает. А тут с глазу на глаз оказаться с вождем.

Помог случай. Дело в том, что начальник охраны Сталина генерал Власик уже несколько лет подряд приезжал к знаменитому сельскому виноделу, соседу учителя, и брал у него вино для Сталина.

Сталин был очень доволен этим вином. Власик дважды оставался у винодела, чтобы пообедать в его доме. Это был знак расположения Власика к виноделу за его вино, которое пришлось по вкусу Сталину.

Старый винодел по-соседски приглашал к столу Леонтия Луарсабовича. Но дело было не только в этом. Старик умел хорошо рассказывать смешные народные байки, но он недостаточно знал русский язык, чтобы передавать все оттенки юмора. Ему хватало собственного юмора понимать, что он по-русски не сможет передать юмор. А Леонтий Луарсабович был грузином, выросшим в абхазском селе, и прекрасно знал и абхазский язык, и русский. И он с таким искусством переводил эти народные истории, что Власик покатывался от хохота.

Оказавшись в застолье с начальником охраны Сталина и пользуясь его хорошим расположением духа, учитель сказал, что у него есть важные государственные соображения, которые он может высказать только товарищу Сталину. Он это сказал с загадочной улыбкой. Власик улыбнулся на его слова гораздо менее загадочно. Он улыбнулся ему как неопасному деревенскому дурачку и ничего не ответил.

Однако, когда в следующем году в том же застолье прозвучали те же слова сельского учителя в сопровождении той же

улыбки, Власик рассказал об этом Сталину как о забавном и даже курьезном упорстве сельского учителя. И Сталин неожиданно полюбопытствовал:

— Так привезите его. Выслушаем, какие там у него соображения.

— Может, он сумасшедший, товарищ Сталин? — насторожился Власик.

— Не думаю, что более сумасшедший, чем мои министры, — неожиданно ответил Сталин.

Таким образом, после тщательной проверки учителя людьми бериевского ведомства, проверки от его биографии до его карманов, он был привезен в санаторий и усажен за садовый стол, где уже сидел Сталин и, держа в руке карандаш, перебирал какие-то государственные бумаги.

Сталин поздоровался с учителем за руку, окинул его внимательным лучистым взглядом и сказал:

— Посидите, пока я досмотрю бумаги.

Метрах в двадцати от них Берия так, на всякий случай, сидел на скамейке и забавлялся с внуком Сталина. Резвому мальчику нравилась возня с дядей Лаврентием. Сидя у него на коленях, лицом к дяде Лаврентию, он пытался поднять его руки вверх, в знак того, что тот сдается ему. А дядя Лаврентий как бы сопротивлялся ему. И хотя это была игра, Берия не хотел поднимать руки вверх, но делал вид, что мальчик близок к победе. Берия суеверно не забывал, чей это внук. Показывая мальчику, что увлечен этой возней, он все время помнил, что в кармане у него лежит особенно чуткий звукоулавливающий

аппарат, недавно привезенный из-за границы. И он старался незаметно так оградить порывы разгоряченного мальчика, чтобы тот случайным движением не задел и не повредил аппарат.

Учитель истории сидел напротив Сталина. Он испытывал волнение, но не испытывал страха. Он был воодушевлен тем, что пробил его час, хотя прекрасно знал, кто такой Сталин. Но это его несколько не смущало.

У него была такая парадоксальная мысль. Только через абсолютное зло можно прийти к абсолютному добру. Только носитель абсолютной власти может бестрепетной рукой перевести стрелку компаса от полюса зла к полюсу добра. Ему казалось, что Сталин, решивший служить добру, сохранит свой непререкаемый авторитет, добытый на великом страхе, порожденном его предыдущим служением злу. Зло уйдет, а авторитет останется. Так думал он. Это было его роковой ошибкой, но он верил в это.

При этом он не считал зазорным хитростью склонить диктатора к добру. Но начинать надо с малого. Добро, как камнепад в горах, может начаться с падения одного камушка. Подсознательно, думал учитель истории, человек стремится к власти для добра. Но по дороге к власти столько тысяч препятствий, что он сам забывает о своей первоначальной подсознательной цели. Надо прививать диктатору вкус к добру, будить в его душе его собственную забытую подсознательную цель.

Законы правового государства будут способствовать разжатию в сторону анархии сжатой пружины народной воли,

но тут-то сыграет благотворную тормозящую роль громадный авторитет вождя.

— Так какие у вас государственные соображения? — вдруг спросил Сталин и, положив карандаш на бумагу, уставился на учителя.

— Товарищ Сталин, — начал учитель давно подготовленную речь, — у нас в стране еще слишком много веруют. Администраторы, судя по нашему району, часто дают наверх слишком радужные сведения. Это просто очковтирательство.

Что нас может избавить от лжи и воровства? Время показало, что карающий меч государства непосилен это исправить. Это может исправить ваш личный огромный авторитет. На примере вождя учится нация. У меня такие соображения.

У вас издаются книги, собрания ваших сочинений. На гонорар от этих книг достойные люди получают сталинские премии. Так думают в народе — и это прекрасно.

Хорошо бы организовать через газету «Правда» письмо налогового управления, что товарищ Сталин забыл заплатить налог за гонорар от своей последней книги. И ответ товарища Сталина, где он извиняется за это упущение своих помощников и обещает немедленно уплатить в казну налог за свой гонорар.

Даже если это не соответствует действительности, это стало бы грандиозным примером для всех наших людей! Народная власть! Сталинский закон выше самого Сталина! Налоговое управление не побоялось напомнить товарищу Сталину о неуплаченном налоге, а товарищ Сталин, извинившись за

это упущение, обещает немедленно уплатить причитающийся с него налог.

Для всех, кто мечется между честностью и воровством, для всех, кто цапнет, а потом призадумается, призадумается, а потом цапнет, это стало бы вдохновляющим примером. Конечно, самых злостных воров и казнокрадов это может не остановить. Но над ними как раз и будет висеть карающий меч государства. Но основная масса народа, потрясенная скромностью вождя и его законопослушностью, сама перестроится в пользу честной жизни. Вот такая мысль мне пришла в голову, когда я много раз рассуждал о том, как бороться с воровством и очковтирательством.

Он остановился, высказав все, что лежало у него на душе. Сталину соображения сельского учителя очень понравились. Он уже видел мысленным взором ошарашивающее весь мир сообщение в «Правду» налогового управления и свое скромное покаянное письмо.

Какой удар по всей буржуазной пропаганде о его не ограниченной ничем власти! Какой удар по всем нашим плутоватым хозяйственникам! И как хорошо сформулировал этот сельский учитель: сталинский закон выше самого Сталина!

Такой диалектике сам старик Гегель позавидовал бы! И как приятно будет народу лишний раз убедиться в исключительной скромности вождя! Такие вещи народ любит и долго запоминает. Они действуют для сплочения государства лучше всякой пропаганды.

Однако, верный своей привычке не поддаваться первому впечатлению, он не показал виду, что речь учителя ему очень понравилась, хотя и не сделал вид, что недоволен.

— Как вы думаете, — неожиданно спросил он, — где больше воруют — в Грузии или в России?

— Товарищ Сталин, — несколько растерялся учитель, — я не знаю. У меня нет никаких данных по этому вопросу.

— Даже у меня нет никаких данных по этому вопросу, — ответил Сталин. — Но что вы лично думаете, что вам подсказывает ваш личный опыт жизни?

— Я думаю, — сказал учитель, — что в Грузии больше воруют, чем в России.

— Молодец! — сказал Сталин и широко улыбнулся. — Я вижу — вы не националист. Я тоже думаю, что в Грузии больше воруют. Но почему именно вы так думаете, что в Грузии больше воруют?

— Я думаю, — ответил учитель после некоторой паузы, — что тут дело в культе застолья. У нас культ застолья настолько силен, что сплачивает тех, кто сидит за одним столом. В застолье решаются те или иные махинации, и сама огромная традиция застолья обязывает не предавать тех, кто вместе пил. Это облегчает круговую поруку.

— Молодец! — повторил Сталин и еще более лучезарно улыбнулся ему. — В селе Ачандара умеют не только делать хорошее вино, но и умеют работать головой. Я хочу выпить с вами по стаканчику вашего вина за идею, с которой вы сюда пришли.

Сталин медленно потянулся к бутылке, открыл ее и осторожно и благостно разлил пунцовую жидкость по бокалам.

— Не правда ли, — вдруг спросил Сталин, взглянув на учителя своим не только лучезарным, но и пристальным взглядом, — и внутри Грузии культ застолья особенно развит в Мингрелии?

Тут учитель ничего не понял. У него не было никаких сведений, что культ застолья в Мингрелии чем-нибудь отличается от культа застолья в остальных частях Грузии. Почему-то в голове совершенно неуместно мелькнул смутный облик крадущегося хищника. И, глядя в лучезарные глаза Сталина, он почувствовал какую-то властную силу над собой, как бы исходящую не от Сталина, а откуда-то со стороны.

— Да, товарищ Сталин, — согласился он, сам но понимая причину своего согласия, — совершенно верно — культ застолья особенно силен в Мингрелии.

Сталин потянулся и чокнулся с ним. Они выпили по бокалу.

— ...И не только для воровских махинаций, — задумчиво добавил Сталин и мягко поставил на стол свой бокал завершающим разговор жестом.

Что он имел в виду, учитель не понял. Но Сталин уже обдумывал будущее «мингрельское дело», при помощи которого он собирался расправиться с Берией.

— Ваше соображение интересно, — сказал Сталин. — Оно будет тщательно обдумано и, скорее всего, принято. Вы настоящий патриот Советского Союза.

Сталин встал из-за стола и протянул руку учителю. Тот с огромной благодарностью и любовью пожал протянутую руку. Уже с ликующим туманом в голове, ничего не видя и ничего не замечая, он сел в поданную машину и укатил к себе в деревню.

Несколько дней Сталин время от времени вспоминал это сельское чудачка и его интересное предложение. Волны сентиментальной нежности обдавали его, когда он представлял письмо налогового управления в газету «Правда» и свой скромный покаянный ответ.

Однако прошло еще несколько дней, и вся эта картина представилась ему в ином свете. Конечно, укреплять в народе мысль о скромности вождя — государственно необходимое дело. Но писать в газете, что Сталин забыл уплатить налог за свой гонорар, — дело вредное.

«В государстве нашего типа, — думал он, — необходим абсолютно непогрешимый образ вождя. Сообщение о том, что вождь забыл заплатить налог, может посеять в головах смуту. Сегодня сам признал, что забыл уплатить налог за гонорар от книги, а завтра кое-кто начнет рассуждать о том, почему страна была не подготовлена к войне с Гитлером, и так далее и тому подобное.

Абсолютная непогрешимость образа вождя, — думал он, — не мне нужна, а нашему государству. В личном плане этот чудак хотел хорошего, но в государственном плане он вреден.

Если в «Правде» появится письмо налогового управления о том, что вождь не уплатил налог, и его извиняющийся ответ, то это будет удар по нашей государственности.

Все потенциальные интриганы поднимут голову. Они решат, что в Кремле разногласия, и антисталинская группировка организовала письмо налогового управления и вынудила Сталина дать повинный ответ.

Вынудила Сталина! Черт знает к чему это все может привести!»

— Лаврентий, — обратился Сталин к Берии, думая об этой истории, — тут этот сельский учитель, который приезжал сюда, наболтал всякой чепухи...

Сталин остановился, не желая делиться с Берией подробностями беседы.

— Товарищ Сталин, мы можем взять его через час, — с радостной готовностью отозвался Берия.

Сталину стало неприятно, что этот сельский чудак окажется под пытками бериевских молодчиков. Ему было жалко его. Он снова вспомнил его вдохновенную речь и снова подумал: «Субъективно хотел помочь, но объективно вреден». К тому же под пытками он проговорится, что в Мингрелии, по мнению Сталина, особенно сильны застольные традиции и не только в смысле круговой поруки в торгашеских махинациях, но и в смысле политических интриг. Берия может раньше времени кое-что заподозрить.

Тут осторожность Сталина была излишней, потому что Берия, сидя на скамейке с внуком Сталина, держал в кармане вышеупомянутый аппарат особенной чуткости. И аппарат работал. Берия уже много раз прокручивал для себя эту беседу и понял, что Сталин против него что-то готовит. Но и этот

сельский идиот виноват! Мог же сказать, что законы застолья по всей Грузии одинаковы!

— Брат не разрешаю, — жестко обрезал его Сталин, — пусть умрет своей смертью.

— Ликвидировать? — вкрадчиво спросил Берия, как бы чувствуя дуновение полового удовольствия.

Сталин пришел в тихое бешенство, уловив в голосе Берии это личное удовольствие. Берия, как карикатурное зеркало, отражал Сталина. Хотя бы только поэтому такое зеркало надо было разбить!

Историческая необходимость уничтожить все, что подрывает могущество Советского государства, в исполнении этого похабника превращалось в личное удовольствие крутить мясорубку. И это бросает тень на Сталина. Ведь он, Сталин, жалеет этого сельского дурачка, но интересы государства превыше всего!

Сталин вдруг вспомнил эпизод из Ветхого Завета, который он читал мальчиком в духовной семинарии. Там описывался жестокий злодей по имени Берия.

Дальней памятью он точно вспомнил, что в Ветхом Завете есть такой жестокий злодей. Но более ближней памятью он забыл, что, когда назначал Берию всесильным наркомом, он и тогда вспомнил об этом легендарном злодее из Ветхого Завета, и тогда в известной степени это сыграло роль в назначении Берии главным палачом страны. Но сейчас он об этом забыл. Он цепко помнил все, что служит его сегодняшним планам, и искренне забывал все, что может им помешать.

Сейчас он думал: случайно ли такое совпадение имен? Может быть, Берия — скрытый еврей? Сталин уважал еврейское усердие, но ненавидел еврейскую иронию. Ничто так не разъедает государство, как еврейская ирония. «Пусть иронизируют в своем государстве, — думал он, — а мы посмотрим, что из этого получится».

Он чутко уловил, что недаром Берия в борьбе с космополитизмом, хотя и исполнял все его приказы вплоть до выдачи телогреек всем чекистам, чтобы в нужный день продемонстрировать народный гнев против евреев, но не проявлял былой радостной готовности.

Кстати, Берия, в свою очередь, чутко уловил, что борьба с космополитизмом косвенно направлена против органов безопасности и против него лично. Поэтому он и не проявлял былой радостной готовности, хотя имитировал ее. Сейчас интерес Сталина к мингрельскому застолью подтверждал, что Сталин готовит прыжок на Берию. «Главное, — думал Берия, — делать вид, что я ничего не подозреваю, а там посмотрим».

«Какая драма, — думал Сталин, — что в России никто никогда, кроме Петра Великого и меня, не понимал смысла русской идеи как воплощения безраздельной государственности. Только безраздельная государственность может преодолеть беспредельные пространства России.

Византия погибла не от крестоносцев, не от полудиких турок-сельджуков, — подумал он, — а от собственных открытых, бесконечных богословских споров, которые допускали

глупые византийские цари и которые в конце концов расшатали государство».

Мысль его снова вернулась к Берии. «Все в нем фальшиво, — подумал Сталин, — и даже пенсне фальшивое, он и без него прекрасно видит. Труп главного палача страны надо время от времени выбрасывать народу. Это компенсация. Это полезно для народа. Народ убеждается, что палач — не самоцель». Так он поступил с Ягодой, так поступил с Ежовым, а с Берией приподнился.

— ...Ликвидировать, ликвидировать, — со злобной язвительностью передразнил он Берию, — одно это слово всю жизнь слышу от тебя! Я тебе ясно сказал: пусть своей смертью умрет!

Берия понял, что этот человек должен умереть вне стен ЧК и как бы без его вмешательства. «Надо будет, и ты своей смертью умрешь», — подумал Берия.

...Дней через двадцать, когда Сталин был уже в Москве и Берия был уже в Москве, учитель истории был приглашен на большое пиршество, по иронии судьбы устроенное в мингрельском селе. После пиршества он благополучно добрался до своего села, благополучно лег спать и больше не проснулся.

влюбленная парочка

Они сели за столик, за которым до этого сидели Андрей Таркилов и Юра. Оба были необыкновенно хороши. На вид ей было лет двадцать, а ему тридцать. Он был высок и даже за столиком горделиво-нежно склонялся над ней. Он был одет в белоснежный костюм, на горле его трепыхалась бабочка. Такие галстуки-бабочки здесь носят чрезвычайно редко. У него был могучий лоб и мужественное горбоносое лицо кавказца.

Она была тонкая как тростиночка. Одета она была в желтое платье с короткими рукавами. Сев, она как бы бессильно сломалась, обратив к нему большеглазый профилек с очаровательным носиком. Густые каштановые волосы ее доходили до самых глаз, как бы готовые в случае надобности перерасти в чадру. Налетающий с моря бриз иногда смело лепил ее хрупкую фигуру. Может, боясь, что ее подхватит ветер, он положил свою крепкую ладонь на ее руку. Мне показалось, что это молодожены, сбежавшие сюда от гостей.

Молодой человек заказал бутылку шампанского, плитку шоколада и велел принести три бокала. Из этого следовало, что они кого-то ждут. Я решил, что из всех гостей они выбрали одного, самого близкого, и шепнули ему, где они собирались тайком посидеть. Я даже решил про себя, что это тот человек, который когда-то познакомил эту очаровательную пару.

Парень разлил шампанское в два бокала, дождался, когда осела пена, и долил.

— За успех нашего дела, — сказал он и, протянув бокал, чокнулся с девушкой.

Ее тонкая рука с бокалом доверчиво потянулась к его бокалу. Девичий пушок проблеснул на ее загорелой руке.

Оба они выпили свои бокалы. Он сломал плитку шоколада, выпростал из нее кусок и подал ей.

— Я боюсь, что мне будет противно, — сказала девушка, прожевывая шоколад, — и он заметит это. Особенно если сауна там, массаж...

— Чепуха, — сказал он, — что ты, маленькая, что ли?! Он довольно красивый мужчина... Ему лет шестьдесят пять, но выглядит он гораздо лучше.

Он снова налил шампанское в оба бокала.

— Ты сам будешь презирать меня после этого, — сказала она.

— Глупости! — сказал он. — Я буду вечно благодарен тебе за эту услугу. Мы будем жить так, что нам все будут завидовать. — Он наклонился к ней, и его огромный лоб, казалось, пытался не столько убедить ее, сколько заботать. Кстати, по моим наблюдениям, огромные лбы свидетельствуют не столько об умственном содержании головы, сколько об умственных усилиях. А это далеко не одно и то же.

— Ты будешь всю жизнь упрекать меня этим, — сказала она, — а я только ради тебя согласилась. Ты уверен, что место, которое он тебе обещает, очень выгодно?

— Конечно, — сказал он, — я лучший специалист по табаккам. Я знаю всех директоров табачных фабрик и всех предсе-

дателей колхозов. На умелом манипулировании сортами мы будем делать деньги.

— Ты будешь всю жизнь упрекать меня этим, — повторила она.

— Только подлец может упрекнуть тебя этим, — сказал он.

— Ты и есть подлец, — сказала она и выругалась матом. Трудно было в это поверить, но это было так.

— Так у нас ничего не выйдет, — сказал он. — Не дай Бог, если шеф услышит от тебя что-нибудь нецензурное. Старайся быть легкой! Смейся! Тебе так идет смех.

— Мне сейчас не до смеха, — сказала она. — Ты представляешь, если это дойдет до твоего отца?!

— Никогда не дойдет, — строго сказал он, — если ты сама ему об этом не скажешь.

— Как глупо, что твой отец не так богат! А он старше твоего отца?

— Они однолетки. Но мой отец нищий по сравнению с ним. Он самый богатый фирмач в Абхазии. Если он возьмет меня к себе на работу, мы обеспечены на всю жизнь. Отец уже купил нам двухкомнатную квартиру. Больше он ничего не может. Пока. Пока жив, я хочу сказать. После его смерти имущество разделим. Дача достанется мне и моему младшему брату.

— Две семьи на одной даче. Пойдут скандалы.

— Может, откупимся от брата. Вот для этого мне нужна работа в этой фирме.

— Мне все-таки не по себе. Давай выпьем еще по бокалу.

Он снова разлил шампанское, и они выпили. Она достала из сумочки пачку «Мальборо», и они закурили.

— Что ты так волнуешься? Можно подумать, что ты девушка...

— Девушка досталась тебе, паразит.

— Что-то я этого не заметил.

— Почему же ты раньше никогда об этом не говорил?

— Раньше стеснялся. Да и не в этом дело. Главное, что мы любим друг друга.

— Ты стеснялся?! Не смейся людей! А сейчас отдаешь свою девушку какому-то воротиле. Застенчивый сутенер! Если он больной, я убью тебя своими руками. Отравлю.

— Это полностью исключено. Он девочек с улицы не берет никогда.

— Ну, хорошо. Как мне с ним себя вести? Изображать страсть? Я не знаю.

— Ни в коем случае. Но и коровой не будь. Настоящее джентльменство женщины в постели знаешь, в чем заключается?

— Расскажи, сукин сын, расскажи!

— Настоящее джентльменство женщины в постели заключается в том, что ты ему говоришь после первого или второго пистона: я устала, дорогой, хватит. Стареющие джентльмены это обожают.

— Теперь я понимаю, в чем моя ошибка с тобой. Я тебе этого никогда не говорила.

— Но ведь мы молодые, и мы любим друг друга.

— Еще раз скажешь про любовь, и я не знаю, что сделаю. Пригну в море.

— Здесь утонуть невозможно. Здесь столько пловцов! Излапают, изнасилуют, но живой вытащат на палубу.

— Все-таки ты подлец, хотя я тебя люблю. Но представим, что все это случилось, он принял тебя к себе на работу, мы поженились, и он к нам в гости приходит. Как я должна держаться?

— Это недосыгаемая мечта, дорогая. Чтобы он, миллионер, приходил к нам в гости. Это надо заслужить. А если и придет, веди себя как добрая хозяйка, не забывающая, но и не напоминающая о сделанном добре. А он умеет себя вести, он с министрами знаком.

— Неужели ты ему сам меня предложил?

— Нет, конечно. Он нас увидел в театре. Позвал через телохранителя и спросил: «Что это за девушка рядом с тобой сидит?» Я говорю: «Приятельница». — «Так вот, — говорит, — познакомь меня со своей приятельницей, и просьба твоя на девяносто процентов будет исполнена...»

— На мое согласие всего десять процентов?

— На твое согласие ни одного процента. Он имел в виду волков, которые стремятся на это место.

— Постой, постой! Мы в театре были с Любой. Ты сидел между нами. Может, он ее имел в виду?

— В том-то и дело, что нет. Он сразу выбрал тебя. Я сделал вид, что он выбрал Любу. Он посмотрел на меня и дал первый урок житейской мудрости. Он сказал: никогда не хитри

с фирмой, куда ты пытаешься поступить. Вот мы и договорились насчет этой встречи.

— Не понимаю ничего, ведь Люба такая красивая девушка. Особенно на расстоянии.

— Он давно не в том возрасте, чтобы любоваться девушкой на расстоянии.

— А представь, я после него пойду в прокуратуру и скажу, что мой жених заставил меня переспать с этим великим фирмачом. Что тогда?

— Дура! Он их всех кормит. Но если найдется неопытный дурак и вызовет меня, я скажу: эта девушка — шантажистка. Я ее пригласил в театр, а она, пока я выходил покурить, завела шашни с миллионером.

— Какой ты все-таки, подлец, а еще бабочку носишь! А что, если я вскружу ему голову и выйду за него замуж?

— Я сам об этом думал, но мне тебя жалко. Жена у него есть. А если б он на старости лет с ума сошел и женился бы на тебе, тебя бы пристрелили в первую же неделю, даже если б он держал тебя в бункере. Ты что, не знаешь, сколько родственников ждет, когда он до смерти дотрахаётся! Зверье! Они ни перед чем не остановятся!

— Все-таки странно, что он выбрал меня. Люба ведь такая яркая! Ты ведь сам готов был за ней приударить. Я видела, как вы танцевали. После этого и постели не надо.

— Готов был, если б не влюбился в тебя. Я же все это делаю ради нашей жизни. Неужели ты не понимаешь?

— Понимаю, но как-то страшно.

— Так сошлось. Им нужен хороший специалист по табакам. Лучшего, чем я, в Мухусе нет. Но на это место претендуют люди, у которых бабок больше, чем табака на хорошей плантации. И он за меня горой, потому что настоящий бизнесмен, ценит хорошего специалиста.

— Пстой! Пстой! А если все это случится, ты будешь звать его на свадьбу?

— Не позвать на свадьбу шефа — самоубийственная глупость.

— Почему глупость?

— Потому что ты не знаешь, какие подарки здесь дарят богатые люди. Мы можем получить в подарок трехкомнатную квартиру, конечно, взамен отцовской, двухкомнатной... Впрочем, ничего заранее нельзя знать. Кстати, прикрой занавеску, он идет.

Ветерок раздул ее платье, и она, сдвинув ноги, пригладила его и скромно придержала руками.

На верхней палубе ресторана «Амра» появился высокий человек в светлом костюме, с довольно приятными чертами лица, обрамленными благородной сединой.

Он деловито огляделся, иногда кивая знакомым, а потом, заметив нашу парочку, быстро и уверенно направился к их столику.

Молодой человек вскочил, отодвинул третий стул, чтобы гостю было удобнее присесть, и стал наливать шампанское в третий бокал. Рука его явно дрожала, и видно было, что он взволнован.

Человек присел за стол, властно оглядел обоих застольцев, и было видно, что девушка ему сейчас очень нравится. Он явно был доволен собой, что не ошибся в выборе. Она сидела опустив глаза, и это делало ее еще более привлекательной.

Он поднял бокал.

— Выпьем за нашу встречу, — сказал он и, строго взглянув на молодого мужчину, добавил: — Пока ничего не получается. Но ты не огорчайся. Один из основателей нашей фирмы зуб имеет против твоего отца и из-за того выступил против тебя. Все эти кавказские штучки портят бизнес. При чем тут сын? Но скоро он свою фирму организует и тихо уйдет от нас. Тогда твоя кандидатура — верняк.

Видимо, больше у него времени не было. Он поставил свой недопитый бокал на стол. И встал во весь свой внушительный рост. Он властно взял девушку за руку и поставил рядом с собой: цветущий старик с цветущей внучкой.

— Кстати, нам нужна интеллигентная секретарша, — сказал он, — вскоре мы начнем торговать с турками. Мы можем ее оформить.

— Я знаю английский язык, — краснея и подняв лицо к шефу, сказала девушка, — я окончила Московский университет. Я могу поддержать разговор почти на любую тему.

— Очень хорошо, — сказал шеф с придыханием и, крепко прижав к себе девушку, пошел к выходу.

— Чао! — быстро обернувшись, махнула рукой девушка своему жениху. Тот ничего не ответил. Но когда они скры-

лись, он налил полный бокал шампанского и опрокинул его, как водку. Потом он быстро пошел куда-то звонить, и вскоре к нему явилась другая девушка. Скорее всего, это была Люба. Они кутили, но я их уже не слушал. Я только вынужден был согласиться, что выбор дальнозоркого шефа был намного точнее.

светофор

Маленький, очаровательный, как игрушка, древний немецкий городок. Мы, несколько членов российской делегации, поздно ночью возвращаемся к себе в гостиницу. Переходим улицу, хотя светофор показывает, что переходить нельзя. Но мы переходим улочку, потому что ни одной движущейся машины не видно.

Когда мы стали ее переходить, я услышал недовольный ропот нескольких немцев, которые стояли на тротуаре и явно, в отличие от нас, ждали зеленый свет. И ни одной машины, а они все стоят и ждут.

Я подумал, что вот это и есть демократия на самом низовом и, может быть, самом важном уровне. Это что-то вроде негласного общественного договора между государством и гражданином.

Есть вещи, неуследимые для граждан, но государство их обязано выполнять. Есть вещи, неуследимые для государства, но граждане их обязаны выполнять.

Гражданственность — это донести свой окурок до урны. Государственность — это сделать так, чтобы путь до очередной урны был не слишком утомительным.

Гражданин демократического государства догадывается, что для его личного достоинства выгоднее, не дожидаясь полиции, самому донести свой окурок до урны. Демократическое государство догадывается, что ему выгоднее чаще расставлять урны, чем полицейских. Это и есть взаимовыгодная практика демократии.

Но как она начинается? Можно подумать, что это одновременный процесс сверху вниз и снизу вверх. Но это неверно. Все начинается с наглядного примера. Самая наглядная для всех точка в государстве, на которую внимательно или рассеянно все смотрят, — это самая государственная власть. И когда гражданин, глядя на власть, про себя говорит: «Ты смотри — не воруют! Ты смотри — не лгут! Ты смотри — вчера ошиблись и сегодня, а не через год, признают, что вчера ошиблись! Придется донести свой окурок до урны».

милосердие

Прохожу по подземному переходу возле гостиницы «Советская». Впереди нищий музыкант в черных очках сидит на скамеечке и поет, подыгрывая себе на гитаре. Переход в это время почему-то был пуст.

Поравнялся с музыкантом, гребанул из пальто мелочь и высыпал ему в железную коробку. Иду дальше.

Случайно вложил руку в карман и чувствую, что там еще много монет. Что за черт! Я был уверен, что, когда давал деньги музыканту, выгреб все, что было в кармане.

Вернулся к музыканту и, уже радуясь, что на нем черные очки и он, скорее всего, не заметил глупую сложность всей процедуры, снова гребанул из пальто жменю мелочи и высыпал ему в железную коробку.

Пошел дальше. Отошел шагов на десять и, снова сунув руку в карман, вдруг обнаружил, что там еще много монет. В первый миг я был так поражен, что впору было крикнуть: «Чудо! Чудо! Господь наполняет мой карман, опорожняемый для нищего!»

Но через миг остыл. Я понял, что монеты просто застревают в глубоких складках моего пальто. Их там много скопилось. Сдачу часто дают мелочью, а на нее вроде нечего покупать. Почему же я в первый и во второй раз недогреб монеты? Потому что делал это небрежно и автоматически. Почему же небрежно и автоматически? Потому что, увы, был равнодушен к музыканту. Тогда почему же все-таки гребанул из кармана мелочь?

Скорее всего потому, что много раз переходил подземными переходами, где сидели нищие с протянутой рукой, и довольно часто по спешке, по лени проходил мимо. Проходил, но оставалась царапина на совести: надо было остановиться и дать им что-нибудь. Возможно, бессознательно этот мелкий акт милосердия перебрасывался на других. Обычно по этим

переходам снует множество людей. А сейчас никого не было, и он как бы играл для меня одного.

Впрочем, во всем этом что-то есть. Может быть, и в большем смысле добро надо делать равнодушно, чтобы не возникло тщеславия, чтобы не ждать никакой благодарности, чтобы не озлиться оттого, что тебя никто не благодарит. Да и какое это добро, если в ответ на него человек тебе благо дарит. Значит, вы в расчете и не было никакого бескорыстного добра. Кстати, как только мы осознали бескорыстность своего поступка, мы получили тайную мзду за свое бескорыстие. Отдай равнодушно то, что можешь дать нуждающемуся, и иди дальше, не думая об этом.

Но можно поставить вопрос и так. Добро и благодарность необходимы человеку и служат развитию человечества в области духа, как торговля в материальной области. Товарообмен духовными ценностями (благодарность в ответ на добро), может быть, еще более необходим человеку, чем торговля.

палач

— Как ты относишься к палачам, исполняющим смертный приговор?

— Я испытываю к ним омерзение.

— Во все времена люди испытывали к палачам ненависть и омерзение. Но может быть, они, сами не сознаваясь себе

в этом, в глубине души считали, что могут совершить преступление и тогда попадут в руки такого палача?

— Нет, я не думаю так. Люди во все времена ненавидели палачей, потому что считали, что это самая грязная работа. Любой убийца движим какой-то страстью: ревность, ненависть, жажда наживы. Палач ничего не чувствует к жертве. Он — убийца в чистом виде. Вот почему люди во все времена ненавидели палачей.

— Если народ испытывает такое омерзение к палачам, может быть, следует отменить смертную казнь, и государству палачи не будут нужны? Есть же страны, где отменили смертную казнь, и, говорят, статистика показывает, что там убийц не стало больше.

— Я думаю, что эта статистика ошибочна. В этих странах за сравнительно короткое время сильно повысился уровень жизни. И тех тяжких преступлений, которые совершались от отчаяния бедняков, стало меньше. А хладнокровно обдуманных убийств стало больше. Поэтому статистика как бы осталась на месте.

— Так ты считаешь, смертную казнь в нашей стране нельзя отменить?

— Думаю, что пока нельзя. Если отменить смертную казнь, увеличится количество хладнокровно, заранее обдуманных преступлений. И никак не уменьшится количество преступлений, которые совершены от отчаяния и ярости обнищавших людей. Мы еще слишком бедны.

— Но неужели никакого воспитательного значения не имеет то, что могучее государство отказалось убивать людей?

— Безусловно, для некоторых людей это будет признаком того, что государство движется в гуманном направлении. И они подойдут к такому государству и, может быть, станут лучше выполнять свои обязанности по отношению к нему. Но дело в том, что эти подобревшие люди и без того не способны к тяжким преступлениям, к убийствам. Но люди, способные на убийства, воспримут этот добрый акт государства как его очередную глупость, которой надо быстрее воспользоваться, пока оно его не отменило. Здесь, как и везде, хорошо поддаются воспитанию и без того воспитанные люди.

— В таком случае, если палач неизбежен в государстве и он выполняет справедливое наказание, почему его все ненавидят и презирают? Может быть, следует выступать в защиту палача?

— Народ такую защиту воспримет как подготовку государства к новому террору.

— Где же выход?

— Выхода нет. Здесь тупик. Палач напоминает нам о первородном грехе человека. Все с самого начала пошло не так.

— В таком случае есть ли у человечества какая-нибудь надежда?

— Единственная надежда — стойкая в веках ненависть и отвращение к палачам. Стойкое отвращение — форма веры и надежды.

— Кто имеет право пожалеть палача?

- Это его проблема.
- Палача или Бога?
- Думаю — Бога. У палача нет проблем, ибо, решив эту проблему, он потерял право на всякую проблему.
- Как ты думаешь, палач может верить в Бога?
- Не думаю.
- Но ведь Бог допустил палачество?
- Он все допускает.
- Почему?
- Он ищет только добровольцев добра.
- А если Бога нет?
- Тогда и говорить не о чем.

женщина со свечой и опущенными глазами

Я знал одного талантливое физика, который всю жизнь был православным и в самые трудные годы гонения на церковь ходил туда и выполнял все обряды. Сейчас он с женой и сыном уехал в Америку. Легко вычислив его большой талант, одна фирма заключила с ним контракт на всю жизнь.

Он был умным и истинно верующим человеком. Однако уже пятый раз был женат и каждый раз женился на молодых прихожанках. Как это сочетать с пламенной верой? Не знаю, но это так. Однажды он мне признался: «Когда я вижу юную женщину, со свечой и опущенными глазами стоящую в церк-

ви, во мне все переворачивается. Верю, что мне Бог простит это».

Вероятно, это была единственная индульгенция, которую он ждал от Бога. Возможно, он считал, что такую индульгенцию он уже получил. А может быть, он не женился бы столько раз, если бы первая жена каждый раз входила в спальню со свечой и опущенными глазами, а потом перед самой постелью задувала свечу, не поднимая глаз.

Возможно, церковь, внушающая людям необходимость очищения и обновления жизни, внушает некоторым обновление жизни в этом роде. Вспоминая его последнюю прелестную жену (я ее только и знал), я с тревогой думал: нет ли в том месте в Америке, где они живут, православной церкви? И вдруг недавно узнал, что он стал католиком. Что бы это значило?

у горящего очага

Помню такую картину из детства. Мой дядя Кязым со своим другом Бахутом сидят на длинной скамье у гудящего пламенем очага. Они мирно беседуют то на абхазском языке, то переходя на мингрельский. Бахут — мингрелец.

Сейчас, во времена национальных безумий, я думаю, почему они были самыми близкими друзьями, хотя в Чегеме и мингрельцев было достаточно, и абхазцев было полно? И теперь со всей ясностью я понимаю, что они дружили, потому что были самыми умными крестьянами тогдашнего Че-

гема. В нормальных условиях люди сходятся по умственной, а не по национальной близости. Им друг с другом интереснее, чем с остальными.

Скоро жена дяди Кязыма, снующая по кухне, приготовит обед, и мы все сядем за стол. Необыкновенно уютно и приятно ожидание обеда. Мы знаем, что благодаря присутствию друга дяди Кязыма обед будет более вкусным и обильным, чем обычно.

Может быть, из-за всего этого шестилетний малыш, сын дяди Кязыма, пришел в возбуждение и бегает по кухне, время от времени пробегая между скамьей, на которой сидят хозяин и его гость, и пылающим очагом. Дядя несколько раз прикрикнул на сына, чтобы он не пробегал мимо очага, в который он мог случайно свалиться. Но малыш не слушает его. Он пришел в необыкновенное возбуждение.

Наконец, когда он в последний раз пробежал мимо них, дядя размахнулся и довольно крепко шлепнул его по попе. Малыш разревелся и выскочил из кухни, может быть, не столько от боли, сколько от обиды: посмел ударить при чужом человеке!

Друг дяди Кязыма укоризненно покачал головой и изрек: «Разве можно так бить ребенка?»

Дядя Кязым с такой знакомой нам усмешкой посмотрел на него и ответил: «Можно подумать, что ты моего ребенка любишь больше меня».

Мне тогда было лет двенадцать. Слова его показались мне умными и неопровержимыми. Так же кажется и теперь. Дядя

Кязым был совершенно неграмотным человеком и вместо подписи на своих бригадирских бумагах ставил крестик.

ВЗГЛЯД

Кивнув в сторону города — мы проезжали Орел, вагонный попутчик рассказал мне:

— Здесь я начал работать после окончания строительного института. Однажды я оказался в одной малознакомой компании. Выпивали за большим столом. Было много девушек и молодых людей.

Вдруг я поймал чей-то взгляд. На противоположном конце стола сидел молодой человек и смотрел на меня с выражением ледяной ненависти в глазах. Мы были совершенно незнакомы, и никакого повода глядеть на меня такими глазами у него не было. Я уже достаточно знал людей и так понял его взгляд: хочет подраться. Я не был любителем драк, но, если навязывались с дракой, принимал ее. Но на этот раз особенно неохота было драться. Может быть, потому, что в этой компании у меня почти не было знакомых.

Однако я уже был достаточно опытным, чтобы знать: такому взгляду нельзя уступать. Чем больше уступаешь такому взгляду, тем больше возбуждается хищник. Это все равно что бежать от злой собаки в чистом поле.

И я волевым усилием заставлял себя спокойно смотреть в его глаза, полные неподвижной ненависти, но все равно пе-

реглядеть я его не мог. Просто из приличия, чтобы не портить застолья. Я первым отводил глаза, но каждый раз это делал как бы лениво и равнодушно. Его серо-голубые глаза были чуть навывкате. Мне даже подумалось, что они выпуклы, потому что на них все время давит внутренняя ярость.

В течение вечера я несколько раз замечал этот взгляд, полный неподвижной ненависти. И каждый раз я спокойно и равнодушно глядел ему в глаза, потому что только так и надо было глядеть в такие глаза. Но потом все-таки я первым отводил глаза, так как не хотел, чтобы за столом обратили на нас внимание.

А потом все напильсь, начались танцы, и я забыл о нем. Во время танцев ко мне подошла одна девушка и умоляющим голосом сказала: «Вы простите, пожалуйста, что он на вас так смотрел. Он такой ревнивый».

Я понял, что это была его девушка. Я ее сейчас впервые заметил. Я уже был достаточно пьян и достаточно забыл его взгляды. «Ничего, ничего, — сказал я ей, — бывает».

Потом мы все разошлись по домам. А через два месяца я узнал, что этот парень арестован. Ночью он встретил на улице двух молодых людей. Один из них попросил у него прикурить. Черт его знает, что ему показалось! Он молча достал финку и ударил того, кто попросил его прикурить. Тот упал. Второй побежал, но он его догнал и, несколько раз ударив финкой, убил.

Но первый, которого он сначала ударил, оказался не убит, а ранен. По его показаниям и нашли убийцу. Ярость челове-

коненавистничества в некоторых людях врожденна. И с этим ничего нельзя сделать. Но второго он не тронул бы, если б тот не побежал. Тут действуют звериные законы. А ведь убийца не какой-нибудь уголовник, он тоже был молодым инженером...

— Откуда вы знаете, что он не убил бы второго, если бы тот не побежал? — спросил я.

— Знаю точно, — ответил он и посмотрел на меня ясными глазами, — он ведь тоже был инженером-строителем, как и я. Я бы на его месте тоже погнался за вторым, если бы ударил первого.

Логика его мне показалась не только странной, но и опасной. Черт знает что! Захотелось тихо выйти и оказаться в другом купе.

— Будем ложиться, — сказал он. — Знаете, я, к сожалению, храплю по ночам. Вы не слишком чутко спите?

— Нет, — сказал я, стараясь растрогать его искренностью, — но я трудно засыпаю.

— Вот и хорошо, — заметил он, — я подожду, пока вы заснете, а потом и сам дам храпака. В чутком сне тоже есть что-то звериное. Опасайтесь людей с чутким сном. Особенно в пути. Они как раз просыпаются тогда, когда вы крепко спите. А что им тогда взбредет в голову, аллах его знает!

«Многообещающая концовка», — подумал я и стал уныло стелить свою постель.

мавзолей

Сталин придумал положить труп Ленина в мавзолей, чтобы тысячи и тысячи людей, проходя через мавзолей, ежедневно воочию убеждались, что Ленин не перевернулся в гробу. Он, может, и перевернулся бы, и не раз, да кто бы ему дал перевернуться. Целый тайный подземный институт работал, чтобы не дать Ленину перевернуться в гробу, а заставить лежать в благопристойной, назначенной Сталиным позе.

Впрочем, скорее всего, Сталин тоже ошибался, он тоже был суеверным человеком. Время показало, что Ленину и незачем было переворачиваться в гробу: за что боролся, на то и напоролся.

Но, говоря всерьез, тут несколько глубочайших психологических аспектов. Власти, видимо, не до конца верят в новое демократическое устройство государства. Они подсознательно надеются, что, если все провалится, есть надежда в последний миг уцепиться за этот непотопляемый гроб и выплыть.

И другое. У нас как будто церковь восстановлена в своих правах. Если так, то почему отцы церкви терпят такое издевательство над трупом, не преданным земле? И хотя во всей русской истории не было большего ненавистника церкви, чем Ленин, они должны были бы громко и первыми восстать против такого варварства. Впрочем, и церковь до конца не верит в законность своего существования.

В России никто не верит в законность своего существования. Но может быть, поэтому мы еще и существуем кое-как: равновесие взаимных беззаконий.

И простые люди в своем большинстве не хотят, чтобы похоронили Ленина. Подсознательно они чувствуют: сегодня похоронят Ленина, а завтра заставят работать всерьез, без пьянки и воровства. А нафига нам это надо, пусть все остается как есть.

И страна пьет, пьет, пьет, ибо решила, что поминки уместны, пока не убран из дома труп. Да и в каком доме можно трудиться на завтрашний день, когда в главной комнате стоит гроб с трупом? И время в доме стоит, пока стоит гроб с трупом.

И все грехи людей нашей страны невольно кажутся им мелкими по сравнению с главным грехом: непохороненный труп лежит в сердце страны как апофеоз смерти.

Если живые не хоронят мертвого, то, по ясному закону мистической логики, мертвый начинает хоронить живых. Миллионы загубленных. Одичание. Тысячи не преданных земле защитников родины дотлевают в лесах. Вавилонское столпотворение глупостей.

Грех держать труп непохороненным в доме страны, и грех приступать к созидательной работе, которая все равно обречена, пока не похоронен труп.

бахус и бах

Похмельное чувство вины! Кто же не знает эту муку мученическую! Режь себя! И ты режешь себя, вспоминая какое-то неловкое слово, какой-то фальшивый жест! На самом деле это только повод, такой муки ты не испытал бы, если бы трезвый произнес это неточное слово, сделал этот фальшивый жест! Так в чем дело? Откуда эта репетиция ада?

Выпив накануне, ты механическим способом создал себе хорошее настроение. И вот природа мстит нам за это искусственное веселье. И маятник откатнулся в обратную сторону.

Только глубоко уверившись в том, что мы в этот мир пришли не для хорошего настроения, а для чего-то большего, мы как раз и получаем шанс чаще пребывать в хорошем состоянии.

При невероятной, головокружительной изобретательности людей не удивительно ли, что человечество до сих пор не могло создать безвредное средство, приводящее человека в хорошее, веселое состояние духа? Видимо, это принципиально невозможно. Видимо, какая-то сила сверху следит за этим. Или человечество покорится уколам совести, или его ждет безумие наркотической иглы.

Взрывная похмельная боль за мелкую фальшь намекает нам, что на этом пути нас ждет деградация. Сперва сам взрываешься на собственную мелкую фальшь, а потом будешь несоразмерно взрываться на эту же фальшь, замеченную другими. Это так. Это точно.

Но не слишком ли беспощадно мстит природа? А не слишком ли много ты выпил? Где выход?

Две-три рюмки на похмеле, чтобы снять эту муку и больше не пить! Год! Ну, месяц! По крайней мере неделю. Дальше отступать некуда. Держись, ибо страшен человек, переставший уважать себя.

Кстати, настоящая музыка похожа на вино. Она пьянит радостью, но опьянение музыкой не знает похмельной тяжести. По-видимому, музыка ближе всего к Богу. Она, как Бог, создает мир из ничего. Через какой гениальный очистительный аппарат прошло вино Баха!

убивающий

В детстве я видел такую картину. Мы с пацанами шли на море. Впереди нас, покачиваясь, шагали два пьяных человека. Один из них — богатырь, другой — довольно тощий, маленький. Тощий беспрерывно в чем-то укорял своего собутыльника. Богатырь неожиданно останавливался, приподнимал тощего и бросал его на тротуар.

После этого он сам помогал ему встать, и они шли дальше. Тощий продолжал его укорять. Богатырь терпел-терпел, а потом останавливался, поднимал его на руки и бросал на землю. После чего снова помогал ему подняться и идти дальше.

Когда богатырь в последний раз бросил тощего на тротуар, тощий сильно ударился головой о бордюр и остался не-

движим. Все попытки второго пьяного поставить его на ноги ни к чему не приводили. Тощий был неподвижен и не открывал глаза.

Я помню тот ужас, который испытал тогда пацаном, он и до сих пор у меня в душе. Сейчас, по прошествии многих десятков лет, я надеюсь, что, может быть, тот пьяный и не убил своего товарища. Может быть, тот просто потерял сознание. Но тогда все мы, идущие сзади, думали, что убил.

Я тогда же почувствовал, что ужас случившегося не вмещается в границы жалости к убитому человеку. Я тогда же почувствовал, что случилось нечто более страшное. Я это почувствовал, весь окаменев, охолодев, но что это такое — не понимал. И только теперь у меня мелькает странная догадка, объясняющая тот ужас.

Я думаю, с насильственной смертью человека обрывается информация, идущая от каждого человека к Богу. Миллиардами нитей Бог связан с человеком и нуждается в полной информации о его жизни — от рождения до естественной смерти. И вдруг эта информация искусственно прерывается убийством человека. Миллионы нитей от человека к Богу искусственно обрываются, когда люди убивают людей. И кто его знает, может быть, некое решение Бога относительно судьбы человечества из-за этого отодвигается и отодвигается в неизвестное будущее. Убийство человека — это плевок в Бога.

скорбь

Он летел на похороны матери. Рейс на его самолет уже несколько раз откладывали. И другие рейсы отодвигали. Аэропорт был переполнен пассажирами. Он ходил и ходил между сидящими и спящими пассажирами уже несколько часов. В ходьбе боль уменьшалась, вернее, само действие ходьбы, требуя некоторых усилий, немного приглушало боль.

Сейчас, когда он стал прилично зарабатывать и мог уже в полную силу помогать матери, она заболела и умерла. Он думал, что никто в мире никогда не узнает о самоотверженности его матери, о ее великом терпении, любви, о ее невероятных усилиях, чтобы одной вырастить своих детей.

И вот, поставив всех на ноги, почти внезапно умерла, вместо того чтобы долго и тихо угасать, лаская внуков и чувствуя на себе благодарную любовь своих взрослых детей.

Мать — короткий праздник на Земле.

Эти слова неведомого ему поэта сейчас звенели у него в голове. Какая несправедливость, думал он. И никто никогда не поймет, чем она была для своих близких, и этого никак не пересказать, потому что ее любовь и самоотверженность заключались в тысячах деталей, которые хранило его сердце, и в словах это не выразить, и не найдется человека, который все это захотел бы выслушать и понять. Какая несправедливость, думал он, шагая и шагая между людьми, сидящими на скамьях и спящими по залу аэропорта.

Мать — короткий праздник на Земле.

Вдруг его внимание привлекла женщина лет тридцати, по одежде явно крестьянка, сидевшая с узелками у ног. Его внимание привлекло выражение необычайной скорби на ее лице, и тогда он заметил мальчика лет шести, сидящего рядом с ней. Над глазом мальчика краснела чудовищная опухоль величиной с голубиное яйцо. Лицо мальчика было безмятежно, видно, он не испытывал никакой боли, тем более что руки его беспрерывно двигались, он занят был игрушечной машинкой.

Он остановился, пораженный лицом этой женщины. Конечно, выражение скорби на ее лице было связано с болезнью этого мальчика. Конечно, она прилетела в Москву показать его врачам. Что они ей сказали? Наверяд ли что-нибудь утешительное. Иначе откуда такая скорбь на ее лице?

Он смотрел и смотрел на обыкновенное лицо русской женщины. В обычном смысле оно не было ни уродливым, ни красивым. Но сейчас оно было необыкновенным. Она молча смотрела в какую-то непомерную даль, и лицо ее светилось тихой, безропотной скорбью. Оно светилось скорбью и все понимало. Оно вмещало в себе всю скорбь мира, и он почувствовал, что оно вмещает в себе и скорбь по его матери, словно не хуже него знает о ее самоотверженно-мужественной, терпеливой жизни. И он вспомнил, что всю жизнь скорбь была главным выражением лица его матери, но он так привык к этому выражению, что не понимал его. И только сейчас понял. И эта женщина, которая была намного моложе не только

его матери, но и его самого, вдруг показалась ему похожей на его мать.

В своей жизни он видел немало хороших, милых, красивых женских лиц. И только теперь, потрясенный, понял, что впервые видит прекрасное лицо.

И ему вдруг захотелось рухнуть на колени перед этой женщиной и поцеловать ее руку в знак благодарности, что ее скорбь вмещает в себе и скорбь по его матери, и сказать ей все, что не успел сказать своей матери.

Однако он не двинулся, а только смотрел на ее лицо. Он знал, что даже если бы аэропорт был пуст и не было ни одного свидетеля, он бы не пал перед ней на колени. Он был сыном своего времени, и постыдный стыд перед откровенностью благоговения мешал ему это сделать.

Чем откровеннее хамство на этой земле, подумал он, тем более стыдится себя любовь. И сколько раз в жизни он бывал ранен и цепенел более всего от образованного хамства! Человек рождается грамотным или безграмотным, вдруг подумал он. Человек, родившийся грамотным, читая книги, расширяет свою грамотность. Человек, родившийся безграмотным, читая книги, только усугубляет свою безграмотность. Вот почему страшнее всех культурный хам. Под грузом культуры он как под мешком, который нельзя сбросить, и потому он не терпим, раздражен, яроsten и лишен мудрости, ибо под грузом мешка невозможно быть мудрым. Вероятно, только великая, всепроникающая скорбь даже из хама может сделать человека, думал он, глядя на лицо этой женщины.

И он смотрел и смотрел на это скорбящее, светящееся скорбью лицо, обращенное в непомерную даль. И ему почему-то становилось легче, просветленнее. В этом мире все прекрасное скорбит, подумал он, и все скорбящее прекрасно. И он вдруг с абсолютной уверенностью понял, что только скорбь прекрасна и только скорбь спасет мир. И разве случайно, что лицо Богоматери всегда скорбно?

...А мальчик с чудовищной опухолью над глазом безмятежно играл своей машинкой.

эксперимент

Как-то, моясь в ванне, я обдумывал статью, которую прочел накануне ночью. Автор писал о том, что при любых травмах головы область, ведающая высшей психической деятельностью, которая меньше всего зависит от физиологии, меньше всего страдает. Она же отказывает умирающему человеку последней.

Автор считал, что высшая психическая деятельность не столько зависит от физиологии, сколько от небесных причин, с которыми она связана более основательно.

Я так увлекся анализом этой статьи, что неожиданно поскользнулся, перевернулся, вылетел из ванны и, ударившись головой о стенку, потерял сознание.

Постепенно прихожу в себя. В голове грохот, переходящий в звон. Я сижу в ванной комнате, спиной прислонив-

шись к стене. Слышу грохот, постепенно переходящий в звон. Мне кажется, это грохочет огромный зал, а я боксер, получивший нокаут. Первое, что я сообразил, — рефери не должен засчитать этот удар, потому что я получил удар по затылку. В боксе такой удар запрещен, и рефери должен оштрафовать моего противника.

Окончательно прихожу в себя. В голове звон, и сильно болит затылочная часть. Я затылком ударился о стену. Но значит, и в бредовой сцене, привидевшейся мне, я правильно определил место, куда получил удар. Значит, автор статьи прав.

Продолжая удивляться статье, кое-как встал, вытерся и оделся. Голова все еще болит, во всем теле слабость. А в этот вечер я должен был выступать в одном клубе. Отменять было неудобно, люди придут. Решил все-таки идти. Меня взбадривало воспоминание об этой статье, хотя голова продолжала болеть и во всем теле была слабость.

Я взял с собой два текста для чтения перед публикой. Один текст был интонационно и по содержанию сложнее, я его решил читать еще до падения. Но сейчас прихватил и второй текст. Он был попроще. На всякий случай решил, что, если почувствую, что первый текст мне будет трудно читать, прочту второй.

Поехали с женой в клуб. Людей было много. Голова продолжала болеть. Я все-таки решил читать первый текст. Читаю. Увлекся. Минут через десять почувствовал, что голова перестала болеть. Еще больше увлекся. Аудитория слушает внимательно: где надо смеется, где надо молчит. Читал больше часа.

В общем, вечер прошел хорошо. Потом жена сказала, что я никогда так здорово не читал. Но это, конечно, за счет волнения перед читкой: вдруг грохнусь и потеряю сознание. Но и автор статьи оказался прав, судя по всему. С тех пор прошло три дня, и никаких последствий падения я не чувствую, если не считать эту заметку. Но об этом судить читателям, однако для чистоты эксперимента желательным таким, которые сами не стукались головой об стену.

СТАЛИН И ВУЧЕТИЧ

Вучетич — знаменитый скульптор, автор еще более знаменитого монумента Сталину, установленного под Сталинградом. Неподвижное бессмертие огромного монумента, видимо, согревало сердце вождя. Сталин несколько раз вызывал к себе Вучетича, и они подолгу беседовали за рюмкой коньяка.

Однажды случилось вот что. Об этом мне рассказывал один скульптор, который слышал эту историю от самого Вучетича.

Сталин мирно беседовал с Вучетичем.

— Товарищ Сталин, что такое старость? — спросил Вучетич, разумеется, имея в виду философский смысл проблемы.

И вдруг лицо Сталина мгновенно исказилось гневом и ненавистью. Он стал страшен. Вучетич помертвел, не в силах осознать, чем он разгневал Сталина.

— Молодой человек, вы плохо воспитаны, — с тихой яростью выдавил Сталин, быстро встал и ушел в другую комнату, крепко хлопнув дверью.

Вучетич сидел ни жив ни мертв. Сейчас войдет стража и уведет его в подвалы Лубянки. Он не мог понять, что ткнул пальцем в самую болезненную точку сталинской психики.

Однако через некоторое время дверь открылась, Сталин спокойно вошел в комнату и сел на свое место.

— Старость — это потеря чувства современности, — победно сказал Сталин и разлил коньяк.

Беседа была мирно продолжена. По-видимому, формула, найденная Сталиным, ему самому понравилась, и к нему пришло хорошее настроение.

Сталин, как величайший бизнесмен политики, сделал ставку на смерть и выиграл полмира. Смерть всю жизнь была его самой исполнительной секретаршей. Она никогда не предавала, она была неутомимой и точной исполнительницей его воли.

Но как трезвый человек он понимал, что рано или поздно верная исполнительница его воли придет за ним самим. Это, вероятно, иногда приводило его в бешенство. Известно, что в быту он не любил всякое упоминание о смерти. За несколько лет до смерти, видимо, в порыве ярости он решил казнить смерть. В Советском Союзе произошло неслыханное — была отменена смертная казнь. И, видимо, этот новый закон достаточно неукоснительно соблюдался.

Один уголовник мне рассказывал, что он в лагере, мстя за избитого до полусмерти друга, с невероятной дерзостью убил

одного из главных вертухаев. Ему намотали новый срок, но не расстреляли.

Впрочем, не исключено, что отмена смертной казни была хитрым политическим ходом Сталина. Есть признаки, что он готовился к новому тридцать седьмому году и отменой смертной казни усыплял бдительность других партийных вождей.

Старость — это потеря чувства современности. Нет, он, Сталин, не потерял чувства современности. Значит, до истинной старости далеко. Пусть трепещут враги! Живой Сталин еще долго будет жить вместе со своим бессмертным монументом.

Но вскоре Сталин умер. Или его убили? Мы ничего не знаем. Если его убили, значит, он все-таки потерял чувство современности и на этот раз не смог перехитрить других вождей.

Сталин так или иначе умер, а через три года тысячи скульптур Сталина вместе с его знаменитым монументом были демонтированы и разрушены.

Что же такое история? Ничего. Реке все равно, что на ней ставят: бойню или мельницу.

СОН

Он вернулся из командировки, открыл ключом дверь своей квартиры и вошел в переднюю. Из гостиной доносился голос его жены. Оставив портфель в передней, он вошел туда. Там, кроме жены и его шестилетнего сына, находился какой-то незнакомый мужчина, который слишком вольготно разва-

лился в кресле. По выражению лица жены и этого мужчины он сразу понял, что случилось нечто неисправимое.

— В нашей жизни кое-что изменилось, — сказала жена, как бы опережая его догадку и тайно упрекая его в слишком длительной командировке.

Она это сказала слегка смущенным голосом, но внутри этого смущения чувствовалось твердое решение и попытка навязать ему фальшивую уверенность в своей правоте и чистоплотности. При этом уверенность в ее чистоплотности основывалась на том, что она сразу сообщила ему о невероятной новости, хотя он сам мгновенно догадался о случившемся, как только вошел в гостиную.

Он вдруг вспомнил, что накануне ночью в поезде видел дурной сон и тогда же проснулся и подумал, что сон этот не к добру и в доме его, вероятно, какой-то непорядок. И вот явь подтверждала сон.

Все это сейчас пронеслось у него в голове, и его взорвала ее попытка навязать ему свою фальшивую правоту. Одновременно его взорвало выражение лица этого мужчины со слегка задранным, якобы волевым подбородком. Вид у него был уверенного в себе комсомольского вожака, который, слушая слова его жены, легкими кивками как бы подтверждал всемирное право женщины самой распоряжаться своей судьбой.

В ярости он подбежал к креслу мужчины и стал бить его кулаками в подбородок. Он уже заметил, что мужчина этот гораздо крупнее его и явно сильнее, и потому решил, что точ-

ным ударом в подбородок он его сразу должен оглушить, нокаутировать.

Но когда он начал его бить, он ощутил, что от ярости руки его слишком напряжены и удары получаются недостаточно резкими. И оттого что он, несмотря на душашую его ярость, стараясь образумить эту ярость, перехитрить ее, пытался как можно точнее попасть ему в подбородок, сила ударов ослабевала. Одновременно он ощущал подловатость не соответствующей моменту слишком строгой целенаправленности своих ударов.

Он бил и бил этого мужчину. После каждого удара голова мужчины вздрагивала, но выражение лица ни менялось, а как бы еще более сурово замыкалось на мысли, что женщина имеет полное право сама распоряжаться своей судьбой и было бы оппортунизмом предавать забвению эту часть общепролетарского дела. Выражение лица этого мужчины к тому же назойливо напоминало лицо героя знаменитой картины «Допрос коммуниста».

«Сколько же можно бить его?» — думал он, чувствуя, что руки начинают уставать, деревенеть. И вдруг он понял, что голова мужчины не вздрагивает после каждого удара, как ему казалось, а просто отряхивается. Так человек, слегка мотнув головой, сгоняет муху, севшую ему на лицо.

«Ему совсем не больно», — с ужасом подумал он, продолжая молотить по резиновому подбородку мужчины. И сейчас он почувствовал фальшь собственных ударов. Ведь он уже понял, что мужчине его удары не причиняют никакого вреда.

И теперь ему ясно стало, что он перед этим мужчиной притворяется, делает вид, что не догадывается о бесполезности своих ударов, и длит бесполезное наказание.

Ведь если мужчина догадается, что он уже знает о бесполезности своих ударов, то это значило бы, что он должен найти новый способ мести или оказаться смешным. Но он не находил нового способа мести, точнее, считал преступным, скажем, схватить кухонный нож и пырнуть им ненавистного мужчину. Нет, такой выход он считал невозможным, а вот бить кулаками — в порядке вещей. Но и показаться смешным было ужасно. И он, чтобы не показаться смешным, усердно, как бы не сомневаясь в силе своих ударов, продолжал молотить кулаками по его бесчувственному подбородку. Но положение с каждым мгновением становилось все кошмарнее и кошмарнее, и руки уже стали свинцовыми от усталости.

— Что толку драться? — вдруг сказал мужчина, подставляя ладони и легко принимая на них его удары. — Мы с ней уже живем полгода. А теперь решили жениться...

— Как полгода?! — задохнулся он в крике и одновременно постыдно радуясь, что при такой вести уже бессмысленно его бить и потому наконец можно опустить руки, которыми, выбившись из сил, он с трудом двигал. И вдруг неожиданно как убийственный аргумент против этого мужчины вспомнил и выкрикнул: — Но ведь она эти полгода продолжала жить со мной!

— Ну, это чисто формально, чисто формально, — поспешно поправил его мужчина, пытаясь замять этот его сокрушительный аргумент.

— Как это — формально?! — вспыхнул он, не давая отбросить этот свой аргумент, из которого, как ему казалось, совершенно ясно вытекало, что она не могла ничего общего иметь с этим мужчиной. И он стал доказывать, что все эти полгода он не формально, а по-настоящему жил с женой, не пренебрегая и такими постельными деталями, о которых он и под пытками в другое время не стал бы кому-либо рассказывать.

Ему казалось, что мужчина этот исчезнет, как дурной сон, если его доказательства будут убедительны. Но приводя их, он старался говорить иносказательно, чтобы ребенок ничего не понял, чтобы не причинять ему боли и не оскорблять его слух.

— Только без натуралистических подробностей, — сказал вдруг мужчина и, поморщившись, махнул рукой, — мы всегда были против натурализма.

Слушая его слова; он вдруг почувствовал, что этот мужчина ведет себя как хозяин положения и в стране, и в его доме. «Как это могло получиться, — подумал он, — ведь они вроде потеряли власть? Или сделали вид, что потеряли власть?»

«Может, все это сон? — с брезжущей надеждой подумал он. Но тут же жестко поправил себя: — Как же это может быть сном, когда как раз накануне я видел сон, который намекал мне на эту предстоящую явь. И вот она».

А между тем мужчина, видимо, нашел его доказательства достаточно убедительными с упреком посмотрел на его жену.

— Вот как, — сказал он, вздохнув, — а что ты теперь скажешь?

Жена его с вкрадчивой скромностью в голосе напомнила случай, действительно имевший место в одну из ночей этого полугодия, когда у них близость сорвалась. Тем самым доказывая, что полугодия близости в строгом смысле слова не получается. И хотя тогда близость сорвалась по ее же вине, она об этом не сказала. Но он почувствовал, что сейчас опасно об этом напоминать. Мог возникнуть спор, а во время спора они могли вспомнить, что он вообще целый месяц был в командировке. Сейчас они почему-то об этом забыли. Если бы они об этом знали, ему было бы совсем нечем крыть. Было смертельно важно доказать, что его связь с женой не прерывалась в эти полгода.

«Как хорошо, что я портфель оставил в передней, — подумал он, — если бы я его внес сюда, они бы все вспомнили. С портфелем повезло, — подумал он. — Надо раскручивать это реальное везение, и тогда победа будет за мной».

Раз они не видели портфель, надо делать вид, что этот мужчина появился в их доме и в их жизни, пока он выходил за сигаретами. Да, достаточно будет сказать, что он не в командировке был, а выходил из дома за сигаретами. «А если они спросят: почему ты так долго ходил за сигаретами? Очень просто, я скажу, что ближайший киоск был закрыт. Главное, что они портфель не видели».

А вдруг кто-нибудь из них случайно выйдет в переднюю, заметит его портфель и вспомнит, что он только что вернулся из командировки? Нельзя, нельзя этого допустить, подумал он, холодея. Надо спрятать портфель.

Он вынул сигарету и похлопал себя по карманам в знак того, что ищет спички и не находит. И он сделал вид, что идет в кухню за спичками. По дороге туда он в передней подхватил свой портфель и понес на кухню. Не зная, куда его спрятать получше, он сунул его в холодильник. Нахождение портфеля в холодильнике показалось ему достаточно естественным, потому что в портфеле оставался большой кусок колбасы, недоеденной в поезде: колбаса могла испортиться.

После этого он закурил от кухонной спички, хотя знал, что зажигалка у него в кармане. Но ему хотелось, чтобы его уход на кухню хотя бы частично был оправдан.

Закурив и вернувшись в гостиную, он снова встревожился, что они все-таки могут вспомнить о его командировке уже независимо от портфеля. Конечно, он может на это им сказать: «А где мой портфель, если я был в командировке?»

Все-таки он подумал о командировке как о запасном варианте, если ее придется признать.

По неведомым командировочным правилам день отъезда и день приезда принято было считать за один день. И он старался не забывать об этом, на случай если они вспомнят о командировке. Так он выгадывал один день. Конечно, он понимал, что выигрыш одного дня ему мало что дает, но с другой стороны, один день — это вдвое меньше, чем два дня. Но они так и не вспомнили о командировке или сочли излишним о ней вспоминать.

— Да, полгода у нас не получается, — сокрушенно согласился комсомольский вожак. Он это сказал раздумчиво,

как бы взвесив ситуацию. И вдруг лицо его озарилось радостной догадкой. — Выходит, она изменила нам обоим! — вскрикнул он и расхохотался. — Еще неизвестно, кто кому должен предъявлять претензии. Вы ее вынуждали к сожительству! Я на вас подам в суд! Муж жену вынуждал к сожительству, пользуясь своим служебным положением мужа! Ха! Ха! Ха!

Острота, видимо, ему очень понравилась. Человек оживленно вскочил с места, подбежал к его сыну, схватил его в охапку и стал подбрасывать и ловить. А он, с разрывающимся от обиды сердцем, видел, что сыну эта игра нравится.

— Сыночек! — крикнул он срывающимся голосом, с последней надеждой добраться хотя бы до души собственного сына. — У тебя новый папа?!

— Да! — с сияющим лицом крикнул сын, задыхаясь от встречного воздуха и взлетая на руках этого мужчины. И вдруг все взорвалось!

...С глухо и страшно колотящимся сердцем он проснулся. Он был у себя дома. Сын и жена спали в других комнатах, и никакого намека на эту драму в жизни его не было. А сердце продолжало тяжело колотиться.

Он вспомнил, что и предыдущий сон, о котором он думал во сне и который как бы предупреждал об этом сне, он видел здесь, в этой же постели, несколько ночей назад. Ни в какую командировку он вообще не ездил.

Он подумал, что никогда в жизни не испытал такой боли, какую он испытал сейчас во сне. От нее он и проснулся. Так,

где же настоящая жизнь — во сне или наяву, если самую ужасную боль мы испытываем во сне.

«Во сне мы беззащитны, потому что разум спит, — подумал он. — Значит, разум нас защищает, когда мы бодрствуем. Во время страшного сна кто-то тормозит разум: просыпайся, ему плохо! Но кто тормозит: организм, душа или кто-то, находящийся выше нас?»

Странно, что во сне мы испытываем нравственную боль, но не испытываем нравственной брезгливости. Нравственная брезгливость, — подумал он, — плод культуры. Сон смывает культуру. Потому во сне возможны не только фантастические ситуации, но и похабные, которые немислимы наяву».

Он нашарил в темноте сигареты и закурил. Он подумал: как хрупка жизнь! И хотя они с женой жили дружно, он подумал: в жизни все может случиться. Чего-то главного им всегда не хватало.

Но чего? Он подумал: люди связаны прочной близостью, только если вместе молятся или вместе совершают преступление. Ни того ни другого у них не было. Да, подумал он, прочно людей связывает или небо, или ад. Все остальное не прочно. И даже имеет право на непрочность. Он с жуткой ясностью почувствовал это право на непрочность, право на своеволие. И он затосковал о Боге и ощутил свою вину, что не затосковал о нем раньше.

Внезапно он вспомнил, что несколько дней назад распалась семья его друга. Не этим ли объясняется его сон? Он считал, что это счастливая, верующая, озвученная громкого-

лосыми детьми семья. И вот теперь все рухнуло. Вера не могла.

Да и есть ли счастливые семьи? Он крепко задумался. Да, вспомнил он, одну такую семью он знал с самого детства. Это была патриархальная крестьянская семья. В этой семье муж и жена не только не стремились к какому-то счастью, но даже не подозревали, что оно существует (существует!) и к нему надо стремиться. Для них добросовестное выполнение долга и было счастьем, но они не знали, что это так называется.

Само стремление к счастью греховно, подумал он. Счастье как бы предполагает тайный, только для меня солнечный день. Счастье — это утопия, направленная на самого себя, в неисполнении которой мы обвиняем других. Все шире охватывающая мир наркомания — ответ на идеологию счастья.

...В глубокой ночной тишине только тикал будильник, и тиканье его казалось взрывоопасным.

олады тридцать седьмого года

Мать поджарила двенадцать оладий, выложила их в тарелку и поставила ее на тумбочку. Сейчас в доме было три человека — мать, ее дочь и сын. Отец поздно возвращался с работы. Сестра ходила в школу во вторую смену, и, когда она вернулась домой, они сели обедать. И тут обнаружилось, что в тарелке не двенадцать оладий, а одиннадцать.

— Ты почему без спроса взял оладью? — спросила мать у сына.

— Я не брал, — ответил мальчик. Он в самом деле не брал оладью.

— Кто же взял? — удивилась мать. — Если бы у нас была кошка, я бы решила, что она съела одну оладью.

— Я не брал, — повторил мальчик.

— Кто же мог взять, — сказала мать, — у нас же никого не было в доме? Ты понимаешь, что ты сделал? Мало того, что ты без спроса взял оладью, ты еще врешь, что ее не брал.

— Я не брал, я честно говорю, — ответил мальчик.

— Так что, по-твоему, я сошла с ума? — возмутилась мать. — Я поджарила двенадцать оладий. На каждого по три штуки. А сейчас их одиннадцать. Ты съел одну оладью и потому теперь получишь только две.

— Хорошо, — согласился мальчик. Легкость его согласия еще больше раздражила мать.

— Но почему же ты не признаешь, что взял одну оладью? Я же не собираюсь тебя бить за нее. Трусливо отпираться, когда ясно, что ты взял одну оладью.

— Я не брал, — повторил мальчик.

Он в самом деле не брал оладью.

У мамы по лицу пошли красные пятна.

— Ты меня убиваешь, — сказала она. — Я поджарила двенадцать оладий. Когда я их поджаривала и перекладывала в тарелку, я их снова пересчитала. Их было двенадцать. Куда делась одна оладья?

— Я не знаю, — сказал мальчик.

— Кто же знает? — спросила мать. — Нас в доме всего было два человека — ты и я. Выходит, твоя мать, изверг, сама съела одну оладью, а теперь сваливает на сына. Отвечай: знаешь, твоя мать — изверг?

— Нет, — сказал мальчик, — я так не думаю.

— Тогда куда делась оладья?

— Не знаю, — сказал мальчик, — я не брал.

— Кто же взял, святой дух, что ли? — крикнула мать. — Ты меня в гроб загонишь своим упрямством. Ты же знаешь, что у меня большое сердце.

Она встала из-за стола, накапала в рюмку валерьянки и выпила.

Мальчику стало ужасно жалко маму. Он знал, что она не отстанет от него.

— Куда делась оладья? — сев на место и словно подкрепившись валерьянкой, снова спросила мать.

— Ну, я съел ее, — сказал мальчик, потому что ему было жалко маму.

Ему казалось, что она без такого признания от него не отстанет.

— Так бы сразу и сказал, — умиротворенно заключила мать, — значит, это правда, что ты взял оладью?

— Нет, неправда, — ответил мальчик. Он думал, что, сказав, что он съел оладью, он на этом успокоит мать и разговор отпадет. Но теперь почувствовал, что своим признанием придал ей новые силы.

— Он меня сведет с ума, — сказала мать и заломила руки, — он съел оладью, но не брал ее. Что она сама тебе влетела в рот? Ты идиот или негодяй! В обоих случаях мне сейчас будет плохо.

Ему опять стало жалко маму.

— Ну, съел я, съел оладью! — повторил он.

— Значит, это правда, что ты взял ее? — торжественно спросила мать.

— Нет, неправда, — ответил мальчик. Это в самом деле было неправдой, и он с неправдой никак не хотел соглашаться. Престо из жалости к матери он сказал, что съел оладью. Мать всплеснула руками.

— Ты настоящий троцкист! — крикнула она. — Сейчас судят троцкистов, и они так же путаются в ответах. Их спрашивает прокурор: «Вы встречались со шпионами и диверсантами?» Они отвечают: «Да, встречались». — «Так вы признаете свою антисоветскую деятельность?» Они отвечают: «Нет, не признаем». — «Где же честность, где логика?» Ты настоящий троцкист. Значит, ты съел оладью, но не брал ее?

— Да, — согласился мальчик, все-таки надеясь, что мать утихомирится.

— Как же ты ее мог съесть, если ты ее не брал? — окаменела мать от возмущения, а потом, словно озаренная догадкой, добавила: — Может, ты ее не руками, а зубами схватил? Подошел и, как собака, зубами схватил оладью?

— Да, — подтвердил мальчик, не находя выхода, — зубами схватил оладью.

— И съел? — жестко уточнила мать.

— И съел, — согласился мальчик.

— Так и не притронувшись руками? — спросила мать с раздраженным любопытством.

— Так и не притронувшись, — согласился мальчик.

— Но ведь невозможно съесть оладью, не придерживая ее рукой, — сказала мать, — она же не могла сразу целиком войти в твой рот, хотя он у тебя большой. Значит, ты ее все-таки придерживал руками? Значит, брал? Наконец я тебя поймала!

Мальчик понял, что он сейчас будет разоблачен, и мгновенно придумал ответ.

— Я ее съел прямо с тарелки, наклонившись над тумбочкой, — сказал он.

— Какой коварный, какой коварный, — покачала мать головой, — чтобы иметь право сказать, что он не брал оладью, он схватил ее зубами. Это же надо додуматься! Но теперь ты видишь, что ты все-таки сказал неправду?

— Я сказал правду, — ответил мальчик, — я не брал оладью.

— Брал, зубами схватил! — в истерике закричала мать. — Ты все-таки съел оладью или нет?!

У мальчика от жалости к матери сжалось сердце.

— Съел, съел! — поспешно согласился он, чтобы успокоить ее.

Сейчас в его понимании истинного положения вещей все раздвоилось. С одной стороны, подумаешь, сказать, что съел

оладью, даже если ее не съел. С другой стороны, признать, что он говорит неправду, он не мог. Правда и неправда для него оставались гораздо значительнее любой оладьи.

— Трoцкист проклятый! — крикнула мать. — Убирайся из дому, чтобы я тебя не видела до вечера!

Он вышел на улицу, и ему было очень грустно. Он знал, что мать каждый день нервничает, боясь, что отец не придет с работы, что его арестуют. Она часто говорила отцу, что ему не хватает ясности и твердости и он из-за этого может попасть в тюрьму. Мальчик не вполне понимал, что она подразумевает под ясностью и твердостью. Но она считала, что ясность и твердость спасет их семью. Мальчик чувствовал, что в стране происходит что-то мутное и страшное, но как это понять, он не знал и не любил думать об этом.

Повсюду шли судебные процессы над вредителями. Взрослые сладострастно припадали к приемникам, по которым передавали эти процессы. Мальчик чувствовал, что они встревожены и одновременно тихо радуются, что их миновала беда. Но он не любил об этом думать.

Вскоре соседские пацаны затеяли играть в футбол и позвали его. И он гонял мяч вместе с ними. В азарте игры он забыл обо всем: и об оладьях, и о том мутном и страшном, о чем он не любил думать, — но оно само приходило в голову. Сейчас ему было легко, хорошо.

Но вдруг на улицу выбежала сестра и крикнула ему:

— Мама зовет тебя сейчас же домой!

— Что случилось? — спросил мальчик.

— За тумбочкой зашуршала мышка, — быстро проговорила сестра, — мама заглянула туда и увидела, что одна оладья свалилась за тумбочку. Скорей домой! Мама зовет тебя!

Мальчик обрадовался, что сам собой уладился вопрос о пропавшей оладье, и побежал домой. Он думал, что мама сейчас будет каяться за то, что обвинила его в пропавшей оладье.

Но мама сидела на кухне, горестно подперев ладонью лицо. Вид ее ничего хорошего не обещал мальчику. Настроение у него снова испортилось.

— Почему ты мне соврал про оладью? — горько спросила она, не сводя с него исстрадавшихся глаз.

— Я же не соврал, — сказал мальчик, — оладья же нашлась за тумбочкой.

— Но ведь ты признался, что ты ее съел, — напомнила мать. — Почему ты сказал, что ты ее съел?

Мальчик, поникнув головой, молчал. Ему стыдно было говорить, что он пожалел маму и потому так сказал.

— Я от тебя не отстану, — сказала мать, — пока ты не сознаешься, почему мучил меня, женщину с больным сердцем. Почему ты соврал, что съел оладью? Да еще соврал таким извращенным способом: зубами схватил оладью. Ты иезуит! Отвечай: почему ты соврал, что съел оладью?

— Ну, ты ко мне пристала, и я решил успокоить тебя, — сказал мальчик, — пожалел тебя!

— Он меня пожалел! — воскликнула мать. — Какой сердобольный! Раз ты не взял оладью, ты должен был держаться

правды, и только правды. Под любимыми пытками надо говорить только правду! А ты, как гнилой интеллигент, стал выкручиваться: съел, но не брал. Я чуть с ума не сошла. Человек всегда должен говорить только правду!

И надо же, благодаря мышке я узнала настоящую правду, которую не могла вытянуть из тебя. Ты не понимаешь, в какое время мы живем! Партия и лично товарищ Сталин требуют от нас ясности и твердости! А ты доказал, что не способен ни на то ни на другое. Поди вымой лицо и ноги. А потом приведи в порядок мышеловку. Что-то у нас снова развелись мыши. Они, кстати, чувствуют, когда в доме нет ясности и твердости.

Мальчик угрюмо отправился к умывалке. С мышами у него тоже были свои сложности. Мама выдала ему старую вилку, чтобы он ею убивал мышей, попавших в мышеловку. Но ему было противно прокалывать мышей вилкой. Если попадалась мышь, он выносил мышеловку на улицу, открывал ее над канавой, и живая мышь шлепалась туда. Может ли она снова вернуться к ним домой, он не знал. В вопросе о мышах ему тоже не хватало ясности и твердости.

сюжет существования

Вот уже полгода моя машинка упорно молчит, как партизанка. Слова из нее не вышибешь. Что случилось? И вдруг я подумал, что Россия потеряла сюжет своего существования,

и поэтому я не знаю, о чем писать. И никто не знает, о чем писать. Пишут только те, кто не знает о том, что они не знают, о чем писать.

Впрочем, был у меня хороший сюжет. Но не пишется. По крайней мере, попробую пересказать его. Мы с товарищем поднялись в горы и зашли в чегемские леса, якобы охотиться на крупную дичь. Когда мы входили в лес, старая ворона нехотя, с криком, похожим на оханье, слетела с ветки дуба и тяжело проковыляла по воздуху, опираясь на крылья, как на костыли.

Я подумал, что это плохое предзнаменование. Мы целый день проплутали по лесу и никакой крупной дичи не встретили: ни кабана, ни косули, ни медведя. Впрочем, с медведем мы и не жаждали встретиться. Только один раз на лесной лужайке промелькнул серый зайчишка. Нам в голову не пришло стрелять в него. Правда, мы чуть не пристрелили заблудшего колхозного быка, но он вовремя высунул из кустов голову и с обидчивым недоумением посмотрел на наши ружья, направленные на него, словно хотел сказать: ребята, вы что, совсем спятили? Мы стыдливо опустили карабины в знак того, что не совсем спятили.

Мы плутали в чегемских джунглях. Разрывать сплетения лиан в лесу оказалось легче, чем разрывать сплетения сплетен в городе. Долгие безуспешные поиски мясной добычи все чаще и чаще склоняли нас к вегетарианской еде: орехи, лавровишня, черника.

К вечеру мы вышли на окраину Чегема. Здесь в полном одиночестве жила последняя хуторянка Чегема. Звали ее Ма-

ница. Изредка она приезжала в город продавать сыр, орехи, муку. В городе жила ее старшая замужняя дочь. Там же в сельскохозяйственном институте учился ее сын. Я их всех знал. Дети у нее были от первого брака. Эта еще достаточно интересная женщина сорока с лишним лет, с глазами, затененными мохнатыми ресницами, довольно полная легкой крестьянской полнотой, трижды выходила замуж. Мужчины, увлеченные ею, с рыцарской самоотверженностью вскарабкивались на окраину Чегема, но, в конце концов, не вынеся отдаленности от людей и не в силах вступить в диалог с окружающей природой, уходили от нее, низвергались, скатывались вниз, звеня рыцарскими доспехами, и, встав на ноги, отряхивались уже внизу, в долине, кишачей словоохотливыми дураками. Дочь усиленно зазывала ее в город, но она наотрез отказывалась там жить, потому что считала недопустимым грехом бросать дом деда. Все остальные ее братья и сестры расселились по долинным деревням Абхазии.

Встретила она нас радушно. Ввела нас в обширную кухню, без особой осторожности сунула наши карабины в угол, где стояла метла, как бы указав истинное место не стрелявшим ружьям. Она усадила нас у жарко горящего очага.

В красной юбке, в темной кофточке с оголенными сильными, красивыми руками, она весь вечер легко носилась по кухне и рассказывала о своей жизни, то просеивая муку и равномерно шлепая ладонями по ситу, то воинственно мешая мамалыгу мамалыжной лопаточкой, то размалывая фасоль в чугунке, придвинутом к огню, вращая мутовку между

ладонями. Наконец, она зарезала курицу, с необыкновенной быстротой общипала ее, промыла внутренности и, насадив на вертел, присела к огню. Она поворачивала вертел, временами отворачиваясь от огня и с улыбкой, далеко идущей улыбкой, поглядывала на нас, как бы находя в наших охотничьих поползновениях много скрытого юмора. Если бы мы взяли в руки свои карабины, получилось бы нечто вроде «Фазан на вертеле после удачной охоты» — картина совершенно неизвестного художника. Потом она разложила горячий ужин на низеньком столике, достала откуда-то бутылку чачи, обильно разливая нам и попивая сама.

Весело удивляясь по поводу своих сбежавших мужей, она задумчиво проговорила:

— Воняет от меня, что ли?

Так, конечно, могла сказать только уверенная в себе женщина. Как и у всякой женщины, у нее тоже количество улыбок зависело от качества зубов. Зубы у нее были превосходные. Но кроме этого, как я потом убедился, уверенность в правильности своей жизни поддерживала в ней хорошее настроение.

— Не скучаешь здесь одна? — спросил я.

— Да откуда у меня время скучать, — улыбнулась она, — у меня коровы, свинья, куры, огород, поле. Не успеешь оглянуться — уже вечер. Вот так забредут нежданные гости — для меня праздник.

Ее дом приглянулся жителю местечка Наа. Это сравнительно недалеко. Он несколько раз подбивал ее продать ему дом, с тем чтобы разобрать его и вывезти к себе. Обширный каштано-

вый дом был еще крепок. Она отказывалась. Он все набавлял и набавлял цену, но она упорно отказывалась. Вероятно, он знал, что дочь усиленно зазывает ее в город. Наконец, видимо, чтобы испугать ее, он сказал, что спалит дом: ни тебе, ни мне.

— А я ему ответила, — с хохотом сообщила она нам, — если ты подожжешь мой дом, а я буду внутри, то я из него не выйду. А если буду снаружи, то войду в него, и все узнают, что ты убийца. И он понял, что дело плохо. Отступился.

И дочь, и зять умоляли ее переехать в город, по-видимому, не без расчета, что она будет помогать им с детьми. У них было трое детей. Но и они не добились ее согласия.

— Я им помогаю всякой снедью, — сказала она, — но жить там не хочу.

Даже сам чегемский колхоз с его главной усадьбой располагался от нее километрах в пяти. Ей выделили недалеко от ее дома небольшую табачную плантацию, где она мотыжила табак, потом ломала, потом нанизывала на шнуры в табачном сарае и сама, что нелегко, выволакивала оттуда сушильные рамы на солнце.

Один из жителей Чегема, у которого женился сын, семья разрослась и не вмещалась в его маленьком домике, предложил ей поменяться домами с приплатой, но она и ему отказала.

— Мой дом в центре Чегема! В центре! В центре! — со смехом крикнула она, передразнивая его голос. — Можно подумать, что центр Чегема — это центр Москвы!

Житель центра Чегема так, видимо, и остался в великом недоумении по поводу ее отказа приблизиться к цивилиза-

ции. И все дивились — да не приколдована ли она к этому дому?!

А сын ее, живший в городе, оказывается, стал баловаться наркотиками, его за этим занятием застукала милиция и арестовала. Кроме того, что он сам был под кайфом, в кармане у него нашли еще две-три порции наркотиков. Сестра его прибежала ко мне вся в слезах и чуть ли не на коленях умоляла спасти ее брата, взять его на поруки. В милиции ей подсказали, что такое возможно. Преодолев свое отвращение просить что-либо у начальства, я скрепя сердце отправился в милицию. Беря его на поруки, я сказал начальнику милиции, что это случайность, что он исключительно любознательный молодой человек и уже всю мою библиотеку перечитал. Более правдоподобного вранья я не мог придумать.

— Вы хотите сказать, что он и от книг кайф ловил, — иронично заметил начальник, но отпустил его.

Я думаю, не столько мое вмешательство сыграло роль, сколько переполненные камеры. Видно, он еще не слишком далеко зашел в привыкании к наркотикам, тьфу-тьфу не сглазить, пока, насколько я знаю, здоров и держится. Сестра предупредила меня, что матери о случае с наркотиками нельзя говорить. Я и так не собирался с ней об этом говорить, кстати, я точно знал, что он после института не собирается возвращаться в Чегем. Но знала ли об этом его мать? Я не осмелился спросить.

— Как подумаю, что дедушкин дом опустеет, — сказала она, — так мне и жить не хочется. Хоть в Кремль меня поса-

дите, как Сталина, жить не хочется. Зачем же надо было дедушке сто лет назад подыматься сюда, строить дом, плодить детей и скот, если жизнь здесь должна кончиться. Нет, пока я жива, жизнь здесь не остановится. Я знаю, что дедушка на том свете доволен мной.

— А ты веришь, что там что-то есть? — спросил я.

— Конечно, — твердо ответила она, — иначе бы я не чувствовала, что дедушка доволен мной.

— А если весь Чегем переселится в долину? — спросил я.

— Пусть переселяется, — пожалала она плечами, — я их и так почти не вижу. Сама себе буду и председателем, и кумхозницей.

Она рассмеялась, легко вскочила на ноги, сгребла со стола остатки ужина в миску и вышла из кухни кормить собаку.

Слышно было за дверью, как собака смачно хрустит костями, а хозяйка насмешливо приговаривает:

— Да не спеши... Подавишься, дура...

После этого она с керосиновой лампой в руке повела нас в горницу, указала на кровати, пожелала спокойной ночи и с лампой, озарявшей ее моложавое лицо, ушла в свою комнату.

Через минуту вдруг оттуда раздался ее тихий, но долгий смех. Что-то ее очень смешило, и она явно не могла удержаться.

— Что случилось? — не удержался и я.

— Да ничего, — ответила она, — вспомнила свою корову. Когда я ее дою, она иногда норовит спрятать молоко для теленка. Сегодня, когда я ее доила, она спрятала молоко и сразу же обернулась на меня, мол, догадалась я, что она спрята-

ла молоко, или поверила, что оно кончилось. Хитрющая! Сразу же оглянулась!

Она дунула в лампу, и свет под дверями исчез.

— Господи, не забывай о нас! — проговорила она, как бы любовно напоминая Богу о его некоторой рассеянности.

Все стихло. Я лежал, прислушиваясь к задумчивым шорохам и скрипам ночного деревянного дома. В эту ночь я долго не спал. И мне было хорошо, что я видел счастливую женщину. Она была счастлива, потому что ясно знала и следовала сюжету своего существования.

Я видел десятки, а на всю страну их миллионы, несчастных людей. Одни несчастны из-за своей бедности и боязни стать еще бедней, другие несчастны потому, что разбогатели, но боятся, что не смогут усторожить свое богатство, третьи несчастны оттого, что просто не знают, для чего жить, и все вместе несчастны оттого, что будущее страшит их хаосом жестокой бессмысленности.

Сюжет существования важнее всяких экономических законов, вернее, сами экономические законы могут работать только тогда, когда у человека есть сюжет существования.

Если вкладчики перестают верить в сюжет существования банка — банк лопается. Если граждане страны не улавливают сюжет существования государства — оно разваливается. Дайте сюжет! Дайте сюжет!

Вот он есть у этой женщины, и она счастлива, несмотря ни на что.

день писателя

В России все что-нибудь просят, а те, что не просят, умоляют ничего не просить. Так что выходит, что и они просят.

Сегодня поехал в нашу бывшую писательскую поликлинику, чтобы снотворное себе раздобыть. Я говорю бывшую, хотя нас туда еще пускают, но неохотно. Говорят, что скоро, кроме писателей — инвалидов войны, никого туда пускать не будут. А сколько осталось этих несчастных инвалидов войны? Почти никого. наших детей уже не пускают, но жен еще лечат, видимо, боясь разрушения семьи.

Что же случилось? Это хорошая поликлиника, и я совершенно точно знаю, что построена она на писательские деньги. И мы, бывало, раньше не без гордости лечились в ней. С врачами были самые дружеские отношения. Просто братские. Иной врач так интересно начинает говорить о твоей книге, что заслушиваешься его и совсем забываешь о своей болезни.

А теперь ее кто-то приватизировал. И теперь она в основном будет лечить состоятельных людей за наличные деньги. Какой-то туман вокруг этого вопроса. Говорят, главврач нашей поликлиники совершил сделку с какими-то людьми, и потому все так получилось. Сам главврач исчез не только из поликлиники, но даже отчасти из Москвы.

Впрочем, говорят, иногда наезжает в Москву с подозрительным израильским загаром и еще более подозрительной российской справкой, что он сумасшедший. Говорят, его вы-

зывали в правоохранительные органы и хотели допросить. Но ничего не получилось. На все вопросы он давал один и тот же ответ:

— Красное море превратилось в Черное море, а Черное море превратилось в Мертвое море. До встречи в Гефсиманском саду!

Что он этим хочет сказать, никто не понимает. Как бы дает намек на преимущества Израиля. Но в чем? Непонятно.

Говорят, один из работников правоохранительных органов, измученный его однообразными ответами, вдруг спросил у него:

— А как вам нравится Охотское море?

— Не нравится, — ответил тот не моргнув глазом, и при этом совершенно нормальным голосом.

С его справкой о сумасшествии возникли еще более головоломные сложности. Органы правопорядка долго и безуспешно пытались установить — справку о сумасшествии он получил до этой сделки с поликлиникой или уже после. Но никак не могли установить. Оказывается, для привлечения его к ответственности это имеет огромное значение. А тут еще, говорят, в это дело вмешался какой-то большой юрист, просто философ, и сказал:

— В обоих случаях его нельзя привлекать.

— Почему?! — взмолились простодушные работники правоохранительных органов.

— А вот почему, — ответил юрист, — если он справку о сумасшествии получил до этой сделки, значит, он совершил эту

сделку в невменяемом состоянии, а невменяемого нельзя привлекать к уголовной ответственности.

Но, допустим, он, будучи вполне нормальным мошенником, совершил эту невероятно выгодную ему сделку, и его можно было бы привлечь, но он от радости по поводу этой волшебной сделки внезапно сходит с ума, и теперь его опять нельзя привлекать к ответственности как невменяемого. Вопрос упирается в гегелевскую дурную бесконечность, а против дурной бесконечности нет лекарства.

Во всем этом поражает девственная чистота наших правоохранительных органов. Им даже в голову не приходит, что в России справку о сумасшествии может купить вполне нормальный человек. Более того, даже сумасшедший может купить справку о том, что он вполне нормальный человек. Еще неизвестно, каких покупателей больше.

Наши крупные чиновники, запасаясь справками о нормальности России, шастают по миру, чтобы у тамошних богачей выцыганить деньги. Как это ни странно, те иногда дают. Но некоторые нахалы, несмотря на предъявленную справку, не дают денег. А потом наши чиновники, возвращаясь в Россию и стараясь скрыть раздражение, публично говорят:

— А мы и не хотели их денег! Пусть подавятся! Мы нарочно просили, чтобы показать нашему народу, какие буржуи жадные и даже негостеприимные.

Впрочем, повторяю еще раз: все, что касается нашей поликлиники, — слухи, кроме того, что нас, писателей, туда очень

неохотно пропускают, а детей чуть ли не палкой отгоняют. Ну и главврач куда-то провалился.

Да, нас еще пропускают, но у дверей — правда, с внутренней стороны — стоит охранник и проверяет писательские билеты. Тоже странно. Как будто посторонний гражданин под видом писателя зайдет в поликлинику и будет бесплатно лечиться под тем же видом. Прежде чем попасть к врачу, еще повертись в регистратуре. Там же все данные о писателях. А если ты посторонний гражданин, плати деньги и лечись. Была бы еще какая-то логика, если бы охранник проверял бумажники посторонних граждан, мол, есть деньги на лечение или нет. Но я этого не заметил. Зачем тогда охранник? Исключительно для того, чтобы припугивать нервных писателей.

Одним словом, поехал в поликлинику за реладормом. Очень аккуратно поехал, предварительно справившись по телефону: аптекарша вернулась из отпуска или нет? Да, говорят, вернулась. У нас там своя маленькая аптека.

И вот, значит, еду в поликлинику. Еду в метро. Поликлиника находится недалеко от метро «Аэропорт». Там рядом писательские дома. Я сам там раньше жил. Родные места.

Вышел из метро, иду по переулку и встречаю знакомого старого поэта. Несмотря на старость, он крепко пожимает мне руку и говорит:

— Как давно я тебя не видел! Я написал гениальную поэму! Не называю редакцию, куда ее отдал, чтобы, тьфу-тьфу, не сглазить!

— Очень хорошо, — говорю, стараясь высвободить руку. Старый, а рукопожатие цепкое. Кого-то мучительно напоминает.

— Да не в этом дело! — говорит. — Ты мне помоги! У меня же нет никакой поддержки!

— А чем я могу помочь! — говорю. — Я с редакциями не связан личными отношениями.

— Да это ерунда, — говорит, — ты только мнение распространяй, что я написал гениальную поэму! Мнение распространяй!

— Обязательно, — отвечаю, обрадованный легкостью задачи.

И вот вхожу в поликлинику, показываю охраннику свой писательский билет, как говорится, в развернутом виде, и не раздеваясь прямо в аптеку. Она на втором этаже. Аптекарьшу я давно знаю. Это очень добрая женщина.

— Пойдите к врачу и выпишите рецепт, — говорит она. Захожу к знакомому психиатру. Тут же рядом. Сидит грустный, а раньше был такой жизнерадостный. Просто лучился.

— Что такой грустный, — спрашиваю, — больные довели, что ли?

— Ты что, не слыхал, — отвечает он мне, — у нас тут все изменилось. Скоро нас всех тоже выгонят. Своих врачей подбирают.

— Да, — говорю, — слыхал, писатели тоже волнуются. Некоторые даже ищут правды.

— Пока они ищут правды, никого из нас тут не будет, — говорит.

Ну, я не стал углубляться в эту болезненную тему. Так, мол, и так, говорю, мне снотворное. Только обязательно реладорм, а не радедорм. А то в прошлый раз другой врач то ли по ошибке, то ли я сам по рассеянности не так сказал, выписал мне радедорм вместо реладорма. Но радедорм на меня уже слабо действует. То ли бессонница крепчает, то ли радедорм ослаб.

В самом деле так оно и было. В первую ночь, когда я еще не знал о невольной подмене лекарства, я ошибочно быстро заснул. А потом, когда узнал, что это радедорм, а не реладорм, долго мучился от бессонницы. Мало того, что пил две таблетки на ночь. Мало того, что после этого считал до трех тысяч, но и заснув, продолжал считать. Вот в чем подлость!

И вдруг мне пришла в голову мысль о вероятности другой подоплеки этой ошибки. Возможно, мне правильно выписали реладорм, но лекарство я брал в городской аптеке. И там стояла очередь. Только я подошел к окошечку, как ко мне наклонилась милая девушка с очень бледным аристократическим лицом и натуральными слезами на глазах. Она сказала мне:

— У меня любимая собачка умирает. Пропустите без очереди.

— Пожалуйста, — говорю и пропускаю ее вперед, отчасти боясь, что она зарыдает.

— Двадцать шприцов, — просит эта девушка аптекаршу. Аптекарша с молчаливой ненавистью выдает ей двадцать шприцов. Какая там еще собачка и зачем ей двадцать шприцов?! Конечно, это наркоманка взяла шприцы для своей ком-

пани. Вот тебе и аристократическая бледность! И что удивительно — на моих глазах обманув меня, она ушла не испытывая ни малейшего смущения. Но я хорошо почувствовал тайное молчаливое возмущение аптекарши. Может, она боялась за своих детей? И вот она то, вконец расстроенная покупкой этих шприцов, могла мне сунуть одно снотворное вместо другого. Еще хорошо, что она по ошибке не всучила мне снотворное для вечного сна.

— Я вам точно выпишу реладорм, — говорит врач, — только у нас теперь строгости. Принесите из регистратуры свою карточку.

Спускаюсь в регистратуру и прошу у одной из работниц свою карточку. Это история болезней так у них называется. Замечаю то, чего раньше никогда не было, — за перегородкой компьютер, и женщина сидит перед ним. Вижу — и работниц в регистратуре стало гораздо больше, и все они почему-то крайне взволнованны, бегают или ищут чего-то в стопках бумаг.

Великий закон преобразований в наших учреждениях: как только что-то преобразуется — людей становится больше.

Та работница, у которой я попросил свою карточку, тоже довольно долго ее искала, наконец, нашла, но тут выяснилось: на карточке нет отметки, что я прошел перерегистрацию в Литфонде. Но в прошлый раз был именно из-за этого скандалец, и я попросил жену поехать в Литфонд и перерегистрировать меня, что она и сделала, заплатив при этом немалые деньги.

И главное, я предусмотрительно захватил с собой новенький билет Литфонда. Я пытаюсь показать свой билет этой женщине, из чего неминуемо следует, что я прошел перерегистрацию. Но она стыдливо отводит глаза от билета и даже слегка краснеет. Для нее гораздо важнее, что эти сведения не поступали к ним по внутренним каналам.

— Если я вам дам карточку, — слабым голосом говорит она, — с меня вычтут деньги за ваше лечение.

Вот до чего мы дошли! Ну как можно обидеть эту пожилую женщину, которая явно какие-то гроши получает!

Да я лучше тысячу и одну ночь не буду спать без этого снотворного, чем обижу ее!

Конечно, этого я не мог допустить, но все-таки настаивал, что мы проходили перерегистрацию. Она еще долго рылась в каких-то списках и даже попросила у женщины, работавшей с компьютером, перепроверить информацию по нему. Дурак компьютер помигал, помигал и показал, что сведения обо мне в него не поступали. Но наконец эта старательная женщина сама нашла мое имя в каком-то завалящем списке.

— Карточку я занесу сама, — сказала она, — у нас теперь строгости. В руки не даем.

Я снова взлетел на второй этаж к психиатру. На этот раз к известным мне уже строгостям он открыл еще одну новую строгость. Оказывается, теперь в одни руки дают только две облатки — двадцать таблеток.

— Мало, — говорю я ему жалобным голосом, — опять придется приезжать.

— А ты принеси карточку жены, я и на нее выпишу, — сказал он с немалой долей героизма.

Я скатился вниз и сказал регистраторше, что врач просит карточку жены.

— Хорошо, — согласилась она, — но у нас теперь строгости: мы карточку жены не даем в руки мужу. Скажите ему, что карточка будет на подъемнике.

Я взлетел на второй этаж, волнуясь, что врача отвлекут, куда-нибудь уведут и мне придется ждать его. При этом я смутно размышлял о неведомом подъемнике, куда, видимо, теперь громоздят карточки богачей.

Врач оказался на месте. Наконец он вручил мне два рецепта. Я снова скатился на первый этаж, отдал рецепты регистраторше, и она старательно вдавила в них по две печати.

Только я ринулся наверх к аптекарше, как вдруг меня истошно окликнула гардеробщица:

— Гражданин, куда вы в пальто? У нас теперь строгости, раздеваться обязательно!

Опомнилась! Приметила! Я разделся и взял номерок. И вдруг я осознал, почему впервые в жизни кружусь по поликлинике одетый. Всегда, бывая здесь, я сам раздевался. Тонкость заключается в том, что раньше, приходя сюда, я считал, что прихожу в родное учреждение. А сейчас подсознательное желание скорее выбраться отсюда заставило меня не раздеваться бегать по этажам. Кстати, этим же объясняется необыкновенная скорость, которую я развивал: быстрее, быстрее, быстрее!

Я снова взлетел на второй этаж, уже боясь, что аптекарша куда-нибудь выйдет. Но она оказалась на месте. Я вручил ей проштампованные печатями рецепты, и она выдала мне четыре облатки. Я расплатился и осторожно сунул их поглубже во внутренний карман пиджака, уже боясь, что из внешних карманов они могут как-нибудь выпасть.

Мысль о том, что ночью, перед тем как ложиться в постель, я таблеткой реладорма приведу себя в сонливое состояние, прибавляла мне дневной бодрости. Чем бодрее проводишь день, тем больше шансов, что ночью будешь хорошо спать. А не напоминает ли моя радостная бодрость состояние наркомана, раздобывшего порцию наркотиков? Нет, трезво решил я, сейчас, утром, я радуюсь тому, что ночью приму таблетку, а наркоман, вероятно, радуется, что он через несколько минут войдет в кайф. По дороге в метро я увидел нищего, сидевшего возле забора под накрапывающим дождем. Странно, что я его не заметил, когда шел в поликлинику. Рядом с ним стоял маленький мальчик. Я сунул руку в карман пальто, гребанул горсть мелочи, но почему-то высыпал в ладони мальчика, а не мужчины, хотя тот сидел гораздо ближе ко мне. Так мне было приятней, хотя я, конечно, понимал, что ребенок тут же отдаст деньги взрослому. Если этот мужчина не отец ему, то будет по крайней мере больше ценить его.

Отойдя от них, я подумал: не объясняется ли моя маленькая щедрость радостью по поводу раздобытого снотворного? И не так ли игрок после хорошего куша отдает сторублевку швейцару? Бог его знает.

Недавно гулял по нашему писательскому дачному участку. Гулял, поглядывая то на улицу, то на дачу, как бы необременительно постораживая ее. Вдруг незнакомый человек, бедно одетый, открыл нашу ветхую калитку и вошел во двор. Ничего не спрашивая, он пошел, но не по дорожке, а свернул в рослые заросли вдоль забора.

Исчез. Я гадал про себя: кто он такой и почему, не спросив разрешения, он вошел на наш участок? В конце концов я решил, что этот человек, срезая путь, через наш участок хочет выйти к какой-то другой даче. Но почему он пошел вдоль забора по густым зарослям?

Продолжаю гулять. Минут через сорок он вышел из зарослей с полиэтиленовым мешочком в руке, наполненным грибами. Пронзила догадка: нищий, голодный!

С выражением жесткой решительности на лице и как бы ожидая осуждающих вопросов, он снова открыл калитку и вышел на улицу. Я молчал. Закрывая калитку, он сурово взглянул на меня и громким голосом возвестил:

— Скоро с... будет нечем!

И удалился. Такого апокалипсиса ни один пророк не предвидел. А вокруг — дачи-дворцы богачей с железными воротами на замках, с мощными каменными оградами, словно в ожидании скорой феодальной войны.

Кстати, для полноты феодальных впечатлений... Я гулял по нашему дачному поселку и увидел, что хозяин одного из новейших замков сидит на корточках с наружной стороны каменной ограды и играет с медвежонком. Ма-

ленький медвежонок лежал на спине, а хозяин щекотал ему живот.

— А что вы будете делать с ним через год? — не удержавшись, полюбопытствовал я.

— Он гораздо раньше пойдет на шашлычок, — доброжелательно отвечал хозяин, не подымая головы и продолжая щекотать сладостно урчащего медвежонка.

Так вот, когда грибник исчез, я вдруг подумал: а не вернется ли он когда-нибудь сюда с этим же полиэтиленовым мешочком, уже наполненным взрывчаткой, чтобы взорвать одну из этих оград и теперь набрать грибов богачей все в тот же полиэтиленовый мешочек?

У самого входа в метро я снова столкнулся со старым поэтом. Бедняга был так плохо одет, что, если бы он стоял прислонившись к стене, могла возникнуть мысль о необходимости подаяния. И грустно и смешно, учитывая его боевитость.

Лицо его снова выразило радостное удивление. Хотя я уже лет пять не живу в писательском доме на «Аэропорте», он, по-видимому, редкость наших уличных встреч объясняет какой-то неприятной случайностью. Он накинулся на меня и еще крепче пожал мне руку.

— Как давно я тебя не видел! — воскликнул он. — Где ты пропадаешь? А я написал гениальную поэму! Я бы тебе ее прочел, но вижу — ты спешишь. Уже сдал в журнал. Не называю журнала, чтобы не сглазить!

— Очень хорошо, — говорю я ему, стараясь освободить руку. Старый, а рукопожатие мощное. При всех наших бедствиях, видимо, он все еще неплохо питается.

— Помогите мне, — говорит, — у меня же нет никакой поддержки!

— А чем я тебе помогу, — вразумляю я его, — у меня с работниками редакции никаких личных отношений.

— Это все ерунда, — говорит он, — ты только распространяешь мнение по Москве, что я написал гениальную поэму. Сейчас новые времена. Реклама играет огромную роль.

— Это обязательно! — воскликнул я, обрадованный уже не только легкостью задачи, но и тем, что он сам разжал свою ладонь.

Он смотрел поверх моей головы и, по-моему, своим взором орла, хоть и потрепанного, заметил другого писателя. Если это так, предстоящий диалог легко угадать.

Я вошел в метро, чтобы поехать в редакцию. Не показывая пенсионной книжки, я прошел мимо контролера. Но вот что удивительно: чем увереннее контролеры, что я действительно пенсионер, тем меньше мне это нравится.

«Гражданин, а вы куда без билета?» — кажется, я этого никогда не услышу. Но есть и свои достижения. Мне, например, в метро или в троллейбусе никогда не уступают место. По-видимому, здоровая, лишенная инвалидных оттенков, пенсионность. Или здоровая, лишенная сентиментальности, молодежь.

Через одну или две остановки в вагон вошла нищая женщина, катившая перед собой коляску с больным ребенком. Или якобы больным. Понять было невозможно. Я отдал ей остатки мелочи, уже не испытывая особой жалости. Скорее всего, я отдал деньги, чтобы не испортить свое впечатление от первой жертвы. Так, сделанное добро само вынуждает сделать новое добро. Вообще самое надежное добро — это добро, которое люди делают по привычке.

В редакции я часа два работал со своим редактором. Когда мы кончили, мне предложили кофе.

— Нет, — поблагодарил я, — слишком перевозбужден.

Так оно и было, но признаваться в этом было глупейшей ошибкой. Обычно после предложения кофе следовало угощение рюмкой-другой коньяка. Но на этот раз коньяк мне не предложили, по-видимому решив, что я и без него слишком перевозбужден. А рюмка коньяка сейчас очень не помешала бы. И что за глупое признание: перевозбужден. А может, это наша российская болезнь — такая депрессивная перевозбужденность? Коньяк ее хорошо снимает.

Он, видите ли, перевозбужден! Что за дамский язык! Что за дикая откровенность? Это даже некультурно. Что же людям остается делать, слушая такое признание? Шарахаться?!

Другой человек с литературным комплексом подумал бы: вот, коньяка не предложили! Видимо, по их мнению, моя рукопись не тянет на прибавочную стоимость коньяка. Но я сам же, дурак, сказал: перевозбужден.

Только я вышел из редакции, клянусь, это не фантазия, мне вдруг опять встретился тот самый престарелый поэт. Он спешил в ту же редакцию. Он опять забыл, что мы уже встречались. Удивительно, что он меня самого не забывает. Впрочем, двадцать лет прожили в одном доме. Все повторилось — и то, что давно не встречались, и слова о гениальности поэмы и необходимости распространять мнение о ней.

— Ну, редакцию, куда я ее дал, — сказал он, кивнув на здание редакции, — не буду от тебя скрывать. Ты же не такой дурак, чтобы не догадаться. Но мы, поэты, суеверны.

Я доклокал, досадуя на себя за допущенный промах.

— перевозбужден, — язвительно сказал я вслух, но, сказав, опомнился.

— Кто, редактор? — насторожился престарелый поэт.

— Нет, — уточнил я, — конец века.

— Не морочь мне знаешь что?.. — сказал престарелый поэт. — Мне предстоит серьезный разговор. Но мнение распространяй.

На этом мы расстались, и в этот день я его больше не встречал. После редакции я снова двинулся к метро. Я был на одной из центральных улиц, когда ко мне подошла, как раньше говорили, прилично одетая девушка и сказала:

— Мы собираем пожертвования на церковь. Дайте что-нибудь. Взамен получите наклейку.

В руке она держала лист картона, на который были наклеены бумажки величиной с фантик с какими-то цветными рисунками. Я даже не присмотрелся к этим рисункам, тем более

что без очков плохо вижу, а очки доставать было лень и неинтересно.

Почему-то только тут я почувствовал, что маразм крепчает. Но она так застенчиво сказала: на церковь! — что мне стало стыдно, и я, достав бумажник, дал ей десять рублей.

— А наклейку? — напомнила она.

— Не надо, — ответил я и ринулся в метро, с тревогой понимая, что и правда маразм крепчает... Церковь — банк для бедняков с процентами на том свете. Банк — церковь богачей с Богом, запертым в сейфе.

Ехать было довольно долго. И в метро, слава Богу, никто ко мне не приставал. Только какой-то полупьяный работяга время от времени, поймав мой взгляд — он сидел напротив меня, — весело подмигивал, явно намекая, что не прочь выйти со мной из метро и выпить.

...Я давно заметил, что иногда рабочий класс тянется к интеллигенции. Когда не с кем выпить.

Кстати, еще в юности меня удивляли идилические рассказы о дореволюционных встречах марксистов с рабочими в подпольных квартирах. Там всегда подчеркивалась исключительно остроумная маскировка на случай, если внезапно нагрянут жандармы. Подпольщики держали наготове выпивку и закуску, мол, сидим, мирно пьем и закусуваем, в чем дело? А сами читали газету «Правда». Но вот что интересно: во всех этих описаниях с нагрянувшими или не нагрянувшими жандармами никогда не говорилось, а куда, собственно, потом девались выпивка и закуска?

Конечно, они явно выпивали и закусывали. Причем хитрость марксистов состояла в том, что они при помощи выпивки и закуски приманивали рабочих, чтобы ознакомить их с революционной литературой. А хитрость рабочих заключалась в том, что они, делая вид, что интересуются революционной литературой, были не прочь выпить и закусить задарма. А позже даже за счет Вильгельма.

В результате всего этого революционеры и рабочие взаимопрониклись. Рабочие научили марксистов пить, а марксисты в благодарность убедили рабочих, что они главные люди на земле.

Самый первый марксист, развернув газету «Правда» и увидев, что рабочий разливает водку, мог сказать:

— Мы сначала прочтем газету, а потом можете выпить.

— Нет, — отвечал смекалистый рабочий, — мы будем одновременно пить и слушать газету.

— Почему? — мог удивиться тот первый марксист.

— А если ворвутся жандармы и скажут: дыхни! — тогда что, в Сибирь шагать?

Какой умный, мог подивиться первый марксист, подставляя свою рюмку. Будущее, конечно, за рабочим классом.

Вот так по пьянке сварганили и революцию. Погромы винных подвалов — самая характерная черта революции. Это отмечается во всех воспоминаниях. Даже заняв Зимний дворец, революционная солдатня в первую очередь искала винные подвалы, чем воспользовался бедняга Керенский и ускользнул.

Одним словом, рабочие научили марксистов пить, а марксисты убедили рабочих, что они главные люди на земле. Но в конечном итоге всех победила водка, и Советский Союз рухнул, а население, оставшееся в живых, героически продолжает пить.

Кстати, один умный человек замечательно сказал, что нет никаких революций, а есть контрреволюции. Как это точно ложится на историю нашей страны! Даже если не считать миллионные жертвы ни в чем не повинных людей, что объективно революция дала России? Она вернула крепостное право в виде колхозов. Абсолютно точно.

Одним словом, еду в вагоне, а этот полупьяный работяга, сидящий напротив, продолжает весело подмигивать мне, призывая подняться на поверхность земли и выпить. Я выражаю своим взглядом полное непонимание его намеков и даже делаю вид, что я иностранец.

Этот подмигивающий работяга чем-то напомнил мне одного из героев Михаила Булгакова. На днях как раз перечитал его знаменитый роман «Мастер и Маргарита». Сейчас он представляется мне ясным как Божий день.

Это великая и грешная книга. Грех ее заключается в том, что автор пытается показать, и при этом довольно подобострастно, величие сатаны. Сатана действует в нем как некий заместитель Бога, тогда как он Его главный враг.

Юмористический и сатирический эффект его переигрывания советских бюрократов мог быть достигнут без ущерба художественности, если бы автор с тонкой, присущей ему иро-

нией намекнул читателю, что сатана условный. Никакой он не сатана, а просто здравый ум в безумном мире.

Серьезность отношения к сатане в высшем, философском смысле здесь просто глупа. И везде, где автор явно всерьез относится к сатане, скучно и нехудожественно.

Но роман и велик, потому что в самом замысле — попытка объять жизнь как таковую, как бы взгляд с высоты на весь земной шар.

Изумительные лирические строки, порожденные отчаяньем художника, и прекрасный юмор — плод превосходства ума художника над окружающей жизнью. Первые две главы написаны гениально. Много прекрасных страниц и в следующих главах, но грех остается в силе. Ведьмачество Маргариты просто противно, бешенство феминизма в потустороннем исполнении.

Ясно, что болезненное любопытство к чертовщине у Булгакова, как и у его кумира Гоголя, не было случайным.

Сходство и в страшной, тоскливой смерти обоих. Случайно ли? Не знаю, хотя смерть Булгакова была смягчена нежной заботой любимой женщины. Бедный Гоголь!

Хорошая книга пьянит сама. После прочтения плохой книги хочется сейчас же из санитарных соображений прополоснуть мозги спиртом. Что я и делаю...

Настоящие стихи, еще не вдумываясь в смысл, узнаешь по гулу правды, заключенной в них. И если есть этот гул правды,

то сам понимаешь, что технические недостатки этого стихотворения, если они есть, второстепенны.

Стихи Цветаевой и Маяковского, при всем огромном таланте их, как бы заранее рассчитаны на молодого читателя. Они как бы говорят: не можешь пробежать стометровку — не читай моих стихов!

Пушкин умудряет молодость и молодит старость. Вживлять юмор в личинку смерти. Ювелирная работа.

Удобства двуглавого орла: каждая голова думает, что за нее думает другая голова.

Мы живем под лозунгом: превратим развалины социализма в руины капитализма.

Выше планку позора!

Прежде чем вопиять в пустыне, создай в ней хотя бы один оазис!

- Если Бога нет, надо ужраться на этом свете.
- Но это непорядочно!
- Значит, надо ужраться порядочностью!

Он считал себя христианином, но был женат шесть раз.

— Как бы на это посмотрел Христос? — спросил я у него.
— Как Магомет! — мгновенно ответил он.

Иуда — кадровая ошибка Христа.

Крик души и крик: «Души!» — язык нас выдает.

Спал на лаврах, но со снотворным.

Один человек остроумно сказал: хорошая мысль пришла в голову, но, увидев, что там никого нет, ушла.

Говорят: стрелять из пушек по воробьям. И никому не приходит в голову, что воробьев жалко.

Нищета довела его до гордости.

Если всякая власть от Бога, то и всякий Бог от власти.

Склонный делать добро не считается с принципами и любому павшему подает руку, чтобы поднять его. У него не возникает мысли: достоин ли павший? Достоин уже потому, что пал.

Наслаждение телевизором: своею собственной рукой выключить его.

Блевота вулкана, его грязь через тысячелетия превращается в пемзу, в средство отмывания грязи. Геологический оптимизм.

Старею. И уже об этом мире думаю с нежностью и печалью, как о сыне-подростке: что с ним будет?

Верующий менее жаден к этой жизни, потому что рассчитывает на дополнительные радости в раю. Следовательно, верующим договориться в этой жизни легче и легче эту жизнь сделать более сносной.

Набоков — писатель без корней, уходящих в землю. Лучшие его вещи — гениальная гидропоника. Грустно думать: кажется, это искусство будущего.

Гений: и звезда с звездой говорит.

Графоман: и звезда с луною говорит.

Когда мошенничество стало его второй натурой, куда смотрела его первая натура?

Прочные перила разума над бездной — вот что такое форма художественного произведения, и ничего другого.

Самое большое удовольствие от писательской работы я лично испытываю не в процессе творчества. Вдохновение сладостно, но и мучительно. А вот, скажем, я написал черно-

вик вещи и считаю, что удачно написал. И ложусь спать. На следующее утро самая приятная часть работы — чистить черновик. Это как в жаркий летний день сдирать с охлажденного апельсина кожуру.

На одной остановке вместе с другими людьми вошла довольно пожилая женщина с увесистой сумкой в руке. Свободных мест не было, и я, встав, предложил ей свое место. Естественно, по-русски, забыв молчаливые намеки на то, что я иностранец.

— Обойдусь! — вдруг сказала эта женщина и так оскорбленно посмотрела на меня, как будто я своими словами скинул с себя лет десять и нагло нахлобучил ей на шею лет пятнадцать.

Я еще раз предложил ей сесть, но она на этот раз ничего не ответила и только поставила свою сумку у ног. Я продолжал стоять как дурак.

— Да садись, парень! — крикнул этот работяга. — Она еще баба как звон! Постоит!

Женщина, как это ни странно, благодарно улыбнулась его якобы простонародной точности.

Я сел, несколько оглушенный случившимся. Давненько меня не называли парнем, но, с другой стороны, женщина посчитала меня слишком старым, чтобы уступать ей место. После этого подмигивания и кивки этого полупьяного работяги приняли слишком неприличный характер. Он не только призывал меня выйти наконец на поверхность земли и выпить,

но как бы обещал своими кивками прихватить и эту женщину, улыбнувшуюся ему.

Я вышел на ближайшей станции, подождал следующего поезда и сел в него. Рядом со мной устроились две молоденькие женщины, так и полыхавшие своими новостями, как бывает с женщинами, когда они давно не виделись. Они оживленно переговаривались, слишком надеясь, что грохот состава заглушает их голоса.

— Ой, что со мной было этим летом, я чуть не умерла от ужаса! — полыхнула одна.

— А что случилось? — полыхнула другая.

— Я была вечером в парке, и меня там изнасиловали хулиганы! Я от ужаса чуть не умерла! Столько раз ходила в парк, и ничего. А тут — на тебе!

Вот дура, подумал я, какой черт в наше время понес тебя одну вечером в парк! Да она хотела, чтобы ее изнасиловали, но деликатно. Больше я к ним не прислушивался.

Я доехал до своей станции, вышел из метро и направился домой. Шагая по тротуару уже по своей улице, я вдруг увидел, что навстречу идут два молодых человека и, не сводя с меня глаз, улыбаются.

Конец маразму, подумал я. Конечно, это мои читатели узнали меня и улыбаются, вспоминая мой юмор. А еще многие писатели жалуются, что молодежь перестала читать! Я дружески, но ненавязчиво кивнул им. Кажется, не успел я докивнуть, как они оказались передо мной. Сейчас попросят автограф, но взял ли я ручку с собой — последнее, что я успел подумать.

— Вам повезло! — крикнул один из них. — Рекламная распродажа! В пять раз дешевле, чем в магазине! Вам повезло!

Чувствуя, что происходит нечто непристойное, тем более стояли они передо мной в какой-то похабной близости, но я все еще думал — это мои читатели, и то, что кажется мне непристойностью, — недоразумение, вызванное тем, что они не понимают — я абсолютно равнодушен к вещам. Дальнейшее не поддается разумному анализу. Они суют мне какие-то паршивые перчатки, какое-то гнусное кашне, и все это я почему-то беру, вынимаю бумажник и спрашиваю:

— Сколько?

А так как я без очков, а надевать очки и тщательно пересчитывать деньги на глазах у своих поклонников кажется мне неблагородным, сам протягиваю бумажник, правда, твердо помня, что там не больше ста рублей.

Тот, что кричал, мгновенно опорожнил бумажник и, вынимая деньги, чему я успел поразиться, пальцами, на ощупь их посчитал и вернул мне бумажник.

— Вам повезло! — крикнул он в последний раз, и в тот же миг оба сгнули в толпе.

Чувствуя себя вдвойне изнасилованным, именно вдвойне, не потому, что их было двое, а потому, что сам факт изнасилования во время изнасилования я не осознал, стою на тротуаре. Продолжая придерживать кашне и негнущиеся перчатки, я заглянул в свой бумажник. Я увидел, что в нем осталась какая-то смятая купюра. Тут я почему-то не поленился достать очки, при этом стараясь не уронить ненавистные перчатки

и кашне, надел очки и разглядел купюру. Это была пятирублевка. Почему он ее не взял — для меня до сих пор великая загадка. Может быть, это его выражение благодарности мне. Он дал мне «на чай» мои же пять рублей за удобство идиотизма.

Я вдруг вспомнил о своих снотворных. Страшное подозрение пронзило меня! И почему они стояли передо мной в такой похабной близости?! Мистика зла! Сперли! Я мгновенно погрузил ладонь во внутренний карман пиджака и — о счастье! — нащупал там свои облатки, как в детстве случайно забытые конфеты.

А ведь могли спереть. В этом молниеносном мошенничестве все-таки был оттенок благородства. Могли спереть, но не сперли. Да и стояли они передо мной в похабной близости, чтобы прикрыть эту сцену от остальных прохожих. А ведь именно сегодня ночью, судя по всему, мне особенно понадобится снотворное. Прекрасное снотворное — реладорм! Пусть то, что я говорю, похоже на рекламу, но оно достойно любой рекламы.

Однако, поуспокоившись, я подумал, а что делать с этими трофеями? Являться домой и объяснять жене, как это все получилось, было свыше моих сил. И почему я так пристально заинтересовался оставшейся купюрой? Теперь я понял. Если бы купюра была достаточно крупная, видимо, на это я подсознательно надеялся, то случившееся можно было бы считать грубоватым трудом, а не насилием. Но пять рублей! Мысль о каком-то там гипнозе я отметаю. Просто мой дружеский, но ненавязчивый кивок они приняли за добродушие лоха. Впро-

чем, еще до кивка они смотрели на меня, доброжелательно улыбаясь: это как раз тот, кто нам нужен.

Мошенники иногда проявляют незаурядную психологическую тонкость. Только вчера был у меня мой племянник и рассказал забавный случай. Сам он служит в фирме. Такой могучий красивый парень.

Он приехал на какой-то рынок, чтобы заглянуть в магазин запчастей. Что-то ему надо было купить. И вот он купил то, что ему было надо, и возвращается к своей машине. Садится в нее и вдруг понимает, что заднее колесо спущено. Он выходит из машины, заменяет заднее колесо и снова садится в машину, едет. Минут через двадцать замечает, что его дипломат, лежавший рядом на переднем сиденье, исчез. Мог бы заметить и пораньше. Тогда он начинает понимать, что вор нарочно проколол его заднее колесо, чтобы, пока хозяин будет с ним возиться, сунуться в машину и забрать то, что там плохо лежит. В таких случаях ее не запирают.

Так и получилось. В его дипломате лежали паспорт и документы о прописке в новую квартиру. Конечно, если бы вор знал, что там никаких других ценностей нет, он, может, даже воздержался бы от этой кражи. Но и его можно понять. Не будет же он проверять содержание дипломата, когда в двух шагах от него хозяин машины возится с задним колесом.

И вот мой племянник поворачивает назад и снова подъезжает к этому рынку и спрашивает у разных торговцев, возле которых он оставлял машину, мол, не замечали ли они здесь какого-нибудь подозрительного человека, подхитившего

к его машине, с некоторой надеждой, что этот подозрительный человек все еще в доступной близости. Видимо, он надеялся при помощи своей могучести на месте решить вопрос. Простодушный. Продавцы так и скажут, даже если видели этого подозрительного человека. Нет, говорят, не видели.

Мой племянник сильно приуныл. Новый паспорт получать, новые справки выбивать. И вот он вечером сидит грустный у телевизора, и вдруг раздается звонок. Он подымает трубку. Какой-то человек ему сообщает, что нашел возле мусорного бака паспорт и справки, где был этот телефон. Не его ли это все?

— Мое, мое! — радостно отвечает мой племянник, стараясь заразить своей радостью позвонившего. Но радостью заразить не удается.

— Две тысячи долларов, и я вам возвращаю паспорт и справки!

Мой племянник, как и многие могучие люди, был человеком вспыльчивым, ибо могучесть позволяет человеку быть вспыльчивым. Нет, конечно, и хилые люди бывают вспыльчивыми, но они чаще всего скрывают свою вспыльчивость. И оттого, что они скрывают свою вспыльчивость, они становятся еще более хилыми и даже еще более вспыльчивыми и уже из последних сил стараются скрыть свою вспыльчивость. Но моему племяннику скрывать было нечего.

— Я за триста долларов съезжу в Абхазию, получу новый паспорт и вернусь! — крикнул он и швырнул трубку.

Через несколько минут снова раздается звонок.

— Что вы такой горячий, — удивляется тот же голос. — Хорошо, приносите триста долларов и получите свои документы. Мне тоже это стоило нервов!

И он назначает ему свидание на окраине Москвы, в магазинчике слева от входа в рынок, где торгует очень симпатичная девушка. Указывает время.

— Хорошо, — говорит мой племянник, соображая, куда ехать и где расположен этот магазинчик.

Жена рыдает, умоляет его не ехать, мол, убьют, но он, отчасти благодаря своей могучести, не соглашается с женой и на следующий день едет туда. Конечно, он прекрасно понимает, что все это дело рук одного человека или одной шайки.

Он входит в магазинчик и в самом деле видит, что там торгует симпатичная девушка. И она ему улыбается очень благожелательно и даже каким-то образом его узнает.

— Сейчас он подъедет, — говорит.

И в самом деле, через некоторое время в магазинчик входит какой-то парень и смотрит на племянника, неприятно задетый его могучестью. Видно, это сообщник. Тот, который прокалывал колесо, мог сам убедиться в его могучести. Но тот не пришел, может быть даже в глубине души стесняясь содеянного.

— Это вы потеряли паспорт и документы? — спрашивает парень.

— Да, я.

— Сходи к моей машине и принеси оттуда пакет, — обращается парень к этой хорошенькой девушке, и она, нырнув

под перегородку, быстро выходит из магазина и через пять минут приносит какой-то пакет и вручает моему племяннику. Тот, несколько удивляясь форме пакета, разворачивает его. А там пистолет.

— Это не мое, — немного растерявшись, но при этом не теряя своей могучести, говорит мой племянник этому парню.

— Дура, не этот пакет, а другой! — кричит парень продавщице и, взяв пакет с пистолетом у моего племянника, небрежно сует его в свой карман.

Продавщица опять бежит и приносит другой пакет. Племянник разворачивает его и убеждается, что там не пластиковая бомба, а в самом деле его паспорт и документы. После чего он отдает этому парню триста долларов, и они мирно расстаются.

Здесь психологическая тонкость, я думаю, заключается в этой путанице с пакетами. Конечно, все было заранее оговорено с девушкой. Игра с пистолетом нужна была на случай, если вдруг хозяин паспорта заартачится и не захочет давать денег.

...Однако я стою на улице и не знаю, что делать с этими вещами. Сунуть их в урну? Но возле ближайшей урны стоят какие-то люди и распивают водку. Могут счесть за оскорбление. В наше время это опасно.

— Вот подлец, — скажут, — мы тут, горя о судьбе родины, пропиваем последние деньги. Народ холодает и голодает, а этот негодяй шмотками разбрасывается!

Один писатель остроумно сказал: в России культура нищеты. Могу к этому добавить, что нищета чаще стремится

дать по морде, видимо, защищая культуру своей нищеты. В таком духе сравнения можно продолжить. Например, глупость — культура многообразия ума. Или у самураев развита культура харакири. Сомнительный повод для гордости.

Но что же делать с этими шмотками? И вдруг мне наконец повезло. Оказывается, совсем рядом со мной сидела нищенка.

— Подайте что-нибудь, — обратилась она ко мне. Гениальная хитрость мелькнула у меня в голове! Я подал ей эти хамские перчатки и не менее хамское кашне. Она рассмотрела их и почему-то, взяв в обе руки кашне, расправила его, то ли пытаясь установить размер кашне, то ли любуясь его расцветкой. Так как у этой нищенки лицо было восточного типа, вся эта сценка почему-то напомнила давний фильм, экранизированную оперетку, что ли, «Аршин мал алан». Там еще пел когда-то знаменитый Бейбутов. Я вдруг почему-то с некоторым стыдом подумал, что довольно долго живу на этом свете. При этом, несколько стыдясь своего бесстыдства, признался себе, что жить все еще хочется. Даже сильнее, чем раньше. Жизнь — как проигрывающий игрок, чем больше живешь, тем больше жить хочется.

Потом нищенка, оставив кашне, стала натягивать на свои руки перчатки. Не без труда натянула, после чего спросила:

— А деньги есть?

Возможно, как восточная женщина, она решила приостановить мой стриптиз, а разницу получить деньгами.

— Нет! — огрызнулся я и весьма целенаправленно двинулся к дому, чтобы в полной сохранности донести до него пять рублей. Как это ни удивительно — удалось.

Придя домой, я разделся и хищно налетел на машинку, решив весь этот день записать, а то потом забудется. Я так увлекся, отщелкивая все, что со мной случилось, что, когда позвонил телефон, автоматически поднял трубку, забыв о своем правиле никогда не поднимать трубки.

— Вы такой-то? — спросил бойкий женский голос.

— Да, я такой-то.

— Мы знаем, — с необычайным вдохновением затараторила она, — что вы известный писатель, и поэтому к вам обращаемся. Вступайте в наш знаменитый клуб...

Она назвала этот клуб, но я тут же забыл его название.

— Толпы людей, — продолжала она, — осаждают нас с надеждой вступить в наш клуб, но мы их с негодованием отвергаем! У нас только избранная публика. Членские взносы символические — всего сорок долларов в месяц!

Тут она не выдержала и расхохоталась в трубку и долго не могла остановить хохот, видимо, не в силах совладать с комичностью мизерной суммы.

— Вы платите сразу за год и получаете карточку нашего клуба. По карточке нашего клуба вы можете в любой день зайти в ресторан нашего клуба и поужинать за полцены.

Но я уже был закален этим днем и хорошо владел собой, о чем она, конечно, не подозревала. Тем более я время от времени бросал взгляд на угол стола, где лежали облатки со снотворным. Это меня взбадривало.

— Простите, — сказал я, — а как быть, если я в ваш ресторан привожу своих гостей?

— До четырех человек за полцены! — радостно сообщила она мне. — Но, чтобы получить клубную карточку, надо заплатить за год вперед! Сумма символическая — всего сорок долларов в месяц!

Тут она снова расхохоталась, возможно ожидая, что и до меня наконец дойдет юмор. Но юмор не доходил. Дав ей отхохотаться, я спросил:

— До четырех человек включительно?

— Что значит включительно? — строго спросила она.

— Я могу привести четырех гостей или только трех, а я четвертый? — спросил я.

— Вы четвертый, — затараторила она опять, — но вы даете ручательство за своих гостей! У нас очень культурная публика. Вплоть до миллионеров! Никаких застольных песен и никаких посылений бутылок от одного стола к другому! Вы должны у нас забыть эти кавказские привычки. Но самое главное даже не это! Вы можете заказать номер в нашей гостинице и жить в нем сколько угодно за полцены.

— Зачем мне гостиница, — вставил я не без раздражения, — когда я москвич!

— Мало ли что, — пояснила она, — вы же творческий человек. Вам же иногда необходимы конфиденциальные встречи!

Тут она засмеялась таким воркующим смехом, что можно было подумать — она сама готова в первый раз стать участницей конфиденциальной встречи, с тем чтобы я, поучившись у нее, уже самостоятельно их устраивал. Воркующий смех долго угасал. Угас. Молчание. Было похоже, что она мирно

уснула после такой встречи или показывает, как засыпают женщины в таких случаях. Но через несколько секунд ее явно посвежевший голос грянул снова:

— Но даже не это самое главное! Гостиницы нашего клуба раскинуты во всех культурных центрах Европы! Там бильярдные, игорные заведения, бассейны, теннисные корты! Показав карточку нашего клуба, вы сколько угодно можете жить в них. Номер вполцены, ужин вполцены! При этом, не падайте от удивления, завтрак бесплатный! Шведский стол. Берите что хотите и сколько хотите — до ужина даже не вспомните о еде!

Не дожидаясь, когда она мне предложит Эйфелеву башню вполцены, я ее вежливо перебил.

— Спасибо большое, — сказал я, — за то, что ваш выбор остановился на мне. Но дело в том, что я не могу воспользоваться вашим шикарным предложением. Я вообще не выхожу из дому!

— Как не выходите! — вдруг вспылила она. — Я сама видела! Вас недавно показывали по телевидению. Вы что туда, перелетели?!

— Дело в том, — сказал я, — что люди из телевидения снимали меня в моем кабинете.

На этот раз так оно и было. Последовало сокрушительное молчание в три-четыре секунды. И она вновь зазвенела:

— Я нашла выход! Будете благодарить меня всю жизнь! Мы пришлем к вам нашего агента. Вы заплатите ему за год членские взносы, и он вам торжественно вручит карточку на-

шего клуба. Я опять вспомнила о символической цене и умираю теперь от внутреннего смеха.

Теперь. А кто ей раньше мешал умирать от внутреннего смеха?

Но, судя по всему, она не умерла.

— Зачем мне ваша клубная карточка, — повторил я исключительно четко, — когда я вообще не выхожу из дому. Спасибо! До свиданья!

— Подождите! — взвизгнула она. — Я тут посоветуюсь! Для вас можем сделать исключение, посылать ужин на дом.

— И гостиничный номер на дом? — спросил не без ехидства.

— Не поняла, — сказала она, — повторите!

Тут она вывела меня из себя.

— Богатство, — разъяснил я назидательным голосом, — Бог адства.

— Опять не поняла, — деловито сказала она, — повторите!

— Богатство, — четко повторил я. — Бог адства.

— Снова не поняла, — сказала она, — повторите по буквам! Записываю!

Тогда я пошел на компромисс и сказал:

— Хлеба каравай — нищему рай.

И тут она сразу все поняла и бросила трубку. Конечно, все это какая-то афера. Очередная пирамида... Загадка. Оскорбление мопса — пирамиды Хеопса — в чем? Быстро отвечайте!

Если бы не сегодняшний день, закаливший меня примерами из жизни, я бы, наверное, долго что-нибудь мямлил, и неизвестно чем бы это все кончилось. ...Вера в человека! Какое

благородное пренебрежение мудростью! Я снова сел за машинку, чтобы вписать в рассказ и этот разговор, а то потом забуду. В большом хозяйстве любая тряпка пригодится, как говорил Ленин еще до революции, когда ему жаловались, что в партию принят отъявленный негодяй.

Только я этот разговор нашлепал на машинке, как ко мне в кабинет вошла жена.

— Как хорошо ты сегодня погулял по Москве, — сказала она. — У тебя даже цвет лица улучшился. Давно у тебя не было такого цвета лица! А я же тебе каждый день говорю: почаще бывай на воздухе! Почаще бывай на воздухе! Сходи завтра на рынок за картошкой. Тебе же полезно. Кстати, развлеку тебя. Какой забавный сон я видела! Как будто кто-то невидимый подносит мне карту Италии в виде сапожка. «Теперь вы понимаете, почему итальянская обувь лучшая в мире?» — таинственно спрашивает у меня этот невидимый. «Да! Да!» — радостно отвечаю я во сне. Смешно?

В самом деле смешно. С такими снами человек живет до ста лет. Мы посмеялись, и жена вышла из кабинета. А я подумал: как раз концовку дала! И тут же напечатал то, что она сказала, чтобы потом не забыть.

...Последняя загадка, читатель! Один человек утром вошел в свою ванную и вдруг увидел, что скелет преспокойно чистит зубы над умывальником.

— Ты чью щетку взял, сука! — раздраженно обратился он к скелету. — Кстати, и халат мог бы накинуть. Все-таки женщины в доме!

Спрашивается: сколько этот человек выпил накануне (желательно в граммах) и кто он?

Я бросил взгляд на угол стола, где лежали облатки с реладормом. Целый месяц можно высыпаться: благодать! Спокойной ночи, господа! До встречи в Гефсиманском саду!

незванный гость

Это был грузный, облысевший человек с тяжелыми веками и усталым лицом. На вид ему было пятьдесят с лишним лет. Он позвонил во входную дверь коммунальной квартиры, где она жила с мужем и двумя детьми, позвонил, нажав именно кнопку их комнаты, и она ему открыла.

Он назвалса родственником, но она его не узнала и от стыда растерялась и от растерянности впустила его в свою комнату.

Был первый послевоенный год. Когда он уже сидел в комнате и назвал себя, она вдруг ясно припомнила то, что было более тридцати лет тому назад: совсем девочкой она с матерью гостила в имении своих родственников, и там был молодой юнкер, который подбрасывал ее на руках, и она хохотала от восторга и страха.

Потом была война с Германией, революция, и она его больше никогда не видела. Она только слыхала, что в гражданскую войну он был с белыми, сражался против Красной армии, а что было потом, она не знала. То ли его убили, то ли он ушел с остатками Белой армии за границу.

И вот теперь этот грузный, стареющий человек говорит, что он приехал из Франции и на пути к своим родственникам в Горьковскую область (он это старательно выговорил) зашел к ней, зная, что она сейчас живет в Москве. Как она ни вглядывалась в него, в чертах его лица и тем более фигуры ничего не угадывалось от того стройного, лихого юнкера. Как быть?

Навеки испуганная советской властью, она заподозрила недоброе. Конечно, внешне он мог так измениться, что она его никак не могла узнать. Ведь сколько лет прошло и каких лет!

Но откуда он мог выведать ее адрес, она всю жизнь живет под фамилией мужа, которого он никогда не видел? Может, он узнал ее адрес у кого-то из общих родственников? Но и родственников разбросало по стране, и она почти ни с кем из них не переписывалась. Почти... Спросить у него об этом не осмеливалась, чтобы не раздражать его, если он посланец НКВД.

Она вышла замуж в самом начале тридцатых годов за инженера, который был прислан в Нижний Новгород строить знаменитый Горьковский автомобильный завод. Инженер этот был веселым, умным, добрым человеком и, хохоча, увел из-под носа нижегородцев одну из самых красивых девушек города. К тому же он был рабочего происхождения, и это в какой-то степени было гарантией, что новая власть их не тронет.

...Сейчас она заподозрила, что этот человек — посланец НКВД, и они, узнав, что у них был родственник за границей,

да еще бывший участник белого движения, вышлют их из Москвы или арестуют.

Боже, Боже, а что, если это не так? А что, если этот человек в самом деле приехал из Франции? И раз его впустили в страну, значит, простили грех молодости или не знают о нем. Она уже слышала, что некоторые русские люди после войны возвратились в Россию из эмиграции. То, что потом их почти всех пересажаяют, она еще и не могла знать.

Сердце у нее разрывалось от этой неопределенности. С одной стороны, гость очень толково рассказал об их родственных отношениях, но, с другой стороны, почему-то не вспомнил те два дня, когда она с мамой гостила в их имении под Нижним и он ее, девочку-хохотушку, подбрасывал на руках. Конечно, сама она ему об этом не напомнила.

Она сразу же сказала ему, что не знает ни о каких таких родственниках и никогда с ними не встречалась. Но если бы он вдруг сказал: «Неужели вы не помните, как я вас, девочку, подбрасывал на руках?!» — она бы поверила ему и оставила ночевать, как он просился. Поезд у него уходил на следующий день. Но он этого не вспомнил, он даже не вспомнил, что они с мамой гостили у них два дня. Он только точно назвал всех родственников.

В прямом смысле репрессии не коснулись их семьи, но она хорошо знала, что происходило в двадцатых и тридцатых годах. До революции отец ее был управляющим страховой компанией Волжского пароходства.

— Это власть босяков, — говорил он брезгливо.

Теперь он работал простым бухгалтером в городском банке. Ему навязывали для обучения совершенно неграмотных людей, которых он в самое короткое время должен был выучить бухгалтерскому делу. При этом угрожающе постукивали наганом по столу.

При всем при том домашний быт он старался сохранить дореволюционный. И если на обед иногда подавали только вареную картошку, то тарелка все же должна была быть подогретой, а салфетка накрахмаленной.

В начале тридцатых годов, когда некоторых молодых инженеров автомобильного завода посылали учиться в Америку, ее мужу тоже предложили ехать, и он был готов.

— Не езжай, — запретил ему ее отец, — всех, кто уедет в Америку, потом, когда они вернуться, арестуют.

Муж ее не поехал. И в самом деле, всем, кто туда поехал, сначала после возвращения дали повышение по работе, а потом их арестовали как шпионов.

Да, строг был ее отец. Ни одного дня своей жизни он внутренне не признавал новую власть. Однажды сын его, уже учась в техникуме, сказал:

— Папа, спрячьте куда-нибудь иконы. Из-за них я не могу пригласить друзей в дом. Мне стыдно!

— Ах, тебе стыдно! Ну и убирайся к своим босякам! — взорвался отец и выгнал его из дому.

Сын ушел и стал жить в общежитии. Как разрывалась ее бедная мама между мужем и сыном, тайно помогая ему деньгами и едой.

А вот сейчас у Тамары Ивановны сердце разрывалось между желанием признать этого родственника и ужасом за свою семью, если он — посланец НКВД и их так проверяют. Что будет с двумя детьми-школьниками, если ее с мужем арестуют или даже просто вышлют в Сибирь? Страшно подумать!

— Тамара Ивановна, — снова и снова напоминал гость, — как же вы забыли? Мы же родственники! Я ваш троюродный брат.

— Не знаю, не знаю, — покрываясь красными пятнами, отвечала она с преувеличенной твердостью, — я ничего не слышала о таких родственниках.

Ее муж, теперь в Москве преподававший в институте, заполнял очень подробные анкеты, но, конечно, никогда не указывал, хотя это требовалось, что родственник его жены находится за границей. И вдруг сейчас они это обнаружат и ткнут его носом в эти анкеты. Нет, никогда она этого не признает! Ее муж был единственным беспартийным на кафедре, и его держали благодаря его исключительной работоспособности и чистоте происхождения. Кафедра держалась на нем. Нет, никогда она этого не признает! Но с другой стороны, если этого человека впустили в страну, какой же стыд отказывать ему в гостеприимстве.

Голова ее шла кругом. А еще за стенкой их коммунальной комнаты жила семья следователя НКВД, и, может быть, именно он все это тайно затеял, чтобы в случае удачи захватить их комнату. И такое случалось.

Этот сосед был очень вежливым, улыбочивым человеком, но улыбка его была белозубая, как смерть. По утрам он в ванной долго чистил зубы, и это было слышно в коридоре.

Он работал по ночам. Одно время муж ее тоже работал по ночам дома, он писал диссертацию, пользуясь тем, что семья спит. На рассвете ее муж, услышав в тишине осторожное верещанье ключа входной двери, знал, что это сосед возвращается с работы, и сам прекращал работу. В такие минуты они иногда встречались в коридоре. Сосед всегда, увидев его, шутил:

— Мы с вами ночные работники.

Тамара Ивановна, разговаривая с этим неожиданным гостем, все время понижала голос, невольно косясь на ненадежную стенку и молча призывая гостя тоже понизить голос.

— Кто-нибудь спит? — наконец спросил гость удивленно.

— Наоборот, не дремлет! — вдруг неуместно вспыхнула она. Впрочем, если этот гость действительно приехал из Франции, для него эта фраза была бы достаточно туманной.

Часа полтора стареющий, грузный человек в хорошем заграничном костюме уговаривал ее признать его, но она твердо стояла на своем. Наконец он тяжело поднялся и ушел не прощаясь.

Никаких отзвуков этого события в ее семье никогда не было. До конца своих дней, а она еще долго жила, Тамара Ивановна изредка рассказывала об этом случае в кругу очень близких людей и так и не могла понять, правильно ли она поступила. Но все же склонялась думать, что правильно. Ведь

она была такой хорошенькой девочкой, вздыхала она, кончая рассказ, как же юный юнкер мог забыть, что подбрасывал ее на руках и при этом они оба так хохотали, так хохотали! Ведь такое не забывается! Правда, правда?!

на даче

— Дыши! Дыши! Дыши! Наконец-то наступило лето! В России время жизни — зима. Наше лето — рай для бедных. Так захотел Бог.

— В ожидании лета есть что-то мистическое. Ожидание лета слаще самого лета. Почему Бог не создал для всех народов один и тот же теплый климат? Почему в России не итальянский климат?

— А разве есть справедливость в том, что в мире бедные и богатые, красивые и некрасивые, умные и глупые? Но еще неизвестно, кто больше наслаждается солнцем: чукча или неаполитанец.

— Известно. Неаполитанец. Он создал чудные песни. Они — явная благодарность прекрасному климату. Было бы странно и неестественно, если бы чукча пел песни, похожие на неаполитанские.

— Для него его песни не хуже неаполитанских.

— Но для нас хуже.

— Это шутка Бога, имеющая серьезный смысл. Человек при жизни должен слышать песни, похожие на райские зву-

ки, и тосковать по раю. Великое неравенство людей имеет грандиозное значение в замысле Бога. Только соединившись в любви к Богу, люди почувствуют истинное равенство и истинность Бога. Любовь к Богу настолько поднимет людей над повседневной жизнью, что все остальное им покажется пустяком по сравнению с этим счастьем.

— Матери ее голодный ребенок не покажется пустяком.

— Когда люди соединятся в любви к Богу, это дело нескорого будущего, богатый добровольно поделится своим богатством с бедняком.

— Значит, ты отрицаешь социальную борьбу?

— В пределах разума я ее не отрицаю. Но как только социальная борьба принимает кровавую форму, она порождает новую ненависть и новый гнет.

— Предположим, наступает день всеобщей любви к Богу. Но человек помнит: я всю жизнь был полуголодным, а теперь равен в любви к Богу с богатым. Где справедливость? Некрасивая женщина, которую никто никогда не любил, скажет: «Вот за этой всю жизнь волочились мужчины, а теперь мы с ней равны в любви к Богу?».

— Будет естественный механизм компенсации. Всем удачникам будет трудней прильнуть к Богу. Об этом и Христос говорил. А, кстати, сам ты веришь в Бога?

— Временами. Почему-то, когда я себя чувствую сильным, свежим, вдохновенным, я верю в Бога, я ощущаю, что Он есть, я как бы вижу, что Он, одобрительно кивая, смотрит на меня. И все, что я делаю, у меня хорошо получается. А когда у меня

обычное серое настроение и я задумываюсь о Боге, я говорю себе: не знаю. Нет доказательств, что Он есть или Его нет.

— А в чем физически выражается, что ты чувствуешь Бога?

— Кроме того, что я делаюсь бодрей и быстрее соображаю, появляется настойчивое ощущение, что центр всех смыслов где-то наверху, в небесах, тело легчает, как бы готовое к взлету, приобретает грузоподъемную силу.

— Но что приходит раньше — это чувство Бога или вдохновенное состояние?

— В том-то и дело, что сперва приходит вдохновенное состояние, стремление вверх, а потом я догадываюсь, что Бог повернулся ко мне.

— Выходит, Бог открывается тебе. Он жалеет тебя и прерывает твое жалкое состояние. Но значит, ты чем-то заслужил Его внимание? Может, тем, что не роптал на Него в своем бессилии?

— В самом деле, никогда не роптал. Когда я Его чувствовал, все и так получалось, а когда не чувствовал, на кого же было роптать? Ропщут на того, в кого верят, а он ничем не помогает.

— Возможно, ропот и молитва взаимоуничтожаются, если они равны. Остается ноль. Но если ты уже чувствовал Бога, чуть ли не видел Его, потом, когда ты впадаешь в неверие, ты можешь вспомнить свое боговдохновенное состояние и сказать себе: «Это уже было! Значит, я сейчас в упадке, глаза и уши у меня закрыты, я не могу видеть и слышать небо. Потом когда-нибудь они откроются».

— Конечно, я вспоминаю то состояние, но не меняюсь от этого. Это похоже на то, как если ты видишь женщину, которую когда-то страстно любил и испытывал огромное волнение от ее присутствия. Но ты ее давно разлюбил, вот она рядом, вы приятели, и ты ничего не чувствуешь.

— Похоже, да не то. Ты ведь много раз испытывал ощущение божественного присутствия. Потом оно у тебя проходило. Ты начинал сомневаться в Боге. Но потом внезапно взбодрился и опять чувствовал, что Он есть.

— Да, так бывало много раз. Я чувствовал, что в меня вливаются не принадлежащие мне силы. Я понимал, что это Бог вливает в меня силы, и я радостно верил в Него! И как не поверить в очевидное! А потом Он вдруг исчезал.

Это все равно, как быть голодным, и вдруг какой-то человек протягивает тебе кусок душистого хлеба. И как не поверить в реальность этого человека!

Но бывает так, что ты еще жуешь этот душистый хлеб, а человек, давший его, исчез. Очень странное чувство испытываешь, особенно после того, как последний кусок хлеба проглочен.

— Я думаю, что это просто дар. Природный дар удерживать в себе чувство Бога или время от времени терять его. Все время удерживать в себе чувство Бога человек не может. Вероятно, это могут только святые. Все дело в длительности промежутков. Длительность промежутков может быть проверкой Бога: а как ты ведешь себя без Меня?

Более того. Бывает, что человеку и с Богом плохо. Если бы человеку с Богом было всегда хорошо, каждый дурак старался бы делать вид, что он верит. Такой вере Бог, конечно, не придает значения.

Ты слышишь чудную мелодию, льющуюся с небес, а потом, когда она замолкает, ты никак не можешь припомнить ее, пока она снова не полетится сверху.

— Да, да, что-то вроде этого. Или так. Когда я чувствую Бога, я решаю сложнейшую математическую задачу, которую до этого считал нерешаемой. Но вот проходит время, и я снова впадаю в унылый скептицизм, снова бьюсь над этой задачей и считаю ее принципиально нерешаемой.

— Но ты ведь помнишь, что когда-то решил ее?

— Помню, но что толку! Сейчас мне кажется, что я ее неправильно решал.

— Как же неправильно, когда был точный ответ: Бог. Вера не отрицает земную логику, но она другая. Опираясь да земную логику, она объясняет небесную. Так, опираясь на родной язык, мы изучаем чужой язык.

Представь себе ночь. Ты сидишь у себя в комнате и читаешь прекрасную книгу при электрическом свете. Вдруг свет гаснет. Но книга тебе настолько интересна, что ты находишь старый фонарик и пытаешься наладить его, чтобы читать дальше. Но он никак не налаживается. И вдруг брызнул электрический свет. Ты откладываешь фонарик и продолжаешь читать книгу. В конце концов, для тебя главное свет, а не попытка наладить старый фонарик.

Впрочем, есть люди, которые, взявшись наладить злополучный фонарик, забывают, собственно, для чего они его налаживают уже при электрическом свете. Они до того увлекаются починкой испорченных фонариков, что им начинают их приносить соседи и знакомые... Они давно забыли о книге, которую читали.

— Но что же делать, когда этого света нет?

— Жди и верь, что, раз он был, значит, он снова будет. Преодолевая уныние, старайся делать то, что ты делал при свете. Хотя бы на ощупь! Не можешь читать — думай! Это почти одно и то же. Но при этом не разваливайся и верь в сигнал сверху. Прислушивайся. Прислушивающийся — рано или поздно услышит.

— Но ведь это что-то вроде системы Станиславского?

— А что в этом плохого? Церковь и есть всемирная система Станиславского. Вернее, Станиславский свою систему придумал, подражая Церкви. У людей из-за суеты жизни слабо выражено религиозное сознание. Церковь призвана будить и укреплять это сознание в человеке.

— А знаешь, что со мной недавно было. Я на мгновение совершенно ясно представил логическое доказательство существования Бога.

— Любопытно.

— Я был у друзей на ферме. Они держат лошадей и решили устроить верховую прогулку в окрестных лесах. Сидя на лошади, я думал о Боге. И вдруг у меня в голове вспыхнуло совершенно четкое логическое доказательство существова-

ния Бога. И в этот же миг я через голову лошади рухнул на землю и довольно сильно ушиб спину. Дело в том, что в тот самый миг, когда в голове у меня мелькнуло неопровержимое доказательство существования Бога, лошадь опустила свою голову и стала щипать траву. Но я ничего этого не заметил. Надо было или ослабить поводья, чтобы дать ей пощипать траву, или крепче держать их и не давать ей опустить голову. Я не сделал ни того, ни другого и перевалился через голову лошади.

— А как же с логическим доказательством существования Бога?

— Представь себе, я так больно ударился спиной, что на чисто о нем забыл. Оно выскочило у меня из головы.

— Выходит, логика лошади оказалась сильнее твоей логики?

— Выходит.

— Судя по тому, что ты ушиб спину, доказательство это родилось у тебя в спинном мозгу.

— Ты шутишь, но я четко помню, что доказательство это на мгновение озарило меня.

— На лошади всегда надо думать о лошади. Так и в жизни надо думать о жизни. Иначе жизнь сбросит тебя, как лошадь.

— Точно! Это же мне сказали друзья. Лошадь мгновенно чувствует, что всадник о ней забыл.

— Логическое доказательство существования Бога держалось в тебе не крепче, чем сам ты держался на лошади. Шаткость положения способствует шатким решениям.

— Частный вопрос. Я давно заметил, что девушки в церкви и на пароходе выглядят почему-то привлекательней, чем обычно...

— Это важный вопрос. Потому что в церкви и на пароходе — они в пути. А мужчина ищет спутницу, впрочем, как и девушка спутника, потому она и хорошеет.

— А почему в трамвае и в троллейбусе они не выглядят привлекательней?

— Трамвай и троллейбус заключают в себе чересчур практическую задачу. Они не в силах создать в душе девушки идею новой жизни, куда она должна направиться со своим спутником. Кстати, у многих народов это подсознательно угадано в обычае свадебного путешествия. Репетиция новой жизни.

— Один мой знакомый говорил: «После церкви почему-то особенно хочется согрешить». Я спросил: «Это что, как после бани выпить?» «Вот именно», — ответил он.

— Это реакция типичного бабника. Женщины в церкви хорошеют от чувства нового пути. А для него новый путь — это новая постель. Нет более комической ситуации — Дон Жуан и свадебное путешествие.

— Кстати, о юморе. В Евангелии практически нет юмора. Выцеживаете комара, а глотаете верблюда — больше ничего, похожего на юмор, в словах Христа не припомню. Десяток хороших шуток приблизил бы образ Христа к народу. Или евангелисты, стараясь передать главное, не обращали внимания на Его шутки?

— Трудно сказать. Я думаю, Христу вообще было не до шуток. Он заранее знал свою судьбу и спешил выговориться, чтобы спасти мир. Он ведь предупреждал, что никто не знает, когда нагрянет божественная ревизия. Он и Сам этого не знал и считал, что надо каждый день быть готовым. Тут не до юмора. Но, с другой стороны, Он был не прочь иногда посидеть за вином и расслабиться, видимо. Больше всего меня в Евангелии поражают дружественные укоры Христа своим ученикам: малoverы! Когда навстречу шагающему по воде Христу ступил в воду Петр и стал тонуть, Христос его спас и укорил в малoverии. Потому, мол, и стал тонуть. Он говорил своим ученикам, что вера может сдвинуть горы в самом прямом смысле. Такое впечатление, что Он взбадривал своих учеников: ну, еще одно усилие, и вы полностью овладеете верой! Он и лечил людей, чувствуя в них абсолютную веру в Себя.

Это историческое свидетельство в две тысячи лет говорит нам, что человек интеллектуально, вернее, технологически развившись, сильно ослабил Свою способность к вере. Великие технические открытия способствуют самообожествлению человека.

— Где же выход? Признание тупика цивилизации?

— Скорее всего, так. Предоставленный самому себе, человек распадается. В человеке вообще сила самоорганизации гораздо слабее силы самораспада. Человек нуждается во вселенской этической опоре. Вера точна, как наука, только не объяснима сегодняшней наукой. Гора, сдвинутая с места ве-

рой в Христа, — такое же научное явление, как железо, притянутое магнитом. Железо, притянутое магнитом, для дикаря будет чудом.

— Вероятно, утомительная борьба с собственными грехами мешает вере?

— Еще никто не обращался к врачу за помощью: переутомился в борьбе с собственными грехами.

— Нельзя отрицать, что Ленин и Гитлер были людьми сильной веры, хоть и дьявольской.

— Вот именно дьявольской! Сколько кровавого грохота они внесли в мир. Но их вера на наших глазах развалилась навсегда. Все, сказанное ими, невероятно плоско. Революционный восторг — это паника, бегущая вперед.

— Кстати, пока ты говорил, я обратил внимание на маленькую гусеницу, она поползла до края нашей скамьи и вдруг стала выпускать из себя какую-то нить, конец которой прилепился к скамье. Выпуская из себя эту нить, она опустилась на землю. Прямо альпинист с веревкой. Невозможно поверить, что эту живую нить ее природа выработала в борьбе за существование. Зачем? Она же могла спуститься и по ножке скамьи.

— Да. В теории эволюции много туманного. Например, зачем оленям ветвистые рога? Если это орудие нападения или защиты, ветвистость рогов только мешает.

— Может, такие рога помогают им раздвигать кустарники?

— Так можно придумать любое оправдание.

— Так зачем же оленю ветвистые рога?

— Создатель играл. Ветвистость рогов — избыток Его сил, игра.

— Теория эволюции никак не может объяснить смысл совести человека. Конечно, могут сказать, совесть — личный инстинкт коллективного выживания. Но ведь совесть заставляет нас делать вещи, явно невыгодные для нашей жизни. Иногда, в крайних случаях, совесть заставляет человека покончить с жизнью. Какая же тут борьба за существование?

— Совесть — пульсация Бога внутри человека. Порой нам в голову приходит новая мысль. Но вдруг, анализируя ее, мы обнаруживаем ее безнравственный характер. И тогда мы со стыдом отбрасываем ее, отказываемся от нее. И вот вопрос: перед кем мы стыдимся? Мы же знаем, что никогда этой мыслью ни с кем не поделимся и никто ее не мог услышать от нас. Не значит ли это, что все-таки был свидетель этой мысли, а именно Бог, Тот, Кто все видит и все слышит.

— Интересно. Но я тебя перебил, и ты не договорил. Чем Ленин и Гитлер возбудили народы на кровавые дела?

— Христос сказал, указывая на грешницу: «Пусть в нее кинет камень тот, кто безгрешен». И люди постыдились кинуть камень, вспомнив собственные грехи. А ведь руки чесались бросить камень!

Ленин и Гитлер крикнули: «Кидайте камни в этих! Это ваша священная обязанность!» У людей руки чешутся кидать камни, а тут объявляется, что это священная обязанность. Вся история человечества — вялотекущее человеконенавист-

ничество, иногда переходящее в ярость. Но двадцатый век оказался самым кровавым.

Есть два способа жизни. Первый — жить, угождая себе. Второй — жить, угождая Богу и тем самым угождая себе. Первый способ кажется наиболее ясным, выгодным, коротким. Но это иллюзия. Когда люди живут, угождая себе, они невольно завидуют друг другу, подозревая, что другой ловчее угодил себе. Отсюда взаимная ненависть, которая короткий путь превращает в бесконечный путь всеобщей борьбы друг с другом. Когда люди живут, угождая Богу и тем самым себе, они не испытывают зависти друг к другу. Бог не выделяет любимцев. Образно говоря, они чаще смотрят вверх, а не друг на друга. Им не надоедает смотреть друг на друга. Они смотрят друг на друга уже освеженными глазами.

Надо удивляться не тому, что первый путь практически почти всегда побеждает, ибо слаб человек. Надо удивляться тому, что идея второго пути, будучи тысячи раз побеждена первым путем, не умирает, а продолжает жить, что и доказывает ее истинность.

— Интересно, как у человека с годами изменяется отношение к истине. Известный исторический анекдот. Гете и Бетховен гуляют по дороге. Появляется коляска очень знатного человека. Гете глубоко кланяется ему, а Бетховен демонстративно неподвижен.

В юности казалось, что Бетховен прав в своей гордой независимости, а Гете поступил как жалкий верноподданный. Филистер. Так его называл Энгельс.

Теперь, в зрелости, я вижу, что они оба были правы. Бетховен своей подчеркнутой независимостью как бы говорит: уважать человека нужно за его личные достоинства, а не за высокое происхождение.

Гете своим уважительным поклоном говорит: нельзя внезапно порывать с традицией — это грозит хаосом и кровью.

И вот они поступили противоположно, но каждый по-своему прав.

— Более того! Бетховен был бы неправ без противоположного жеста Гете. И Гете был бы неправ без противоположного поведения Бетховена.

Историческая мудрость в этом единстве противоречий. Без уважения к традициям жизнь превращается в хаос. Без утверждения личного достоинства человека, независимо от происхождения, жизнь мертва. Новое должно пробиваться постепенно сквозь ветшающую традицию и само должно превращаться в традицию.

— А как ты думаешь, чем вызваны современные кавказские и среднеазиатские войны?

— Я думаю, что все причины, которые называют политики, внешние. Внутренняя причина, о которой многие воюющие и сами не подозревают, — это восстание молодых против восточной этики уважения и подчинения старшим. Молодой человек с автоматом в руке, воевавший и рисковавший жизнью, подсознательно добивается права не уважать стариков и не подчиняться им. Я и раньше бывал на Востоке и позже в горячих точках побывал. Сейчас бросается в глаза дерзкое

неуважение к старшим со стороны молодых. Но на этом беспрекословном подчинении старшим тысячелетиями был организован быт на Востоке. Старики более или менее сдерживали страсти молодых.

— Но когда же эта трагедия кончится, если верить твоей версии?

— Трудно сказать. Скорее всего, когда молодой сделается стариком и сменит автомат на палку.

— Слишком долго! Не хочу этому верить! Может, все еще уляжется.

— Дай Бог!

— Не кажется ли тебе, что в знаменитом изречении Достоевского «Если Бога нет — все дозволено» есть некоторая риторика?

— Почему?

— Но ведь точно так же и инквизиторы, сжигавшие живых людей, могли бы сказать: во имя Бога — все дозволено.

— Но инквизиторы, ссылаясь на Бога, оправдывали свои преступления, тогда как Достоевский утверждает, что безбожие лишает человека серьезной нравственной защиты от преступления.

— Кстати, попытка при помощи молитвы и покаяния умиротворить совесть не есть ли в некоторой мере бессовестность?

— Но почему?

— В знаменитой русской поговорке «не согрешишь — не покаешься» есть веселый намек на желательность греха. Получается, что человек, согрешивший и покаявшийся, в чем-то

выше человека, который и не грешил, и не каялся. В акробатике человеческого жульничества здесь вера превращается в страхующую сетку.

— Но если не давать человеку покаяться, он начнет совершать еще большие грехи.

— Не знаю, есть ли в христианстве какой-то срок, который человек должен выдержать с болью за свой грех, а только потом ему дать покаяться.

— Я тоже не знаю, есть ли такой срок. Но я знаю, что человек без покаяния вырождается. Человек соприродно грешен, следовательно, покаяние должно сопровождать его всю жизнь.

— Стремление к преступлению в человеке лежит глубже, чем следование формуле: Бога нет, значит, все дозволено. Человек сначала мучился желанием преступления и его недозволенностью. И вот это желание преступления победило и сотворило формулу: Бога нет — все дозволено. И он себе все дозволил, но желание преступления явилось раньше формулы. Не формула сотворила преступление, но желание преступления сотворило формулу.

— Но для многих неразвитых душ отсутствие Бога означает вседозволенность. «Крой, Ванька, Бога нет!» — говорили в революцию. Пророчески предчувствуя все это и пытаясь все это остановить, Достоевский и сказал: «Если Бога нет — все дозволено».

— А как же великая свобода выбора между Добром и Злом, данная нам Богом?

— Свобода выбора не противоречит подсказке человеку в сторону Добра. Ведь подсказка в сторону Зла все равно происходит непрерывно.

— Так что же такое покаяние?

— Покаяние оставляет память о грехе, но уже без боли.

— Боюсь, что на практике происходит не так. Происходит забвение греха. Бог простил, забудем и мы.

— Это неразрешимый вопрос. Для одного человека так. Для другого по-другому. Остановимся на такой мысли. Человек, который согрешил и искренно покался, в чем-то богаче, чем человек, который и не грешил, и не каялся. Но человек, который не согрешил и не каялся, — лучше.

— Кто выше — человек, который почувствовал соблазн, но преодолел его. Или человек, который при виде соблазна ничего не почувствовал и ничего не преодолевал.

— Думаю, что человек, который преодолел соблазн. Для человека, который не почувствовал соблазна, может быть, сам соблазн, именно этот, для него не существует. Мы не знаем, что он сделает, когда столкнется со своим соблазном. А первый — на практике показал свою силу.

— Я хочу напомнить на собственном примере, как человек легко забывает о своих грехах. Как-то я ездил по городу по всяким делам. На обратном пути вместе с друзьями ехал в такси. Сначала подъехали к моему дому. Я сидел на переднем сиденье, расплатился с таксистом и вышел.

Минут через двадцать, уже дома, вспомнил, что в такси забыл свой «дипломат». В нем лежал мой паспорт и другие до-

кументы. И мне стало нехорошо. Сколько хлопот восстанавливать, хотя бы только паспорт. Но я надеялся, что шофер перед тем, как развозить моих друзей, обнаружит мой «дипломат» и передаст друзьям. Проходит час. Звоню друзьям. Они уже давно дома, но шофер им ничего не передавал.

И я, подумав о своих будущих хождениях за нужными бумагами, решил, что это Бог меня наказал за какие-то грехи этого дня. Но какие? Я со всей строгостью вспомнил весь день и вдруг открыл несколько мелких своих грехов, которые теперь мне не показались такими уж мелкими.

Один молодой физик хотел подбросить мне свою работу на отзыв, но я отказался, смягчив свой отказ тем, что через месяц я буду посвободней. Пришлось дать ему телефон. В самом деле, укорачивая свой путь, мы его делаем еще длинней. Так, по слабости, вместо того чтобы сказать прямо, что я теперь не читаю чужих работ без рекомендации коллег, я его бессмысленно обнадежил. Потом я вспомнил, что, неожиданно для себя и тем более для него, поздоровался с одним подлецом, который много лет назад сделал мне подлость. Но поздоровался я не из христианского всепрощения, а из тщеславия, мол, видишь, какой я добрый. Он удивленно и охотно кивнул мне и еще больше презирал. Были и еще какие-то мелкие проколы.

Я поразился, совершенно ясно поняв, что никогда ни об одном из них не вспомнил бы, если бы не пропал «дипломат». Я в прекрасном настроении вышел из машины. А теперь настроение было поганое, и оно длилось еще часа два. И я подумал: а не слишком ли переборщил Бог, наказывая меня за эти грехи?

И вдруг звонок в дверь. Открываю. Шофер с моим «дипломатом»! Настроение подпрыгнуло! По-видимому, для того, чтобы приблизиться к Богу, я, конечно, вознаградил шофера за услугу. Ясно, что во всей этой истории Бог ни при чем. Истинный смысл ее в том, как легко мы забываем собственные грехи, пусть и маленькие, но почему-то вспоминаем о них, когда нас постигает неудача.

— Интересный случай... Но, кажется, нас зовут обедать.

— Откуда ты взял? Я ничего не слышал. Тебе показалось.

— Да, да! Зовут!

— В самом деле, зовут. Но почему ты сразу же расслышал то, чего я не услышал?

— Потому что я прислушивался. Я сегодня почти не завтракал и сильно проголодался.

— Пошли! А знаешь, настроение улучшается.

— То ли будет после обеда.

— А что, если Бог призвет во время обеда?

— Ничто так не заглушает голос Бога, как работа челюстей. Но прерывать трапезу на небесах считается большой бестактностью. Кстати, и со стороны человека, обращающегося к Богу. Надоедливых просителей он тоже не любит.

— А как он относится к выпивке?

— Если ты придержишься строгой роскоши пить только с тем, с кем хочется выпить, он спокойно на это смотрит. Но на тех, кто пьет с кем попало, он давно махнул рукой.

— Ну, нас он не осудит. Пошли!

антип уехал в казантип

— Где Антип?

— Уехал в Казантип!

— Ну и тип!

— Кто? Антип?

— Да и ты хорош. Скажи честно, где Антип?

— Честно говорю — уехал в Казантип.

— Ну и тип! Он деньги у меня брал в долг. Мы же договорились с ним о встрече.

— Еще не вечер! Про должника намекну слегка: вернет или вильнет! Ты бы и мне одолжил рублей сто.

— Еще чего!

— Чтобы равновесило, как коромысло... Вижу, морда скисла. Зато я уговорю Антипа вернуть твой долг. Ты мне — Антип тебе. Обоим выгода, да и другого нет выхода!

— Я вижу, ты шутник!

— Пока не повесили за язык! Такие, как я, для народа — глоток кислорода. Время выпало из времени и волочится в темени. Наша демократия — для воров Аркадия. Обычай волчий — воруют молча. Эх, времечко, времечко! Один я, как попугай на семечки, зарабатываю языком... Лучше разбойная власть, чем власть разбойников. Таково мнение живых и покойников. До меня как до сельского поэта доходят голоса с того света.

— А что нового у вас здесь?

— Один сельский идиот уже который год, живя в городе, выдавал себя за городского сумасшедшего. Наконец власти его разоблачили, маленько подлечили и водворили его в места первоначального идиотизма. Кстати, не чуждые и властям. Он у нас. Мы рады гостям.

— А что он делает?

— Скрещивает фейхоа и помидоры. Или водит туристов в горы. А когда делать нечего, опять выдает себя за городского сумасшедшего. При этом доказывает с толком, что село стало поселком. И потому он не сельский идиот, а совсем наоборот. У него такое мнение, что его изба — имение. Приватизированное. Но сам он горожанин, а иногда парижанин.

— Черт возьми! Кажется, в России сельский поэт мудрее всех. Тогда скажи мне, что такое коммунизм и что такое капитализм?

— Это просто, как морковь! Коммунизм — кровь. Капитализм — дерьмо. Кто при коммунизме нанюхался крови, тот с надеждой смотрит на капитализм и не слышит запаха дерьма. Нема! А кто при капитализме нанюхался дерьма, тот с надеждой смотрит на коммунизм и не слышит запаха крови. Нюхай на здоровье!

— Так что же, в конце концов, у нас?

— Запах — вырви глаз! Бастурма из крови и дерьма! Россия никак не научится сопрягать. А надо, ядрена мать, сопрягать свободу и закон. У нас закон: выйди вон! Свобода в башке что кот в мешке! У нас, как сопрягать, так и лягать!

— Хорошо. Даю тебе деньги. Но постой! А кто уговорит тебя вернуть мой долг?

— Конечно, Антип.

— Кажется, я влип... Да и на рифму потянуло...

— Почему же? Бывало похуже... Эй, Антип!

— Ты же сказал, что он уехал в Казантип.

— Мало ли что! Уехал — приехал! Эй, Антип!

— Где же твой Антип?

— Уехал в Казантип. Может, кому-нибудь для смеха в морду заехал. И подзалетел в милицию. Молодой — в башке кураж. А ты в милиции подмажь и приедешь с Антипом из Казантипа.

— Да на черта мне сдался твой Антип, чтобы переться за ним в Казантип!

— Вот тип! Сам же пристал: «Антип, Антип!» Может, Антип у Галки, а может, на рыбалке. Может, хочет тебе вернуть долг рыбой. Нынче бартер — главный бухгалтер!

— Нет уж, спасибо. А кто сказал, что Антип уехал в Казантип? А теперь Галка-рыбалка! Что за бред!

— Вот чудак! Антип же рыбак! Хороша рыбка-казантипка...

— Что это еще за казантипка?

— Сразу видно — курортник-москвич, башка что кирпич! А у нас любая бабуля знает, что это барбуля. В Казантипе рыбалка и Галка. Он поехал Галку побачить, а потом порыбачить. Или наоборот. Сперва порыбачить, а потом побачить. Или одновременно — бачить Галку и рыбачить. Такой он

стервец-удалец! Сложный человек Антип. Это же трудно — при такой молодке держать равновесие в лодке.

— Да при чем тут лодка, молодка!

— Как при чем?! А ты думал — наш Антип уехал в Казантип, чтобы ловить с причала, как пенсионер-мочало?! Антип рыбачит только с лодки. А если поклевка хороша — сразу на четыре шнура!

— Как это так, на четыре шнура?

— Два шнура в руках — один в зубах. А четвертый намотан на большой палец правой ноги. Ох и мозги у Антипа, ох и мозги! Впрочем, не очень.левой ногой не может ловить даже Антип.

— Почему?

— Не тот у пальца загиб. Шнур не держится. Но и с молодой непросто в лодке. Гребь, гребь, гребь — табань! Леска запуталась — дело дрянь! Пока распуташь леску, Галка прикроет занавеску. Пока распахнешь занавеску — течение запутает леску.

— Ничего не понимаю!

— Сложный человек Антип. Поезжай в Казантип. Там рыбалка, Галка и Антип. Говорю, как на духу: как раз попадешь на уха! А уха у Антипа духовитая. А Галка у Антипа... ядовитая. Можно от Галки прикурить без зажигалки. А после поллитра — чистая гидра! Только предупреждаю. Шуры-муры не вздумай — стоп! А то сам не поймешь, как утоп. Или так искалечит, что никто не излечит. Ох и строг Антип!

— Ну и тип! Хорошо, что уехал в Казантип.

люди и гусеницы

Молодой инженер, стоя под одним из платанов, росших вдоль шоссе, дожидаясь автобуса, чтобы поехать в свою контору. С утра стояла подоблачная духота. Дышать было трудно. Море замерло.

Молодой инженер был высоким, крепким, интересным мужчиной. Ему было тридцать лет, он был удачлив, и, казалось, есть все основания радоваться и радоваться жизни.

Он был сметливым инженером, и на работе его очень ценили. Девушка, которую он наконец полюбил, отвечала ему взаимностью, и они собирались жениться в конце этого месяца. Казалось, радуйся и радуйся жизни!

Но в душе его гнездилась непонятная тоска, иногда доводившая его до отчаянья. Он не понимал, что происходит в России, не понимал, что делается в родной Абхазии и Грузии. Демократия, о которой он с мальчишеских лет страстно мечтал, как будто бы наступила. Но что это была за демократия! Никакой ясной программы на будущее, никаких осторожных, обдуманых шагов по ее укреплению и развитию.

Казалось, в сумасшедший дом пришла свобода, доктора и санитары разбежались, и буйные вот-вот захватят власть и будут командовать тихими. Между Грузией и Абхазией шла полемика уже в течение долгого времени. Особенно неистовствовали грузинские газеты, они обвиняли Абхазию в слишком большой самостоятельности.

...Несколько крупных капель дождя вдруг шмякнулись на его легкий полотняный пиджак. Он удивился и поднял голову. Нет, это не дождь. Удушливые облака, казалось, закрывали землю от освежающего небесного сквозняка. Тогда что же, если нет дождя? Он хорошо помнил, как тяжелые капли шлепнули по его пиджаку. Он посмотрел на землю вокруг себя и вдруг увидел несколько жирных, волосатых гусениц, извивающихся в пыли.

Он догадался, что именно они рухнули ему на пиджак. Все платаны, стоявшие вдоль шоссе, вернее их листья, были наполовину изглоданы этими гусеницами. По-видимому, наиболее обожравшиеся из них уже не могли держаться на том, что они обжирали.

Неизвестно, откуда взялись эти гусеницы. Но с весны этого года они успели выжрать листья половины деревьев в их районе. Начальство пыталось принять меры против них, деревья опрыскивались какой-то жидкостью на керосине. Но ничего не помогало. Впрочем, и жидкость эта, переданная в колхозы, по слухам, часто употреблялась не по назначению. То ли использовалась как керосин, то ли еще что.

Он глядел на жирных, коричневых, густо волосатых гусениц, копошившихся на земле. Он знал, что ими облеплены почти все ветви деревьев. Было похоже, что птицы их побаиваются и не только их не клюют, но даже почти не садятся на деревья.

С ужасом и омерзением он подошвой туфли стал давить гусениц. Они с треском лопались. Омерзение к ним почему-

то передалось на сигарету, которую он держал в зубах, и он с отвращением ее выплюнул.

И вдруг с молниеносной неотвратимостью пронеслось в голове: Россия загнивает, и гниение начинается на юге, там, где жарче всего.

Подошел автобус, и он вскочил в него с ощущением неотвратимости беды, которая вот-вот их всех накроет. Впереди него на одном сиденье примостились двое юношей — один грузин, другой абхазец. Они говорили по-русски, и по акцентам он понял, что один из них грузин, а другой абхазец. Они громко продолжали спор, поднятый газетами. И вдруг он всем своим существом почувствовал, что видит все это в последний раз в жизни, что эти ребята погибнут, что их надо немедленно спасти. Но он не знал, как их спасти, и даже не знал, от чего их спасти!

...На следующий день грузинские войска перешли реку Ингури, отделяющую Абхазию от Грузии, и началась кровавая грузино-абхазская война. Для абхазской стороны война была столь неожиданной, что грузинские войска в первый же день без боев прошли половину Абхазии до самого Сухуми.

Он жил один. Родители умерли, а братьев и сестер у него не было. В тот же вечер к нему пришла его любимая девушка и отдалась ему. Он не хотел этого, но подчинился ей.

— Меня с ума сводит мысль, — сказала она, — что тебя вдруг убьют на войне, а от тебя на этом свете ничего, ничего не останется.

Ее дурные предчувствия, увы, сбылись, как и его. Она родила мальчика, как бы выбросив его из пламени, а в последний день войны, когда он вместе с абхазскими ополченцами брал Сухуми, его убили.

После войны гусеницы сами по себе куда-то исчезли.

Может быть, гром артиллерии их оглушил и умертвил? У абхазского побережья Черного моря появилось столько рыбы, сколько никогда не бывало. От урожая винограда и фруктов натягивалась лоза и ломились ветви. На местах сожженных деревенских домов пророс сорняк в человеческий рост.

Некоторые объясняли все это случайностями погоды, а некоторые говорили, что природа вообще не любит людей и торжествует, когда они друг друга убивают.

муки совести, или байская кровать

Это было, как теперь кажется, в далекие-предалекие времена, когда наша страна была едина. Я был в командировке в одном маленьком казахстанском городке. Я получил номер в местной гостинице. Туда же поместили одного молодого журналиста из Москвы.

Вечером мы встретились. Это был стройный парень с приятным русским лицом, но столь пижонски одетый, что здесь, в азиатской глубинке, мог быть принят за иностранца.

Узнав, что я писатель (в те времена все журналисты мечтали стать писателями), он сказал, что у него есть повесть и он хотел бы показать мне ее на отзыв.

— Хорошо, — вздохнул я несколько облегченно, узнав, что повесть он, слава Богу, не возит с собой. Была смутная надежда, что в Москве мы, может быть, не пересечемся. К этому времени своей жизни я приустал от рукописей начинающих писателей. Они сперва почти на коленях умоляют прочесть их опусы. Но потом, когда дело доходит до серьезных замечаний, начинают яростно отстаивать свою правоту. Какого же черта, если ты так уверен в своей правоте, ты так жадно стремишься показать свою рукопись на отзыв?

Когда мы уже собирались ложиться спать, я вдруг заметил, что мой спутник сильно заволновался. Дело в том, что в нашем номере стояла обыкновенная железная кровать и совершенно необыкновенная, деревянная кровать, которую правильней была бы назвать байским ложем. Кровать как бы символизировала необъятность степных просторов, необъятность власти возлегающего на ней, а также обладала возможностью, если придется, разместить на ней небольшой гарем походного типа.

Мой спутник бросал взгляды то на одну кровать, то на другую. Я понял, что неравноценность кроватей сейчас привела его в неожиданное волнение.

Это меня неприятно удивило. Я был лет на пятнадцать старше его, и мне казалось естественным, что в лучшую кровать должен лечь я. Но он так не думал.

— Как же мы будем делить кровати? — спросил он у меня.

— Мне совершенно все равно, — ответил я ему, — хотите — ложитесь на байскую кровать.

— Но как же так, — возразил он, — это будет несправедливо. Давайте кинем монету и решим, кому достанется деревянная кровать.

— Не надо никакой монеты, — ответил я ему, уже начиная раздеваться, — мне вполне удобно спать и на этой кровати.

— Пойдите! Пойдите! — взволнованно перебил он меня. — Вы как-то ставите меня в унижительное положение. Давайте кинем монету! Кто угадает «орла» или «решку», тот и будет спать на деревянной кровати. Почему вы не хотите разыграть по справедливости эту кровать?

— Мне все равно, — сказал я, продолжая раздеваться, — поэтому я не хочу разыгрывать эту байскую кровать.

— Вы что, борец против номенклатурных привилегий? — осторожно спросил он у меня без тени юмора.

— Никакой я не борец, — сказал я, уже ныряя под одеяло. — Раздевайтесь и гасите свет.

— Станный вы человек, — заметил он и стал очень аккуратно раздеваться, разглаживая складки брюк и рубашки, — почему вы не захотели по справедливости разыграть эту деревянную кровать?

Теперь я заметил, что нижнее белье, трусы и майка, были у него европейские, фирменные. Пижонство его отнюдь не было поверхностным.

— Не хочу, и все, — сказал я, давая знать, что этот спор мне надоел.

Он промолчал, но, перед тем как гасить свет, бросил внимательный взгляд в сторону байской кровати, чтобы, вероятно, в темноте не заблудиться. Но заблудиться было невозможно, кровать эта занимала полномера. Наконец он погасил свет и улегся.

Вдруг он тяжело вздохнул.

— Я как-то чувствую, что вы меня унизили, хотя, может быть, и невольно, — сказал он.

— Ничего я вас не унижил, — ответил я, — спите спокойно.

— Но почему же вы не захотели разыграть кровать? — недоуменно спросил он. — Было бы все по справедливости. Кому повезло, тот и лег в нее.

— Я этому не придаю никакого значения, — сказал я. Кроватям я в самом деле не придавал значения, но то, что он не понял — надо было старшему уступить деревянную кровать, было неприятно.

— Вот именно в том, что вы якобы не придаете этому никакого значения, есть что-то оскорбительное для меня. Получается, что я стремлюсь к роскоши, а вы своим аскетизмом презираете меня. Честно признайтесь, презираете?

Он замер.

— Ничего я вас не презираю, — ответил я бесчестно, потому что именно в этот миг почувствовал легкий позыв презрения, — спите спокойно.

Некоторое время он молчал, но потом снова заговорил.

— Как раз теперь-то я не могу спать спокойно, — сказал он, — я чувствую себя униженным. Но почему, почему вам не захотелось разыграть деревянную кровать? Это даже интересно. Может, вы противник азартных игр? Но это ведь не азартная игра. Мы бы всего один раз подкинули монету.

— Никакой я не противник азартных игр, — сказал я и почему-то добавил: — Хотя это меня давно не занимает. Вот в школе, играя на деньги, я тысячу раз подкидывал монету. Даже знал некоторые закономерности ее падения.

Это было правдой, но говорить об этом было глупо. Иногда хочется похвастаться тем, что ты хуже, чем кажешься.

— Какие? — оживился он.

— Если монета, — стал разъяснять я, — скажем, «орлом» вверх подкидывается и достаточно много кружится, то есть подкидывается достаточно высоко, она, как правило, падает на «орла».

— Не может быть! — воскликнул он восторженно. Боже, подумал я, почему я ему об этом говорю, тем более уже где-то писал об этом. Глупо! Глупо!

— Не может быть! — азартно повторил он. Но меня уже заносило.

— Так подсказывает мой детский опыт, — почему-то уточнил я ради никому не нужной объективности, — но это при условии, что земля достаточно ровная и сырая. То есть монета не отскакивает. Более того, чем мельче монета, тем точнее она ложится. Точнее всего ложится копейка.

— Но почему?! — воскликнул он, как дикарь, узнавший, что Земля кружится.

— Чем меньше по размеру монета, — продолжал я делиться своим опытом, — тем больше кругов она успеваешь сделать, отскакивая от пальца. Чем больше кругов она успеваешь сделать, тем больше шансов, что она ляжет на землю так, как лежала на большом пальце.

— При чем тут большой палец? — спросил он.

— В наше время, — сказал я тоном старожилы, — монету подкидывали, положив ее на большой палец, упертый в указательный. А потом с силой большой палец сдергивали с указательного, и монета, кружась, летела вверх.

— А-а, понял! — сказал он. — Можно, я сейчас включу свет и попробую?

— Нельзя, — твердо ответил я на правах знатока, — здесь деревянный пол. Монета будет отскакивать.

— Завтра попробую на земле, — сказал он благостно, — но ведь еще лежит снег.

— Еще лучше, — обнадежил я его, — в снегу монета совсем не отскакивает.

Он замолчал. Освободившись от всех своих знаний по части азартных игр, я стал засыпать. Но он опять заговорил.

— Я понял, в чем дело, — сказал он. — У вас иерархическое кавказское сознание. А у меня европейское. Для вас очевидно: раз вы старше меня, я должен был уступить вам деревянную кровать. А у меня, как у человека европейского сознания,

главное — равенство шансов. Вот где столкнулись Восток и Запад!

— Никто ни с чем не столкнулся, — ответил я, сдерживая раздражение. — То преимущество возрасту, которое исповедует Восток, есть признание преимущества опыта, уважение к нему. Равенство шансов справедливо при равенстве изначальных условий. Какое равенство шансов между бедняком и богачом, если они оба хотят стать членами парламента? Но у меня никаких претензий к вашему байскому ложу, так что спите спокойно.

— Даже в том, что вы эту деревянную кровать называете байским ложем, есть какое-то унижение для меня. Но вы меня достали! Я готов перейти на вашу кровать. Давайте меняться. Я лягу на кровать байчонка!

— Это вы меня достали! — ответил я. — Не хочу я вашу кровать! Спите спокойно!

— Пожалуйста, перейдите! Признаю свою ошибку! Вот тогда я спокойно усну.

Переходить на его кровать было и глупо и неохота.

— Знаете, — сказал я, — извините меня, но я не могу лечь в кровать, где кто-то уже лежал.

— Что ж, вы считаете, что я болен какой-то заразной болезнью, что ли? — спросил он. — Вы меня опять унижаете!

Вот зануда, подумал я.

— Что вы! — воскликнул я при этом. — Просто я так привык. Спите спокойно.

— Пожалуйста, переходите, — взмолился он. — Каждый возьмет свое одеяло, подушку и простыню, раз вы такой брезгливый.

— Да не в этом дело, — сказал я ему, стараясь быть миролюбивым, — успокойтесь. У меня нет ни малейшей претензии на вашу кровать.

Он помолчал, и я слышал, как он некоторое время ворочался в своей постели. Кровать несколько раз скрипнула.

— Не такая уж эта кровать удобная, — проворчал он, — скрипит, да и пружины торчат.

— Уж не потому ли вы так стремитесь сменить ее? — съехидничал я, чувствуя, что он основательно перебил мне сон.

— Да что вы! — воскликнул он и даже привстал на постели. — Просто я понял свою ошибку. Вы намного старше меня, и я, конечно, должен был уступить вам эту кровать. До чего же я невезучий человек!

— Не придавайте пустякам значения, — сказал я, чувствуя, что слова мои падают в пустоту.

Он вздохнул и надолго замолчал. В голове у меня стало все затуманиваться. Днем я был в знаменитом целинном совхозе. Директор совхоза почему-то решил показать мне своих лошадей. Возможно, он каким-то образом заранее предупредил объездчиков, а может быть, лошади вообще в середине дня перемещались в нашу сторону по голой, предвесенней, заснеженной целине.

С востока, когда мы вышли в открытое поле, горизонт чернел от движущихся в нашу сторону лошадей. И это было странное, тревожное зрелище. Тогда как раз у нас были сильно испорчены отношения с Китаем.

Казалось, тысячи и тысячи всадников мчатся на Россию. Панмонголизм! Жуть! Мне подумалось, что эта чудовищная лавина подомнет нас, проскачет по нашим телам, но директор, совхоза и два бригадира, сопровождавшие его, были совершенно спокойны. И я старался не выдавать своего волнения. Кстати, директор предупредил, что лошади дикие. Приятное предупреждение!

Наконец, они нахлынули на нас! Тысячи плещущих грив, тысячи чмокающих по весеннему снегу копыт! Но лошади, мягко огибая нас, проскакивали мимо. Показались два объездчика. Они были верхом, и каждый воинственно вздымал в руке длинную палку, на конце которой была прикреплена большая кожаная петля.

— Зонненберг! — крикнул директор одному из них. — Поймай вот эту рыжую!

Тот, которого, странно для меня, назвали Зонненбергом, догнал рыжую лошадь, лихо накинул ей на голову петлю аркана и остановился.

Мы подошли к лошади. Это была все еще пышущая, малорослая лошадка, и я не понял, почему она приглянулась директору. Меня больше занимал человек с фамилией Зонненберг. Я вспомнил Бабеля: еврей на лошади — это уже не еврей.

В самом деле Зонненберг и его товарищ оказались ссыльными немцами. Неприятно напоминало об этом то, что директор обращался к ним только по фамилиям. Оказывается, в совхозе жили ссыльные немцы. Оба молодых объездчика

были немцами, и оба говорили по-русски с казахским акцентом. Они здесь выросли.

Шум чмокающих копыт и ржание сотен лошадей сейчас в полусне звучали в моей голове. Вдруг заарканенная лошадь повернула к нам голову и человеческим голосом, при этом с казахским акцентом, завопила:

— Клопы!

Я в ужасе привскочил с постели.

— Клопы! — орал мой сосед по комнате. — Только что меня укусил клоп! Конечно же, клопы в первую очередь заводятся в деревянных кроватях! О, я дурак! О, восточная хитрость! Признайтесь честно, вы знали об этом, когда не захотели лечь в деревянную кровать!

— Ничего я не знал! — заорал я в ответ. — Что вы развопились! Разбудите гостиницу!

— Плевал я на гостиницу, — вопил он, — я завтра устрою им головомойку!

Он выпрыгнул из кровати и зажег свет. После этого он решительно подошел к ней, отшвырнул одеяло и стал тщательно исследовать простыню. Но на ней клопов не оказалось. Он взялся за одеяло и подушки. Долго рассматривал их, переворачивая в руках. Но и на них клопов не оказалось.

— Я же не сошел с ума! — теперь бормотал он. — Я точно помню, что меня укусил клоп!

Не успокоившись на этом, он достал из сумки фонарик, зажег его и тщательно исследовал прозор между матрацем и деревянной оградой кровати. Но и там, видимо, не было ни

клопов, ни клопиных гнезд. После этого он не поленился пошарить светом фонарика под кроватью. Наконец слегка успокоился. Привел в порядок кровать, положил фонарик в сумку и погасил свет. Лег. Он молча и неподвижно лежал, как бы подавленный наличием укуса и отсутствием клопов.

— Ах, вот в чем дело! — вдруг воскликнул он. — У меня на боку был прыщик! Я, неловко перевернувшись, содрал его, и мне со сна показалось, что меня укусил клоп! Теперь, слава Богу, все ясно. У вас случайно нет йода?

— Конечно, нет! — сказал я.

— До чего же я невезучий человек, — вздохнул он, — я надеялся, что вы прочтете мою повесть, на которую я возлагаю большие надежды в своей одинокой жизни. Но теперь, после истории с кроватью и тем более клопов, вы, вероятно, не захотите читать мою повесть.

Тут я понял, что все наоборот. Теперь, если я под тем или иным предлогом попытаюсь уклониться от чтения, он будет уверен, что все дело в кровати.

— Почему же, — сказал я с фальшивым энтузиазмом, — я прочту ее в Москве!

— Может быть, и прочтете, — ответил он задумчиво, — но настроенность против меня из-за этой кровати испортит ваше впечатление от повести.

— Ничего не испортит, — ответил я, — талант всегда убедительней автора.

— А автор неубедителен из-за этой кровати? — настороженно спросил он.

— Нет, — сказал я, — талант убедительней любого автора.

— До чего же я невезучий человек, — повторил он, — я так рассчитывал на свою повесть в своей одинокой жизни.

— А почему у вас такая одинокая жизнь? — спросил я, скорее всего, для того, чтобы отдалить его от мыслей о кровати.

Он помолчал несколько секунд и сказал:

— От меня ушли жена и любовница.

Это прозвучало так: меня полностью разоружили. По его интонации как-то получалось, что они ушли из одной точки.

— Кто ушел раньше, жена или любовница? — поинтересовался я.

— Сперва ушла жена, — ответил он, вздохнув, — а за ней почти немедленно последовала любовница.

— Эти события как-то связаны? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он с жаром. — Моя жена и моя любовница были подругами со школьных времен. Я сначала был увлечен той, которая потом стала моей любовницей. Она была девушкой с тихим, кротким характером. А потом она познакомила меня со своей подругой. Красавицей! У нее был потрясающий секстерьер. Я влюбился в нее и женился на ней. Она оказалась человеком с невероятно сильным и вздорным характером. И тогда я по закону контраста сошелся с ее подругой, на которой раньше хотел жениться. К этому времени я смертельно устал от жены и хотел, оставив ее, жениться на своей любовнице.

— А жену сделать любовницей? — спросил я, потому что все это показалось мне смешным.

— Что за чушь! — возмутился он. — У вас мания логизации! Просто я хотел развестись с женой. Я устал от ее вздорного и властного характера. Но я знал, что у меня не хватит духу сказать, что я ее бросаю.

Дело в том, что я пьющий человек. Нет, я не алкоголик, но свои двести пятьдесят граммов я каждый день пил. И я решил про себя: потихоньку буду пить все меньше и меньше, а потом совсем брошу.

И уже на основании этого достижения, поверив в себя, скажу жене, что я с ней расстаюсь. Иначе она меня подавляла. Это невероятная история! Слушайте, у меня в кейсе поллитра коньяка. Давайте встанем и разопьем его. Я вам все расскажу, и вы забудете про эту кровать.

— Нет, нет, — ответил я, — ради Бога, не надо. Завтра выпьем. Но, судя по тому, что вы все еще пьете, первый этап у вас сорвался.

— До завтра еще надо дожить, — буркнул он мрачно. — Да, первый этап у меня сорвался по вине жены. Это потрясающая история. Я в общих чертах вам ее расскажу, раз вы не хотите выслушать ее со всеми подробностями за бутылкой коньяка. Неужели вы не хотите со мной выпить из-за этой несчастной кровати? Будь она проклята!

— Да что вы! — воскликнул я. — Я о ней давно забыл!

— Так я и поверил, — заметил он скептически, — но что делать! Слушайте дальше.

И вот я стал все меньше и меньше пить. Я уже больше не покупал водки, а допивал оставшуюся в доме. Я чувствовал,

что побеждаю свою страсть к алкоголю, и во мне росла радостная уверенность в своих силах. С каждым днем я пил все меньше, примерно на десять граммов. Правда, изредка для передышки я возвращался к своей норме, а потом продолжал уменьшать дозу.

Я уже выпил все свои запасы водки. У меня она всегда была в запасе. Потом стал допивать из случайных бутылок, которые оставались после гостей. Жене я, конечно, ничего не говорил. Я хотел поставить ее перед неожиданным фактом и сразить ее этим. Она была уверена, что я никогда не смогу бросить пить.

И вдруг однажды замечаю, что в одной из бутылок, которую я опорожнил накануне, почему-то осталось граммов сто водки. Что за черт! Я точно помнил, что именно эту бутылку опорожнил накануне. Я снова ее опорожнил, но вдруг заподозрил жену, что она тайком подливает водку. Да и в старых графинах и бутылках, я теперь вспомнил, как-то подозрительно много оставалось водки. Через несколько дней я уже твердо знал, что она тайком подливает мне водку в бутылки. Видно, она окончательно потеряла осторожность и через два дня снова налила водку в ту же бутылку, на которой я ее заподозрил.

Оказывается, жена догадалась, что если я брошу пить, то я и ее брошу! Как она догадалась? Уму непостижимо. Правда, я ей однажды во время ссоры сказал: «Вот брошу пить, тогда и поговорим!» Это я сказал незадолго до того, как начал бороться с водкой. Но решение я уже тогда принял. И видно,

она это почувствовала в моем голосе. Это была женщина с потусторонней силой...

Значит, я уверился, что она мне подливает водку. Но я еще не созрел для того, чтобы совсем бросить пить и разойтись с ней. Что делать? И тогда я решил ее перехитрить: буду делать вид, что пью по-прежнему, а сам буду выливать часть водки и упорно уменьшать дозу. Нелегко пьющему человеку выливать водку! Однако я своей рукой ее выливаю! Уже достижение!

Но чтобы она ничего не заподозрила, каждый день, когда она приходила с работы, делаю вид, что я слегка под кайфом. Жена поглядывает на меня с тонкой усмешкой, мол, совсем обалдел, даже не соображает, откуда берется водка. И вот мы живем рядом, как два хищника, пытаясь перехитрить друг друга. И вдруг, когда по моим расчетам мне оставалось пить всего неделю, она бросает меня и уходит к этому дельцу!

— К какому дельцу!

— Ну, к своему любовнику!

— Так, значит, и у нее был любовник?

— Конечно! — воскликнул он. — Именно из-за этого негодя я и хотел развестись. Именно из-за этого негодя я и сошелся с ее бывшей школьной подругой. Но вы послушайте, что она сказала, уходя от меня! Она сказала: «Я окончательно убедилась, что ты неисправимый пьяница, и поэтому уйду от тебя!» Уму непостижимо! А мне оставалось всего неделю, чтобы окончательно бросить пить! Я уже пил по пятьдесят граммов в день! Пятьдесят граммов!

— Вот вам и равенство шансов, — сказал я, — вы имели любовницу, и она имела любовника. Что ж тут обижаться!

— Какое там равенство шансов! — воскликнул он. — Мало того, что она ушла сама. Вскоре после этого и любовница покинула меня. А я ведь собирался на ней жениться!

— А почему она ушла?

— Думаю, что из гордости, хотя она была кроткая женщина. Но она не забывала, что ее подруга отбила меня у нее. И она, зная, что я собираюсь на ней жениться, думала, что она этим ей отомстит. Но какая месть, когда жена сама ушла от меня.

— Все к лучшему, — сказал я, уже жалея его и пытаюсь успокоить, — и хорошо, что вы не женились на своей любовнице. Она явно ненадежный человек.

— Да! Да! Да! — радостно согласился он. — В самом деле все к лучшему! Я еще молодой! И у меня будет настоящая жена!

— Конечно, — сказал я, — но я одного не пойму. Почему ваша жена раньше не ушла к любовнику, а ушла только тогда, когда догадалась, что вы ее собираетесь бросить?

— Это кажется логичным, — ответил он, — но вы не знали мою жену. Ей, красавице, было так удобней. Быть замужем за известным журналистом и иметь любовника-дельца с большими деньгами. Но когда она догадалась, что, несмотря на все ее ухищрения с водкой, я ее могу бросить, она ушла к нему. Ей никак не хотелось признать себя побежденной. И вот теперь я в полном одиночестве.

Он помолчал, а потом вдруг добавил:

— Мне так неудобно перед вами, что я занял деревянную кровать. Она очень широкая, но давят пружины. Неуютно. Так что — не огорчайтесь!

— Нет, нет, — поспешил я его успокоить. — Да и как вы можете говорить о таких пустяках после того, что вы мне рассказали. Вы, наверное, все-таки страдали, когда жена от вас ушла?

— Что вы, — ответил он, — совсем наоборот, я страдал пять лет, пока она была рядом, хотя по-своему любил ее: невероятный секстерьер! Но что может быть страшнее власти истерички! Более того, после ухода она еще месяца два мне звонила, чтобы увериться, достаточно ли она меня раздавила. И я всегда говорил с ней меланхолическим голосом, делая вид, что я еле жив от горя. Кстати, она мне сообщила, что ее подруга, бывшая моя любовница, часто бывает у нее в гостях.

Если б моя бывшая жена знала, как я радуюсь тому, что избавился от нее, она бы бросила своего дельца и вернулась ко мне. Характер! Хотя тут я ее полностью переиграл. Но, видно, слишком! Она как-то пожалела меня и сказала про свою подругу:

«Хочешь, я уговорю ее вернуться к тебе?»

«С чего это?» — спросил я у нее.

«Очень уж ты одинок, — сказала она и после паузы добавила: — Эта тихоня, кажется, подбирается к моему мужу, если уже не подобралась».

«Ради Бога, не надо, — сказал я ей, — оставь меня со своим горем».

Видимо, мой ответ ей понравился.

«Уважаю тебя за мужество», — сказала она и положила трубку.

Вот такая история со мной приключилась... Ну, ладно... Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — ответил я.

Минут через пять по его дыханию я с завистью почувствовал, что он уснул.

А я долго не спал, думая об этом человеке. Удивительное дело, он столько извинялся из-за этой несчастной кровати, а позади у него была такая нелепая и все-таки грустная история. Комическая мелочность с этой кроватью и комический трагизм семейной жизни. А ведь сколько воли он проявил в борьбе с алкоголем! Это же надо понять!

Когда встречаешься с такими странностями в более молодых людях, всегда хочется думать, что это свойство нового поколения. Конечно, поколение тут ни при чем. Просто такой человек.

Я проснулся поздно утром. Его уже не было. На столе стояла ровно наполовину выпитая бутылка коньяка: равенство шансов. Под ней лежала записка следующего содержания: «Выпейте за нашу будущую дружбу. От проклятых пружин этой кровати я почти всю ночь не спал. Месть провидения за мою бестактность».

Записка, прижатая к столу бутылкой с коньяком, всегда звучит убедительно. Хотя по части его сна у меня оставались большие сомнения. Впрочем, коньяк оказался отличным.

Однако никакой дружбы у нас не получилось и не могло получиться. Здесь я его больше не видел, а в Москве он мне не позвонил. Не исключено, что повесть о своей жизни он мне и так изложил вкратце и уже решил не показывать ее. А может, байская кровать ему помешала. Кто его знает.

курортная идиллия

Когда человек, гуляя, о чем-то глубоко задумывается, он интуитивно выбирает себе самую простую и знакомую дорогу.

Когда человек, гуляя, развлекается, он интуитивно выбирает себе самый незнакомый, извилистый путь.

Я выбрал себе извилистый путь в этом маленьком крымском городке и очутился в незнакомом месте, хотя густая толпа гуляющих казалась той же самой, что и на нашей улице.

Недалеко от меня возводили развалины древнегреческой крепости, подымая их до уровня свежих античных руин. Они должны были изображать живописный вход в новое кафе. По редким восклицаниям рабочих я понял, что они турки. Боже, неужели, чтобы возвести даже развалины Крепости, наши рабочие уже не годятся, надо было приглашать турок?

Здесь столько забегаловок, кафе, ресторанов, закусовых, что совершенно непонятно, как это новое заведение будет конкурировать со старыми. Неужели только за счет освежен-

ных руин или додумаются до чего-нибудь еще более оригинального? Например, будут сдирать в тарелки шашлыки с древнегреческого копья?

Слушая деловые переговоры турецких рабочих, азартно возводящих развалины до уровня руин, я бы даже сказал, возводящих их с патриотическим злорадством (возможно, их предки и превратили когда-то эту крепость в развалины), я вспомнил свое давнее путешествие в Грецию.

Там, в Афинах, за столиком открытого кафе, мы, несколько членов нашей группы, сидели и громко разговаривали. Из-за соседнего столика, услышав нашу русскую речь, с нами заговорил греческий рабочий. Это был грек из России, вернувшийся на свою историческую родину. Нельзя было сказать, что историческая родина сделала его счастливым. Одет он был бедно, выглядел печально.

— Как дела? — спросил я у него.

Он немного подумал и таинственно вздохнул:

— У вас хоть керосин есть.

Я не сразу догадался, что он имеет в виду нефть. Бедный, бедный!

У кафе, где возводились развалины, стоял меняла. Таких одиноких менял я в этот вечер видел с десятков. Этот вполголоса, как бы готовый взять свои слова обратно, повторял:

— Доллары! Рубли! Гривны!

Доллар завоевал Новый свет, завоевал Старый свет и, по не очень проверенным слухам, завоевал тот свет. Когда Харон, переправляя мертвых в Аид, впервые вместо драхмы за-

требовал доллар, началась новейшая история человечества. Но откуда эти слухи?

Говорят, от людей, испытавших клиническую смерть и по ошибке отправленных в греческий Аид.

— Доллар! — кричал Харон и выбрасывал их из лодки, после чего они оживали, чтобы, как простодушно надеялся Харон, принести ему доллар.

А люди думают, что дело в усилиях врачей. С особенной яростью, говорят, он выбрасывал из лодки ошибочно попавших к нему русских с недопропитым металлическим рублем в кулаке.

Пока я предавался этим странным фантазиям, мимо меня проходили толпы отдыхающих. Из всех кафе, забегаловок, открытых ресторанов вразной визжала громкая музыка, сливаясь в адскую какофонию.

Нельзя было не заметить, что толпа гуляет с какой-то лихорадочной бодростью. Можно было подумать, что русские жадно догуливают в Крыму или догуливают вообще, страшась трубы архангела, которая в любой миг может возвестить, что керосин кончился. Можно было подумать, что эта адская какофония была призвана заглушить трубу архангела, ибо чувствовалось, что она подымает дух толпы.

Цивилизация, как говорится, сама пашет и сама топчет. Давняя-великая мечта о просвещении народа сейчас кажется не более реальной, чем попытка целиком зажарить быка на огне свечи. Однако попадают и героические попытки зажарить быка. У подножия этого вавилонского грохота кое-где

бесстрашно сидят нищие скрипачи и скрипачки, иногда студенческого возраста, и, если вплотную к ним подойти, слышно, как они трогательно наигрывают классические мелодии. Толпа и им иногда подбрасывает деньги, скорее за героизм, чем за музыку. Почти метафора положения культуры в сегодняшней России.

Все эти забегаловки, кафе, рестораны выставляют обильную закуску, всевозможные иностранные сладости и, конечно, напитки всех мастей. Повсюду выставлена свежайшая осетрина, хотя осетров здесь запрещено ловить. Она не только выставлена, но и названа, чтобы ни у кого не возникало никакого сомнения, что это именно осетрина и кто здесь истинный хозяин.

Глядя на могучую толпу, казалось, что она поглотит горы закусок и океан выпивки. Но, вглядываясь в эти горы закусок и океан выпивки, думалось: нет, скорее они поглотят толпу.

Несмотря на вечерний час, сельчане продавали фрукты и овощи. И тут, надо сказать, татары выглядели настоящими мастерами по сравнению с остальными продавцами. У них были лучшие фрукты и овощи.

Помидоры выглядели взрывоопасно. Каждый из них как бы кричал: «Слопай, а то лопну!»

«Ну и лопни!» — хотелось ответить.

В детстве я ел все, кроме помидоров. В них мне чудилось что-то тошнотворное. Гастрономически возмужав, я стал поглощать и помидоры. Даже слегка гордился этим. Сейчас де-

ло к старости, и я, как бы впадая в детство, снова возненавидел помидоры. Все возвращается на круги своя.

Мимо меня проехала лошадка, везущая на дрожках отдыхающих. И вдруг лошадка стала вываливать из себя темно-зеленые лепешки. Только она взялась за свое дело, как возница ее мгновенно остановил и не без изящества поднял ее пышный, хорошо расчесанный хвост, чтобы она его не запачкала. После этого он достал из-под сиденья лопаточку и ведро, прыгнул на землю и аккуратно собрал в ведро все лепешки.

Потом он поспешно скрылся куда-то с этим ведром. При этом казалось, что поспешность его, даже заботливая поспешность, вызвана тем, что он хочет донести до кого-то эти лепешки еще в теплом виде. Потом он снова появился перед глазами с явно пустым ведром и с некоторым довольством на лице, словно ему удалось выгодно сбыть этот навозец и он недаром поспешал, и теперь, мотая в руке ведром, может себе позволить расслабиться.

Пока все это происходило, отдыхающие, сидевшие на дрожках, весело смеялись. Чувствовалось, что смех седоков отчасти вызван тем, что этот дополнительный номер явно не предвиделся и, конечно, приплата за него не последует. Это — невольный подарок.

Более того, продолжая смеяться, они вполне доброжелательно поменялись местами, чтобы в случае новых чудачеств лошади те, что случайно, конечно, сидели на местах, откуда плохо обзревается лошадиный зад, в дальнейшем сравнялись с первыми везунками. Детей, как в кино, пересадили на

переднюю скамью. Седоки, видимо, совершенно не подозревали, что лошадь способна на такое. Возница поехал дальше.

...Нет, я, конечно, погорячился относительно культуры. Культура, хоть и очень медленно, но движется вперед. Я уверен, что возница в древних Афинах при таких же обстоятельствах даже не стал бы останавливать лошадь, а не то что запастись ведром и лопаточкой.

Великий Сократ, проповедуя афинским юношам свою философию, возможно, иногда отпихивал ногой козий или какой-нибудь еще помет, что нисколько не мешало глубине его суждений. И это заставляет задуматься о наших телевизионных мыслителях, у которых многомиллионная аудитория, и вроде не похоже, чтобы они отпихивали какой-то помет, а вот мыслей нет как нет. Видимо, вечен закон: чем больше толпа, тем глупее мысль оратора.

Телевизоры, компьютеры, радиотелефоны и прочее, и прочее — все это плоды цивилизации и к культуре не имеет никакого отношения. А вот ведро и лопаточка под сиденьем — это шаг вперед. Это наше достижение. Конечно, для нескольких тысячелетий маловато. Но все-таки это шаг вперед, а там посмотрим. Главное — хватило бы керосина.

случай в горах

Я продолжал сидеть за столиком в «Амре» в ожидании своего безумного собеседника. Направо от меня за сдвинуты-

ми столами сидели новые русские и не менее новые абхазцы. Они наелись и напились и сейчас предавались игровому веселью. Играли на деньги. Суть игры состояла в том, что двое швыряли в море закупоренные бутылки с шампанским. Кто дальше швырнет, тот и выиграл.

После того как соперники забрасывали свои бутылки, ва-тага ребятишек, расположившихся внизу на помосте для пловцов, бросалась в воду наперегонки и, ныряя на месте бултыхнувшихся бутылок, доставала их со дна. У ныряльщи-ков на помосте оставались свои сторонники, которые, когда они безуспешно ныряли, подсказывали им более точное мес-то, где затонула бутылка:

— Правее! Ближе! Дальше!

Глубина моря здесь была не более пяти-шести метров. В детстве я в этих местах много плавал и нырял. Счастливец, первым нашаривший на дне бутылку, утяжеленный добычей, плыл с ней к «Амре», взбирался по железной лесенке на верх-нюю палубу и сдавал бутылку официантке. Официантка, строго рассмотрев бутылку и убедившись, что она не постра-дала, выдавала мальчику деньги. Тот радостно устремлялся вниз, выбегал на помост, где лежала его одежда, совал деньги в карман брюк и прыгал в море, когда новые бутылки шлепа-лись в воду. Судя по тому, что официантка пускала мальчиков в трусиках на палубу «Амры», она тоже имела свой процент. Обычно голых купальщиков сюда не пускают.

Пока я любовался этой совершенно новой игрой, навеян-ной новыми временами, ко мне подошел давний знакомый

мухусчанин. Он присел за столик и некоторое время вместе со мной следил за происходящим на палубе «Амры» и в море. Потом, видимо, приревновав мое пристальное внимание к происходящему, он сказал:

— Это все ерунда! Богачи с жиру лопаются. Я тебе расскажу случай, который был со мной в молодости. Это будет поинтересней.

И он рассказал. Рассказ и особенно мои догадки по поводу услышанного таковы, что я не могу ни описать его внешность, ни назвать имени или места работы. Единственное, что могу сказать, он был вполне интеллигентным человеком.

— В юности я любил ходить в горы. Вот что случилось однажды. После тяжелого перехода по фирновым снегам наша группа остановилась на несколько дней на чудесной альпийской поляне. Вокруг изумрудные луга, пониже темно-зеленые непроходимые леса, а наверху сверкают снежными вершинами горные хребты. Недалеко находилось озеро небесной красоты, в него с северной стороны еще сползали снега. В двадцати минутах ходьбы на этом же альпийском лугу был расположен другой туристический лагерь.

Дни стояли солнечные, жаркие, и вся наша группа загорала возле озера. Сюда же приходили и обитатели соседнего лагеря. Вода в озере была прозрачная, как слеза, но совершенно ледяная. Вдали от берега плавали легкие снежные островки. Никто в озере не осмеливался купаться. Никто, кроме меня и одной девушки из Ростова. Звали ее Зина. Ей было девятнадцать лет, а мне двадцать два. Я учился в Москве на физма-

те, она училась в Ростове в педагогическом институте. Это была стройная, очаровательная девушка, и весь радостный облик ее струил ласку на окружающий мир. Мы влюбились друг в друга. По вечерам, уединившись, целовались, как безумные, и я знал, что она готова на все, но сдерживал себя изо всех сил.

Я собирался на ней жениться через два года после окончания института. Сейчас жениться никак не мог, родители у меня были бедные, я жил почти на одну стипендию. При всей влюбленности у меня срабатывали и совершенно прозаические соображения. Я думал: овладеть такой хорошенькой девушкой и предоставить ее самой себе на два года — опасно. Я считал, что ее невинность будет гарантией верности.

У нее была очаровательная привычка. Что ни попадет под руку, все пытается прижать к груди. Наберет букетик альпийских цветов — прижимает к груди. Поймает бабочку — прижимает к груди. Найдет белый гриб — прижимает к груди. Даже ежика, которого мы поймали, подымаясь в горы, она ухитрялась долго прижимать к груди. Умиляясь этой ее привычкой, я тогда думал, что Зина наконец угомонится, когда прижмет к груди нашего будущего ребенка. Но все обернулось по-другому.

Мы с ней входили в обжигающую холодом воду и отплывали от берега метров на двадцать. Я, выросший на Черном море и с детства далеко заплывавший, и то чувствовал невероятно сковывающую тело ледяную воду, а она хоть бы что.

Каждый раз она готова была плыть дальше, но я ее останавливал и заставлял поворачивать. Видимо, она представления не имела, что судорога может омертвить тело, или была уверена, что рядом со мной ей ничего не грозит. Такое предположение вдохновляло меня, и я тоже был уверен, что рядом со мной с ней ничего не может случиться: умру, но спасу.

Иногда приходил к озеру и наш проводник и не сводил с нас глаз, когда мы были в озере (с нас ли?! О, святая наивность!), как бы готовый в случае чего, не раздеваясь, броситься на помощь.

Мы восхищались проводником. Это был парень лет тридцати, очень крепкого сложения, с мужественным лицом и абсолютно неутомимый. На привалах после длительного перехода, когда мы в прямом смысле валились на землю от усталости, он спокойно отправлялся за дровами, рубил их, разводил костер, спускался на речку за водой, разогревал еду. С женщинами никогда не заигрывал, что усиливало их любопытство к нему.

Однажды он предложил нам внеплановый поход, чтобы нечто особенное показать в лесу. Что именно, он загадочно не сказал.

— Поход добровольный, — добавил он, — только для него надо иметь крепкие нервы и крепкие ноги. Мы должны сегодня же пойти туда и до вечера вернуться, что нелегко. Предупреждаю!

Человек десять, мужчины и женщины, согласились с ним идти. В том числе я и Зина. После обеда, часа в два, по еле намеченной тропке мы углубились в заключенный пихтовый

лес. Было сыро и сумрачно, тропку иногда преграждали нависающие ветви кустов, но проводник, шедший впереди с топориком в руке, одним небрежным взмахом отсекал их. Мы шли, не останавливаясь, часа три, безумно устали и уже жалели, что пустились в этот поход. И вдруг вышли на лесную лужайку, озаренную солнцем.

— Посмотрите направо! — крикнул проводник.

И мы увидели! Страшный, проржавевший фюзеляж самолета По-2, во время войны его называли «кукурузником», стоял в десяти шагах от нас. Нижнее крыло у него было вырвано, а верхнее искорежено. Из кабины над истлевшей одеждой торчал голый, пожелтевший и потрескавшийся череп летчика, как бы глядящего вперед и неистово продолжающего вести самолет на боевое задание.

Зрелище было жуткое. Мужчины молчали, некоторые женщины заойкали, а некоторые схватились за сердце. Зина стояла бледная, как меловая осыпь, бессильно уронив руки. Минут через десять мы пошли назад. Я не помню, о чем мы говорили. Все были взволнованы и подавлены одновременно. Зине было плохо. Ее пошатывало. Через полчаса она остановилась, и вся группа остановилась.

— Ничего, бывает, — сказал проводник. — Подождите одну минуту.

Он сошел с тропы и углубился в лес.

— Зина, что с тобой? — спросил я, подходя к ней.

— Не знаю, мутит, — ответила она, не глядя на меня. Мне хотелось приласкать, взбодрить ее, но я тщательно скрывал

от группы наши личные отношения. Мне было оскорбительно сознавать, что люди подумают, мол, у нас какой-то легкомысленный походный роман. Кроме того, что мы вместе купались в озере, я считал, что никто ничего не знает.

Вскоре валежник затрещал под ногами проводника, и он вышел на тропу с веткой лавровишни, густо усеянной гроздьями ягод.

— Покушай, — сказал он, — лавровишня успокаивает. Он с таким видом протянул ей эту ветку, как будто вручил перо жар-птицы, добытое в тяжелом бою. Такой скромный рыцарь. Умеют же наши подать себя! Ненавижу!

— Спасибо, — шепнула Зина благодарно и взяла ветку. Мы пошли дальше. Впереди проводник, за ним Зина, вяло поклевывая ягоды, за ней я, а там все остальные. Еле перебирая ногами, к вечеру мы пришли в лагерь. Там уже был разведен костер и готовился ужин. Пришедшие рухнули вокруг костра и стали рассказывать об увиденном. Подоспел ужин. Достали водку, которую собирались пить перед спуском с гор, но по случаю необычайного зрелища все захотели выпить сейчас же. Женщины, принимавшие участие в походе, перебивая друг друга, горячо защебетали. Пережитый ужас освежал веселье.

Зина сидела бледная, ничего не пила и почти ничего не ела. Наш проводник, который с аппетитом ел и пил, предложил сходить с ней к стоянке другого лагеря, где был врач. Зина неожиданно быстро согласилась и быстро встала. Они исчезли в темноте.

Как только они удалились, я почувствовал ревнивую тревогу, которая все возрастала и возрастала. Как странно быстро Зина вскочила! Слава Богу, все остальные про них забыли, занятые выпивкой и лихорадочно веселясь. А проводник и Зина не приходили. Часа через два все разошлись по палаткам. Напарник проводника и я вошли в его палатку. Ни жив ни мертв, я ожидал прихода проводника. Наконец он явился. Откинув полог палатки, вошел в нее. Хотя было темно, он, конечно, почувствовал, что в палатке люди, но не придал этому никакого значения. Вынул из кармана платок, потом электрический фонарик, зажег его и, наводя свет фонаря на свои черные спортивные брюки, стал, поплеывая на платок, счищать с них пятна спермы. Я окаменел. Сердце остановилось.

— Так у тебя всегда кончается демонстрация погибшего летчика? — со смехом спросил парень, пришедший со мной.

— Зачем всегда, — миролюбиво ответил проводник, не поднимая головы и продолжая платком счищать пятна с брюк, — когда хочется... Женщина, которой стало плохо при виде мертвого летчика, никогда не откажет... Я как-то невольно сопоставил череп погибшего летчика с занятием этого сукиного сына, и мне стало совсем плохо: жизнь, питающаяся смертью. Стало до того плохо, что я испугался, что меня вырвет. Я вышел из палатки. Когда проходил мимо проводника, он даже не поинтересовался, кто это. Я понял, что он не должен жить и я никогда не смогу посмотреть Зине в глаза.

У меня был единственный достойный выход — убить его и уйти в город. Но убить я не мог, у меня не было орудия,

а физически он был гораздо сильнее меня. И тогда я сделал единственное, что мог. Ушел. Ушел в Мухус, оставив свой вещмешок в палатке. Я знал дорогу. Я всю ночь шел и с тех пор понял, почему люди, когда им очень плохо, стараются ходить. Если ты не знаешь это — запомни. Утром я был на окраине Мухуса. И мысль, что я их никогда не увижу, меня немного успокоила.

Но странное дело, о Зине я месяца через два почти забыл. А этот мерзавец у меня не шел из головы ни днем, ни ночью. Годы шли, а мысль, что я не смог ему отомстить, не давала мне покоя. Через семь лет я случайно оказался в застолье с одним работником гагринской турбазы. Там работал тот проводник. Я помнил его фамилию. Я спросил у этого человека, продолжает ли проводник у них работать. Он странно на меня посмотрел.

— А разве ты не был в горах, когда он погиб?

— Нет, конечно, — ответил я, — а разве он погиб?

— Да, погиб, три года назад. Он вел группу на перевал. В одном месте тропа круто сворачивала вдоль скалы и проходила над очень глубоким обрывом. Он шел с одним парнем впереди группы, и на несколько секунд они скрылись за скалой. И вдруг этот парень выбегает к группе и кричит, что проводник споткнулся и сорвался в обрыв.

— Так он погиб? Странно, я думал, ты там был. У тебя еще была борода в то время.

— Борода была, — говорю, — но меня там не было...

Вот такой случай был в горах.

Мой земляк окончил свой рассказ и закурил.

— А что, если этот парень толкнул его? — спросил я как можно более равнодушным голосом.

— Замечательно, если толкнул! — оживился мой земляк. — Он отомстил за меня и, вероятно, не только за меня. Я бы ему при встрече пожал руку, если, конечно, парень его и в самом деле толкнул.

Мы помолчали, а я подумал: не придется ли ему жать собственную руку? Если так, не рискованно ли было ему это все рассказывать? Но он кавказец.

Как влюбленный не может, в конце концов, не признаться в любви, так кавказец не может не признаться, пусть в затуманенной форме, что месть свершилась.

Впрочем, все это дело двадцатилетней давности, и теперь истину никто не сможет установить. Я забыл сказать, что у моего земляка с точки зрения мухусчан была странная, смехотворная привычка. Он холостяк, но у него уже пятнадцать лет одна и та же любовница. (Обстоятельство, вызывающее у мухусчан смех, однако не переходящий в хохот.) К тому же он не изменяет ей. (Тут следует гомерический хохот.)

— Хоть бы изменил, — жалуется иногда его любовница близким друзьям, — я бы тогда ушла от него.

Но он не изменяет ей, и она не уходит от него. Может, она ждет конца затянувшегося траура по Зине? Мы ничего не знаем. Тем более, мы никогда не узнаем, что или кого теперь прижимает к груди Зина. Думаю, его математическая ловушка, рассчитанная на ее девичество, с самого начала была оши-

бочной. Не в том смысле, о котором вы думаете, а вообще. Но самое печальное во всей этой истории то, что никому в голову не пришло похоронить останки летчика.

...А между тем, наши богачи совсем раздухарились. По-видимому, ставки выросли: теперь они забрасывали в море бутылки армянского коньяка. Эти бутылки были гораздо легче, и они летели от «Амры» метров за двадцать. Мальчишки, теперь более заметно обгоняя друг друга, яростно колотя «кролем» воду, подплывали к месту приводнения бутылок. Но теперь им нырять приходилось гораздо чаще. Не потому, что там глубже, а потому что на большом расстоянии труднее определить на глазок и запомнить истинное место падения бутылки.

ГИГАНТ

В детстве к нам летом приезжала тренироваться баскетбольная команда из Ленинграда. Она играла с нашей местной командой на баскетбольной площадке, расположенной рядом с нашим домом во дворе грузинской школы.

Я с ребятами нашей улицы часто любовался их игрой. Мне было лет десять. В ленинградской команде выделялся один баскетболист невероятного роста. Другие баскетболисты рядом с ним казались малорослыми. Такого гиганта я никогда не видел. В сущности мы приходили любоваться им. В его удлинённом лице было что-то лошадиное: черная челка, огромные косящие глаза, большие пухлые губы.

Если он с мячом оказывался у баскетбольной корзины противника, то, только вытянувшись, даже не подпрыгнув, забрасывал мяч в корзину, вернее сказать, закладывал. Но он даже издали точнее всех попадал в баскетбольную корзину. Казалось, своим гигантским ростом он укорачивал расстояние до нее. Когда он забрасывал мяч издали, лицо его принимало звероватое выражение. Звали его дядя Юра.

Может быть, мне это кажется, но из всех наших ребят, собиравшихся там, он теплее всего относился ко мне. То ли дело в том, что я восторженнее других любовался им, то ли в том, что во время перерыва я им всем часто читал вслух гангстерские рассказы из журнала «Вокруг света». Так я начинал свою просветительскую деятельность. Рассказы принадлежали американским авторам, тем убедительней они казались. Мне представлялось, что Америка — страна, где много машин, много негров и много гангстеров. Сейчас я думаю, что эти рассказы печатались в таком изобилии из пропагандистских соображений. Вот, мол, какая жизнь в Америке. Но тогда это мне в голову не приходило.

Одним словом, я был в восторге от этого гиганта. Но я мучительно замечал и другое. Иногда я его видел в городе, и довольно часто за ним увязывались пацаны, пораженные его ростом, и выкрикивали что-то насмешливое. Обычно он сдерживался, но временами это ему надоедало. Он оборачивался на них с выражением затравленности на лице и так яростно отмахивался от них рукой, что пацаны рассыпались и умолкали.

Он часто брал меня с собой на море, и я по дороге наблюдал подобные сцены. Но порой даже взрослые, увидев его, оттаивали и главели на него. Я знал, что это ему неприятно, но ничего не мог сделать.

Однажды один взрослый мужчина, остановившись, долго смотрел на него, а потом, когда мы прошли, громко сказал:

— Сколько хлеба съедает один такой человек в день!

Мне показалось, что ничего пошлее я никогда в жизни не слышал, хотя, может быть, этого слова тогда и не знал. Взглянув на дядю Юру, я не понял по выражению его лица, слышал он эти слова или нет. Со вздохом облегчения я решил, что он их не расслышал.

Только однажды он явно не рассердился. Наш мороженщик, веселый балагур Сулико, неожиданно выскочил из-за угла и, внезапно увидев дядю Юру, остановил свой гремющий на колесах голубой ящик с мороженым.

— Эй, великан, — крикнул он, — ты с какой планеты?

— Тебе там не бывать, — ответил дядя Юра.

Мы шли на море.

— Что ты о нас расскажешь, когда вернешься к своим? — не унимался Сулико.

— Я скажу, что у Сулико самое плохое мороженое в мире, — ответил дядя Юра.

— Но у нас с сахаром трудности, — не растерялся Сулико, — тогда и это скажи!

Дядя Юра не ответил. Сулико загремел дальше. Возможно, они уже встречались, и дядя Юра покупал у него мороженое.

Иногда я его встречал в городе с ребятами из его команды. Обычно они были с девушками, но я ревниво замечал, что одной девушки, а именно его девушки не хватало среди них. Я горестно догадывался, что девушек отпугивает его неимоверный рост.

Когда баскетболисты отдыхали, лежа на траве, он иногда перекидывался с ними шутками, но почти никогда не принимал участия в общем разговоре. Он лежал или сидел, грустно покусывая травинку

Однажды, когда они так отдыхали, на баскетбольной площадке появился известный в городе бандит.

— Вор в законе, вор в законе, — уважительно зашептали наши баскетболисты, давая знать ленинградцам, что к ним пожаловал знатный гость.

Это был человек среднего роста, очень плотный, из-под рубахи у него виднелась матросская тельняшка.

Все вскочили, кроме дяди Юры, который продолжал сидеть, обхватив колени руками. Сердце у меня сжалось от предчувствия беды.

— Здорово, ребята! — сказал бандит, подойдя к баскетболистам. Он со всеми щедро поздоровался за руку, давая знать, что он, несмотря на свое высокое положение, не зазнался.

Здороваясь со всеми, он кинул на сидящего дядю Юру несколько суровых взглядов. Он как бы ждал, что дядя Юра догадается встать, но дядя Юра не вставал.

Тогда он подошел к нему и спросил:

— Так и будем сидеть?

— Так и будем, — спокойно ответил дядя Юра.

— Не уважаешь?

— Я не могу уважать человека, которого первый раз вижу.

Лицо бандита мгновенно преобразилось выражением дикого бешенства.

— Сейчас зауважаешь, сука! — прошипел он и, внезапно побледнев, вырвал из внутреннего кармана пиджака финский нож. Все замерли в ужасе. Позже я понял, что в дар уголовника входит это умение быстро завести себя до состояния всеограшающего бешенства.

— Вставай, сука! — крикнул он и взмахнул ножом.

И тут случилось совершенно неожиданное.

Дядя Юра, продолжая сидеть, внезапно выбросил правую ногу вперед, подсек ею ногу бандита, и тот рухнул, выронив нож. Дядя Юра, продолжая сидеть, потянулся за ножом, поднял его и осторожно, чтобы не разрезать пальцы, двумя руками сломал его, легко, как карандаш. Отбросил обломки.

Бандит вскочил. Лицо его было искажено чудовищной злобой. Дядя Юра спокойно продолжал сидеть. И кажется, именно этим спокойствием он сломил его.

— Ты у меня долго не проживешь! — крикнул бандит и стал быстро удаляться.

— А я никому не обещал долго жить, — вслед ему сказал дядя Юра. Сколько раз позже я вспоминал эти его слова, сколько раз! Но тогда мне было не до них, я ликовал всей душой! Вот это человек!

Тут загалдели все разом, особенно местные баскетболисты, всячески укоряя дядю Юру за то, что он вовремя не встал и теперь жизнь его в опасности.

— Против огнестрельного оружия я ничего не могу сделать, — сказал дядя Юра, — а нож в следующий раз отниму и воткну ему в задницу.

Тут один из мальчиков с нашей улицы вскочил и цапнул обломки ножа с криком: «Чур, мои!»

Прошло несколько дней. Бандит не показывался и ничего не предпринимал. Мы успокоились.

Я продолжал ходить с дядей Юрой на море. Как легко, как радостно было вышагивать рядом с ним. Хулиганы, злые бродячие собаки — все, все казалось мелочью, ерундой рядом с ним!

Дядя Юра больше всего любил море. Может быть, огромность моря делала естественной его собственную огромность. Он подолгу сидел на диком пляже, а иногда далеко, далеко заплывал. Он прекрасно плавал всеми стилями. Когда он плыл кролем на спине, лицо его приобретало выражение блаженства. И в этом было что-то трогательное и смешное. Лицо его было такое, как будто он сам не имеет никакого отношения к работе собственных рук и ног.

Однажды, когда мы с ним сидели у воды, какая-то девушка пришла купаться. Она разделась в десяти шагах от нас и осталась в голубом купальнике. Наверное, она чем-то понравилась дяде Юре, потому что он несколько раз бросал на нее любопытные взгляды. Девушка вынула из сумочки ка-

кие-то бумажки и стала перелистывать их, видимо, стараясь найти нужную. Вдруг налетевший ветер сдунул с ее руки одну бумажку, и она, делая в воздухе дикие зигзаги, полетела в нашу сторону и рядом с нами внезапно повернула к морю. Дядя Юра неожиданно выбросил свою длинную руку вперед и поймал бумажку. Девушка все это время следила за летящей бумажкой, и, когда дядя Юра ее схватил, лицо девушки вдруг вспыхнуло, и тут я понял, что она в самом деле красивая. Она подбежала к дяде Юре, и он передал ей эту бумажку. Оказалось, что это билет на Москву.

— Спасибо, спасибо, — сказала девушка задыхающимся голосом, и лицо ее сияло благодарным светом, и навстречу ей светило лицо дяди Юры. Никогда лицо дяди Юры так не светило! Я понял, что они понравились друг другу. Девушка не спускала с него глаз, она глядела на него с благодарной нежностью. Даже меня обдала волна их счастья.

— Будем знакомы, — сказала она и протянула руку. Все еще сидя, дядя Юра взял ее руку и начал подниматься. Он медленно поднимался, как бы давая ей привыкать к своему росту. Через секунду громадный дядя Юра стоял рядом с тоненькой девушкой, продолжая держать ее руку в своей руке. И вдруг я увидел, что сияющее лицо девушки стало тускнеть и тускнеть. Казалось, она смущенно прячет свой испуг. Лицо дяди Юры помертвело, и он отпустил руку девушки. Она повернулась и пошла к своей одежде.

«Он хороший, хороший, дура!» — хотелось крикнуть ей вслед. Дядя Юра молча вошел в воду. Он поплыл яростным

кролем. Вода бурлила за ним, как за моторной лодкой. На этот раз он особенно далеко заплыл. Когда он вернулся, девушки уже не было на берегу. Сейчас я думаю, что тогда я увидел самый ослепительный и самый короткий любовный роман в жизни. Он длился около одной минуты и кончился крахом.

Мы с ним продолжали ходить на море. Иногда на обратном пути мы в одном и том же киоске пили газированную воду. Продавец с большим любопытством присматривался к дяде Юре и однажды не выдержал:

— Извини, друг, но я интерес имею — ты пошел в отца или в мать?

— В тетку, — довольно спокойно ответил дядя Юра и поставил опустевший стакан на стойку. Мы пошли.

— Как в тетку? — раздался за нами недоуменный голос продавца. Дядя Юра промолчал, а я почувствовал ужасную неловкость, отчасти и за глупость земляка.

С баскетбольной площадкой граничил сад какого-то частного. Сад был огорожен колючей проволокой. По ту сторону проволоки росла мушмула. Одна ее ветка, усеянная желтыми, уже усыхающими плодами, тянулась в сторону школьного двора. Но ветка росла слишком высоко, дотянуться до нее мог только дядя Юра. Я его однажды попросил об этом. Даже он с трудом дотянулся до ветки и так ее согнул, что звездочки мушмулы запрыгали возле моих глаз. Я так любил тогда мушмулу! Я стал поспешно срывать и отправлять в рот ее плоды. Дядя Юра тоже осторожно отправил в рот мушмулу.

Видно, он ее никогда не пробовал. Может, с непривычки она ему не понравилась

— Затеяливый вкус, — сказал он и сплюнул косточку. Теперь он продолжал держать ветку только для меня.

— Дядя Юра, вы любите баскет? — почему-то спросил я у него. Вероятно, это было выражением тайной благодарности за то, что он с некоторым напряжением продолжал держать ветку только для меня.

— Ненавижу, — вдруг сказал он. Я замер от удивления.

— Так зачем же вы играете?

— Ты этого не поймешь, — ответил он задумчиво. — Баскетбол — единственное место, где я чувствую себя человеком.

Мне стало грустно, а обглоданная ветка радостно взлетела вверх. На следующий год ленинградские баскетболисты снова приехали и тренировались на той же площадке. Но дяди Юры с ними не было.

— А где же дядя Юра? — спросил я у одного из них.

— Юра умер, — вздохнул он, — говорят, какая-то болезнь. Но, по-моему, от тоски.

Что-то обрушилось внутри меня, и в ту же секунду я почему-то подумал, что другие этого не должны заметить, это стыдно.

Через несколько минут я тихо встал и ушел домой.

С тех пор никогда в жизни я не интересовался баскетболом.

НОЧНОЙ ВАГОН

Поздно ночью вышел из купе и прошел в тамбур покурить. Вместо урны в углу стояла железная плита нешуточной толщины, вогнутая в виде ковша. Кто ее согнул? Я решил, что только сила распада могла так ее согнуть. Последнее унижение военно-промышленного комплекса.

Разбитый поезд грохочет и дрыгается во все стороны. Вдруг кто-то с хамской силой хлопнул меня по спине. Я на секунду задохнулся. Сколько можно терпеть, взвыла душа, или сейчас или никогда! Я швырнул окуроч, сжал кулаки и резко развернулся. Никого. Ударивший исчез. Так! Я всегда говорил, что готовность к драке — лучший способ избежать ее.

Но тут я догадался, что дело в другом. Это яростно распахнувшаяся дверь, ведущая в другой вагон, грохнула меня по спине. Куда деть готовность к отпору? Я в бешенстве захлопнул ее. Она с не меньшим бешенством снова распахнулась. Я еще раз гневно захлопнул ее. Она с еще большей гневностью вымахнула на меня, стараясь сбить меня с ног. Но я, как опытный боксер, сделал нырок, и она просвистела мимо. Я ее снова захлопнул. Она снова ринулась на меня. Это повторялось девять раз. Дважды мы сцеплялись в клинче. Наконец, на девятом раунде, уже теряя дыхание и при этом тревожно понимая, что дверь дыхания не теряет, я ее так двинул, что она с грохотом закрылась и больше не распахивалась. Можно сказать, что я ее послал в нокаут.

Удовлетворенный своей победой, я снова закурил и успокоился. Эта моя борьба с одушевленной дверью напомнила мне давний случай из времен советской власти. Гуляю с одним диссидентом в лесу. Внезапно он споткнулся о корень, торчавший над тропой, и растянулся.

— Проклятое КГБ! — воскликнул он, падая, видимо, в момент падения уверенный, что этот корень подсунули чекисты.

— Откуда они знали, что мы здесь пройдем? — спросил я, смеясь.

— Они все знают, — бормотнул он, сердито отряхивая брюки, но уже явно понимая, что погорячился.

Однако мы попали из огня да в полымя. Такого раскуроченного поезда я еще никогда не видел. В купейном вагоне не только не предлагали чай, но вообще не было кипятка. Даже остывшей кипяченой воды. Дверь в наше купе не запиралась ни изнутри, ни снаружи.

Проводница нам выдала белье, блондинистое происхождение которого еще можно было угадать за стойкой смуглостью. Маленькие, детские подушки и явно укороченные простыни. Кто их так старательно укоротил? А может, хозяева поезда обменяли по неведомому бартеру свое вагонное белье на белье из сиротского дома? Лежать под этой укороченной простыней, глядя на свои голые неподвижные ступни, было неприятно, словно ты стал мертвецом, при этом почему-то не утратившим эстетическое чувство.

Весь день по вагонам шныряли бродячие торговцы. Просветительской работой почему-то занимались глухоне-

мые. Они молча (а как еще?) просовывали в нашу вечно приоткрытую дверь купе пачку газет или книг, клали на нижнюю полку и уходили, давая нам время самостоятельно решить вопрос о нашем просвещении. Очень мило и демократично. А главное — колоссальная доверчивость. Забирая их назад, они не проверяли ни количество газет, ни книг. Однако это опасный признак. Если в стране перестали воровать книги, значит, воруют все остальное. Философский вопрос.

Кстати, о кражах. Забавный случай из жизни талантливо-го восточного поэта. Через несколько лет после войны он впервые приехал в Москву и поступил в Литературный институт. Посещая своих московских друзей и подходя к подъездам их многоэтажных домов, он неизменно снимал калоши, как перед входом в саклю. И что интересно, калоши ни разу никто не спер. К этому времени в Москве уже не носили калоши. Можно было уже тогда задуматься о тайнах рыночной экономики. Но никто не задумался. А наш знаменитый поэт, хотя тогда он еще не был знаменитым, написал цикл стихов о величайшей честности москвичей.

— Не то что люди, даже собака ни разу не стащила калоши, — говаривал он, забывая, что голодная собака может польститься только на кожаную обувь.

Однако вернемся к приношениям наших глухонемых культуртрегеров. К газетам я не притрагивался, потому что сразу заметил, что они не свежие. Но пачки глянцеви-тых книг перебрал в руках. Ни одного знакомого имени автора. То

ли они влезли в мою эпоху, то ли я нахально продолжаю жить в их эпохе.

Глухонемые возвращались и, естественно, ничего не говоря и даже не пытаясь пальцами объяснить, бодро схватывали свой товар и следовали дальше.

Их бодрость и отсутствие хотя бы мимических упреков, создавали подозрение, что их интересует не продажа книг или газет, а точная статистика способных или желающих читать. Вероятно, именно за это им платили деньги. Кому-то это было нужно. Но кому? Вообще такого скопления глухонемых в одном поезде (чуть не сказал в одной стране), я никогда не видел.

Необычайная бодрость глухонемых тоже вызывала подозрения. Такая бодрость свойственна заговорщикам. А что, если в стране зреет заговор глухонемых с целью захвата власти? Кстати, заговор глухонемых очень трудно разоблачить. Для этого нужны глухонемые стукачи, пользующиеся доверием глухонемых заговорщиков и одновременно доверием чекистов, понимающих язык глухонемых, но отнюдь не являющихся таковыми.

Все возрастающие признаки глухоты и немоты правителей могли глухонемых привести к мысли, что этому процессу надо дать логическую завершенность и в России должна воцариться династия глухонемых... Чем короче мысли оратора, тем длиннее его жесты...

Впрочем, надо сказать, что кроме глухонемых появлялись продавцы чебуреков, горячей картошки, фруктов и даже ог-

ненных раков, которых я уже множество лет в глаза не видел. Вероятно, раки возродились от всеобщего одичания.

Но мы ничего не брали. Ели традиционную курицу, приваченную из дома вместе с большой бутылкой сомнительного московского нарзана. Я что-то не слышал о нарзанных или боржомных источниках под Москвой. А между тем эти напитки (вероятно, созданные искусственно) намного шире, чем раньше, продаются в Москве. Власти, кажется, ненавязчиво внушают населению: подумай, обойдемся без Кавказа!

В виду отсутствия кипятка жена мне предложила выпить растворимый кофе с нарзаном. Но я при всей своей любви к кофе, а точнее сказать, при всей своей ненависти к собственной вялости воздержался. Я боялся, что смесь растворимого кофе с этим сомнительным нарзаном может взорваться у меня в желудке.

Жена непрерывно рассказывала о сказочном преимуществе российских поездов над украинскими.

— Тише, тише, — предупреждал я ее, боясь, что нас могут обвинить в русском железнодорожном шовинизме.

Время от времени в дверях появлялись обменщики рублей на гривны. Одни из них производили впечатление сдержанных наводчиков, другие, что еще хуже, выражая лицом вековечные страдания украинского народа, как бы предлагали при помощи обмена рублей на гривны хотя бы отчасти компенсировать былое угнетение. Но мы ничего не обменивали, потому что нам сказали, что на месте, то есть в Крыму, это сделать надежней.

Обменщиков приходило много, и чем позднее они приходили, тем мрачнее становились их лица. И уже невозможно было отличить мнимых наводчиков от мнимых угнетенных. Выражение лиц у них было одинаково напряженное, особенно к двенадцати часам. Казалось, только очень хорошее воспитание мешает им зарезать нас, отобрать рубли и строго по курсу оставить трупам гривны.

Пока я обо всем этом раздумывал, проводница нашего вагона вышла в тамбур с намерением пройти в другой вагон. Она попыталась открыть дверь, но, видимо, дверь, еще смертельно обиженная на меня, теперь не открывалась. Проводница обернулась.

— Это вы ее заперли на ключ? — спросила она у меня. — Где вы его взяли?

— Я не запираю, — ответил я, приблизительно честно.

— Не морочьте мне голову, — стала раздражаться она, — кто же ее мог запереть? Вы стащили ключ у моего напарника, пользуясь тем, что он выпил. А я еще днем подумала: что этот пассажир здесь все похаживает.

— Не выпил, а пьян, — педантично поправил я ее. Проводник весь день дрых. Почему-то покоя не давал вопрос, когда именно он напился? Хотелось разбудить его и для успокоения души спросить, но я не решился. Такая уж у меня природная деликатность, от которой я страдаю даже в таких, казалось бы, нейтральных вопросах.

— Тем более! — донесся голос проводницы. Она укреплалась в своей версии.

— А у нас в купе дверь вообще не запирается, — теперь признался я с абсолютной честностью. Видимо, я хотел психологически уравновесить неоткрывающуюся дверь с незапирающейся. И это мне явно удалось.

— Какое у вас купе? — спросила она, смягчаясь.

— Пятое, — сказал я.

— Знаю, — подтвердила она. — Не бойтесь воров, я буду чутко дремать. Чуть что — услышу. Я вам дам второе одеяло.

Это прозвучало, как второй пистолет. Спать было жарко и под укороченной простыней. Зачем же мне было два одеяла? Чтобы сделать себя пуленепроницаемым? Или, как сачок, набрасывать на воров одеяла? А как же ее чуткий сон?

— Не надо, ради Бога, — сказал я.

После этого она, совершенно успокоенная, достала из кармана ключ, открыла дверь и исчезла в проеме. Видимо, я тогда так крепко захлопнул дверь, что в этом безумном вагоне замок сам собой замкнулся.

Когда она прикрыла за собой дверь, я немного подождал с некоторой победной агрессивностью, любопытствуя, не распахнется ли она, но дверь, видимо, была так напугана мной, что больше в моем присутствии не распахивалась.

Я вошел в вагон. Здесь дверь в уборную металась, как веер разгневанной красотки. Я окинул ее взглядом усталого кротителя, но вступать в дискуссию с новой дверью у меня не было никакого желания. Уборная сама себя вентилировала. Кстати, эта дверь тоже изнутри не запиралась. И днем, проходя в уборную, приходилось взволнованно стучать в

нее, как в спальню все той же красотки, при этом рискуя, что человек, занимающий туалет, автоматически скажет: «Войдите!».

В удивительное время мы живем. Разруха — без войны. Диктатура — без топора. Но так вечно продолжаться не может. Я боюсь, что скоро наше обедневшее правительство объявит всенародный добровольный сбор средств на постройку народной гильотины. После чего — так оно пообещает — нищих в стране не будет. В каком смысле не будет? — станут уныло гадать наши нищие граждане.

Между прочим, шизофреническая мечта Советского Союза догнать и перегнать Америку немедленно осуществилась с падением советской власти. По количеству гангстеров на душу населения мы намного обогнали Америку. Настолько обогнали, что посылаем время от времени им на помощь своих гангстеров. Но делаем это тихо, незаметно, по-христиански. Не кричим подобно фарисеям о своей помощи на всех перекрестках.

Но шутки в сторону. Что делать? Перед отъездом в жару сижу на даче. Настроение ужасное. Такое чувство, что Россия гибнет, и непонятно, как ей помочь. Жена вдруг говорит:

— Поехали в город. Мне надо цветы полить, а то они погибнут.

— Хорошо, — сказал я обреченно.

Кто о чем. И вдруг молнией мелькнуло: она права! Если все будут помогать тому, чему действительно можно помочь, тогда того, чему действительно нельзя помочь, не будет! Если

все будут действовать в пределах возможного, возможности станут беспредельны!

Психологическая трагедия кризиса не в том, что где-то там не получаются реформы, а в том, что у людей опускаются руки и они перестают делать то, что всегда могли делать. Миллионы этих малых несделанных дел для судьбы страны важнее любых реформ.

Подобно тому, как за ледоколом, взрезающим льды, они позади снова смыкаются, за разумом, взрезающим глупость, снова смыкается глупость. Где выход? Выход есть!

Разум должен тащить и тащить за собой практическую задачу, как ледокол, ведущий за собой караван судов. Тогда льды и глупость долго не смыкаются. Только, ради Бога, не надо путать ледокол с ледорубом. У российских политиков есть такая склонность.

...Вы будете смеяться, но наш поезд за ночь не рассыпался, как бусы все той же красотки, забившейся в истерику если не от вида вагона, так от частоты упоминания ее.

Он точно по расписанию остановился на станции «Семь колодезей», где нас встретили друзья. Воры, по-видимому, узнав о чуткости сна нашей проводницы, не посмели сунуться в наш вагон.

К несчастью, сон проводницы соседнего вагона был не столь чуток. Там одного пассажира начисто обворовали. Мало того, что взяли чемоданы и его верхнюю одежду, так они еще мимоходом допили его водку, которая в бутылке оставалась стоять на столике. Правда, бутылку, допив, оставили, но

все равно грабеж возмутительный, с оттенком садизма. Человек остался в трусах и носках.

Уверен, что под укороченной простыней он спал в носках, чтобы не глядеть на свои голые неподвижные ступни и не думать о бренности существования. Так что укороченная простыня помогла ему сохранить хотя бы носки. Но, с другой стороны, если бы он снял носки и всю ночь, думая о бренности существования, глядел бы на свои голые неподвижные ступни, его бы не ограбили. Ну иногда, чтобы не совсем падать духом, можно было бы слегка пошевелить пальцами ног.

Бедняга, говорят, в одних носках и трусах с пустой бутылкой в руке носился по составу в поисках начальника поезда с тем, чтобы снять отпечатки пальцев с бутылки и при помощи них когда-нибудь разоблачить воров. Тут он с горя явно потерял чувство реальности. Что ж, эта бутылка сама влетела в его купе, и к ней никто не притрагивался кроме него и воров?

Что было в более отдаленных вагонах — мы не знаем. О новых махновцах, останавливающих поезда, даже говорить не приходится. Во всяком случае пока.

Кстати, в день нашего приезда правительство Украины вспылчиво объявило, что с этого дня запрещает менять рубли на гривны. Откуда такая вспылчивость? Иной писатель с манией преследования сказал бы, что правительство это сделало, тщательно проследив за его поездкой в Крым. Но я этого не говорю. Наша скупердяйская сдержанность в поезде была отомщена. Но мы приехали к друзьям, и финансовые капризы украинских властей нам почти ничем не угрожали.

И тут я вспомнил! Так вот почему лица обменщиков денег вчера к двенадцати часам ночи так омрачились. Они что-то уже знали. Украинцы, видимо, еще умеют хранить государственные тайны, особенно от москалей. Но, с другой стороны, теперь совершенно ясно, что их напряженные лица пытались нам телепатически внушить: «Меняйте — завтра будет поздно!» Так вот чем вызвано братское страдание на их лицах, а я его принял черт знает за что!

Да, чуть не забыл сказать самое главное. Почему-то перехожу на шепот. Напарника нашей проводницы я и в этот день не видел на ногах. Возможно, это первый в медицине случай перехода похмельного сна в летаргический. Но я это не выяснил из-за все той же деликатности. Вероятно, другие воспользуются моей великой догадкой. Вот так всегда.

Я уж не говорю о природе лунатизма, открытой лично мной. Лунатиками становятся люди, зачатые под открытым небом при полной луне, при условии, что женщина в момент зачатия не сводит глаз с луны.

Если моя теория верна, то количество лунатиков должно планомерно уменьшаться с юга на север. Но никто не захотел экспериментально проверить мою теорию. А стоило бы изучить динамику угасания лунатизма, скажем, от Рима до Москвы, и все было бы ясно.

Впрочем, ясно и так, что я прав. Всем известно, что, например, чукчи никогда не бывают лунатиками. Да и как им быть лунатиками? Скажем, страстный чукча нежно уложил чукчанку на мягкий ягель тундры. А где луна? Луны нет. Кругом

полярный день. А если кругом полярная ночь и на небе луна? Тогда где ягель? Ягеля нет.

Мне могут возразить: при чем тут вообще лунатизм? Как говорят абхазцы, время, в котором стоим, настолько смутное, что все может быть.

Например, при Сталине лунатиков сажали. Был даже довольно гуманный закон: сын лунатика не отвечает за отца-лунатика, если при этом сам не впадает в лунатизм.

Я знал одного лунатика, который сидел в лагерях. Там он неоднократно пытался в лунную ночь добраться до вышки часового. Но часовой его не убивал, потому что заранее знал о его лунатизме. Он просто легким выстрелом над головой будил его.

После смерти Сталина его отпустили, но дружески предложили кончать с лунатизмом. Прощаясь с ним, начальник лагеря горестно сказал:

— Вот такие, как ты, переутомили партию. И что на этого получилось?

Далеко же смотрел начальник лагеря!

Обвинение моего знакомого лунатика, если память мне не изменяет, звучало так: за попытку нелегального воздушного перехода границы, научная несостоятельность которой не может смягчить преступность самого замысла.

Так что все возможно, и потому, пока не поздно, иногда не мешает подуматься. Кто дурачится? Ум — ребячливо, вприпрыжку сбегающий по лестнице. Между прочим, дурак не может подуматься, ему неоткуда сбежать. Юмор — стилистическая победа человека над безумием жизни.

...Я уже кончал этот рассказ на даче у друзей, когда жена вместе с хозяйкой дома вернулись с рынка. Вместе с баклажанами они принесли радостную весть: слух о запрете обмена рублей на гривны оказался ложным. Возможно, сами менялы его пустили, чтобы в дальнейшем подпольно менять деньги по более высокому курсу. Я с удовольствием исправляю эту ошибку, из чего читатель легко поймет, что все остальное условно точно.

в парижском магазине

В Париже моя жена и ее местная русская приятельница вошли в большой магазин. Из давней нелюбви к такого рода заведениям я остался дожидаться их у входа.

Женщины — библиофилы товарных прилавков. Подобно тому как библиофил на развале роется в книгах, сам не зная, чего он ищет, при этом особенно долго рассматривает, щупает, нюхает и даже бесплатно подчитывает книгу, которую он явно не купит, женщины бесконечно перебирают вещи, особенно долго рассматривают и даже иногда примеряют те из них, которые им не по карману.

Значит, стою и жду. Через некоторое время закурил. Хотел выбросить окурочек в урну, но, приблизившись, заметил, что крышка урны припаяна к ней. Еще не понимая в чем дело, я поискал глазами другую урну, подошел к ней, с хищной трусливостью оглянувшись на вход в магазин, чтобы не пере-

пугать его и, не дай Бог, не заблудиться в этом огромном чудом городе, без знания французского языка и не имея международного языка, то есть денег. Этот язык, хотя и с ограниченным словарем, был у меня, но его вырвала у меня жена перед самым входом в магазин. Операция прошла безболезненно, потому что перед этим в кафе она разрешила мне выпить джин с тоником, и еще один стакан я там ухитрился выпить контрабандой, в смутном предчувствии операции. Так что часть денег была спасена.

И вторая урна была наглухо запаяна. Я нашел глазами третью урну и, еще зорче оглянувшись на вход в магазин, подошел к ней. Но и у нее крышка была припаяна. Вокруг валялись окурки. Я бросил свой окурочок и внезапно вспомнил, что это способ борьбы с террористами, которые свои бомбы как бы по рассеянности иногда бросают в урны. Мне об этом говорили, но я забыл и только сейчас вспомнил. Однако у арабских террористов странный способ борьбы с курильщиками.

Времени у меня было много, и я потихоньку двинул обратно. Французы, то и дело обгонявшие меня на узком тротуаре, неизменно бросали: «пардон», при этом даже не задев меня плечом, и можно было понять, что они утонченно извиняются только потому, что обогнали меня, как бы находя в моей походке некоторые признаки инвалидности, что совершенно не соответствовало действительности. Хотелось догнать и объясниться. Но как объясниться, когда я не знаю французского языка? Удивительное невезение. Куда ни приеду, никак

не могу попасть в страну, где говорили бы на русском или хотя бы на абхазском языке.

Осматриваюсь. Париж действительно прекрасный город. Я, кажется, открыл тайну его красоты. Хозяева домов так их строили, чтобы самим радоваться и удивляться их красоте, а не для того, чтобы удивлять других. И именно потому их красоте и своеобразию удивляются другие. Конечно, не обошлось и без показухи вроде Эйфелевой башни, которая явно создана, чтобы удивлять других. И она в самом деле удивляет своей глупостью, с атеистической хамоватостью выпячиваясь в небо.

Но в основном город прекрасен, потому что стихийно следовал закону искусства. Так, если пишешь юмористический рассказ, надо, чтобы самому было смешно, и писать надо для того, чтобы самому посмеяться. И тогда будет смешно другим.

Этим своим рассуждением я ставлю под удар свой собственный рассказ. Но я сознательно иду на риск. Без некоторого риска я бы даже не имел второй стакан джина с тоником. Теперь-то я уверен, что риск можно было увеличить еще на одну порцию. Но сейчас уже поздно об этом думать.

Бог, создавая нас, тоже пошел на риск. Большой риск. И до сих пор неясно, оправдан ли он. Я имею в виду риск, а не Бога.

Я обратил внимание на большое количество людей арабского и африканского происхождения. Лишившись колоний, Париж превратился в колониальный город. Арабские женщины и африканки такие стройные и обладают такой газель-

ей походкой, что их можно принять за сказочных красавиц, если бы их лица были прикрыты чадрой. Нет, и без чадры некоторые из них были хороши. Изредка. Но в чадре все казалось бы таинственными красавицами, летящими на свидание. Думаю, что есть тайная связь между чадролюбием Востока и его чадолюбием. Чадра, удлинняя разгон соблазна, делает его более мощным и неотвратимым. К тому же под чадрой у женщины меньше шансов осточертеть. Запад пошел наивным путем оголения женщин, и все развитые страны недобирают детей.

Буаль, как робкая попытка зачадрить лицо, имела место в христианском мире, но по неизвестным причинам сошла на нет. Возможно, климат сыграл свою роль. Мы ничего не знаем. Чадра расцветает в странах, где много солнца, и она затеняет лицо и не дает ему загореть. Трудно представить восточную женщину с летним зонтом и в чадре. Перебор.

И вообще непонятно — чадра способствует развитию мусульманства или мусульманство чадрит Восток. Идеал восточного мужчины: женщина белая, как молоко. Рано или поздно он двинется за своим идеалом в Европу. Уже двинулся. Европейки (для маскировки или чтобы понравиться ему?) любят загорать.

Однако рассуждения о чадре заводят меня в дурную бесконечность. Одним словом, вывод ясен: христианский мир недобирает детей. Мое дело предупредить, а там как хотите. Только, как говорят на Востоке, не говорите потом, что не слышали.

Впервые я задумался о невероятно расширяющемся влиянии мусульманства еще при советской власти, когда вместе со вдовой Назыма Хикмета был отправлен Союзом писателей в Австралию праздновать его юбилей в обществе турецких рабочих, которые эмигрировали в Австралию в поисках работы. К этому времени наше начальство к Назыму Хикмету сильно охладело, но юбилей почему-то надо было отмечать, и нас отправили в Австралию. Я тогда был так влюблен в стихи Назыма Хикмета, что готов был говорить о нем даже с пингвинами, до которых, кстати, от Австралии не так далеко.

...Между прочим, очаровательный эпизод из жизни Назыма Хикмета, о котором мне рассказал его неизменный друг и переводчик Акпер Бабаев.

Однажды в молодости Назым Хикмет увидел в окно красивую девушку, идущую по улице. Он так пристально следил за ней, по мере ее движения высовываясь из окна, что, наконец, вывалился из него. Рыжий гигант красавец Назым Хикмет не учел, что его центр тяжести расположен достаточно высоко, и потому вывалился. Какая чудная непосредственность!

Но из этого факта нельзя делать ложного вывода, что он свалился на голову девушки. Именно это сделал бы плохой романист, но мы этого делать не будем. Свалиться на голову девушки он никак не мог, потому что вытягивался из окна по мере ее удаления. Но можно сделать два правильных вывода.

Первый. Окно, видимо, было расположено не так высоко, потому что Назым отделался легкими ушибами. Второй. Ви-

димо, в те далекие времена в европеизированном Стамбуле девушки уже тогда ходили без чадры... Но я опять вернулся к чадре. Интересно, что бы по этому поводу сказал доктор Фрейд? На все его догадки я бы дал сокрушительный ответ:

— Дело в том, уважаемый доктор, — торжествующе признался бы я, — что я никогда в жизни не видел чадры.

Но думаю, как и все зацикленные люди, он не растерялся бы:

— Потому и пишете, батенька, что не видели, но стремитесь увидеть!

В самом деле я чадру никогда не видел и не стремился увидеть. Если не принять за подобие чадры сетчатую маску пасечника из наших краев, который нахлобучивает ее на лицо, перед тем как вскрыть улей. А если бы стремился увидеть, наверное, где-нибудь в Средней Азии мог увидеть и даже услышать слова аксакала, обращенные к девушке:

— Что задрала чадру, как пилить?!

Да, так вот, значит, летим в Австралию. Кстати, я Назыма Хикмета видел два раза. Один раз он приходил к нам в Литературный институт и проводил со студентами беседу. Шутил, был обаятелен неимоверно. Говорил по-русски свободно, хотя и с достаточно заметным турецким акцентом. О соотношении формы и содержания в стихах он так сказал:

— Форма стиха, как дорогой женский чулок на стройной женской ноге, должна быть незаметна.

В этом утверждении есть след выпадения из окна и след его аристократического происхождения. Потом с улыбкой,

как бы противореча самому себе, сказал, что прочтет стихи, где чулок обошелся без ноги. Он по-турецки прочел гениальное по звукописи «Каспийское море». Впечатление было ошеломительное: ничего не понимаем, но слышим бушующее и постепенно затихающее море.

Говорил о встрече с Маяковским в двадцатых годах. Они выступали в каком-то клубе, где было полно народу. За сценой перед выступлением Маяковский, заметив, что Назым от волнения не находит себе места, хлопнул его по плечу и пробасил:

— Не волнуйся, турок! Всё равно ни черта не поймут!
Назым, конечно, читал по-турецки.

Тогда же, в двадцатых годах, с Назымом Хикметом приключилась забавная история. Об этом мне тоже рассказал Акпер Бабаев. Назым ехал в трамвае и вдруг заметил призывные взоры какой-то привлекательной женщины. Молодой, здоровый, неженатый Назым не оставил без внимания эти призывы.

Они познакомились. Он несколько раз встречался с ней и переспал с ней, надо полагать, столько же раз, уже без всяких шансов выпасть из окна.

Но эта молодая женщина оказалась женой какого-то крупного сановника. То ли подкапываясь под ее мужа, то ли она сама была заподозрена в антисоветском образе мыслей, но ее вдруг арестовали. Был суд, и Назыма Хикмета привлекли к суду в качестве свидетеля, потому что его видели с ней.

— Что вы думаете о ее политических взглядах? — спросили у него на суде.

— У нее нет антисоветских взглядов, — сказал Назым, — она просто шлюха.

Чем весьма смутил суд. В те времена с мнением иностранных коммунистов очень считались, всё еще надеясь на мировую революцию. С одной стороны, придется признать, что она не антисоветчица, и отпустить ее домой. Но как отпустить домой жену ответственного работника с таким клеймом? Насколько я помню этот рассказ, ее все-таки отпустили. В двадцатые годы это было не таким уж страшным клеймом. Возможно, сам Назым Хикмет, еще недостаточно зная русский язык, думал, что слово это только означает состояние сильно эмансипированной советской женщины.

Второй раз через несколько лет я встретил Назыма Хикмета на банкете, где случайно очутился. Мы, естественно, сидели вдали друг от друга. Но я не сводил с него влюбленных глаз. Некоторые тюремные стихи его, даже в переводе на русский язык, потрясали.

Видимо, из-за тяжелой болезни сердца тогда он, было похоже, пытался бросить курить. То и дело подносил к носу сигарету и внюхивался в нее, не закуривая. Почти ничего не ел, но был оживлен и весел.

Наконец, он заметил мой пристальный взгляд, взгляделся, возможно, оценивая его, как опытный зек, и, улыбнувшись, отвел глаза. Я продолжал пожирать его глазами. Через некоторое время он обнаружил, что я продолжаю на него смо-

треть, удивился и как бы застенчиво сказал мне взглядом: — Не надо меня так любить. Это утомительно.

Я отвел глаза.

Как он пришел к коммунизму? Сын богатого аристократа, в девятнадцать лет уже известный всей Турции бушующий поэт, он обошел пешком всю Анатолию и был насмерть ранен безысходной нищетой турецких крестьян. И он решил: выход в коммунизме! После этого он нелегально перебрался в Советский Союз и стал учиться в Коммунистическом университете.

Так неоднократно бывало в истории. Человек, испытывая благородный гнев против реального зла, приходит к ошибочным методам борьбы с ним. Нечто подобное было и с великими французскими просветителями XVIII века. Плохой врач может правильно определить, какими лекарствами надо лечить эту болезнь, но он не может предвидеть, именно потому что он плохой врач, что, леча эту болезнь этими лекарствами, он одновременно вызывает в организме больного еще худшие болезни. Таковыми врачами были все наши революционные вожди.

Но не будем, не будем об этом!.. Одним словом, летим в Австралию. На перевалах многочисленных аэропортов местные служительницы, независимо от национальности, заглянув в мои документы и увидев мою мусульманскую фамилию, неизменно с нежной улыбкой говорили одно и то же: — О, муслим!

Было похоже, что такого подарка они от Советского Союза не ожидали. И эта радость на протяжении половины зем-

ного шара! Не мог же я ее нарушить, признавшись, что мне христианство гораздо ближе.

В Австралии мы гостеприимно были встречены турецкими рабочими, и меня поразило, что все они более или менее знали Назыма Хикмета, тогда еще запрещенного у них на родине. Можно было подумать, что все они были лишены работы и высланы в Австралию за чтение стихов Хикмета. Поистине народный поэт!

Его тюремные стихи разносились по всей Турции, а потом и по всему миру. Приговоренный к смертной казни, он об этом написал стихи, где есть такие строчки:

*В глазах Назыма, как день голубых,
Никто не увидит страха.*

Это, знаете ли, подымает дух нации! Есть такой человек! К счастью, приговор был позже отменен. Почти полжизни он просидел в тюрьме, но писать ему никто не мешал и переправку стихов на волю никто не пресекал. Знал ли в то время Назым, что у нас поэтам, сидящим в тюрьме, стихи не разрешали писать, а переправлять их на волю было бы равносильно самоубийству? Мне неизвестно.

Тот же Акпер Бабаев мне рассказывал: Назыму его личный шофер признался, что ему дано задание убить его. При помощи искусственной аварии? Не знаю. При очень больном сердце Назыма этого было бы достаточно. Но он уже успел влюбиться в себя шофера, и тот ему всё рассказал. Но как же

сам шофер при этом уцелел? Предполагаю, что если такое задание было, оно было дано перед смертью Сталина, а потом его, вероятно, отменили.

Примерно в это же время турецкий военный министр отвечал на вопросы журналистов.

— Что бы вы сделали, если бы Назым Хикмет вернулся в Турцию? — спросили у него.

— Я бы его расстрелял как коммуниста, и плакал бы над его могилой, как над могилой великого турецкого поэта, — ответил министр.

Согласитесь, в этом ответе есть оттенок благородства. У нас даже сам Сталин не мог так сказать о великом поэте, не признающем его режима. Это грозило разрушить идеологическую пирамиду. На тотальном отрицании фактов держится идеологический режим, но потом рухнет под тотальным напором отрицавшихся фактов.

Назыма Хикмета, когда он после тюрьмы сбежал в Советский Союз, сначала подняли до небес. Но потом, по словам Акпера, начались тайные и явные недоразумения.

Ему привезли кремлевский паек, а он от него отказался, добродушно объяснив, что ему гонораров вполне хватает на жизнь. Он не понимал, что кремлевский паек есть почетный знак приема в стаю.

— Не наш, — пробормотал, вероятно, кто-то наверху, узнав об этом.

Дальше больше. По словам Акпера, Хикмет смеялся, как сумасшедший, над рассказами Зоценко. И когда он вместе

с Дилером поехал в Ленинград на премьеру своей пьесы, он, к великому неудовольствию местных властей, добился встречи с Зоценко, пригласил его на премьеру, сидел там рядом с ним и неизменно на глазах у начальства называл его «Учитель». Ничего себе учитель, которого тогда еще никто не простил, а выступление Жданова, где он громил Зоценко и Ахматову, никто не отменял.

Потом пошло непечатанье некоторых его стихов, закрытие пьес, были и статьи против него, написанные, правда, со сдержанным хамством. Но тут Назым Хикмет умер, и покойника оставили в покое как советское, так и турецкое начальство. Тут они сошлись. Я об этом рассказал, потому что и Акпер Бабаев давно умер, и мстить некому, хотя мстители еще есть.

Но не будем, не будем об этом!

Я решил этот рассказ писать весело, бодро и не дам самому себе сбить себя с этого пути.

Кстати, среди турецких рабочих нашелся абхазец, потомок моих земляков, высланных из Абхазии еще в XIX веке. Узнав из моего выступления (нас переводили с русского на турецкий), что я абхазец, он подошел ко мне, и мы всласть наговорились по-абхазски. Единственный случай, когда страна, правда, в одном лице, совпала с языком, который я знал. Но, к сожалению, разговор был не столь долгим, как бы мне хотелось. К концу он стал задавать странные вопросы.

— Абхазия расположена по ту сторону Кавказского хребта или у Черного моря? — спросил он.

— У Черного моря, — ответил я вежливо, не выражая удивления, хотя и удивляясь, что знание стихов Назыма не исключает незнания географического расположения исторической родины.

— А почему турецких детей пугают русскими? — спросил он у меня потом.

— Русских детей тоже пугали турками, — ответил я.

— Как так?! — всполошился он. — Поклянись всеми своими детьми, что это так!

— Клянусь! — ответил я с ожидаемым пафосом, хотя тогда у меня была только одна дочка. Сын родился позже. Было бы преувеличением связывать появление сына с желанием точно соответствовать клятве.

— Чудо! — воскликнул он, потрясенный. Я никогда в жизни не видел, чтобы идея симметрии так потрясла человека. Схватившись за голову руками и покачивая ею, он как бы пытался определить, уместилась ли эта мысль в его голове и если уместилась, то не последует ли безумие.

— Клянусь чалмой муллы, я больше не могу! — вдруг вымолвил он умоляющим голосом и отошел к остальным рабочим, как бы больше не в силах вынести слепящего сияния симметрии. Как известно, инородцы всегда большие патриоты, чем аборигены. Видимо, здесь тот случай. И мы вернемся в Париж, чтобы не смущать его больше.

Задумавшись о чадре как оружии этнической экспансии, я чуть не пропустил свой магазин. Кстати, это был магазин женской одежды, потому что туда входили почти одни жен-

щины. Но если даже они туда изредка входили с мужчинами, по унылым физиономиям мужчин это было видно.

Остановился. Жду. Наконец, почувствовав, что и в Париже бывает зябко, я добровольно вошел в магазин. Решил ждать внутри. Некоторое время меня беспокоила мысль, что магазин имеет второй выход, и они, воспользовавшись им, обойдут квартал, подойдут к этому выходу и, не найдя меня тут, уедут, думая, что я, потеряв терпение, гневно сел в такси и умчал на квартиру приятельницы. Моей жене в голову не могло прийти, что я сам добровольно вошел в магазин. Положим, адрес таксисту я еще кое-как мог прогундосить, а деньги? Но я взял себя в руки и решил, что до такой глупости дело не дойдет.

Ужасно не люблю оставаться один в чужом городе без знания языка и без денег. О том, что никак, хотя бы случайно, не могу совпасть со страной, говорящей на моих языках, я уже писал. Но я еще более не могу совпасть со страной, которая проявила бы хотя бы экзотический интерес к моим русским деньгам. Я же готов был на любой курс обмена. Мою попытку обмена повсюду воспринимали как попытку обмана. Как будто я им сую какие-то африканские листья вместо денег.

Кстати, один наш профессор, преподававший в африканском университете, говорил, что местные негры называли русских маленькими белыми. Интересно, как они пришли к такому определению? С одной стороны, африканские мыслители как честные мыслители не могли отрицать, что русские белые. Но с другой стороны, они привыкли к мысли, что бе-

лый человек — это такой человек, у которого много денег. То, что у наших мало денег, они давно заметили. Как быть? И они нашли выход из этого мучительного, гамлетовского вопроса, назвав русских маленькими белыми, именно маленькими, которыми выдают небольшие карманные деньги.

Интересно, что бы они теперь сказали, увидев новых русских и сравнив их с нами? Вероятно, они бы сказали бы:

— Маленькие белые, родив белых гигантов, стали совсем маленькими.

Думая об этом, я еще раз пожалел, что не спас еще одну небольшую часть франков на еще один стакан джина с тоником. Конечно, навряд ли это серьезно могло сократить время пребывания в магазине моих женщин, но я давно заметил, что после приличной выпивки иностранные города начинают приобретать родные московские очертания, и как-то легче ориентироваться в них и не чувствуешь себя маленьким белым.

Впервые я это понял в Греции. Там наиболее либеральная часть нашей делегации тайно решила совершить свободолоубивый поступок и посетить порнографический фильм. Тогда это строго запрещалось нам, маленьким белым. И мы толком не знали, что это такое, хотя и предчувствовали. Конспиративно отправились в кино под видом прогулки по городу. Мы были настолько предусмотрительны, что один из нас разговаривал с кассиршей на английском языке. Веря во всеилие тогда еще советского посольства, мы боялись, что в кассу да-

но указание не продавать билеты маленьким белым. Кассиршу удалось обдурить.

Цена билетов при нашей бедности показалась нам астрономической. Мы решили, что цена отражает безумную порнографическую смелость фильма. Азарт был велик, почему-то особенно у женщин. Тем не менее в кинозале наши мужчины отделились от женщин, чтобы не очень смущаться при виде особенно эротических сцен.

Но к нашему великому негодованию порнографический фильм оказался вполне целомудренным, на уровне греческого соцреализма. Вот тебе и Афинские ночи. Разгневанные обманом и потерей денег, мы вышли из кинозала и решили по этому поводу утешиться выпивкой. Мы нашли какое-то кафе, довольно основательно выпили и мрачно наблюдали, при этом совершенно бесплатно, что разрывало душу, как веселые греки танцуют народный танец сиртаки, такой же невинный, как наш фильм. Женщины, особенно горячо ожидавшие этот фильм, теперь особенно горевали по поводу потерянных денег.

— За такие деньги, — заметила одна из них не без остроумия, — я бы сама устроила вам танец с раздеванием.

От выпитого и всех остальных волнений на обратном пути мы заблудились и часа два блуждали по ночным Афинам.

Внезапно мы вышли на какое-то место, и я увидел — ни дать ни взять — храм Василия Блаженного!

Я был потрясен не столько выросшим перед моими глазами храмом Василия Блаженного, сколько полным отсутствием Кремля рядом с ним. В голове у меня все перевернулось.

— Где Кремль?! Свяжите меня с мэром! — оказывается, завопил я, как разъяренный сановник, подъехавший к Кремлю и вдруг обнаруживший, что Кремль исчез. Мне казалось, что я так только подумал, но нет, завопил во всю глотку.

И вдруг на этот мой вопль души разъяренного сановника с другой стороны тротуара раздалось на чистейшем русском языке:

— Да его самого надо вязать!

Еще более ошеломленные русской речью в полуночных Афинах, мы посмотрели в ту сторону. Оттуда к нам подошел человек и сказал, что он работник посольства.

(Сейчас, когда я это печатаю на машинке, у меня случайно вместо «работник посольства» напечаталось «разбойник посольства». Оговорка. Bravo, Фрейд! Все-таки он был умный мужик, хотя иногда сильно перебарщивал. Говорят, его невеста долгие годы не решалась выйти за него замуж. Отсюда объяснение всех бед человечества подавленным половым стремлением. Наконец нам удалось сделать самого доктора Фрейда пациентом психоаналитика.)

В случайность такой встречи, разумеется, я имею в виду не доктора Фрейда, а работника посольства, никто из нас не поверил. Я мгновенно отрезвел и понял, что Кремль на месте. Значит, работник посольства крался за нами часа два, пытаясь выяснить тайну нашего коварного маршрута, и только мой идиотский возглас вывел его из себя, и он вынужден был раскрыться.

— Что вы хотели сказать мэру Афин и на каком языке вы собирались с ним объясняться? — ехидно спросил он у меня, ко всему прочему намекая на мое незнание языков.

— Я имел в виду мэра Москвы, — примирительно сообщил я.

— Тем более, — загадочно ответил он.

После этого он объяснил нам дорогу в нашу гостиницу и исчез в темноте, как бы до этого породившей его. Половину обратного пути мы гневно гадали: кто именно первым предложил нам посетить этот насквозь фальшивый фильм? Но первого почему-то так и не обнаружили.

Выходило, что мы все хором внезапно высказали это желание.

Вторую половину пути мы обсуждали важный вопрос: с какого мгновенья он нас накнукал? С того провального посещения фильма или более шумного, но и политически более невинного выхода из кафе?

Такого рода фильмы, как я уже говорил, нам строго-настрого запретили посещать. Но, с другой стороны, такого рода фильм оказался такого рода только по названию и рекламе. Мы дважды оказались жертвой буржуазной рекламы, о чем нас, кстати, предупреждали, но мы в силу своего либерального упрямства не верили предупреждениям. Мы договорились напирать на то, что реклама и фильм, противореча друг другу, взаимно уничтожились, и мы как были советскими людьми, так и вышли из кинозала. Но тут была своя казуистика. Нам могли сказать:

— Хорошо, фильм в целомудренной Греции оказался не такого рода. Но ведь вы пошли на него, потому что ожидали именно такого рода фильм?

К счастью, наш срыв не имел никаких последствий. Возможно, мой патриотический возглас, который сначала раздражил работника посольства, потом сыграл добрую службу. Вероятно, он решил, что люди, которые посреди Афин вслух грезят о Кремле, никуда не сбегут. И не дал делу хода.

Кстати, я, конечно, преувеличиваю свое незнание языков. Обычно преувеличивают знание языков. Неизвестно, что лучше. Невежество тоже имеет свою гордость. Источник его таков: да, я не знаю, но живу не хуже вас. А если бы знал, то жил бы лучше вас, и поэтому заткнитесь.

Я немного знаю английский и немецкий. Английский я знаю на уровне мексиканца, год назад нелегально перешедшего американскую границу и нелегально работающего грузчиком в какой-нибудь типографии. Грузчиком, но в типографии. Чувствуете культурный оттенок?

Немецкий я знаю уже на уровне турецкого рабочего, пребывающего в Германии целых два года в качестве гастарбайтера и работающего скорее всего путевым обходчиком. Но почему путевым обходчиком? Не знаю. Вероятно, меланхолия. Судьба Анны Карениной не дает ему покоя.

Кстати, однажды у меня был разговор с немцем, прекрасного знающим русский язык. Путаница получилась невероятная. Мы говорили об одном немецком спортсмене, очень знаменитом в прошлом.

Он сказал про него:

— Фатерлиния у него высокая. Но муттерлиния у него простая.

Я тут же ухватился за фатерлинию, оставив муттерлинию без внимания.

— А нос какой у него? — спросил я, вроде бы простодушно.

— При чем тут нос? — удивился немец. — Нос обычный, арийский.

— А мачты? — спросил я, продолжая уточнять тему.

— В мачтах он давно не участвует, — несколько раздраженно ответил немец, — он теперь работает тренером.

— А камбуз? — не унимался я.

— При чем тут кампус?! — гневно удивился немец. — Когда он ездит с командой, он останавливается в лучших отелях.

— А корма? — спросил я, наконец, больше не находя созвучных слов.

— С кормами всё хорошо, — успокоил он меня, — у него отличные заработки. К тому же фатерлиния у него высокая, богатая. Я же говорил.

Однако вернемся в магазин, черт бы его забрал. Я некоторое время стоял недалеко от дверей и вдруг почувствовал чей-то пристальный взгляд. Я полуобернулся и увидел, что напротив меня стоит какой-то старый француз, высокий, седой, в дешевом, но аккуратно сидящем на нем светлом костюме. Он с сумрачной подозрительностью поглядывал на меня. Иногда он проверял сумки входящих в магазин женщин с арабской внешностью. Только их.

Вспомнив свою некоторым образом восточную внешность, я подумал, не принимает ли он меня за арабского террориста, ждущего здесь своего часа. Поймав его взгляд, я постарался придать своему лицу выражение легкомысленного благодушия и даже хлопнул себя по карманам в знак их абсолютной незагруженности, в том числе и динамитом. Он отвел глаза, но выражение их всё еще оставалось сумрачным и даже, как я теперь заметил, обиженным. Мне показалось — лично на меня. Но за что?

Теперь я обратил внимание, что он нередко проверяет сумки и выходящих из магазина покупательниц. И опять же преимущественно арабского вида женщин, хотя и с француженками не слишком церемонится. Я решил, что у него сложная, двойная должность — перехватывать бомбы у входящих арабов и предотвращать кражу как со стороны тех же арабов, так и более широкого круга народов, не исключая француженок.

Однако, занимаясь проверкой женщин, он не забывал и обо мне, то и дело бросал на меня подозрительные и как бы грустнеющие взгляды. Взгляды его как бы вопрошали о чем-то. Но о чем?

Вдруг ко мне подошла выходящая из магазина покупательница и, раскрыв сумку, показала содержимое. В пальцах она, если не ошибаюсь, сжимала что-то вроде чека. Она приняла меня за контролера! Так как я ни слова не понимал по-французски, я движением руки направил ее к выходу: «Верю! Идите!»

Она прошла. Я взглянул на настоящего контролера и поймал его взгляд, полный горестного упрека. Только теперь я понял, в чем дело! Мы стояли по обе стороны от выхода из магазина, и он, как и эта женщина, только гораздо раньше, принял меня за второго контролера, вероятно, присланного директором магазина с тем, чтобы впоследствии сменить его или просто проверить его работу. Вот откуда горестные упреки его взглядов.

Время от времени покупательницы подходили то к нему, то ко мне. Я, не заглядывая в сумки, направлял их к выходу. А он добросовестно заглядывал к ним в сумки да еще успевал, оглянувшись, перехватить потенциальных бомбометательниц, входящих в магазин.

Вероятно, женщины, издали заметив неутомительный вариант моей проверки, стали гораздо чаще подходить ко мне. То и дело раздавалось: «Мерси!» на мой жест: «Идите! Идите!».

Я почувствовал, что меня начинает душить смех, тем более, что взгляды старика делались всё более горестно-упрекающими. Между нами шел безмолвный, но достаточно напряженный диалог.

- Значит, я постарел? Хотят заменить меня тобой?
- Откуда я знаю, — безвольно разводил я руками.
- Интересно, в чем я провинился? Я и сейчас работаю лучше тебя.
- Кто его знает, — слегка разводил я руками.
- Я опытный, а ты нет. Вот эту мулатку, которая сейчас прошла мимо тебя, надо было тщательно проверить.

— Ничего особенного у нее не было, — отвечал я взглядом. На это он ответил длинной тирадой.

— С твоей проверкой тыпустишь хозяина по ветру, хотя туда ему и дорога! Если он хочет избавиться от меня, мог бы прямо мне об этом сказать, а не подсылать шпионов!

— Да я здесь от нечего делать! — отвечал я гримасой скучающего бездельника.

— Знаю, знаю, почему ты здесь!

Мы так хорошо друг друга понимали, что я пустился на га-сконскую шутку, которую он, к сожалению, не понял. Вернее, понял совершенно превратно.

Как раз в дверь входила арабка. Я властно показал на арабку, он проследил за моим взглядом, но подумал, как впоследствии выяснилось, что я ему показываю на дверь. Потом я ткнул пальцем в него. Потом я ткнул пальцем на покупательниц, выходящих из магазина, и соединяя их с собой, ткнул пальцем на себя. Кажется, яснее не выразишься.

— Вы проверяете бомбисток, — сказал я всеми жестами и взглядами, — а я буду проверять выходящих с покупками! Так дело пойдет быстрее!

Он воспринял только смысл моей руки, показывающей ему на дверь, а все остальное не понял. От возмущения он побавровел и даже, не проверив, пропустил в магазин арабку. Первый раз. Счастливица ничего не поняла.

— Как?! Ты приказываешь мне уходить из магазина?! Ты что, хозяин? Наглец!

— Ради Бога, все остается по-прежнему! — крикнул я ему взглядом и успокоительными движениями обеих рук постарался восстановить мир.

А между тем, покупательницы все чаще ко мне подходили, и он явно ревновал. Я вынул сигарету и, поймав его взгляд, попросил:

— Можно я пока пойду покурю, а вы подежурьте?

Отчасти я этим хотел смягчить ужасное впечатление от своей гасконской шутки, хотя весь ужас ее заключался в том, что он ее превратно понял. С другой стороны, я этим хотел показать ему, что не дорожу своим местом. Во всяком случае — не очень дорожу.

— Идите! Идите! Нечего у меня спрашивать! — сухо ответил он взглядом. Мне показалось, что он перешел на вы в знак полного отчуждения. Я вышел, покурив сигарету, бросил окурок у мрачно завинченной урны и вернулся на свой пост.

Увидев меня, он сам вынул пачку сигарет и показал мне:

— Я тоже пойду покурю, раз уж меня собираются заменять.

— Идите, курите! — энергично кивнул я ему. — Я пока подежурю за вас! Да мы могли бы и вместе пойти покурить! Гори ваш хозяин огнем!

Я подпустил социализма, чтобы угодить ему. Но он сурово отстранил мой некоторый порыв последовать за ним. Подпущенный мной социализм, по-моему, он вообще не заметил. Мы стали хуже друг друга понимать.

— Уж ты горевать не будешь, даже если я совсем не приду! — ответил он взглядом и молча удалился.

Женщины проходили мимо меня, уже не раскрывая сумки, а только делая вид, что пытаются раскрыть. Отмашкой я отправлял их в сторону двери, и они, не забыв поблагодарить, удалялись. А некоторые, между прочим, проходили мимо меня и не думая раскрывать сумки и даже не делая вид, что раскрывают. Они, гордячки, просто не замечали меня. Черт его знает, что у них за порядки! Классовое общество!

Две женщины, раскрыв сумки, подошли ко мне. Одна из них по-русски сказала другой:

— Посмотри, чем этот здоровый лоб занимается! Тоже мне работа! А валюту, небось, гребет!

— Дай Бог мне столько здоровья, сколько он имеет от воровок! — мгновенно умозаключила вторая.

— Я работаю бесплатно, — ответил я по-русски с некоторой обидой. Я сказал это, скорее всего, чтобы не давать им распутывать на моих глазах сложный клубок своих отношений с воровками. Та, что сказала про воровок, опустила глаза и больше не вымолвила ни слова. Можно было понять — пристыжена. Но можно было понять и так: скромно остаюсь при своем мнении.

— Ой, извините, — воскликнула первая, — вы эмигрант? Но почему же бесплатно работаете?

— Стажировка, — сказал я. — Проходите!

— Спасибо, — поблагодарила она, закрыв сумку, в которую я даже не заглянул, — дай Бог вам доработаться до заведующего отделом!

— Надеюсь когда-нибудь, — ответил я, — хотя это и нелегко. Конкуренция.

— А конкуренция большая?

— Большая, — сказал я, — вот даже здесь, хоть я и бесплатно работаю, второй контролер терпеть меня не может. — Уйди, — говорит, — чтобы глаза мои тебя не видели!

— Он боится, что вы на его место сядете?.. Вернее, станете?

— Очень боится, — подтвердил я ее правильную догадку.

— А вы вместе начинали работать? — спросила она, что-то соображая.

— Нет, — сознался я, — он раньше. Лет на пятьдесят. Но я же готовлюсь к повышению. Я ему говорю: — Чего ты нервничаешь, старик? Я здесь временно, временно.

— А он что?

— И временно видеть тебя не хочу!

— Какой сердитый, — удивилась она, а потом, посмотрев на свою молчаливую подругу, вспомнила. — Он, конечно, получает с воровок и думает, что вы ждете свой процент! Какой же вы наивный!

— Да не жду я ничего! — воскликнул я голосом человека, уставшего от преследований, — мне сказали: осмотритесь, привыкайте к публике, а потом мы вас возьмем продавцом. Я ведь с образованием приехал...

— А он?

— Какое там образование! — вспыхнул я. — Церковно-приходская школа! Католическая, конечно.

— А рэкетеры у вас бывают? — неожиданно спросила она, так что я даже слегка растерялся.

— Насчет рэкетиров не знаю, врать не буду, — сказал я, — но бомбисток полно.

— Каких еще бомбисток? — насторожилась она.

— Арабских, конечно, — ответил я, но тут же успокоил ее. — Сегодняшние уже все перехвачены.

Она успокоилась и огляделась.

— Что-то я вашего напарника не вижу?

— Он как раз пошел бомбисток сдавать в полицию.

— Вам даже и за опасность должны были платить! — воскликнула она.

— Стажировка, — напомнил я свой крест, — не положено.

— А как у вас с языком? Понимаете французов?

Опять язык! Видимо, то, что они меня понимают, она не сомневалась. Я снова вспомнил своего старика.

— Психологически да, — сказал я твердо, — а так нет.

Она сильно призадумалась.

— Но потом вам эту бесплатную работу зачтут? — спросила она, переходя на более понятную тему.

— Сомневаюсь, — вздохнул я.

— Я думала только у нас не выплачивают зарплаты. Но у нас хоть обещают, — сказала она и, уходя с подругой, заключила: — Жестокий мир.

А между прочим, после того как старик вышел из магазина, арабки, словно того и дожидались, стали прямо-таки вламываться в дверь. Если старик был недалеко от входа, он не

мог их не заметить. Глупо было бы предположить, что он отправился куда-то в поисках незавинченной урны. Так в чем дело?

Я вдруг догадался, что старик пошел ва-банк! Мол, если уж меня выгоняют, пусть арабки взорвут магазин вместе с его посетителями и шпионами!

Довольно эгоистическое решение, подумал я, с некоторым унылым облегчением следя за удаляющейся в глубь магазина последней бомбисткой.

Помещение очень большое, подумал я с надеждой, но и бомбисток ворвалось сколько! Если бы они действовали одновременно, они бы могли бы свалить Эйфелеву башню. Вот и шли бы туда. Я вообще сильно усомнился в правильности моего решения войти в магазин.

Но старик оказался героичней, чем я думал. Он вскоре вошел в магазин и с решительностью самосожженца занял свое место. По выражению его лица я понял, что он продолжает дискуссию, может быть, даже подключив к ней и своего хозяина. Я посмотрел на него. Он ответил мне гневным и как бы бесшабашным от отчаянья взглядом:

— Бесстыжий! Еще такой здоровый мужик, а отнимаешь работу у старика!

Я хотел успокоить его взглядом, но тут заметил, что приближаются моя жена и ее приятельница. Жена, увидев меня, радостными восклицаниями давала знать об исключительно удачных покупках.

— Что так долго? — упрекнул я их, когда они подошли.

— Да ты только посмотри, что мы купили! — оживилась жена и стала вытаскивать из сумки и показывать мне свои покупки.

Тускло одобряя покупки, я рассеянно оглядел их. И тут вспомнил своего старика и посмотрел на него.

Лицо его выражало горячечную работу мысли. С одной стороны, я вроде добросовестно, как никогда, проверяю покупки. Но с другой стороны, он начал догадываться, что мы из одной компании. Тем более русская речь.

А ведь до этого мы, хоть и молча, но, по его мнению, говорили по-французски.

Лицо старика начало оживляться светом надежды. И это было прекрасно!

— Так ты не из сукиных сынов моего хозяина?! Не мог же он для этой цели нанять русского да еще с двумя женщинами! — кричал его взгляд.

— Нет, конечно, — ответил я ему улыбкой.

— Постой! Постой! Почему же ты тогда сумки проверял? — спросил он недоумевающим взглядом и даже наклонился к теоретической сумке, а потом, выпрямившись, махнул рукой в сторону двери, явно пародируя мой жест.

— Так они же сами лезли, что я мог сделать? — ответил я взглядом, разведя руками, а потом перевел взгляд на своих женщин: — Я их ждал!

Я хлопнул по плечу жену и не поленился дотянуться до плеча ее приятельницы, почему-то очень удивившейся моему хлопку. Потом я наклонился к сумкам, взял их в руки

и как бы готовый направиться к старику, спросил его взглядом:

— Сумки проверять будете?

Старик расхохотался в знак того, что ценит мой юмор. После этого он царственным движением руки направил нас к выходу. Очаровательный старик. Мы вышли из магазина.

сон о боге и дьяволе

Бог сидит на небесном камне и время от времени поглядывает вниз, на Землю, как пастух на свое стадо. Рядом стоит дьявол. Он очень подвижен.

— Ну, смотри, смотри, что получилось из твоего возлюбленного человечества, — насмешливо сказал дьявол Богу. — Всё копошатся!

— Но ведь ты не можешь отрицать, что было величие замысла, — вздохнув, отвечает Бог.

— Во всяком замысле главное — точность, — ехидно заметил дьявол. — Величие замысла — оправдание неудачников.

— А чему ты радуешься? — спросил Бог. — Люди в меня в самом деле недостаточно верят. Но и в тебя мало кто верит.

— Тут-то ты и попался! — обрадовался дьявол. — Я сам ни во что не верю! И люди, даже те, что в меня не верят, в сущности, следуют моей вере.

— Логично, но противно, — сказал Бог. — Истина должна быть красивой, иначе она не истина.

— Вот ты Бог, — продолжал дьявол, — ты ни в чем не сомневаешься, а люди полны сомнений. Страшно далеки вы друг от друга!

— Я сомневаюсь больше всех, — сказал Бог.

— В чем ты сомневаешься? — удивился дьявол.

— Я пока не уверен — слишком рано или слишком поздно я послал на помощь людям своего сына. Или все-таки вовремя? Если не вовремя, значит, я способствовал напрасной гибели своего сына. Об этом думать невыносимо.

— Кто же развеет сомнения Бога? — вкрадчиво спросил дьявол.

— Только люди. Я на них надеюсь, — вздохнул Бог, — больше мне не на кого надеяться.

— Значит, ты нуждаешься в людях?

— Да.

— А они нуждаются в тебе?

— Очень.

— Тогда какая между вами разница?

— Я твердо знаю, что нуждаюсь в них, чтобы оправдать свой замысел и не быть виновным в гибели сына. А они еще не уверены, что нуждаются во мне. Слишком многие не уверены. Вот в чем разница. Надо ждать, ждать, ждать, пока они все не уверятся, что нуждаются во мне.

— Почему ты так переживаешь гибель сына? Ты же его воскресил?

Воскресив его, я воскресил и память его о всех предсмертных муках. Он успокоится только тогда, когда уверится, что муки его были не напрасны.

— Вот ты говоришь: надо ждать, ждать, ждать. А тебе не кажется, что люди могут уничтожить друг друга, пока ты ждешь, что они в тебя поверят?

Такая опасность есть. Но почему ты, дьявол, так обеспокоен этим?

— Мне будет скучно без них. Они развлекают меня... А ты не можешь избавить их от этой опасности?

— В том-то и дело, что не могу. Если бы я мог избавить человечество от самоубийства, я бы давно избавил и отдельных людей от самоубийства.

— Почему ты не можешь остановить самоубийства?

— По условиям моего замысла жизнь, как и добро, — добровольны.

— Чего ты ждешь от людей?

— Ответственности.

— А как же вера?

— Это одно и то же. Ответственный человек, думая, что он не верит в Бога, на самом деле верит, только не знает об этом. И наоборот, безответственный человек, думающий, что он верит в Бога, на самом деле не верит, но не догадывается об этом.

— Как ты относишься к покаянию?

— Это очень серьезно. Любому грешнику надо дать шанс очиститься. Но мне ли не знать, что многие люди каются, что-

бы грешить с освеженными силами. Кстати, про ад люди напридумали всякие страшные сказки. Но все на самом деле еще страшней. Ад — это место, где человеку раскрывается со всей ясностью бессмысленность его греховной жизни. Но при этом человек лишается права на покаяние. От этого он испытывает вечные мучения. Его мучения удваиваются еще тем, что он очень хочет, но не может эту правду передать на Землю своим близким, чтобы они потом не испытывали этих мучений.

— Почему бы тебе эту полезную информацию не помочь донести их близким? — спросил дьявол.

— Нельзя, — строго сказал Бог, — тогда они перестанут грешить не из любви к добру, а из страха.

— Признаться тебе, в чем моя сила и в чем моя слабость? — вдруг сказал дьявол.

— Ну!

— Моя слабость в том, — понизил голос дьявол, — только между нами... Моя слабость в том, что я, в конечном итоге, не смог переподличать человека. Все рекорды за ним!

— А в чем твоя сила?

— А сила как раз в том, что, если человек такой, это оправдывает мои игры с ним. Оставь людей! Пусть копошатся! У самих под ногами дерьмо, а сами в космос летают. Бедуин еще поднимает верблюда, а на космодромах уже поднимают космические корабли!

— Да, караван человечества слишком растянулся, — с хозяйской озабоченностью заметил Бог.

— Если верить слухам, которые ты же распространяешь, так говорят, ты умнее всех. Зачем тебе люди?

— Никаких слухов о себе я не распространяю, — возразил Бог. — Это люди научили тебя подхамливать? Что касается разума... Главный признак существования разума — это его повторяемость в других. Уразумить людей — значит убедиться в собственном разуме.

— Люди говорят, что ты иногда вмешиваешься в их дела и наказываешь зло.

— Никогда! Наивные люди думают, что, если зло где-то потерпело крах, значит, это дело моих рук. Случайность. По этой логике получается, что, если зло побеждает, значит, моя рука ослабла. Ни то, ни другое!

Я вложил в людей искру совести и искру разума. Этого достаточно, чтобы весь остальной путь они прошли сами. При всех своих страшных заблуждениях они, в конце концов, исполнят мой замысел, если будут раздувать в себе искру совести и искру разума.

Но если они этого не смогут сделать сами, вот тогда я спущусь к ним и припомню им судьбу своего сына! Многим будет нехорошо!

— Значит, ты никогда не вмешиваешься в дела людей?

— С тех пор, как послал к ним сына, — никогда! — отвечал Бог. — Если бы я по своей воле их поправлял, это нарушило бы чистоту моего замысла. Другое дело, что некоторые чуткие люди, предугадывая мое неодобрение, сами себя поправляют. И это хорошо.

— А в незапамятные времена ты вмешивался в дела людей? — спросил дьявол.

— Изредка, — отвечал Бог, подумав. — Помнится, мне понравились скандинавы. И я направил Гольфстрим вокруг Скандинавии, чтобы они от холода не впали в слабоумие. И они оправдали мои надежды.

— А был всемирный потоп или не было? — вдруг ни с того ни с сего спросил дьявол. — Я что-то его прозевал.

— Потоп был, но не такой уж большой, — с усмешкой ответил Бог. — Древние евреи, описывая его, погорячились... Маленькие страны преувеличивают свои беды, а большие страны не могут их обозреть... И как это Ной мог поместить в свой ковчег каждой твари по паре? Какой величины должен был быть ковчег? Так и видишь Ноя, который носитя по Африке, сгоняя слонов, антилоп и тигров! Нет, Ной поместил в свой ковчег только своих домашних животных, рассчитывая на них как на живую провизию.

— Выходит, в жизни сегодняшних людей от тебя нет никакой пользы?

— Как нет! — воскликнул Бог. — Я единственная в мире инстанция, которая не отклоняет никаких жалоб! Я умиротворяю тех, кто от всей души, от всей безвыходности жаловался мне.

— Но ведь бывали на Земле чудеса. Разве это не дело твоих рук?

— Нет, — отвечал Бог, — чудеса в самом деле бывали, но не по моему велению. Необычайной силы взрыв веры внутри че-

ловека преобразует его организм, и свет загорается, слепой становится зрячим. Но не я сказал: зри!

— А может ли государство прожить без лжи? — вдруг спросил дьявол, видимо, вспомнив инстанцию, которая нередко отвергает жалобы.

— Может, но ему для этого не хватает мужества. На каждую ложь правительств народ отвечает тысячекратным обманом. Сиюминутная выгода лжи перекрывается огромной невыгодой государства от этого обмана. Но правители этого не понимают.

— Кстати, где сейчас душа Ленина? — неожиданно спохватился дьявол.

— В раю.

— Как в раю? — радостно оживился дьявол.

— Самых буйных борцов я отправляю в рай, — ответил Бог. — Там они испытывают самые адские мучения, видя, что в раю борьба невозможна.

— В таком случае скажи, что с Россией?

— Россия — моя боль. Она потеряла волю к жизни.

— Почему?

— Потому что россияне думают, что Ленин за них думает в мавзолее, — с горькой иронией ответил Бог.

— Почему они так думают?

— Они так думают, потому что не хотят думать. Не думать — грех. Вот они и кочуют, как безумный кочевник за миражом несуществующего стада. Пора бы укорениться, угнездиться... Надо встряхнуть Россию надеждой!

— Почему нет программы этой надежды? — полюбопытствовал дьявол.

— Программа пока невозможна, потому что всеобщее воровство не поддается учету. И тем не менее, надо сотрясти Россию надеждой. Для начала необходимо создать алмазной чистоты и твердости центр. И тогда человек, обиженный чиновником в любом конце страны, скажет: я буду жаловаться в Москву!

И чиновники, зная, что Москва тверда и чиста, как алмаз, приутихнут. А граждане, видя такое, воспрянут духом. И начнется кристаллизация чистоты по всей стране.

Иначе — бунт. И люди скажут: лучше узаконенное беззаконие, чем бессильный закон. И обиженные чиновниками сами станут чиновниками и будут мстить за свои былые унижения. Дурная бесконечность...

Но уже есть проблеск надежды. Один москвич недавно сказал своим друзьям: задумавшись о судьбах нашей заблудшей Родины, я сам вдруг заблудился посреди Москвы. И тогда я понял, что Россия заблудилась, потому что слишком много думала о заблудшем мире.

Он нащупал правду. Первая заповедь идущему: не заблудись сам.

(Тут я забыл кусок диалога.)

— Я верю, — сказал дьявол, немного подумав, — что жизнь на Земле создал ты. Ты бросил семя жизни на Землю. Это факт. Но многие люди говорят, что жизнь на Земле за миллионы лет постепенно возникла сама. Как бы ты это оспорил?

— Это глупо, — ответил Бог, — это все равно что сказать: я смотрел, смотрел, смотрел на девушку, и она постепенно забеременела.

— Убедительно. Но как объяснить чудо того, что ты из бездушного существа создал человека?

— Но разве не чудо, — ответил Бог, — что человек к дикому, бесплодному дереву смоковницы прививает веточку плодородной смоковницы, и целое дерево, подчиняясь этой веточке, делается плодородным. Я вложил во все живое возможность прививки добра, готовность к цветущей плодородности.

— Но тут была плодородная веточка?

— А там был я. Надо удивляться не плодородной веточке, а готовности бесплодного дерева радостно подчиниться ей.

— А кто создал тебя?

— Бестактно надбивать яйцо о курятник. Бестактный вопрос Богу: кто создал тебя? Ты сначала уразумей все, что было создано разумом и совестью, и тогда само собой поймется, откуда Бог. Так что потерпите. Разве мать говорит ребенку правду, когда он спрашивает: откуда я взялся? Подрастет и сам поймет.

— Так, может, ты тогда скажешь, откуда взялся я? — спросил дьявол.

— Я хотел понять, — вздохнул Бог, — не может ли разум сам выработать совесть. Я вложил в тебя только искру разума. Но она не выработала совести. Оказывается, сам ум, не омытый совестью, становится злокачественным. Так появился ты. Ты неудачный проект человека.

— Я неудачный проект человека?! — возмутился дьявол. — Это человек неудачный проект дьявола! Кстати, ты, кажется, слышишь, о чем говорят люди на Земле?

— Даже слишком хорошо, — ответил Бог. — Иногда хочется уши заткнуть, но нельзя! Самое грустное в человеческих разговорах — их мелочность, лукавство.

— Ох и докопшатся они у меня! Ох и докопшатся! — неожиданно вставился дьявол, словно сам устал от человеческого лукавства.

(Опять забыл кусок диалога.)

— Если ты не можешь пережить смерть, стоит ли хитрить вообще, — задумчиво продолжал Бог. — Но изредка люди бывают остроумными. Недавно один австралиец сказал: я не поздоровался с этим подлецом, которого не видел много лет, но при этом сделал вид, что мое отдаленное сходство со мной в действительности ошибочно.

Я хорошо посмеялся. Мой человек! Ему даже подлеца было жалко, поэтому он ухищрялся.

— Да он просто трус! — не без ревности выпалил дьявол.

— Опять формальная логика, — напомнил Бог.

— Тогда скажи, что такое мужество? — спросил дьявол.

— Мужество — никогда не поддаваться твоим соблазнам, — ответил Бог.

— Да, в деликатности тебе не откажешь, — заметил дьявол. — Значит, женственность — поддаваться моим соблазнам?

— Нет, — ответил Бог, — символ женственности — это ручки, укутывающие ребенка. И все, что делает женщина, долж-

но сводиться к укутыванию, а если нечем укутывать, укутывать собой.

— Ты говоришь, женственность — это склонность укутывать. А люди считают, что женственность — это заторможенная склонность раздеваться.

— Всему свое время, — несколько загадочно ответил Бог.

— Кстати, забыл спросить, — вспомнил дьявол, — почему многие люди в старости делаются вздорными, неуживчивыми, непредсказуемыми?

— Переходный возраст, ломается характер, — просто ответил Бог. — Чтобы умереть без стыда, надо жить со стыдом... Сейчас наблюдал забавную сцену на Земле. В одном кафе вздорный пьянчужка пристал к тихому алкоголику, чтобы тот с ним выпил. Но алкоголик не хочет с ним пить, он стесняется его.

— Почему?

— Потому что пьянчужка позорит занятие алкоголика. Настоящий алкоголик склонен к системе, а у пьянчужки нет системы. В целомудренном протесте алкоголика бездна юмора.

— Странные у тебя развлечения, — заметил дьявол.

— Порой и мне хочется передохнуть, — сказал Бог. — Думаешь, легко веками следить за людьми? Иногда я думаю: а не начать ли все на другой планете?

— Вот человек, — обратился дьявол к Богу, — он убедился в своей заурядности. У него — ни ума, ни таланта. А видит, что есть люди умные, талантливые, предприимчивые. Что ему делать? Как ему не озлобиться на тебя, на судьбу, на людей?!

— Как что ему делать? — удивился Бог. — А кто ему мешает быть добрым, внимательным, хотя бы к близким? И этим он может перекрыть все умы и таланты. И кто ему мешает целовать своего ребенка, наслаждаться цветущим садом, купаться в море в жару?

— Это легко сказать! — раздраженно заметил дьявол.

— Это не только легко сказать, это радостно сказать! — уточнил Бог.

— А если нет и доброты? — настаивал дьявол.

— Так уж и ничего нет! — воскликнул Бог. — Значит, ты успел над ним поработать!.. Отлегло, — вдруг улыбнувшись, добавил Бог, кивая на Землю. — Сейчас один рассеянный человек зашел в море по горло. И тут он ударил себя ладонью по лбу, вспомнив, что не умеет плавать, и вернулся на берег. Люблю рассеянных... Рассеянные не видят близкое, нужное им, но видят далекое, нужное всем.

— Ты хочешь сказать, что я никогда не бываю рассеянным? — подозрительно спросил дьявол.

— Ты сказал, — ответил Бог.

— Меня беспокоит один вопрос, — сказал дьявол. — Можно ли назвать сахарный тростник мыслящим тростником?

— Это тебе Фидель Кастро поручил спросить? — насмешливо заметил Бог.

— Нет, это я сам! Умоляю, ответь мне на этот вопрос!

— Ах, да! — вспомнил Бог. — Дьявол — сладкоежка. Запомни раз и навсегда: сладость сладости и сладость мысли не умещаются в одной голове.

— Тем хуже для такой головы! — мрачно ответил дьявол. — Я докажу, что сладость сладости сильнее! Собственно, я уже это доказал!

— Если б доказал, не спрашивал бы, — ответил Бог.

— Человек грешит, — уверенно продолжал дьявол, — потому что недобрал сладости. Все его грехи отсюда!

— Когда он поймет, пусть иногда горькую, сладость мысли, он ограничится сладостью арбуза, — спокойно ответил Бог.

— Человек никогда не ограничится сладостью арбуза! — вскричал дьявол. — Никогда! Вот почему твой замысел обречен! Человек любит женщин, власть, богатство! Даже обман ему сладостен! Человек влюбчив, вернее, влипчив, и ты с этим ничего не поделаешь!

— Вот отлипнет он от тебя, и все пойдет по-другому, — сказал Бог, — но это он должен сделать сам.

— Ничего нет выше сладостной дрожи соблазна! — воскликнул дьявол. — О, если б твое учение вызывало сладостную дрожь соблазна! Все люди, и я вместе со всеми, ринулись бы за тобой!

— Ты с ума сошел! — повысил голос Бог. — Это все равно что слушать музыку Баха в публичном доме!

— А почему бы не слушать музыку Баха в публичном доме? Где же равенство? — дерзко спросил дьявол.

— Ритмы не совпадают! — оборвал его Бог. — И хватит об этом! Соблазн — энергия любви в когтях у дьявола. Для любящих нет соблазна. Поэтому мое учение основано на любви.

(Опять забыл кусок диалога).

— По-моему, тебе вообще страстности не хватает, — упрекнул дьявол Бога.

— Страстность я проявил один раз, когда создавал человека. Но, чтобы сохранить человечество, нужна мудрость, а не страстность. Страстность, как и в постели, всегда предчувствие конца. А у меня впереди вечность... Кстати, о человеке... Один шалунишка, — кивнул Бог на Землю, — сейчас сказал своему отцу: ты говоришь, что Бог создал человека по своему подобию. А у нас в учебнике написано, что есть человекообразные обезьяны. Значит, обезьяна похожа на человека, человек похож на Бога, и выходит — Бог похож на обезьяну.

— Ха! Ха! Ха! Держите меня! — расхохотался дьявол. — Устами младенца — сам знаешь, что! Я надеюсь, ты его не накажешь за эту логическую цепочку?

— Нет, конечно, — сказал Бог, — но какой ученый дурак ввел этот термин? И куда смотрела церковь?

— Кто бы ни ввел — метко замечено! — воскликнул дьявол. — А что лучше, — после некоторой паузы вкрадчиво спросил дьявол, — роза или бутон розы?

— Розу надо нюхать, — ответил Бог, — у нее нет другого будущего. А бутоном надо осторожно любоваться. Он — путь к розе. А путь — всегда радость.

— Одновременно нюхать розу и, скосив глаза, осторожно любоваться бутоном? — с такой невинной иронией спросил дьявол, что Бог ее даже не заметил.

— Можно и одновременно, — простодушно ответил он.

— Старческие радости! — воскликнул дьявол. — Зачем мне занюханная роза! Бутоны распотрошить — вот упоение! Распотрошить! Тут сразу проглотишь и бутон, и будущую розу, и путь к ней! Распотрошить — лучшее слово в языке!

— Так думают все бунтовщики, — вздохнул Бог. — Им скучен путь, а это самое интересное в жизни.

— Но если ты так круто не согласен со мной, почему ты меня до сих пор не уничтожил? — спросил дьявол.

— Глядя на тебя, я узнаю истинное состояние человечества, — отвечал Бог, — хотя ты, конечно, действуешь вполне самовольно. Именно потому, что ты действуешь самостоятельно, ты мой точный инструмент.

— Взбесившийся инструмент, ты хочешь сказать? — язвительно заметил дьявол.

— Инструмент, отражающий степень бесовства людей, хочу я сказать, — спокойно поправил его Бог.

— Кстати, — вспомнил дьявол, — несмотря на то, что, по твоей мерке, за мной тысячи грехов, я не внушал Иуде предать твоего сына... Соблазнами этого мира пытался его прельстить, но не предавал.

Но как сын Бога не мог разглядеть в Иуде предателя? Всюду таскал его за собой. Было время разглядеть его, но он не разглядел. Разве это не глупо? Кажется, у него и с юмором было не все в порядке...

— Подозрительность — величайший грех, — отвечал Бог. — Лучше погибнуть от предательства друга, чем заранее

заподозрить его в предательстве. Заподозрить человека в предательстве — осквернить Божий замысел в человеке.

Мой сын, конечно, видел все слабости Иуды. Но: «Ты меня предашь», — сказал он только тогда, когда убедился, что в душе Иуды этот замысел вполне созрел.

Мой сын до последнего мгновения ждал, что Иуда найдет в себе силы самому разрушить в себе этот замысел, не дав ему созреть.

А с юмором у моего сына было все в порядке. Но апостолы, потрясенные его гибелью, сочли неуместным вспоминать все его шутки. И напрасно.

— Если ты так жаждешь, чтобы люди в тебя поверили, почему ты не дашь точный знак своего существования?

— Тогда они придут ко мне ради выгоды или из страха. Но такая насильственная вера ничего не дает человеку. И они испортят мой замысел. Они придут ко мне без той душевной работы, которая с радостной добровольностью приведет их ко мне. Но, в сущности, такой знак есть... Стой! — вдруг воскликнул Бог с лицом, искаженным внезапной болью. — Японский мальчик, назначенный на какую-то должность в классе, спешил на школьное собрание. В метро, поняв, что он безнадежно опоздал на собрание, он только что бросился под поезд, и поезд раскромсал его! Вечная слава японскому мальчику! Вот оно, японское чудо!

— Ты же его мог остановить! Почему ты его не остановил?! — воскликнул дьявол. — Даже я никогда не причинял зла детям!

— Если бы я его остановил, погибло бы все человечество, — печально сказал Бог. — Но я никогда не забуду японского мальчика.

— Пусть погибло бы все человечество, а мальчик остался бы жив! — возразил дьявол. — Говорят, я жестокий! Это ты жестокий! Да и почему бы погибло все человечество? Отговорки!

— Молчи, болван! — крикнул Бог. — На моем сердце миллионы шрамов от боли за человека! Если б я остановил японского мальчика, я должен был бы остановить все войны, все жестокости людей! Если я буду все это останавливать, люди никогда не научатся самоочеловечиванию. О, если бы пример этого японского мальчика заставил корчиться от стыда всех взрослых людей, забывших о своем долге!

И если бы я спас его, как бы взглянули на меня души невинных людей, именно в этот миг погибших на Земле?! И каждая такая душа была бы вправе спросить у меня: а почему ты меня не спас? Что я этой душе отвечу?

Если бы я вмешивался во все жестокости и несправедливости, человечество окончательно отупело бы и оскотинилось! Всякое вмешательство даже со стороны Бога ничему не учит!

Жизнь — это домашнее задание, данное человеку Богом. Как в школе. И Бог же будет выполнять это задание вместо человека? Нелепость.

Я людям дал средство — совесть и разум. Люди, ваша судьба в ваших руках — действуйте сами, сами, сами. А в ми-

нуту слабости вам поможет вера — мой ободряющий кивок! Я открыл путь. Да, он трагический, но это путь из катастрофы. Добро беззащитно без памяти о зле. Но, чтобы сохранить память о зле, и зло должно быть нешуточным. Вот почему я допустил зло, которое надо победить людям, чтобы навсегда сохранить память о нем. Надо победить его людям, а не устранять Богу.

— Однако ты страстный, — заметил дьявол, несколько подавленный пафосом Бога. — А говорил, что в последний раз испытал страсть, когда создавал человека.

— А я его и продолжаю создавать, — успокаиваясь, сказал Бог.

— И потом что это? — недоуменно продолжал дьявол. — Ты прямо обращаешься к людям, как будто они вокруг нас. Где люди? Мы на небесах! Ты забываешь, что это ты слышишь людей на Земле, а люди тебя не слышат.

— Да, я увлекся, — вздохнул Бог, — но примерно то же самое мой сын прямо говорил людям. Они слышали его.

— Особенно Иуда, — не удержался дьявол.

(Явно я что-то забыл. Может, существует склероз сна?)

Бог. Только что на Земле видел чудесную картину. Две маленькие девочки зашли в магазин. Одна из них купила одну конфетку. Денег у нее было только на это. Выходя из магазина, та, что купила конфетку, развернула ее и протянула фантик подружке: на, держи! И в это время сама конфетку протянула в рот. Только я с грустью подумал: вот так воспитывается эгоизм, как она, откусив полконфетки, вторую половину

отдала подружке! Даже только ради такого милого зрелища стоит следить за тем, что делается на Земле!

Дьявол. А ты не понял, почему она отдала подружке полконфеты?

Бог. У этой маленькой девочки добрая душа!

Дьявол. О наивность! Якобы святая! Ты же сам своим огорчением внушил ей поделиться конфетой. Она собиралась сама ее съесть. Этот фантик раскрывает ее первоначальный замысел. Она этим фантиком пыталась отделаться от своей подружки! Ты, ты ей внушил поделиться конфетой!

Бог. Какая глупость! Да еще со своим дурацким рассуждением об этом фантике. Мне ли не знать, внушал я ей что-нибудь или нет! Ничего я ей не внушал. Наоборот, ее доброе сердечко внушает мне, что на человечество еще можно надеяться и стоит, стоит проявлять к нему великое терпение. Поступок этой маленькой девочки дает мне больше надежды на победу моего замысла, чем дела всех политиков, вместе взятых!

Дьявол. Однако легко же угодить Богу!

Бог. Да, самое крошечное добро есть великое добро, когда оно делается без всякой задней мысли, от чистого сердца! И не случайно ты придумал эту витиеватую хитрость с фантиком. Ничего так не тоскует по теории, как зло. Ложь всегда долго объясняется. Правду узнаем с полуслова.

Дьявол. Скажи: есть у человека какое-нибудь преимущество перед Богом?

Бог. Есть. Человек может сказать: Господи, помоги! — а мне некому это сказать... Кстати, опять голос этого балбе-

са! — раздраженно добавил Бог. — Опять просит меня: помоги моему неверью! Раз сто уже просил! Завтра попросит: помоги ублажить мою жену! Бессовестнейшая тварь!

— А я помогал некоторым мужьям ублажать их жен. Сам лично не ленился их ублажать!

— Ну, это по твоей части!

— А почему бы тебе не помочь этому человеку, когда он просит: помоги моему неверью?

— Некоторым помогаю, но в особом смысле. Когда меня об этом просят, я мгновенно вижу всю подноготную человека! И я сразу вижу, очистил ли он себя до той чистоты, которая была доступна его человеческим силам. Но это бывает редко. Обычно люди с ленивой душой просят Бога: помоги моему неверью! А сам, сам что ты сделал, чтобы прийти к вере? Помоги ему сегодня с верой, он завтра попросит: Боже, потри мне спину и мочалку не забудь прихватить!

Никакой помощи таким! Но если человек жаждет божественной чистоты, а собственных сил ему не хватает, и он, безмерно страдая от этого, просит: Боже, помоги моему неверью! — тогда я помогаю. А точнее, он силой искренности своей мольбы сам прорывается ко мне, и я его принимаю. Я помогаю людям не тем, что помогаю, а тем, что я есть! Больше всего ненавижу иждивенцев Бога!

— А как ты относишься к пенсионерам Бога?

— Заткнись! В этих вопросах мне не до шуток!

— Ну, тогда всерьез. Что ты выше ставишь в человеке — разум или совесть?

— У совести всегда достаточно разума, чтобы поступить совестливо. А у разума иной раз недостаточно совести, чтобы действовать разумно. Сам пойми, что выше.

Дьявол. Назови самое прекрасное, что ты видел в людях.

Бог. Самое прекрасное, что я видел в людях, — это вдохновенное состраданием лицо матери над постелью больного ребенка. Дуновением любви она вдует в него здоровье! Ребенок, который никогда не видел такого лица матери, обречен быть неполноценным. Женщина, никогда не склонявшаяся над постелью больного ребенка с выражением вдохновенного сострадания, не женщина, а приспособление для онанизма.

Дьявол. Какой тип человека самый подлый?

Бог. Самый подлый тип человека — это такой человек, который нащупывает в другом человеке благородство как слабое место и бьет по нему.

Дьявол. Как ты относишься к предрассудкам?

Бог. Снисходительно. Предрассудки бывают и у очень умных людей. Природа предрассудка: зыбкость психического состояния.

Дьявол. Что тебе хочется сказать людям в минуту гнева?

Бог. (Забыл начало ответа, но помню конец.) ...Выше голову, сукины сыны!

Дьявол. Какая разница между умом и мудростью?

Бог. Ум пронзает. Мудрость обтекает.

Дьявол. В чем соблазн запрета мысли?

Бог. Запрещающий мысль думает, что он тоже мыслит, но в обратную сторону.

Дьявол. Что ты скажешь по поводу того, что люди все время мечтают о счастье, а жизнь их все время — по голове, по голове!

— Нацеленный на счастье всегда промахивается, — отвечал Бог, — но нацеленный на спасение другого человека от несчастья иногда добивается своего и становится счастливым до нового несчастья.

Дьявол. Вот ты говоришь: любовь, любовь! — а самая большая страсть человека — это страсть возмездия. Человек, униженный подлостью мерзавца, больше всего мечтает о сладости возмездия, и ему плевать на твоё учение о любви!

Бог. Возмездие — это кровавое прощение зла. Но зло нельзя прощать, но и нельзя мстить. Однако для разумного человека есть выход из тупика. Он должен обернуть страсть возмездия на свою жизнь, и он вдруг увидит со всей ясностью, что сам не всегда был справедлив, сам должен заняться своими грехами, и окажется, что именно подлость унизившего его мерзавца раскрыла ему глаза на его собственные слабости.

— Выходит, подлец полностью оправдан! Он даже был полезен! — радостно воскликнул дьявол.

— Никогда! — загремел Бог. — Сделавший подлость каленым покаянием должен выжечь из своей души эту подлость! Иначе я беру его на себя. И он у меня так завопит в аду, что в раю услышат его и вздрогнут!

— Но, допустим, — продолжал дьявол, — человек, сделавший подлость, покался и подходит к человеку, которому он сделал подлость. Что тот ему должен сказать?

— Не мщу, но и не прощу, — ответил Бог.

— И это все? — удивился дьявол.

— Все! Большого нельзя требовать от живого человека.

— Как ты знаешь, — сказал дьявол, немного подумав, — во все века люди нередко заставляли работать правду на ложь. Что ты по этому поводу скажешь?

— Правда, которую заставили работать на ложь, — печально заметил Бог, — умирает от брезгливости... Но иногда она по слабости приспособляется ко лжи и становится наиболее убедительной частью лжи за счет авторитета бывшей правды. И именно она страшнее всякой лжи мстит правде за то, что сама когда-то была правдой.

— То-то же, — с удовольствием подтвердил дьявол и вдруг вспомнил, — а вот твой сын говорил: надо любить врага. Но ведь это логический абсурд! Человек, любящий врага, и не может иметь врага. Следовательно, его любовь, направленная на врага, которого он на самом деле любит, не одолевает враждебности к врагу, потому что он его любит и на самом деле у него нет никакого врага.

— Это ловкая софистика, — возразил Бог. — Иногда, например, мужчина любит женщину, даже зная, что она ему враждебна. Такое бывает и у женщин. Но, конечно, мой сын по молодости иногда завывал возможности человека, чтобы поощрить его на добрые дела. Ошибка благородства — самая простительная.

— Не удивительно ли, — сказал дьявол, — что я, сотни раз видевший тебя, первый в мире атеист, потому что не верю твоему замыслу?

— Гораздо удивительней, — ответил Бог, — что миллионы людей, никогда не видевшие меня, верят в меня, потому что поверили в мой замысел.

— А что, если ты терпишь меня, — вдруг спохватился дьявол, — чтобы в случае провала твоего замысла в конце веков все свалить на меня?

— Нет, — усмехнулся Бог, — хитрость — оружие слабых. Вообще, люди сильно преувеличили твое влияние, чтобы скрыть собственную порочность. Дьявол — оправдание ленивого духа. Твое влияние, конечно, есть, и я слежу за ним. И вообще, атеисты мне тоже нужны, чтобы верующие, глядя на них, непрерывно уточняли мой замысел в своей жизни.

— Хорошо, — сказал дьявол несколько глумливо, — предположим, хотя я, конечно, этому не верю, все люди пошли за тобой, и мир стал разумным и благополучным. Bravo! Bravo! Не скажут ли тогда люди: мы все лучшее взяли у Бога. Больше он нам не нужен. Мы теперь сильнее его, нас миллиарды, а он один.

— Этого не может быть, — возразил Бог, — это было бы нарушением первого закона нравственной динамики: сила, полученная людьми от Бога, не может быть равной источнику этой силы. Если они так подумают, снова воцарится хаос.

— Но мы говорим о далеком будущем, — не унимался дьявол, — а в сегодняшней жизни я замечал, что один голодный нередко побеждает трех сытых. Как быть с бедными людьми и даже странами?

— Это ты правильно заметил, — отвечал Бог, — у голодного при виде сытого утраивается ярость. Старая истина — сытым надо делиться с голодными. Сытых слишком много, и они стали наглядны. Раньше так не было. Пока не поздно — надо делиться.

— А твои возлюбленные люди, — напомнил дьявол, — с удовольствием говорят: деньги не пахнут! Так они и делятся!

— Деньги и в самом деле не пахнут, когда они в вонючих руках, — ответил Бог. — Но я о чем-то другом говорил до этого. Напомни!

— Ты говорил, что знак твоего существования есть и на Земле, — напомнил дьявол.

— Да. Это совесть. Никакими земными причинами ее не объяснить.

— Но ведь люди могут думать и думают, — вставился дьявол, — что человек стал совестливым в результате эволюционного процесса.

— Это неразумно. В результате развития ума, возможность которого я же в них вложил, они стали смекалистей для облегчения собственной жизни. Но эта смекалистость их слишком далеко завела. Развитие ума было развитием выгоды, развитием удобства жизни. Тогда как совестливость — всегда земная невыгода, земное неудобство.

Совестливый человек жертвует постижимыми удобствами ради непостижимых удобств. Непостижимые удобства ему удобней! Поэтому совесть не могла быть следствием

стремления к выгоде и земным удобствам. Совесть — это стыд передо мной, но многие люди еще недостаточно разумны, чтобы это понимать.

— Постой! А что, если совесть развивалась, хотя я, конечно, в это не верю, чтобы сохранить человека как вид. Конечно, смешно, но, может быть, это инстинкт самосохранения человечества?

— Совестьливый человек и на необитаемом острове совестьливый. Так что люди здесь ни при чем. Это стыд передо мной.

— А может человек покраснеть на необитаемом острове? — вдруг спросил дьявол.

— А зачем ему краснеть на необитаемом острове? — удивился Бог.

— Ну, например, если он захочет побаловаться с обезьянкой? — вкрадчиво сказал дьявол.

— А зачем ему баловаться с обезьянкой, — еще больше удивился Бог, — чтобы угодить Дарвину?

— Вот именно, чтобы угодить Дарвину! — расхохотался дьявол. — Ох и знаток человеческих душ!

— Ты намекаешь на низ? — осторожно спросил Бог.

— Кто же тебе намекнет на низ, если не я? — весело ответил дьявол.

— Да, — сказал Бог, — низ человека ничем не отличается от низа обезьяны, и в этом Дарвин прав. Но человек стал человеком, когда я ему придал верх! И верх победит. Все живое тянется вверх! Без Бога человеку некуда расти! Он плющится!

— Нет! — возразил дьявол. — Низ оттянет! Карабкаться трудней, чем сползать!

— Придав человеку верх, я придал ему дух! — гордо сказал Бог. — А дух всегда тянется вверх! Сползает все, что потеряло дух! Главное — не терять дух! Ты думаешь, мне, Богу, легко было сохранить дух при виде всего, что творится на Земле?! Сколько раз я в отчаянии думал: а не начать ли все на другой планете?!

— Что же тебя удерживало?

— Долг перед людьми, которых я создал! — воскликнул Бог. — Как же я могу их оставить наедине с их глупостью? Я встряхивался и восставал духом!

— Но ты же сам сказал, что ты не вмешиваешься в дела людей, — напомнил дьявол.

— Да, я в их дела не вмешиваюсь, — согласился Бог. — Но ведь я же сказал, что совесть — это стыд передо мной. Перед кем же они будут стыдиться, если меня не будет? Но этот стыд передо мной человек нередко чувствует как стыд перед другим человеком. И это хорошо. Это ему должно напоминать: человек — мое подобие. Но самый сильный стыд человек испытывает ночью наедине со мной. Когда затихает мир, совесть слышней.

Из века в век человечеством обычно управляли бессовестные люди, и они заставляли людей убивать друг друга, чтобы возвысить самих себя.

— А почему не самые совестливые управляли человечеством? — спросил дьявол. — Они что, не работоспособные?

— Эта вечная драма, — печально сказал Бог. — Чтобы проникнуть во власть, надо пройти длинный вонючий коридор. Затаив дыхание, этот длинный коридор пройти невозможно, а дышать этим вонючим воздухом совестливый человек не может. Надо дождаться, Чтобы народ стал достаточно совестливым, и тогда этот вонючий коридор исчезнет и самые совестливые придут к власти. Червивая вечность политики кончится.

— Но если совесть идет от тебя, надо полагать, ты всех людей снабдил равной дозой совести. Куда она потом подевалась у многих? Что-то здесь не стыкуется у тебя, — заметил дьявол.

— Вопрос сложен, — отвечал Бог. — Семена совести, которые я вкладываю в души людей, равноценны. Но неравноценна почва души, в которую ложится семя. Неравноценен разум людей, которые пытаются понять сигналы совести. Неравноценно окружение людей, с которых разум человека берет пример и тем самым то заглушает голос совести, то, наоборот, усиливает его.

— Если ты такое значение придаешь почве души, в которую вкладываешь зерно совести, разве не от тебя зависит изменить эту почву?

— Нет, это случайность рождения. Я ее не могу изменить. Сила моего замысла как раз состоит в том, чтобы из реальных, разных людей создать полноценное человечество, а не выдумывать искусственных людей. Для этого у меня достаточно ангелов. Я бы мог людей заменить ангелами, но это не-

интересно, к тому же ангелы не размножаются. Совесть развивается в борьбе со злом, и будущее добра обеспечивается бдительной памятью о побежденном зле.

— Ну, а как ты относишься к коллективу? — вдруг спросил дьявол.

— Плохо. Коллектив не краснеет. Человек краснеет один. Всякий коллектив опускает мысль до уровня самых глупых.

— А почему люди склонны собираться в коллектив?

— Чтобы не краснеть. Они жаждут освободиться от бремени своей совести и передать ее вожаку.

— Ты хочешь сказать, что человек — это штучный товар?

— Я хочу сказать, что человек — это вообще не товар.

— Но почему-то его можно купить, — весело отозвался дьявол, — я в этом тысячи раз убеждался. Товар—деньги—товар. Что ты думаешь о Марксе? Его учение много шуму наделало в последнем столетии.

— Его учение ошибочно, — ответил Бог. — Если бы рабочий в глубине души отказывался разбогатеть, пока не разбогатеют все бедняки, классовое учение Маркса было бы правильным. А так как мы знаем, что такой психологии у рабочего нет, его учение вредно, оно озлобляет людей друг против друга. Маркс родил Ленина, Ленин родил Сталина, Сталин родил Гитлера, Гитлер родил Муссолини, Муссолини родил Франко...

— Наши захватили полмира! — не выдержал дьявол. — Скажи честно, это ты потом вмешался и все разрушил?

— Нет, — сказал Бог со скромной гордостью за человека, — тут люди сами проявили отвагу и ответственность.

— Вот ты все говоришь: совесть, совесть, — напомнил дьявол, — но ведь ясно, что человечество живет совсем другими страстями! А совесть... Так... Провинциальное воспоминание из времен твоего сына.

— Да, человечество в основном пока живет другими страстями. И бессовестность имеет почти полную власть. Но обрати внимание на одно обстоятельство: бессовестность пытается доказать, что она совестлива, а не совесть пытается доказать, что она бессовестна. Даже полная, абсолютная власть бессовестности не осмеливается прямо объявить о своей бессовестности. И так тысячелетия! Это грозная память о первозданном замысле моем, который я вложил в человека. Она когда-нибудь бурно прорвется! А ты не тоскуешь по совести?

— Той самой, которую ты забыл вложить в меня? — ехидно напомнил дьявол. — Ни малейшей тоски. Если б ты знал, скольких я соблазнил! Особенный кайф я испытываю, совращая людей с солидным общественным авторитетом. И как легко! Иногда даже хотелось сказать им: да посопротивляйтесь хоть немного моим соблазнам, тогда мне приятней будет вас совращать! Хотя не скрою, были люди, которых я не одолел. И, представь себе, я испытывал к ним уважение, но не за совесть, а за упрямство.

Но не только ты, я тоже, представь, полезен людям. На Земле любовь, братство, дружба — все, все само собой, без моего участия, кончается прахом и тленом! Я только ускоряю события.

Вот влюбленная пара молодых людей. Они собираются пожениться. Но я подталкиваю молодого человека к соблазну, и свадьба расстраивается. Ужас! Ужас! А разве лучше было бы, если б он женился, всю жизнь прожил с этой дурой, а в старости в полной безнадежности сказал бы себе: Господи, на ком я женился! На кого угробил свою жизнь! Разве это лучше? Расстроив свадьбу, я даю ему время поумнеть!

— А откуда ты знаешь, что его следующая женщина будет лучше? — спросил Бог.

— По крайней мере, я ему дал время поумнеть! — гордо сказал дьявол.

— Удивительней всего, что даже дьявол иногда ищет свое оправдание в добре! — воскликнул Бог. — Мой замысел непобедим!

— Но, скажи, ты в самом деле так любишь людей? Оставил бы их мне. Пусть себе копошатся!

— Странный вопрос тому, кто отдал людям на гибель своего единственного сына... Но я уже тебе говорил об этом.

— Да! Да! Но я бываю забывчив. Вот и про великий потоп забыл. Но скажи мне, в чем главная тайна человека? Только не повторяй мне банальностей о любви к человеку. Слышать не могу!

— Мое учение о любви люди редко правильно понимают. Это учение о полноте внимания к человеку. Сокровенная, сжигающая душу тайна человека, о которой он редко догадывается, это неосознанная жажда полноты внимания к нему другого человека. Никакие сокровища мира, никакие почести

его так не воодушевляют, как полнота внимания к нему лично. Вернее, и почести, и сокровища он добывает из ложно понятого стремления достичь полноты внимания к его личной душе. Но не достигает и тоскует.

Человек — сирота и в толпе, и нередко у себя дома, но не понимает причины своего сиротства и от этого тоскует. Но причина сиротства — отсутствие полноты внимания к его душе.

И вдруг он попадает к хорошему врачу или к хорошему священнику и сразу же чувствует какой-то прилив сил и надежд. Этот врач или священник воодушевил его полнотой внимания, а человек при этом наивно думает, что дело в каких-то профессиональных секретах.

Не только человек, но и все живое чувствует и расцветает от полноты внимания. Ты замечал, что в заброшенных крестьянских усадьбах, где хозяева куда-то переехали, фруктовые деревья дичают, плоды сморщиваются. В чем дело? Хозяйева этой усадьбы не окучивали деревья, не срезали высохших веток, а деревья, оставшись без хозяев, хиреют. Через десять лет они дички. Оказывается, даже этим фруктовым деревьям не хватает любящего, заставляющего благодарно и старательно плодоносить взгляда хозяина и особенно его детей.

— Постой, постой, — перебил его дьявол, — а обыкновенное дерево, не приносящее плодов, тоже хиреет на заброшенной усадьбе?

— Нет, — сказал Бог. — Оно и не привыкло к любящим, ожидающим плодов взглядам. Если так обстоит с фруктовыми деревьями, что же говорить о человеке?

Природной полнотой внимания к человеку, я подчеркиваю — полнотой внимания, одарены немногие люди. Но они есть. В России таким был академик Лихачев. И когда случайно такой человек становится собеседником другого человека, вечного сироты, никогда не знавшего полноты внимания и не подозревавшего о причине своего вечного сиротства, происходит чудо, как с фруктовыми деревьями.

В первое мгновение этот человек смущается перед полнотой доброжелательного внимания, ему кажется, что богатства его ума и души преувеличены, не стоят такого внимания. И вдруг он открывает в своей душе такие богатства, о которых и сам не знал. И он делится ими со своим собеседником, уже благодарно удивляясь, что тот заранее знал о богатствах его души и, видимо, потому глядел на него с такой полнотой внимания. Как странно, как замечательно, думает он, что этот человек открыл мне меня!

Вот что думает человек, преобразенный полнотой внимания к себе, и есть надежда, что и сам он в будущем будет носителем такой полноты внимания.

Человек вечно любит свою мать, потому что по крайней мере в детстве чувствовал полноту ее внимания к себе. Гибнут семьи, гибнут государства, где граждане не дождались от своих правителей полноты внимания к себе, а бедные ученые гадают, по каким историческим или экономическим причинам погибло государство.

Вот почему великий грех — махнуть рукой на человека! Уж лучше пусть человек на меня, на Бога, махнет рукой. Ме-

ня от этого не убудет, убудет он сам, а убыв, очнется и потянется ко мне. Но если человек на человека махнул рукой — от этого съеживается, беднеет душа не только, даже не столько того, на которого махнули рукой, сколько того, кто махнул рукой. И в этом только он виноват.

— Я прямо-таки смущен твоей речью, — глумливо сказал дьявол. — Я всю жизнь исповедовал полноту презрения к людям, и люди меня не подвели. Все сходилось, как у тебя! Но что это за мир, который якобы будет построен в согласии с твоим замыслом?

— Это будет обыкновенный человеческий мир со многими его слабостями, но они не будут злокачественны. Главное, на каждую толкающую человека руку будут две удерживающие его от падения руки. И это хорошо. Главное зло мира не в толкающей руке, а в недостатке удерживающих рук.

— Почему?

— Потому что, когда наготове удерживающая рука, толкающая рука наконец убеждается в бессмысленности своих усилий. Главное зло исчезает.

— Не означает ли это, что ты меня уничтожишь, когда я перестану служить тебе инструментом?

— Нет, я подыщу тебе работенку. Ты будешь назначен мною Духом Научных Сомнений, — шутливо заметил Бог.

— Спасибо и на том, — скромно сказал дьявол и, склонившись к уху Бога, вдруг добавил: — Запомни, человек никогда в жизни не ограничится сладостью арбуза! Это я тебе говорю теперь уже как Дух Научных Сомнений!

— Иди, иди, ты мне надоел, — сказал Бог, слегка отстраняясь от дьявола, — я тебя еще никуда не назначил.

— Исчезаю! — бодро воскликнул дьявол и исчез, на всякий случай смердя лабораторным запахом серы.

гнилая интеллигенция и аферизмы

Я стоял у остановки на Ленинградском шоссе в ожидании троллейбуса. Нужный мне троллейбус долго не шел, и я от нетерпения стоял, несколько высунувшись с тротуара. Вдруг мимо меня, явно притормаживая, проплыл «мерседес».

Метров через десять он остановился, из него вышел человек и окликнул меня по имени. Я посмотрел на него и сразу его узнал, хотя множество лет мы не виделись. Сейчас он представлял из себя солидную гору, облаченную в хороший костюм. Но очень характерное круглое, бровастое лицо с яркими черными глазами мало изменилось.

Когда-то мы учились в Мухусе в одном классе. Звали его Жора. По математике он был первым учеником. Но по остальным предметам учился посредственно. Он был явно математически одарен. В последний год учебы он иногда дремал на некоторых уроках, положив голову на парту, что свидетельствовало, как мы догадывались, о бурно проведенной ночи.

Забавно было, что учитель математики, сам большой выпивоха, из уважения к его математическим способностям за-

ботился о тишине в классе, когда Жора дремал на своей последней парте.

И наоборот, когда учитель математики, дав нам контрольную работу и будучи под хмельком, засыпал за своим столом под мирный шорох шпаргалок, Жора заботился о тишине в классе.

Учитель математики в своей нищенской даже для послевоенного времени одежде сидел перед нами, облокотившись о стол и залепив растопыренными ладонями лицо. Казалось, он не хочет видеть не только нас, но и весь мир.

Жора мог дремать на любых уроках, разумеется, кроме грузинского.

Учительница грузинского языка была бешеная женщина, а у Жоры случались с ним казусы. Дело в том, что он был наполовину мингрелец, наполовину абхазец. Знал мингрельский язык. А так как мингрельский и грузинский языки очень близки, он иногда, бодро отвечая, незаметно для класса и себя вставлял в свой ответ мингрельские слова. И тут учительница, всегда сладострастно помешкав, говорила:

— Садись, двойка!

Гордость ее в таких случаях была так уязвлена, что она никогда не указывала место, где он ошибся: сам ищи! Она терпеть не могла, когда в грузинскую речь вставляли мингрельские слова. В особенности почему-то междометия. К мингрельцам как соплеменникам она была особенно беспощадна, что говорило о ее строгом бескорыстии.

Бешенство ее было столь велико, что ее боялись не только все ученики, но и директор школы, человек добрый и мягкий. Кстати, тоже грузин.

Она была одинокая женщина. На сильном, жилистом теле головка с маленькой мордочкой летучей мыши. Для тех, кто это плохо представляет, я советую поймать летучую мышь и взглянуть в нее.

В гневе она особенно нерадивых учеников или тех, которые ей казались таковыми, таскала за волосы, словно пытаясь скальпировать их. У нерадивых учеников почему-то всегда были красивые волосы.

Один ученик, сибиряк по происхождению, никак не мог научиться выговаривать мягкое грузинское «л».

— Скажи «лясточка», — терпеливо обращалась она к нему. Видимо, ей казалось, что она удачно наткнулась на русское слово с таким же произношением не дающегося ему звука. Никогда никакого другого русского слова она в пример не приводила.

— Ласточка, — повторял он старательно.

— Лясточка, лясточка, — уговаривала она его.

— Ласточка, — повторял он, приуграмившись, но не поддаваясь уговорам.

— Лясточка, лясточка, лясточка, — повторяла она все еще ласково, но уже поклокатывая и пробираясь к его густым тяжелым волосам.

Еще можно было спасти волосы! Но...

— Ласточка, — отвечал сибиряк с обреченным упорством старовера.

Из-за всеобщей ненависти к учительнице я нередко в глубине души жалел ее. Меня она за волосы никогда не драла, потому что мне грузинский язык давался лучше, чем всем другим негрузинам. Я полюбил трагического поэта Николоза Бараташвили, которого одно время мы изучали. Я его читал в классе если не лучше всех, то, во всяком случае, громче всех. Я уже тогда понимал: цель поэзии — докричаться.

Пока я громко читал Бараташвили, силой голоса никак не уступая учительнице, она с горьким упреком смотрела на виновато притихших учеников-грузинов. После моего чтения она с далеко идущей угрозой неизменно рокотала:

— Ох, Берадзе!

Берадзе был очень смешлив. По-видимому, она при помощи трагических стихов поэта пыталась подавить его неукротимую смешливость. Хотя на ее уроках он никогда громко не смеялся, она чувствовала, что он смеется с выключенным звуком.

— Ох, Берадзе! — говорила она иногда невпопад, например, когда в классе не оказывалось мела, а дежурным был не он. Класс начинал хихикать, а Берадзе только молча трясся. Сейчас я ее отношение к Берадзе могу объяснить так — смешливый человек вообще идеологически ненадежен.

Хотя я глубинную жалость к учительнице внешне никак не проявлял, я чувствовал, что она это знает и ценит. Пользуясь этим, я иногда дерзил ей, конечно, в пределах допустимого для нее.

Но однажды случайно в душе что-то сорвалось, и я резко перешел границу. Сейчас я даже не помню, что я ей сказал.

Помню, в классе установилась гробовая тишина. Некоторые ученики, словно боясь осколков от предстоящего взрыва, пригнули к партам головы. Но все со жгучим любопытством ждали особенно изошренной казни. Минуты три, сидя за столом, она молча, не мигая, смотрела на меня, по-видимому, в поисках неслыханного наказания. Летучая мышь на глазах превращалась в дракона. И вдруг она обмякла:

— Что с него возьмешь, он же сумасшедший.

Класс грохнул в хохоте. Все знали, что у меня сумасшедший дядюшка. Она гениально нашлась. Она не хотела терять единственного человека, который в глубине души жалеет ее.

Сейчас я думаю, что это была неосознанная жалость к одиночеству тирана. Это тем более удивительно, что к настоящему кремлевскому тирану я тогда испытывал горячую юношескую ненависть.

Нас в классе было трое друзей с обостренным интересом к литературе и политике. Может быть, сейчас это кому-то покажется неправдоподобным, но мы, не наученные никем, тогда уже знали все, что случилось с нашей страной. Не исключено, что дело в том, что у двоих из нас были репрессированы отцы, а третий был вывезен с Кубани, когда там голод, вызванный коллективизацией, косил людей.

Гуляя по городу или даже на переменах мы достаточно осторожно, сторонясь других, говорили о литературе и политике. Особенно мы опасались старосты. Он был большой любитель истории и подозревался в стукачестве, за что мы ему дали подпольную кличку Науходоносор.

Жора был хорошим спортсменом и хулиганистым мальчиком. Бывало, встречая нас в городе и правильно догадываясь, что мы говорим не о том, о чем принято говорить, он неизменно повторял одно и то же:

— Гнилая интеллигенция.

Иногда мы его встречали у пивного ларька. Он всегда зубами открывал бутылку. Если мы при этом были достаточно далеко, он, насмешливым кивком послав нам воздушное презрение, запрокидывал бутылку.

— Гнилая интеллигенция!

Обычно он это говорил с добродушным презрением. Мне казалось, что он знает, о чем мы говорим, знает, что ничего изменить нельзя, и поэтому презирует нашу пристрастность к политическим разговорам. И это было обидно. Мы тоже знали, что ничего изменить нельзя, но не говорить обо всем этом не могли. Слова его раздражали все больше и больше.

Однажды в классе на большой перемене мы втроем стояли у окна и тихо переговаривались. Вдруг Жора подошел к нам и со своей обычной презрительной улыбкой сказал:

— О чем шушукается гнилая интеллигенция?

И тут я не выдержал и ринулся на него. Он был намного сильнее меня, но и я тогда занимался спортом. Видимо, от подхлестывавшей меня ярости я эту драку явно для всех выиграл. Прозвенел звонок, нас кое-как растащили, и мы уселись за свои парты. Успокоившись, я подумал не без тревоги: а что я буду делать на следующей перемене, он ведь намного сильнее меня?

Но на следующей перемене он не подошел ко мне. Более того, он больше никогда не подходил к нам и не называл нас гнилой интеллигенцией. Хотя никаких слов не говорилось, но я почувствовал, что он зауважал меня. И это было приятно. Я замечал его неуклюжие, мелкие уступки, когда наши интересы сталкивались, и это было особенно трогательно.

После окончания школы я поехал учиться в Москву и потерял его из виду. Стороной я слышал, что Жора связался с блатным миром, отсидел в тюрьме, был выпущен, но, приезжая на лето в Абхазию, я его никогда не встречал.

Лет через десять в Мухусе мы с друзьями сидели в летнем ресторане. Но это были не школьные мои друзья, их, увы, раскидало по всей стране. Вдруг официантка приносит нам три бутылки вина, угощение с какого-то стола, как это принято на Кавказе.

Я огляделся и за одним далеким столиком увидел Жору, одетого в тельняшку. Он тоже сидел с друзьями и улыбался мне. Мы наполнили бокалы и, приподняв их в его сторону, поблагодарили его.

Через некоторое время та же официантка принесла нам еще три бутылки вина. Я посмотрел в сторону Жоры. Улыбка его подтверждала, что дары его несметны. Я счел необходимым на этот раз подойти к нему с бокалом и чокнуться.

Я подошел, чокнулся с ним и его друзьями явно уголовного вида. После чего мы с Жорой выпили и расцеловались. Оказывается, он знал, что я стал писателем, о чем поведал своим друзьям. Чем именно он занимается, мне спросить было неудобно.

— Вот он, видите, — бесстрашно кивнул Жора в мою сторону, — в школе в честной драке победил меня!

Друзья его восторженно зацокали, поражаясь, что Жору кто-то мог победить.

— За что я люблю Жору, — воскликнул один из них, — другой бы не раскололся! А Жора простой!

Но Жора на этом не остановился.

— У нас в школе была чокнутая учительница, — продолжал он, — вся школа, начиная от директора и кончая последним учеником, хезали перед ней от мандража! Один он не хезал! Даже оборотку иногда давал!

Друзья его снова зацокали. Еще громче. Я почувствовал, что количество моих подвигов, помноженное на количество выпитого Жорой, становится опасным для меня. Так оно и оказалось. Жора вдруг помрачнел. Видимо, его собственные воспоминания ему теперь показались чересчур сентиментальными. Или он, вспомнив о школе, сейчас пожалел, что не развил своих математических способностей в институте. Безнадёжно опоздал. И такой оттенок можно было уловить. Преодолевая помрачение, он потянулся поцеловаться со мной и, целуя, слегка оттолкнул меня, сказав:

— Ладно, ладно! Иди к своим гнилым интеллигентам!

Я повернулся и уже пошел было к своему столику, но, глупо вспомнив, что забыл свой бокал, вернулся за ним, что почему-то было унижительно. Боже, а еще предстояло допивать его вино! Он успел рассказать друзьям о причине нашей драки и теперь демонстрировал, что, несмотря ни на что, именно

он продолжает контролировать обстановку и остается при своих убеждениях.

...И вот проходит бездна лет, и мы встречаемся в Москве. Он стоит возле своего «мерседеса» и благодушно улыбается мне. Я подошел, потрясаясь больше всего не его «мерседесу», не костюму под цвет машины, а черной бабочке на его груди. Далеко же он ушел от своей тельняшки! Этого я никак не ожидал. Мы как бы горячо обнялись. Я с некоторой тревогой подумал: неужели он опять вспомнит о гнилой интеллигенции?

— Из нашего класса только мы с тобой вынырнули в Москве, — сказал он, очень широко улыбаясь и призывая меня к взаимной гордости.

Когда человека слишком давно не видел, почему-то обращаешь внимание на его зубы, словно пытаешься выяснить — то ли жизнь обломала ему зубы, то ли он ей. Он сохранил свои прекрасные зубы, их как будто даже стало больше.

— Да, — согласился я, — а кем ты работаешь?

— Я директор ресторана... — с удовольствием назвал он его, — слышал?

— Кто же не слышал, — ответил я, хотя слухом не слышал об этом ресторане.

— А что ты троллейбуса ждешь, — с иронической улыбкой спросил он у меня, — чтобы быть поближе к народу?

Подбирается к гнилой интеллигенции, оторванной от народа, подумал я.

— У меня нет машины, — сказал я и поспешно добавил, чтобы избежать кривотолков, — не люблю технику.

Он насмешливо кивнул головой и вдруг вспыхнул:

— Как здорово, что мы встретились! Я давно мечтаю украсить стены моего ресторана аферизмами и стишками, короткими, но смешными. Сочини! Я тебе хорошо заплачу, если понравятся!

— Какими аферизмами? — спросил я, делая вид, что заинтересовался его предложением.

— Вроде таких, — сказал он, сосредоточиваясь: — «Куй железо, не отходя от кассы» или «Если ты такой умный, почему у тебя нет денег?». Но только не эти, а новые.

— А такой аферизм подойдет? — спросил я у него: — «Если у тебя есть деньги, зачем тебе ум?».

— Нет, — сказал он, чуть подумав, — среди моих клиентов немало богатых людей. Могут обидеться.

Я приступил к штурму стен его ресторана.

— А такой аферизм подойдет? — спросил я. — «Чем меньше птица, тем красивей она поет».

— Точно! — воскликнул он радостно. — Например, дрозд! Как пели дрозды в Абхазии!

Дуновение ностальгии на миг соединило нас, и этот миг был прекрасным. Но, подумав, он вдруг нахмурился.

— К сожалению, не подойдет, — сказал он.

— Почему? — спросил я, и в самом деле удивляясь.

— Понимаешь, — вразумительно сказал он, — среди моих клиентов бывают большие люди. Они подумают, что это намек на то, что они большие птицы и поют, как страусы. Это им будет обидно! Представляешь, как безобразно поют страусы!

Казалось, он покинул страусиную страну, не выдержав их пения.

— Сколько лет ты в Москве? — спросил я, как выяснилось, на свою голову.

— Пятнадцать, — сказал он с удовольствием, видимо, считая, что точно уложился со своими планами в эти годы. — А ты?

— Сорок, — ответил я несколько уныло, потому что был не уверен, уложился ли я со своими планами в эти годы.

— За сорок лет, — сказал он сокрушенно, давая знать, что стаж далеко не всегда все решает, — можно было научиться надевать носки под цвет брюк.

Я обрадовался, что дело только в таком микроскопическом несоответствии. И как он это успел заметить! Я же не в шортах!

— У тебя в «мерседесе» случайно не заваялись черные носки? — спросил я с непосредственностью идиота. — Я бы заменил свои.

Он не обиделся за свой «мерседес», а только иронически взглянул на меня. Так, вероятно, капитан крейсера взглянул бы на рыбака, спросившего его на пирсе: братишка, нет ли у вас на крейсере заваяющего весла.

— Ты все шутишь, — вздохнул он, — хотя однажды в школе чуть не дошутился с учительницей грузинского... До сих пор не пойму, как она тебя простила.

— А такой аферизм подойдет? — ринулся я в новую атаку: — «Хороший аппетит в молодости — праздник молодости. Хороший аппетит в старости — праздник маразма».

— Ты что, разорить меня хочешь? — тихо спросил он. — А еще земляк, одноклассник.

— А что? — спросил я.

— Как что! — повысил он голос. — Среди моих клиентов немало старых коммерсантов. Они приходят хорошо покушать, в меру выпить. А ты — праздник маразма! Последнюю радость у людей отнимаешь! Учти, им даже молодые бляндины не нужны!

— Обязательно учту! — заверил я его.

Он хорошо говорил по-русски, но последние его слова прозвучали с рыдающим акцентом. От волнения, что ли?

Впрочем, я признал его правоту. Такой аферизм в самом деле неуместен в ресторане.

— После того, как я украсу твой ресторан, — сказал я с крохоборской озабоченностью, — я этот аферизм продам молодежному кафе.

— И в молодежном кафе нельзя! — твердо возразил он, словно уже был назначен надзирать за аферизмами всех питетейных заведений.

— Почему? — взревел я, впадая в истерику от цензуры.

— Нельзя молодежь и стариков сталкивать лбами, — пояснил он со знакомой интонацией советских редакторов, — тем более перед тарелкой. Учти, что идея моя!

— Какая идея? — удивился я.

— Идея писать аферизмы на стенах ресторана. Мы заключим с тобой договор, что ты не будешь давать аферизмы в другие рестораны.

— Ну хотя бы аферизмы, которые не подходят тебе, я могу продавать в другие рестораны? — взмолился я.

— Нет, — сказал он жестко, но потом добавил: — Я их буду покупать и прятать. Но в книгах можешь использовать. Все, кроме тех, что будут на стенах моего ресторана. Учти, я хитрый.

Это прозвучало так: может, общего образования мне не хватает, но специальное образование у меня на высоте.

— А такой аферизм подойдет? — спросил я скромно. — «Добрых людей больше, чем злых, но злые влиятельней».

— Ты что, с ума сошел! — ответил он. — Среди моих клиентов полно влиятельных людей.

— А такой аферизм подойдет? — не унимался я: — «Женщины любят цветы, потому что цветы поддерживают идеологию внешности».

— Что-то в нем есть, — сказал он и не без сожаления добавил: — Но не подходит. К нашему ресторану прикреплена специальная цветочница. Мои клиенты дарят своим подругам цветы. Этот аферизм будет их смущать. У меня до того культурные клиенты, что иногда шампанское занюхивают цветами! Ну, ладно, — добавил он, — потом поторгуюсь на месте. Ты тоже можешь поторговаться, когда я назначу цену. Кстати, давай попробуем стишки. Что мы все аферизмы да аферизмы.

— Давай, — согласился я и, призадумавшись, выпалил:

Раньше как он отдыхал?

Заваясь на нарвы.

А теперь — каков нахал!

Ездит на Канары.

— Здесь ничего смешного нет. Я в позапрошлом году был на Канарах... Но ты об этом не мог знать, — добавил он строго, как бы в сторону шевельнувшейся мании преследования. — Ничего особенного, — продолжал он, — на страусиной ферме угостили нас яичницей из яиц страуса. Тоже мне фирменное блюдо! Наша яичница из яиц индюшки в сто раз вкусней страусиной!

Он второй раз с раздражением упомянул страуса. Было похоже, что какой-то страус когда-то перебежал ему дорогу.

— К тому же у тебя получается, — добавил он, — что ты, вроде, жалеешь, что человек покинул нары. Сделай все наоборот!

Я напрягся и снова выпалил:

Раньше как он отдыхал?

Ездил на Канары.

Нынче — норму отмахал

И вались на нары!

— Убери нары! — зарычал он, — что такое: нары, нары, нары! Это тебе не пляжные лежаки! Я знаю, что это такое! Этим ты у нас никого не рассмешишь и тем более, учти, не напугаешь!

— Почему? — спросил я, творчески несколько задетый.

— Потому что все схвачено, — отрезал он, — просто бестактно солидным людям напоминать о нарах. Сделай без всяких нар и чтобы было смешно.

Я снова напрягся.

Раньше как он отдыхал?

Рухнув на лежанку.

А теперь — каков нахал?

Лег на парижанку.

— Нет, — сказал он, покачав головой, — для моего ресторана это даже неприлично. Лучше вернемся к аферизмам.

— А такой аферизм подойдет? — снова пошел я на штурм стен его ресторана. — «Закон нужен даже для того, чтобы знать, что обходить».

— Лучший аферизм нашего времени! — воскликнул он. — И как только ты догадался! Для деловых людей это сейчас самый больной вопрос! Чиновники нас дергают: — Деньги! Деньги! Деньги! — А я хочу точно знать, за что я плачу! Покажи закон, который я обошел!

Только я решил, что стена наконец взята, как он раздумчиво добавил:

— Но, с другой стороны, нет, не подходит.

— Почему? — спросил я, чувствуя себя сброшенным с невидимой стены.

— Понимаешь, — сказал он, — среди моих клиентов бывает юридический важняк. Они скажут: — Ах, ему законов не хватает? — И что-нибудь ехидное придумают специально для меня и таких, как я.

— А как тебе такой аферизм? — ринулся я с ботанической стороны. — «Пион — вегетарианский вариант розы: без шипов, но и без запаха».

— Нет, нет, — ответил он сразу, — во-первых, слишком длинно... Нет, это во-вторых. Во-первых, политический намек. Среди моих клиентов бывают солидные политики...

— Какой политический намек? — искренне изумился я.

— Ты намекаешь, что у нас правительство без шипов, но и без запаха розы.

— А раньше правительства пахли, как розы? — нервно спросил я.

— Розы не розы, а шипы были, — неглупо ответил он. — Я дважды сидел.

— «Доллар, слишком похожий на доллар, — фальшивый доллар!» — неожиданно для себя завопил я.

— Наконец в яблочко попал! — восторженно отозвался он и похлопал меня по плечу. — Наконец я разбудил твою мысль! Беру, ни одного слова не меняя!

— Таких строгих цензоров я даже в советское время не встречал, — сказал я, облегченно вздохнув.

— Да, — согласился он, — у себя в ресторане я строгий цензор. Зато плачу от души. Но мы найдем общий язык. Я предчувствую. Заходи для знакомства с рестораном и его стенами. Можешь привести с собой трех-четырёх... — он вдруг запнулся. Я понял, что он хотел сказать. Однако он добавил: — Друзей.

Но он догадался, что я догадался, почему он запнулся.

— А я работаю с интеллигентными людьми, — У меня бухгалтер — физик-теоретик. Две официантки — бывшие учительницы. Бывший астроном наблюдает за залом.

— Вселенная сжимается, — напомнил я, но он это трагическое обстоятельство оставил без внимания.

Он вынул из бокового кармана визитку и торжественно вручил ее мне, как пропуск в рай.

— Но у меня нет визитки, — сказал я, продолжая держать его визитку, словно готовый вернуть ему незаслуженный пропуск. Этих визиток у меня скопилось сотни. Визитки всегда дают люди, которым не собираешься звонить.

— А как же ты общаешься с нужными людьми? — удивленно спросил он, пренебрегая моей готовностью вернуть визитку. Да что — пренебрегая! Он даже махнул рукой — спрячь!

— Я обхожусь без них, — ответил я, стараясь, чтобы в моем голосе не прозвучал вызов.

— Я тебя сведу с нужными людьми, — уверенно сказал он.

Мы пожали друг другу руки, и он сел в машину. Но потом вдруг наклонился, открыл окно и поманил меня. Я тоже наклонился к окну.

— Приходите, икру будете жрать ложками, — сказал он тихо, но твердо и, вдобавок кивнув головой, уехал. Последние его слова прозвучали, как масонский пароль новой буржуазии.

Разговаривая с ним, я пропустил свой троллейбус. Я вернулся на остановку и стал дожидаться следующего. Теперь я стоял, стараясь не высовываться с тротуара.

упал с дерева, удачно встряхнул мозги

и поумнел

Я зашел в кафе, съел два бутерброда с ветчиной и теперь тянул коньяк, запивая его кофе. За мой столик с чашечкой ко-

фе подседа миловидная женщина. Она оказалась общительной (прямое следствие миловидности), и мы разговорились.

— Мой муж, — неожиданно сказала она, — в детстве упал с дерева, удачно встряхнул мозги и поумнел.

— Это он вам сказал? — полюбопытствовал я.

— Нет, он только сказал, что упал с дерева. И тут меня как молния озарила — так вот почему он такой умный!

— А он что сказал, когда вы поделились с ним своей догадкой?

— Он стал смеяться, как всегда.

— Если вы правы, — сказал я, — вы сделали открытие, достойное Нобелевской премии. Попробуйте спрыгнуть хотя бы с комода, может, вы повторите опыт мужа.

— Вы шутите, — улыбнулась она, — но вы наивны. Тут же главную роль играет случайно, но точно найденная высота.

— Так вы спросите мужа о высоте, — сказал я.

— В том-то и дело, что он забыл о высоте, — ответила она с раздражением. — Вот дуралей! А дерево уже срубили.

— Случилось такое чудо, — удивился я, — а он не запомнил высоту!

— Да как же он мог запомнить высоту, — вступилась она за мужа, — чудо-то случилось, но он о нем не догадывался, хотя сразу стал отличником.

— Так кто же первым догадался? — спросил я.

— Я, конечно! — с гордостью воскликнула она.

— Вы сразу же догадались о его уме, как только увидели его? — спросил я.

— Я сразу же что-то почувствовала, — ответила она, вспоминая, — но не знала что. А потом, через пять лет после женитьбы, он признался, что в детстве упал с дерева. И тут мне в голову ударило: так вот почему он такой умный!

— Неужели он не запомнил высоту ветки, с которой свалился! — горестно заметил я. — Ведь это так важно для нашей страны! Недаром Достоевский сказал: «Красота спасет мир».

Она небрежно кивнула, в том смысле, что и без Достоевского об этом давно знает.

— Ветку-то он запомнил, да дерево давно срубили, — печально сказала она, — а если бы он сразу после женитьбы признался в падении с дерева, было бы другое дело. А он мне рассказал об этом через пять лет, когда дерево уже срубили...

— Как вы думаете, — продолжала она, проникательно прищурившись, — почему он пять лет молчал как партизан, а потом вдруг раскололся, когда дерево уже срубили?

— Может, вспомнил именно потому, что дерево срубили?

— Так я и поверила! Ищите дурочку в другом месте! — воскликнула она. — Сначала все забыл, а потом вдруг все вспомнил, когда дерево уже срубили!

— Так почему же он молчал, по-вашему? — спросил я.

— Не обижайтесь. Но мужчины такие эгоисты, — с грустью ответила она. — Он не хотел, чтобы другие поумнели, последовав его примеру.

— Пойдите! Пойдите! Но вы же сказали, что вы первая догадались, что он поумнел, упав с дерева. Как же он мог сознательно скрывать это?

— Очень просто, — ответила она, — да, я первая догадалась, что он, упав с дерева, удачно встряхнул мозги и поумнел. Но первая — со стороны! А он хотел, чтобы люди думали — он вообще всегда был такой умный! А дерево тут ни при чем! Еще как при чем! Мужчины такие хитрые!.. А что, Нобелевский комитет большие деньги платит за подобные открытия?

— Огромные! — воскликнул я. — Но вы не унывайте! Можно все повторить методом проб и ошибок. Представляете, сколько деньжищ вы заработаете, если опыт подтвердится!

— Да, но, — погрузнев, возразила она, — это не так просто. Надо, чтобы совпали возраст, высота и грунт.

Она на пальцах показала, чтобы мне было ясней, сколько предстоит препятствий.

— А где это случилось? — спросил я, как бы готовый посетить место чуда.

— Под Курском, в деревне, — вздохнула она. — Там еще живут его родители, но дерево уже срубили.

— А пень остался? — тревожно спросил я.

— При чем тут пень? — раздраженно удивилась она. — Вы что думаете — люди будут прыгать с пня?

— Нет, — сказал я, — но по пню вы определите, где именно нужный вам грунт.

— Да, пень, слава Богу, на месте, — успокоила она меня. — Кому нужен пень...

Я решил пошутить.

— Вы знаете, — сказал я, — при слове «пень» мне почему-то вспоминается «Пномпень», а при слове «Пномпень» мне

почему-то вспоминается «пень пнем». Круг замыкается. Смешно?

— Ничего смешного, — строго сказала она. — Пить надо меньше. У вас какие-то колониальные шутки.

Я понял, что с ней надо придерживаться сюжета разговора.

— А дети у вас есть? — спросил я.

— Есть сын, но ему уже двенадцать лет.

— А сколько лет было вашему мужу, когда он сорвался с дерева?

— В том-то и дело, что десять. Сына уже пробовать поздно и опасно. Когда мой муж упал с дерева, он потерял сознание. А когда пришел в себя, уже поумнел, но не заметил этого, потому что перед этим потерял сознание. Видно по всему, что высота была порядочная...

— А может, сознание у вашего мужа было слабое, — осторожно заметил я, — и потому он его потерял?

— Тем более, — загадочно ответила она. — А сына пробовать поздно, хотя он плохо учится, а муж после падения сразу стал отличником... Может, у вас на примете есть мальчик десяти лет? Мы бы заплатили его родителям и повезли мальчика в деревню. И у нас уже было бы два совпадения из трех — возраст и грунт. Заодно и мальчик отдохнул бы в деревне.

— Это вы с мужем так решили? — спросил я.

— При чем тут муж! Это я сейчас сообразила, когда вы сказали о премии.

— А если муж не согласится?

— Пусть только попробует! — грозно ответила она.

— Нет у меня на примете такого мальчишка, — сказал я, вздохнув. — Но такой мальчик обязательно найдется в деревне. Можно со стремянки прыгать в том месте, где торчит пень. Каждый раз беря все выше и выше...

— Стремянка может оказаться недостаточно высокой, — возразила она, явно проявляя техническую сноровку. — Не забывайте, ведь мой муж, упав с дерева, потерял сознание.

— Ничего страшного, — обнадежил я ее, — можно установить возле пня пожарную лестницу, она куда выше.

— Да, вы правы, — сказала она, с добродушным удивлением взглянув на меня. — А вы оказались сообразительней, чем я думала.

— Ничего особенного, — разъяснил я, — ведь я в детстве сам три раза падал с деревьев! В последний раз, согласно вашей великой догадке, видимо, точно упал с нужной высоты в нужном месте и стал гораздо сообразительней.

— Как вы это определили? — быстро спросила она.

— Очень просто, — сказал я, — после третьего падения я, сколько ни лазал по деревьям, — больше не падал. Но только теперь, после вашего открытия, я понял, почему перестал падать с деревьев: соображал.

— А вы не запомнили, с какой высоты в последний раз рухнули? — с хищным любопытством спросила она и даже наклонилась в мою сторону.

Рухнул! От этого сильного слова я как-то неожиданно растерялся и пролепетал:

— Рухнул? В каком смысле?

— Ну не пьяный же рухнули! Это не мое дело! — раздраженно пояснила она. — С дерева рухнули!

— Извините, — ответил я со скромным достоинством, — я, конечно, иногда выпиваю, но ни разу в жизни не упал. Тем более — не рухнул!

— Это любимая присказка всех мужчин, — язвительно заметила она. — Но вы опять свернули на любимую тему.

— Я свернул?!

— Да, вы свернули! Повторяю вопрос. Вы запомнили, с какой высоты в последний раз рухнули с дерева? С дерева!

— Нет, не запомнил, — сокрушенно признался я, чувствуя, что стремительно теряю бразды беседы.

— Какая безалаберность! — воскликнула она и выпрямившись отхлебнула кофе.

— Ну, метров десять-пятнадцать, наверное, было, — попытался я вспомнить.

— Такая приблизительность с научной точки зрения — абсурд! — холодно заключила она. — Тут сантиметры играют роль!

Я сделал вид, что подавлен крохоборством науки.

И она, заметив это, вдруг вкрадчиво спросила:

— А вы ничего не повредили, падая с такой высоты?

— Нет, — сказал я, — но потрянуло здорово.

Она очень недоверчиво посмотрела на меня. И это вынудило меня оправдываться. Вероятно, она решила, что я, падая с дерева, неудачно встряхнул мозги.

— Дело в том, — разъяснил я, — что падая я пытался цепляться за нижние ветки, и это смягчило удар.

— О! — воскликнула она. — Это никуда не годится! Нас интересует падение в чистом виде, как у моего мужа!

— То-то же он потерял сознание, — не удержался я.

— Зато как поумнел! — отрезала она голосом, не допускающим полемики.

Тут она снова глубоко задумалась, скорее всего о предстоящем опыте. Но по ее лицу почему-то было видно, что она все еще не одобряет, что я, падая, держался за ветки.

— Нет, народ в деревне диковатый... Засмеют! — заговорила она, как бы думая вслух. — Надо это делать тайно, а мальчика найти со стороны. Да и пожарную лестницу где взять? Просить в сельсовете — опять же засмеют... Не такой уж вы оказались сообразительный, и теперь понятно почему...

— Конечно, — согласился я с тем самым смирением, которое больше всего раздражает, — ведь я, падая с дерева, не потерял сознание, как ваш муж... Ну, если с пожарной лестницей неудобно, привезите из Москвы длинный шест, что ли...

— Шест, — повторила она саркастически. — Уж лучше бы вы помолчали... Значит, мой муж поставит шест возле пня и будет придерживать его. А мальчишка вскарабкается на шест и сверзится на голову моего мужа? Второй раз голова его может не выдержать...

— Но шест можно врыть в землю, а ваш муж будет стоять в сторонке! — с некоторым оттенком истерики воскликнул я.

— Это совсем другое дело! — вдруг просветлела она и, поощрительно посмотрев на меня, добавила. — Вам бы цены не было, если бы не ваша привычка цепляться за ветки.

— А ваш муж очень умный? — полюбопытствовал я, как бы несколько укрепив позиции собственного ума.

— Очень! — оживленно подтвердила она. — День и ночь кроссворды разгадывает, что семечки лузгает! А я, представьте, ни одного слова не могу разгадать!

— Но вы же не падали с дерева, — великодушно заметил я, но потом почему-то добавил: — Или падали?

Но она в это время задумалась и не слышала моих слов.

— У вас случайно нет знакомых в Академии наук? — вдруг спросила она.

— Нет, — сказал я, — а что?

— Если все рассказать в Академии наук, — поделилась она новыми соображениями, — они бы могли выдать мужу справку или там диплом о его феноменальном падении с дерева. И мы бы с этой справкой обратились в Нобелевский комитет.

— Видите ли, — сказал я, — надо доказать, что ваш муж в детстве был идиотом, а потом, упав с дерева, удачно встряхнул мозги и поумнел. А как вы это докажете?

— Да он и сейчас идиот, — воскликнула она, — хотя очень умный! Кроссворды как семечки щелкает. Но вот еще о чем я подумала сейчас. Если нам повезет, на кого выдадут Нобелевскую премию? На него или на меня?

— Только вам! — твердо заверил я ее. — Ваш муж проходит как подопытный кролик. Вы же первая догадались о значении случившегося.

— Это ему послужит хорошим уроком, — заметила она, — а то только я выдвину научную идею, он начинает смеяться.

— А кем он работает? — спросил я.

— Инженером на фирме. И то чуть не выгнали.

— За что?

— Он и в рабочее время кроссворды разгадывает. Если бы не его умище, его давно бы выгнали. Он там лучше всех разбирается в компьютерах. Это же почти все равно что кроссворды.

— А его любовь к кроссвордам — не результат ли падения с дерева? — осторожно спросил я.

— Что вы! — всплеснула она руками. — Я уже об этом думала! Не такая я глупая. Когда упал с дерева, он даже не понимал, что такое кроссворды! Я точно помню, когда он начал разгадывать кроссворды. Сразу после медового месяца, после нашей женитьбы! В первый же год замужества я стала догадываться, что он своим умом не мог дойти до такого ума, до которого дошел. Ну никак не мог! Понимаете, какая тут тонкость?

— Еще бы! — воскликнул я. — Вы каким-то образом догадались о первоначальных возможностях ума?!

— Вот именно! — с жаром подтвердила она. — Я сразу поняла: ну не мог он своим умом дойти до такого ума, до которого дошел. Хоть убейте меня, не мог! Бывший деревенский парнишка! Что-то его подтолкнуло! Но что?! И вдруг он на пятый год женитьбы признается мне, что в детстве упал с дерева. И все стало ясно. Но дерево уже срубили.

— Вы почти гениальны! — воскликнул я. — Но вам надо на опыте доказать, что этот случай — закономерность природы. Иначе не видать премии.

— Да, премия нам ох как не помешала бы, — вздохнув, сказала она. — Ведь очень умные люди не умеют зарабатывать деньги. Кроссворды решают или там стихи пишут...

— А решенные им кроссворды не нужно представлять в Нобелевский комитет? — неожиданно спросила она у меня. — Боюсь, что мы их не сохранили.

Я призадумался. Она тревожно ждала.

— Пожалуй, нет, — сказал я. — Думаю, перед вручением премии ему дадут новенький кроссворд, чтобы он на глазах у шведского короля и почтенной публики его решил.

— Это он запросто, — обрадовалась она. — Король чихнуть не успеет, как он заполнит кроссворд!

Она допила подзабытый кофе и, вставая, спросила у меня:

— Так у вас в самом деле нет знакомого десятилетнего мальчика? Мы бы заплатили родителям...

— Нет, — ответил я твердо, — и никто не доказал, что нужен обязательно десятилетний мальчик. Может быть, можно мальчика и постарше, как ваш. Может, главное — высота и грунт! Когда закономерность поумнения будет доказана, мы всю Россию пропустим через эту высоту! Если, конечно, грунт выдержит. Вы будете новой Жанной д'Арк!

Но она почему-то не подхватила мой пафос.

— Нет, сыном я не могу рисковать, — вздохнула она, — хотя он плохо учится.

Мы попрощались, и она ушла. Я заказал еще пятьдесят граммов коньяка. Выпил за здоровье ее мужа. Стоило, стоило выпить за его здоровье.

Содержание

Кролики и удавы	8
Козы и Шекспир	221
Терем-теремок	243
Молодой архитектор и красotka	251
Жил старик со своею старушкой	263
Авторитет	270
Мальчик и война	286
Веселый убийца	300
Золото Вильгельма	305
Мимоза на севере	353
Пастух и косуля	396
Пламенный мечтатель и тиран	422
Влюбленная парочка	435
Светофор	443
Милосердие	444
Палач	446
Женщина со свечой и опущенными глазами	449
У горящего очага	450
Взгляд	452
Мавзолей	455

Бахус и Бах	457
Убивающий	458
Скорбь	460
Эксперимент	463
Сталин и Вучетич	465
Сон	467
Олады тридцать седьмого года	476
Сюжет существования	483
День писателя	491
Незванный гость	527
На даче	533
Антип уехал в Казантип	551
Люди и гусеницы	555
Муки совести, или Байская кровать	559
Курортная идиллия	577
Случай в горах	581
Гигант	591
Ночной вагон	600
В парижском магазине	612
Сон о боге и дьяволе	641
Гнилая интеллигенция и аферизмы	675
Упал с дерева, удачно встряхнул мозги и поумнел	691

Литературно-художественное издание

Александр Фазиль Абдулович

Собрание

Козы и Шекспир

Редактирование и корректура

Мария Богданович, Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калмыков

Верстка

Роман Терешин

Изд. лиц. № 0985 от 17.02.2000

Подписано в печать 08.06.2004

Формат 70×108^{1/2} Бумага для ВХИ

Гарнитура Петербург. Печать офсетная

Тираж 3000 экз. Заказ № 330

Издательский дом «Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25.

Телефон (095) 231 1877.

Отпечатано на ФГУИПП «Уральский рабочий»

620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

e-mail book@uralprint.ru

ISBN 5-94117-137-4



9 795941 171377